УЗБЕКСКИЕ ПОВЕСТИ

БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

УЗБЕКСКИЕ ПОВЕСТИ

«ИЗВЕСТИЯ»

МОСКВА • 1984

ББК 84 Узб. 7
У 34

Составитель **С. МАДАЛИЕВ**

Художник **И. УРМАНЧЕ**

У $\frac{4702570000 — 093}{074(02)—84}$ —74—84 подписное



С. Рашидов

Писатель, дипломат, общественный и государственный деятель, Сарвар АЗИМОВ прошел огромную школу жизни. Каждое произведение писателя — будь то драма, рассказ или повесть — влечет к себе накалом человеческих страстей, правдой жизни, философской глубиной подтекста, любовью к своему народу, ненавистью к врагам.

Свой творческий путь Сарвар Азимов начинал как критик и литературовед, постоянно откликаясь на самые актуальные проблемы литературы. Активной жизненной и творческой позицией отмечены его драматургия и проза. Пьесы «Я вижу звезды», «Кровавый мираж», «Драма века», повести «Звездоокая», «Песня о белом рассвете», «Сыны отечества», а также многочисленные рассказы и публицистику С. Азимова отличает партийный подход к историческому и современному материалу, к проблемам внутренней и международной жизни, активное утверждение коммунистических идеалов.

Вот что говорит сам писатель о возросшей роли литературного творчества в современном мире: «Нам, писателям, надо стремиться к более глубокому знанию, отображению проблем, волнующих целые народы и континенты. Писать так, чтобы произведение не было для читателя фактом просто происшедшего, но заставляло его задуматься. Чтобы он мог найти нужный ответ на волнующий вопрос и смог поставленную писателем проблему сделать личной».

САРВАР АЗИМОВ

ЗВЕЗДООКАЯ

ПОВЕСТЬ-МИНИАТЮРА

Не в силах видеть, как она
своей красой пьяна идет,
Как — звездоокая,— огнем
в небытие маня, идет,
Вот, насурьмив разрезы глаз
и платье алое надев,
Востря красы своей кинжал,
чтоб погубить меня, идет.

Хамза

Зима выдалась нелегкой. Снег, снег и снова — тяжелый снег. По приметам стариков, это предвещало зеленую весну, сияющее лето и щедрую осень. Непокорна природа, и земледельцы были в тревоге. Все повторяли: «Вашими бы устами, отцы наши, да мед пить!» Да и то сказать, повторившиеся кряду два засушливых года опустошили закрома.

Но вот, после томительных снегов и морозов, потянул ласковый ветерок — и повеяло запахами весны. Не будет чудом, если очень скоро зацветут абрикосы-кандиль, кашмирская черешня и персики-луччак. Взглянуть бы на это! Так хотелось этой весною, оставив нескончаемые дела, отправиться побродить по родной земле, по-доброму свидеться со своими друзьями!

Увы, оказалось не суждено: что поделаешь, коль появилась необходимость отправиться в далекий путь.

...Было похоже, что близится к концу наше раскачивание над океаном. Об этом давали знать огни Нью-Йорка. Их отражения переливаются на крыльях снижающегося самолета. Настроение у меня было почему-то неважным.

Вскоре приземлились, я вышел из самолета. В тот же миг по нервам ударили слепящие, мерцающие, бесчисленные звезды огней величавого аэропорта и затхлый, дымный, влажный воздух.

— Эй, землепроходец! Акмаль... — Я обернулся на голос и увидел улыбающееся лицо Умида — сверстни-

ка, друга юных беззаботных лет. На душе у меня слегка просветлело. Мы обнялись.

— Умид, друг! Вот так встреча!

Во время поездок в зарубежные страны я встречал много таких, как Умид, журналистов. Этот смуглый парень — рослый, жилисто-стройный, с широко поставленными глазами и бровями вразлет,— которому еще не перевалило за тридцать-тридцать пять, обладал светлым умом и деятельным характером. Он бывал хорошим товарищем в странствиях, хорошим другом в добрые дни, а горе придет — разделит с тобой. Правда, помяну и его недостатки: резковат, не лишен излишней прямолинейности.

— Акмаль, кто поведет «Кадиллак» — я или ты?

— Оставь свои шуточки, Умид! Веди!.. Попался бы ты мне в Париже, в Каире или в Токио — жди, доверил бы я тебе руль!.. Но улицы этого города покуда мне не знакомы...

— Колумб! Новые открытия...

— Открытия — твои. Ты уже около двух лет тут!

— Пошел второй...

— Женился?

— Предпочитаю оставаться холостым.

Последний мой вопрос пришелся не по душе Умиду. Мне показалось, что веселый блеск его глаз померк и на них набежала тень.

По словам Умида, статистика утверждает, что в этой теснине камня, железа, чада и огня, в этом не смолкающем ни днем ни ночью до предела сытом и на редкость голодном городе один из десяти жителей, как правило, психически нездоров. Странно, что не пять из десяти! Вряд ли найдется в мире еще одно место, где бы так безжалостно и «культурно», как здесь, попирались красота природы и человеческие чувства. Это ощущение вновь и вновь возвращалось ко мне по мере того, как в сопровождении Умида я знакомился с душными и людными улицами Нью-Йорка — города, холодного, как лед, безжалостного, как золото, вероломного, как удав, непостоянного, как шквальный ветер. Вновь мои мысли возвращались к цифрам статистики, и опять я удивлялся, почему один из десяти, а не девять из десяти?!

— Акмаль, как ты насчет того, чтобы взглянуть на делающих деньги из воздуха? — спросил Умид в один из дней.

— А что?

— Вечером прием в гостинице «Уолдорф-Астория». Соберутся долларовые тузы. Да, кстати, ты ведь выражал желание осмотреть Пятую авеню и Центральный парк. По пути бы и обозрели.

— Идет! А по какому поводу прием?

— Предвыборная шумиха. Разгорелись страсти стреляных воробьев: на чью долю падет быть новым президентом?

— Кто герой вечера?..

— Большой ловкач,— ответил Умид, приглаживая свои вьющиеся волосы. — Пошли?

— Я готов.

Пятая авеню — улица людей денежных. С одной стороны ее высятся роскошные дома в староамериканском стиле, с другой — протянулся Центральный парк. Место прохладное, располагающее к прогулкам. Народу — тьма. Здесь — многие из тех, кто привык пользоваться и лучшей водой, и лучшей травой. Здесь и весело смеющиеся дамы, которые собственные волосы и шерсть собачки, бегущей следом на изящной цепочке, выкрасили в один цвет; здесь и вертлявые девчонки и парнишки, скачущие петрушками, здесь и те, вся жизнь которых прошла в выжимании соков из рабочего люда,— все еще молодящиеся дряхлые старики и высохшие щеголихи; здесь и развязные мальчишки, для которых насилие и убийство — забава. Словом, здесь не удивишься, какая бы рожа ни предстала перед тобой!

Свечерело. Мы и не заметили, как громкий смех и шумный говор в парке растаяли, словно комочек сахара, брошенный в горячий кофе. В окнах безвкусно роскошных домов вспыхнул свет. На скамейках же опустевшего парка стали появляться старики, готовые, казалось, расползтись по всем швам.

— Эти несчастные тоже вышли подышать вечерним воздухом?

— И вечер, и ночь, и рассвет принадлежат им,— просветил меня Умид. — Ты взгляни внимательней на их потрепанную одежду.

— Гм... Бездомные нищие?

— Когда погаснут огни на той стороне, они смогут спокойно улечься и заснуть. А до того — они вынуждены сидя дремать на скамейках.

Гостиница «Уолдорф-Астория» кишела людьми. Воздух был пропитан запахом напитков, сигарным и сигаретным дымом, ароматом дорогих духов, смехом, гулом споров и сплетен.

— Эй, господа щелкоперы! Утробу матери-то вы поспешили покинуть раньше срока, что ж теперь взяли за моду опаздывать! Ваши коллеги вон в том углу, поспешите...

Не обратив внимания на плоские шуточки метрдотеля, который, видимо, был замешан на глине, взятой из норы водяной змеи, мы направились в указанный угол. По пути я слышал обрывки отдельных разговоров. Вот некоторые из них:

«Смрадная речь, смрадная... Нельзя забывать обычаи предков. — Эти слова исходили от господина, который, вытаращив глаза, уперся своей желтой козлиной бородкой в грудь долговязого собеседника. — Эти черномазые должны заткнуться и делать свою черную работу. Все — и конец! Если какой-либо президент попытается освободить американских негров, его постигнет участь президента Кеннеди. Все — и конец!»

«Откажемся мы, в конце концов, или нет от жизни в этом бетонном дремучем лесу?! — Этот из интеллигентов, что ли? Согнув пополам сухое, как щепка, тело, он крутил пуговицу на фраке господина с внушительным животом и продолжал: — Гм... Попав на улицу Нью-Йорка, даже птица задыхается и дохнет. Гм... Молодежь, которая родилась в этом дремучем бетонном лесу, подвержена преступности, безбожию, наркомании. Гм... В сегодняшних газетах: «Беременность девятилетней красотки», «Этот шестилетний паренек убил отца и мать»... Великий боже, читали? Гм...»

«Джон, Джон, говорю!.. Что ты хмуришься, мой сладкий? — умоляюще говорила сухопарая женщина в дорогих мехах, обращаясь к лопоухому хилому пареньку, у которого едва пробились первые усы. — Я-то из вчерашнего итальянского фильма усвоила способ лизаться, х-хи... Да, мой сладкий, научилась новому способу лизаться. Ночью я всю душу твою высосу через твой язычок, мой сладкий! Взгляни же на меня...»

«Ха-ха-ха... значит их сиятельство жених отправился в Вашингтон? — говорил, поигрывая глазами навыкате, немолодой водяночный господин, положив руку на талию довольно гладкой бабенки. — Ха-ха-ха... это

сверх ожиданий, милая! Проведем приятную ночку, а? Ха-ха-ха...»

«Согласен... согласен с твоими словами, согласен!.. Верю, покуда я жив — ты в моем сердце, умру — будешь в моих костях, сокол мой, воспаривший из Техаса! — Этот всполошенный господин, видимо, был из тех, кто страдает избытком образности. — Но, однако, надо предотвратить и национальное бесчестье. Не позор ли? Каждый четвертый негр — безработный... А? Для полумиллиона негритянской молодежи от шестнадцати до двадцати одного года и учеба и работа — все равно, что яйцо сказочной птицы «Анго»... А? Из каждых шести семей — одна без жилища... В Америке-то, а?!»

Внезапно говор и шум стихли. Внимание находившихся в зале обратилось к вошедшему оратору.

— Узнаешь? — сказал Умид, толкнув меня локтем в бок.

— Да неужели?.. Это не тот ли «бешеный», который провалился на предыдущих выборах?

— Он.

— Сдается мне, он отравлен мечтой о президентстве. Снова хочет попытаться?

— Надеемся... однако пока выгодней прикинуться безразличным.

«Бешеный», по-юношески вскочив ногами на сиденье стула, загнусавил до того высокомерно — не подступись! Казалось, уместилась в его речи вся возможная ложь. Своей неудобоваримой болтовней о коммунистах и коммунистическом обществе он напомнил мне жалкую подслеповатую лису, столкнувшуюся лицом к лицу со львом:

— Дамы, господа! Мы имеем основание радоваться. Внутренние противоречия между коммунистами разгораются. Настала пора пресечь их влияние на историю народов мира.

Собравшиеся в зале, особенно писклявые дамы, встретили этот призыв оратора воплями. Выкрики взвились гуще, чем пыль, поднятая стадом:

— Америка ждет такого человека!

— Пусть такой человек и будет президентом!

— Ну теперь шабаш этих лицемеров, готовых продать американский народ за медный грош, разгорится вовсю,— Умид вопросительно взглянул на меня. — Можно, наверное, и уходить?



— Что ж, пусть сами настегивают коней, которые понесут их к концу. Бежим скорей из этого сумасшедшего дома.

Мы вышли из «Уолдорф-Астории» и направились в сторону Бродвея.

— Умид, мне припоминается, в «Известиях» я читал твою корреспонденцию строк в двадцать-двадцать пять...

— Ты говоришь о «Бирмингем — Генеральная Ассамблея — Кеннеди»? Да, конечно, мало толку плакать в этом году о пальце, порезанном в прошлом году, но сейчас я бы написал по-другому. А тогда... Если хочешь, могу пересказать суть, пока дойдем до Бродвея.

— В те тревожные дни, — начал свой рассказ Умид, — внимание официального и неофициального Нью-Йорка было занято двумя событиями — трагедией в американском городе Бирмингеме и очередной XVIII сессией Генеральной Ассамблеи.

— Кажется, это было в октябре?

— Нет. В сентябре. Можно не перебивать?

— Конечно, можно, прости меня!

— Бирмингем. Воскресенье. Город в ласковом солнечном золоте,— продолжал Умид. — На лицах негров — какая-то гордая торжественность и умиротворенный покой. Все наряжают своих крепеньких, как черный виноград, детишек, глазенки которых сверкают звездами, и направляются в сторону церкви. Ведь сегодня «Детский день» — праздник.

Вместительный церковный придел битком забит курчавой детворой. Раскаты псалма о «Всемилостивом к детям божьим», казалось, пригибали покорные головы. Словно весь мир заполнил этот торжественный умиротворяющий гимн. Будто и негры Бирмингема уже избавлены от издевательств белых расистов, будто все прошлое забыто, будто расцвел цветок желаний — свобода и равенство людей. Однако внезапно этот торжественный покой, этот величавый псалом раскалывает молния взрыва. Своды церкви, колыхнувшись, разваливаются пополам, стены сдвигаются с места. Жуткая картина: человек человека не узнает, отец — сына, муж — жены; нет конца воплям и крикам, нет числа детям, раздавленным стенами взорванной церкви, нет конца стенаниям несчастных родителей.

Вот зрелище... «свободолюбивая» Америка!.. По версии официальной Америки — это случайное происшествие. Ну, представители высшей расы бросили одну бомбу — и бросили. Что такого? Что, коль подохло десять-двадцать черномазых, небо обрушится на землю? Было бы скучно, если бы в Америке не случались подобные происшествия, говорят они, осклабившись.

— Господи! — не выдержав, прервал я Умида. — Неужто эта подлая философия имеет право на существование в двадцатом веке!

— В огороде — свинкой, в народе — с дубинкой,— они и есть. Слушай продолжение. На другой день выступивший с трибуны Генеральной Ассамблеи, где собрались представители ста одиннадцати государств, в том числе тридцати двух африканских, президент Америки распинался о правах человека на вечную свободу, о родстве и дружбе народов.

Запад, по его словам, был примером совершенной свободы. Восток — средоточением гнета. «Я думаю,— разглагольствовал певец общества торгашей и жуликов,— что во всем мире, в Восточной и Западной Европе, в старых и молодых государствах простые люди должны быть вольны в избрании своего будущего; будущее, свободное от расовых различий и угнетения, свободное от страха и войн... Я совершенно убежден, что все человечество достигнет подлинной свободы...»

Голова без хлопот — разве голова? Этот оратор хлопотал прикрыть полою луну, не догадываясь, что обнажает собственный срам и оскорбляет других... — В этот момент Умид вынул из кармана какую-то бумагу и развернул на свету, словно предлагая: «Читай!»

«Ваше превосходительство Генеральный секретарь Генеральной Ассамблеи,— так начиналась бумага, которую я держал,— мы, почетные члены «Общества по охране друзей человека», обращаемся к сессии Организации Объединенных Наций:

Во имя бога, почтенные, скажите — доколе лучших друзей человека, собак, будут водить по улицам без курточек и панталон? Это несправедливо по отношению к животным, это — явная жестокость. Собака — друг, жена — недруг,— изрек мудрый Восток.

Короче, господин Генеральный секретарь, единственное пожелание «Общества по охране друзей чело-

века» сводится к тому, чтобы вопрос об обеспечении собак подходящей к сезону одеждой был поставлен в порядок дня Генеральной Ассамблеи, и мы с нетерпением ждем, что Вами будет вынесено соответствующее, обязательное для всех, постановление.

Разумеется, могут найтись и противники предложения нашего достославного «Общества». Особенно — коммунисты. Воистину, они, в основе своей, жестокосердные люди. И вот, господин Генеральный секретарь, если возникнет подобная ситуация и явится угроза разделения голосов, мы согласны, чтобы вы уведомили коммунистов: в случае принятия нашего предложения наше «Общество» обязуется признать марксистскую философию. Как бы то ни было, мы будем удовлетворены, коль друзья человека станут обладателями одежды!..» И так далее...

— Каков документ? — рассмеялся Умид, приглашая меня следовать дальше.

— Не торопись. Успеешь... В этой стране не сочтешь различных обществ: «Общество друзей», «Общество Джона Бэрча», «Правительство гангстеров», «Беседа куртизанок» и тому подобный мусор. В последнее время они особенно расцвели, растут не по дням, а по часам.

— Хвала их веселому нраву!

— Вот этот веселый нрав и обернулся событиями двадцать второго ноября. Президент Америки, не приходя в себя, скончался от пули, выпущенной подлой компанией.

— Ну вот — приближаемся к Бродвею. Запасись четырьмя глазами и шестью ногами.

Бродвейцы, как оказалось, жили по принципу: ухвати глоток с реки, солнца не роняй с руки, начиная день с утра, ублажай порыв нутра, подходя, подхвати, сладости не упусти. Крутились мельницами электрические огни, мелькали рекламы: «Сын зарезал отца и мать», «Женщина, сожительствовавшая с псом», «Девушка, лишившая головы пятерых парней», «Две женщины — одна муж, другая — жена», «Проститутка и доллар». Женоподобные парни; девицы, готовые обнажать то, что не видит света солнца; кокаинисты и наркоманы; воры, рвачи — словом, все, потерявшие человеческий облик, собрались на этой улице.

Мы вышли на площадку «пророков». Некто, закутавшийся в одеяния Иисуса, собрав вокруг себя де-

сять-пятнадцать простаков, взывал: «О сыны мои, я — пророк Иисуса. Я пришел от вседержителя мира. Я принес вам его святые слова. Вседержитель мира говорит нам: пока вы в светлом разуме, уничтожить коммунистов ваш долг и ваша обязанность!..»

Мы прошли дальше, там тоже толпились люди. Предыдущий пророк был рослым, этот же кругленьким, пригнутым к земле, как суслик: «Дети мои, если вы будете внимать словам того безбожника, грех падет на вас. Ибо пророк Иисуса не он, а я! Истину от трона всевышнего к вам принес я. Слушайте!..»

Не успели мы удалиться от исступленных, оглушающих голосов «пророков», как в меня вцепилась какая-то ведьма, внезапно появившаяся перед нами: «Ой, ой, жизнь моя,— порывалась она обласкать меня,— ты что, позабыл меня, не помнишь, мой любимый? Тот вечер — пятьсот лет назад, нашу сладкую ночку?.. Не будь вероломным, как эти болтуны... Раскрой мне объятья, я принесла пьянящее вино поцелуев и веселые песни, сладкий мой возлюбленный!..»

К счастью, тут она пустилась в пляс и оставила нас в покое. Но подобные происшествия подстерегали здесь на каждом шагу. Вот еще одно: негр без обоих глаз, в обветшалой и заплатанной форме американского солдата, с двумя рядами орденских ленточек на груди вскинул рыдающую скрипку. Печальные глаза дочери, стоящей рядом, скользят по рукам людей...

«Мое совершенное почтение, дети мои. — К нам приближалась удивительно благообразная, но с беспокойными глазами старушка, стараясь привлечь наше внимание к кувшинчику, который держала в руках. — В этом кувшинчике — свежий воздух. Специально для вас. Купите!.. Не то задохнетесь на проклятом Бродвее. Купите, в кувшине свежий воздух... Для вас...»

Сердце у меня подкатило к горлу. Как говорится, будто быстроногие трусы, мы подхватили первое попавшееся такси и вернулись в гостиницу. Умид — словно воды набрал в рот. Я тоже молчал. Так и разошлись по своим комнатам.

Надеясь избавиться от головной боли, я принял душ и бросился в постель. Провалиться бы в забытье и сбросить с души тяжелый камень нашей прогулки. Да где быть сну, когда впечатления не помещаются в душе и разыгралось воображение. Я не выдержал и

пошел в номер к Умиду. Он тоже не спал. Лежал на спине, подложив руку под голову.

— Не спится? — спросил Умид, не меняя положения.

— Сколько ни старался, не идет сон.

— Постепенно привыкнешь к этим едким впечатлениям...

— Ну, а ты? Не привык же. В глазах — уныние...

— Я хоть и дышу дымом поганой жизни, душа моя там, где цветы и чистота. Особенно одна прошлая история не дает мне покоя.

— Я знаю о ней?

— Нет, не знаешь.

— Это — тайна?

— Не хотел выглядеть смешным, потому не говорил и тебе.

— Если так, хорошо, не говори. Но одно в моем друге заставляет иногда меня задуматься...

— Можно узнать — что?

— Твое одиночество.

— Эх... как вспомню о том, что пережил, о радости и грусти... Ладно, если обещаешь спокойно слушать, не перебивая, не мешая, не задавая вопросов, расскажу. Вытерпишь?

— Обещаю! — сказал я и устроился рядом с ним. Мгновенье длилось молчание. Затем Умид начал:

— Акмаль, довелось ли тебе познакомиться с цветком, расцветающим в самую драгоценную пору юношеской жизни — с первой любовью, с ее очарованием, колдовством, с ее отравой? Не знаю, как ты, а я из тех, кому довелось отведать и дурман ее, и горечь.

Ты, кажется, знаешь... Лет в восемнадцать я нажил тяжелую болезнь и очутился на краю пропасти. Когда меня отправили в Шахимарданский санаторий, я был в полубессознательном состоянии.

...Уже в санатории я пришел в себя. Голова — что мельничные жернова, все тело пылало. Сердце было зажато в тиски, как раскаленный кусочек железа, который, казалось, вот-вот упадет в ледяную воду и, зашипев, погаснет. А грудь? Хрипела и хрипела, обессиленная, как перепелка в силке. Воздуха, омывающего весь мир, воздуха не хватало мне! Жаль было своих юных лет, своей бедовой головы... Жаль было надежд матери, мечтаний молодости, светлых грез...

Уставшие в забытьи мои глаза (что удивительно, коль цветом они напоминали ситец, давно выгорающий на солнце) впивались в арчу, растущую возле широко распахнутого окна, и в зеленую арчовую аллею, устремлялись к вершинам гор, которые прикрыли свои плечи шелковистыми облаками,— и закипала во мне зависть, ширилась обида. Медленные крупные слезы катились по щекам, оставляли соленый привкус на моих разбухших губах, жгли воспаленный язык. Мне представлялось, что и эти ярко-зеленые деревца арчи, вытянувшиеся, как строй свежих юнцов, и эти снежные горы, вздымающиеся с земли до небес, злорадно укоряют меня: эй, парень, что в тебе толку?

Что я мог поделать? Они были вправе и смеяться и бросать камни укора. В каком мире пребывала посвежевшая под весенними дождями зелень арчи, и в каком мире обретался я, пожелтевший, как шафран?! В каком мире вздымались несокрушимые скалы — олицетворение чудес и беспримерной мощи, и в каком мире был распластан я — иссушенный чахоткой?!

Много ли места на карте мира занимает Ферганская долина, земля изобильная, а вода что мед. А взглянешь на людей! Сердечные, крепкие, как точильный камень,— ладные люди, золотые руки! У мудрых матерей красуется возле виска райхан, заложенный за уши; у широкогрудых парней, закаленных под солнцем труда, поет в руках звенящий саз; а девушки с выгнутыми лунным серпом бровями и миндалевидными глазами — это родники красоты и нежности. В центре этой долины, среди окружающих ее горных цепей, раскинулись земли Шахимардана. Ты ведь знаешь образное сравнение: коль представить себе Ферганскую долину прелестной красавицей, то Шахимардан — родинка над ее изящными, как листья розы, губами; коль представить себе Ферганскую долину рекой живой воды, то Шахимардан — чудесный источник, дающий жизнь той реке. Это, конечно, поэтическое слово, однако так верно найденное и сказанное — народ любит и величает то, что ему дорого и свято.

Значит, эту землю уготовили для меня, умиравшего, повторяя, что Шахимардан здоровый и целебный край, думал я. И еще вспоминается, как говорили, что увидеть эти места — наслажденье, а не видеть — вздохи сожаленья. Господи, и хвала ведь должна иметь меру!



Похоже, вареница мыслей тянулась довольно долго. Темно-зеленые луговины взялись густым золотом. Весь мир нежился под лучами солнца, выползающего из-за могучих скал. Сияние жизни окрыляло и мои желанья, торопило мысли. Вот если бы нашлись силы встретить солнце на вершине огромных скал! А потом побежать бы, собирая охапками тюльпаны! Бродить бы среди коз, овец и ягнят, насытившихся уже на рассвете. Отыскать бы придавленные камнями стебли ревеня и высасывать из них соки весны. Каких только радостей не жаждет человеческая душа. И это в весеннее-то время! Время, гибельное для таких больных, как я.

Эти мечты вдруг перебили чьи-то торопливые шаги, приближавшиеся к моей палате. То ли потому, что устыдился своего состояния, то ли надоели мне докучливые расспросы, с приближением посетителей я прикрыл глаза.

— Заснул. Вы узнали, Любовь Николаевна, сколько ему лет? — Это был приятный уверенный голос мужчины, который тотчас принялся проверять мой пульс.

— Всего два десятка,— ответила женщина мягким голосом.

— Двадцать? Гм... Зелен еще, выходит. История болезни?

— Около двух-трех лет.

— Кровь дали на анализ?

— Да. Анализ некрасив.

— Весь в огне, однако сердце работает неплохо.

— За счет этого и живет.

— Если так, Любовь Николаевна, единственная мера — переливание крови?

— Не знаю, Бекташ Атаханович, выдержит ли?

— Будьте смелей. Организм молодой, не диво, коль вручит нам удила!

— Если бы так!..

— Как его зовут?

— Умид... Умиджан!

— Умид — «упование»... Хорошо нарекли. Постойте... постойте-ка, я же сегодня получил из Ташкента письмо от одного друга. Вот! Да-да... Умид! Именно об этом парнишке. Пожалуйста, садитесь! Мне необходимо прочесть это вам. История болезни будет у вас как на ладони... Парень наш спит без памяти, можно, верно, и здесь прочесть?

— Интересно. Похоже, дела наши пошли на лад, Бекташ Атаханович?

— Да, и труд ваш не пропадет напрасно!

Наверное, потому, что последние два года моя жизнь проходила в больницах, среди людей в белых халатах, я стал относиться безразлично к их действиям, к их беседам. Сколько бы они ни бились, я перестал верить в то, что здоровые люди могут понять сердцем состояние тяжело больного, его чувства и переживания, а тем более — сопереживать. Обнадеживают — результата нет; говорят: дела твои наладятся, поправишься,— я же изо дня в день чувствую себя на краю пропасти.

И в тот день, когда двое стояли надо мной — один из них оказался профессором, другая — лечащим врачом,— я не проявил ни капли интереса к их рассуждениям, касающимся моей судьбы. Мне хотелось, чтоб они скорее ушли, оставили меня в покое. Лишь одно меня удивило — какая-то уважительность в их отношениях, сдержанность, мягкость... Исподтишка, воровски я с любопытством оглядел сперва Бекташа Атахановича, затем — Любовь Николаевну. Профессору было, наверное, лет сорок-сорок пять. Сдержанный, с открытым лицом. Три складки, пролегшие на лбу, свидетельствовали о том, что он многое повидал в жизни, знал и взлеты и падения. Врач же, Любовь Николаевна, была симпатичной женщиной, которой едва перевалило за тридцать. Две небольшие ямочки на щеках, казалось, улыбка всегда освещала это милое лицо.

Между тем они разместились поблизости от окна. Я крепко закрыл глаза. Перед этими незнакомыми людьми меня заставят, конечно, сгорать от стыда.

«Бекташ, друг дорогой,— начал читать письмо профессор. — Долго не писал тебе, прости. Было у меня множество забот, измучился. Мало того, что, получив тяжелое ранение в бою под Москвой, я был вынужден вернуться в Ташкент. Вовсю истерзали мне душу выходки отпетого моего братца Умида...»

Я почувствовал, что пристальные взгляды находившихся в комнате устремились на меня — «отпетого». Бекташ Атаханович вставил:

— Балагуры называли нас «парным орешком». В том бою его ранили в грудь, а меня в голову. Железной воли человек, однако есть у него слабинка — слишком чувствителен.

— Не бывает же жемчуга без перламутра, розы без шипов, профессор.

Вместо ответа Бекташ Атаханович продолжал чтение письма. «...Если помнишь, я тебе рассказывал о моем братце Умиде. Мы с ним круглые сироты. Разница в том, что я хоть немного, да познал ласку и заботы отца с матерью. Он же, бедняга, осиротел еще совсем несмышленышем: ни отца не знает, ни забот матери не помнит. В годы моей учебы пришлось ему оставаться у чужих людей. Видимо, довелось ему хлебнуть всякого.

Наконец я получил возможность взять брата к себе. Я работал, Умид учился: тихие мирные дни, и я рад, и он счастлив...»

Эти слова из письма бросали меня то в жар, то в холод: что, если б и впрямь вернулись те дни?.. Возвратившись из школы, я, бывало, ожидал брата. Как только он приходил, мы ставили на огонь котелок и готовили еду. Потом он бывал занят чтением книг, я приступал к приготовлению уроков. А в воскресенье? Мы вместе гуляли, и брат мой разделял, как товарищ, мою ребячливость... Где эти дни?..

«...Любовь и меня покорила своей властью,— читал письмо профессор.— Я женился. К семье нашей присоединился еще один человек. Мне хотелось, чтобы мне жена была верным спутником жизни, а Умиду — доброй матерью. И обещано было так. Однако туман моих надежд постепенно стал рассеиваться. В глубоких глазах Умида появились признаки давней грусти, ко мне он начал относиться как-то холоднее. И жена вела себя так, словно стремилась держать Умида подальше от моей любви, и тем терзала мне сердце. Как я и распознал позже, душа жены оказалась тесноватой, чувства — ненадежными, а в натуре порядочно себялюбия. Жаль!..

Выругал. Был вынужден прочесть наставления о людях с чистым сердцем, пытался пробудить добрые чувства. Однако тебе самому ясно, времени оказалось слишком мало: на другой же день после начала Отечественной войны я отправился в путь. Единственной моей просьбой к обоим было — не растоптать дружбы, ростков человеческой любви. Человечность — вот единственное слово, о котором говорил я. Ибо Умид — еще несовершеннолетнее дитя. Сломать его душу ничего не стоит. Ты сам хорошо знаешь, искалечить таких лег-

ко, направить на верный путь — трудно. Словом, я отбыл...» «Отбыл!» Как просто! А каково было положение вашего брата? Я остался в одиночестве. Да еще с кем, скажите... С каменносердной женщиной! Ревность вашей жены и моя резкая прямота стали вашей бедой, мой любимый брат.

«...Вернулся я с фронта,— читал продолжение письма Бекташ Атаханович,— Умида нет ни дома, ни в школе... Ушел жить на улицу: сам бродяга, выходки — отчаянные, приятели — вороватые ребята. Искал, искал — и насилу ухватил его. Господи, насколько же может измениться человек! Тихого, смирного, здорового Умида словно бы вывернули наизнанку: облик — безобразен, в глазах — колючки бродяжничества, кожа — нездорового цвета, лопатки — выпирают, и не перестает то и дело покашливать...»

Брат мой, много я глупостей натворил, однако воровством не занимался... Верно, я очутился среди ребят-бродяжек. Голод и холод сделали свое дело. Из-за того, что простудил легкие, меня и к воинской службе признали негодным. Но для меня было предпочтительнее бродяжничать, нежели, вернувшись домой, выслушивать ядовитые слова вашей жены, смотреть в ее змеиные глаза. Дурные слова и упрямство сломили меня. Сломленный росток вновь не зазеленеет или же вырастет колючим искривленным деревом. Я не желаю, не хочу беспрестанно причинять страдания вашей чистой душе. Я и сейчас согласен умереть. Для меня и брат, и отец, и мать — вы! Простите своего непутевого братца...

Тут мое состояние ухудшилось, я впал в забытье. Как закончил свое письмо брат, что узнали обо мне Бекташ Атаханович и Любовь Николаевна — осталось для меня неизвестным.

Со следующего дня Любовь Николаевна приступила к переливанию крови. Но откуда было взяться во мне силам, чтобы выносить чужую кровь? От слабости повышалась температура, душа страдала нестерпимо. Я ждал конца этим мучениям, желал, чтоб скорей окончился день, не мог взглянуть в лицо Любови Николаевны, склонившейся над моим изголовьем. «Да, и труд ваш не пропадет напрасно». Ведь в конце концов рыба, которую швырнули на лед,— сколько бы ни билась, расшибаясь в кровь,— когда-нибудь да и застынет, как щепа...

Очевидно, было то время, когда раскрываются цветы ночной красавицы. Я лежал в смятенье, предчувствуя, что вот-вот жизнь покинет меня, и вдруг прямо под моим окном послышался девичий смех, напоминающий журчанье горного ручья. Всего меня захлестнула отрава ненависти: эта свинья смеется, а я... Второй раз колокольчик прозвучал уже в значительном отдалении. Неприязненное чувство первого мгновения сменилось интересом. Кто бы это мог быть? Увидеть бы! Неужто девичий смех может быть ясным, веселым, как ветерок, играющий над прозрачным родником? Эти и подобные мысли стали сверлить мне голову. Скоро для меня стало привычным и утром, и вечером, прислушиваясь, ждать, ожидать шагов под окном.

В те дни, когда слонялся по улицам без призора, я совершил много худого, сам того не ведая. Были и девушки, которые прошли через мои руки. Однако в отношениях с темноглазыми дойти до «ахов» и «охов»— было чуждым для таких, как мы. Мы смеялись над воздыхателями. Ну, а теперь? Что за беда подстерегала меня? Не видев, не зная ее, строить на песке воздушные замки! Или в этом виноваты расплывчатые грезы человека, лежащего на смертном одре?..

— Слушай-ка, моя славная! Калдыргоч[1], говорю!..— это был знакомый голос Бекташа Атахановича.

— Слушаю, профессор! — нежные переливы голоса не оставили сомнения — это ее смех пленил меня. Значит, ее имя — Калдыргоч. Смех — словно журчанье прозрачного родника. А зовут Калдыргоч, скажите!.. И тотчас мне представилась птаха, что, расправив крылья в голубых небесах, несется быстрее ветра. Ладно, смех ее сладостен, как жизнь, голос ее нежнее легкого ветерка, имя ее — сама песня, но какова же она сама — ее стать, ее глаза, ее брови? Умница, должно быть, и нравом весела, как горный ручеек... Подобные мысли не давали мне покоя, тянули меня в сторону окна: подымайся, взгляни разочек наконец!

«Постой-ка,— сознанье металось, как жеребенок на привязи»,— как ее окликнул Бекташ Атаханович? «Слушай-ка, моя славная! Калдыргоч, говорю!..» Ни к посторонней, ни к жене он, наверное, так не обратился бы. Может, дочь его? Да, наверное, дочь. Тогда — почему же Калдыргоч ответила: «Слушаю, профессор!»? Так дочь не ответит».

[1] Калдыргоч — ласточка.

Шли дни, и я начал постепенно возвращаться к жизни. Поднялся на ноги, стал выходить на санаторские аллеи. Бекташ Атаханович и Любовь Николаевна были вне себя от радости. Будто бы и впрямь помогли их лекарства и врачевание. А все мои помыслы были заняты одним желанием: услышать смех Калдыргоч, увидеть то резвую, то тихую ее походку, дышать тем воздухом, что и она. Она, конечно, ни о чем не ведала, и было бы не удивительно, если бы даже пренебрегла существом, как я, шафранно-желтым, хилым, словно трава, выросшая в тени.

По мере того, как незаметно я наблюдал за Калдыргоч, росли мое удивление и любовь, множилось число неразгаданных загадок: она любила бродить в одиночестве, сидеть, подолгу глядя на что-либо, особенно на цветы, читать запоем. Иногда казалось, что она не может вдосталь насмеяться, а иногда — надолго погружалась в раздумья. И постоянно куда-то исчезала. Наконец я узнал, что Калдыргоч — художница: я увидел, как, вскинув на плечо свой мольберт, она отправилась на этюды.

В один из живительных дней этой весны я поднялся с постели, ощущая особенную бодрость. Когда, наскоро позавтракав, я спустился в аллею, в отдаленье мелькнула фигурка Калдыргоч, которая в легоньком платьице, с мольбертом в руках направлялась в сторону гор. Очертя голову я бросился следом за девушкой. Путь был долгим. Наконец Калдыргоч остановилась в тени густого вяза, разместила мольберт, перебрала тюбики красок, вынутых из этюдника, и, обратив глаза к вершине горы, взялась за кисть. Я же расположился в значительном отдалении от Калдыргоч, опасаясь, что она не помилует меня, коли увидит.

Если не считать одинокого клочка черной тучи, кочующего на горизонте, словно заблудившийся верблюжонок, небо было совершенно чистым, все вокруг замерло в дремотной тишине. Прохладный ветерок, веющий над зеленым лугом, украшенным белыми, желтыми, розовыми цветами, звон кузнечиков и гуденье пчел — все словно бы торопилось занести в свои скрижали умиротворенность природы. Боясь раскашляться, я прикрыл рот носовым платком. О, если б не было конца этим мгновениям, если бы не прерывались раздумья девушки, погруженной в мечтания! Да и сама она представлялась мне несравненным произведением

искусства. К сожалению, из-за большого расстояния я не мог видеть ее глаз.

Вдруг, совершенно неожиданно, прокатилось рокотание грома, сверкнула молния, и хлынул ливень. Давешний клочок черной тучи, разбухшей и грозной, с целым караваном своих собратьев напомнил о себе. Верно говорят, что в горах погода изменчива. Калдыргоч, кинувшись, как вспугнутая лань, под защиту дерева, обернулась в мою сторону, жестами словно призывая меня. Значит, все-таки уловила мои шаги. И знала о моем присутствии.

И только поднялся на ноги, как глаза мои ослепил заостренный пламень ударившей с треском молнии, налетевший порыв ветра подхватил и швырнул меня на землю. Снова вскочив на ноги, я не поверил своим глазам: от вяза осталась лишь расщепленная часть ствола метра в два высотой.

Ярость грозы растерзала и сорвала с Калдыргоч всю верхнюю одежду, волосы спутались на ветру, тело омывал дождь. Подойти к ней я не решался. Но и стоять смотреть — не было сил: меня колотила мелкая дрожь, зуб не попадал на зуб. Я бросился ничком на землю и охватил руками голову. Через некоторое время я вдруг заметил, что Калдыргоч тихо, как горная серна, стоит надо мной. В глазах ее (о господи, глаза ее светили точно звезды) металось пламя ужаса и мольбы. Поднявшись рывком, я снял с себя одежду и, не глядя, протянул ей.

Пустились в путь. Слова были излишни. Шли, не отрывая глаз от земли. В аллее санатория, на развилке дорожек молча расстались. Едва ступив в палату, я наткнулся на Любовь Николаевну.

— Похвально... Вымокли же!

— Пр-рос-тите. Попал под ливень.

— Раздевайтесь скорей — и в постель!

— Хорошо.

— Давайте-ка сюда плечи, я их разотру спиртом.

— Хорошо.

— Калдыргоч была вместе с вами?

— ...

— Умиджан?

— Да.

— Бекташ Атаханович беспокоился. Ладно, обошлось... Но заставлять тревожиться — стыдно! Такие редко встречаются.

— Любовь Николаевна, а такие, как вы?.. Их много?

— Конечно же! Я всего лишь ученица. Я еще не знаю и сотой доли того, что знает Бекташ Атаханович. А теперь с часок полежите, не двигаясь, в постели. До свидания!

— Спасибо, Любовь Николаевна.

Как прошел день — я не знаю. Когда я после ужина вошел к себе в комнату, на кровати моей лежала одежда, в которой шла Калдыргоч,— чисто выстиранная, выглаженная,— и запах нежных духов разлился по моей палате. Я окончательно лишился покоя. Казалось, ни на земле, ни в небесах не найду себе места. Всю ночь я не сомкнул глаз. Мечты, мечты, мечты... Звездами мерцали, смотрели на меня с мольбой ее широко раскрытые глаза, затененные изогнутыми ресницами. Калдыргоч, звездоокая, совершенная, недосягаемая. Такие, как ты, не кидают оземь свою любовь. Кто ты и кто я?! Бродяга, неуч, заморыш, подцепивший чахотку, говорил я себе, отчаиваясь,— и едва дождался рассвета.

С рассветом я бросился в аллею, надеясь встретить ее там, но ее не было. Прождал весь день — так и не появилась. Я провел еще одну бессонную ночь, всполошенную стаями беспокойных мыслей. После завтрака, устроившись в шезлонге на центральной аллее, я вновь погрузился в мечты.

— Умиджан-ака! — это был ее голос. В мечтах или наяву! Я не сразу смог разобраться. Она расположилась совсем рядышком. В глазах — смущенная полуулыбка. И, особо заметь, произнесла «Умиджан-ака»! Какими сладостными показались мне переливы ее голоса!..

— А не пойти ли нам снова в горы!

— Если б появилась та черная туча, пошел бы.

— Напрасная мечта. Это никогда не повторится...— сказала она и посетовала на свои беды.— Картины позавчерашнего дня — неспокойное небо, молнии, ливень и дикая красота расщепленного молнией вяза — до сих пор у меня перед глазами. Если б мне удалось создать хоть что-то похожее... Но где там!.. Вчера билась весь день — не получается. Все так ясно вижу, а стоит подойти к мольберту — руки не слушаются... Отчего бы это, а, Умиджан-ака?

— Не знаю. Подобные тайны мне не по зубам,— от-

ветил я. Земля и небо — мои терзания и переживания Калдыргоч...

— Но вы же клевещете на себя! — прервала меня Калдыргоч.— Ваша любовь к природе...

— Любить-то я люблю, однако объяснять ее или же рисовать, как вы,— тут я что комок глины.

— Достаточно, коль в сердце человеческом живут сокровенные помыслы. Претворение их в жизнь — дело труда. Это не мои слова — профессора.

— Чьи?.. А кто ваш профессор?

— Как кто? Да Бекташ Атаханович же!

Девушка поднялась с места. В ее широко раскрытых глазах мне почудились отблески какого-то смятения. Напропалую я спросил:

— Он ваш отец?..

— Вам довелось повидать Аксай и Куксай — Белую и Синюю речки?— Это был ответ Калдыргоч, уже готовой в путь. Странно. Почему не отвечает прямо? Может, от волнения?..

Я увязался за ней. Мы — она впереди, я позади — направились в сторону кишлака Шахимардан. Уходившая вниз прибитая тропинка подгоняла Калдыргоч, подпрыгивавшую, как серна, да и меня торопила, приближала к ней. Шелестящий ветерок гладил мне лицо, веселил душу. Мне чудилось, что этот благодатный ветер смывает с меня всю хворь, и я уже казался себе совершенно здоровым человеком, переполненным надеждами и чаяниями, опьяненным любовью юношей. Да и что тут, если добрая ласка таких людей, как Калдыргоч, Бекташ Атаханович, Любовь Николаевна, омыла душу непутевого Умида, зародила в ней стремление стать человеком, жить добрыми делами. Перебороть, надо было мне перебороть бродяжью душу, чтобы жить с порядочными людьми! Любовь, моя первая любовь... Звездоокая моя...

— Ой, Умиджан-ака! — воскликнула вдруг Калдыргоч и, будто споткнувшись, уселась среди дороги. Я поспешил к ней. Из ноги струилась кровь, а лицо побелело как бумага.

— Что случилось?

— А взгляните вон на тот пенек под камнем... Кажется, щепка от него прорвала мне башмак и вонзилась в ногу... Болит нестерпимо...

— Сейчас... сейчас...— стянув с ноги Калдыргоч башмак и чулок, я принялся вытаскивать занозу. Однако

она сидела глубоко, руками я не мог ее достать. Тогда, помню, потеряв терпение, страдая от ее вскриков, я пустил в ход зубы и, ощущая на губах ее струящуюся горячую кровь, выдернул причину мучений, а ранку туго перевязал ее чулком. Как взглянул — на коленях моих ножка, из тех, что создавали истинные ваятели...

— Умиджан-ака, наклонитесь ближе. У вас лицо в крови. Давайте-ка вытру!

Это приглашение, продиктованное девичьей хитростью или подлинным милосердием, я не понял, вышибло холодный пот из моего раскаленного, как железо на огне, тела.

Мы спустились в кишлак Шахимардан. Поставившие свои жилища у подножия двух гор, в излучине двух речек шахимарданцы воистину выбрали райское место природы. Куда ни взгляни — всюду несравненная красота: вода, камни, сады и горы... На плато двух противостоящих гор до сих пор соревнуются в красоте местоположения обветшалая мечеть и гробница Хамзы — места паломничества. Но то, что правда не на стороне «Во имя бога милостивого», а на стороне песни Хамзы «Славьтесь, Советы!»— было нетрудно заметить на каждом шагу: и в лицах стариков, в смехе молодых, и в сонном чмоканье младенцев, в блеске солнца и в шуме воды.

Мы пересекли маленькую, как ладошка, площадь кишлака и уселись на валуне, возвышающемся в месте слияния горных речек. Перед нами открывалась чудесная картина.

— Взгляните-ка...— в нежном голосе Калдыргоч звучала задумчивость.— Вот эту речку называют Синей, а ту — Белой. Говорят, что эта прозрачная, как небо, речка берет свое начало из кипящего в высоких горах Куполовидного озера.

— Отсюда, значит, и цвет небес, и солнечный пыл?

— Да. А та речка — из снега и льда, сверкающего на вершинах беловолосых материнских гор.

— И впрямь — материнское молоко, да и только!

— Да...— сведя брови, Калдыргоч продолжала:— По народному преданию, Куксай — это отважный джигит, Аксай же — прекрасная девушка. Два пламенных сердца, стремящихся друг к другу. Всплывающая ночью полная луна и серны, летящие быстрее ветра,— якобы посланцы между ними, посланцы любви. Жажда желанной встречи толкает обоих в путь. И, прорываясь

сквозь камни и горы, расчищая себе дорогу, влюбленные наконец встречаются в этом месте. Присмотритесь-ка внимательнее, Умиджан-ака!

— К чему?

— К торжищу в момент встречи.

— Не понял. Какое торжище?

— Встречаются две речки, но не враз сливаются, а смешиваются. Смотрите-ка! Они словно бы проверяют силы друг друга, долго еще борются и препираются, будто стремясь еще и еще испытать силу и чистоту любви. Позже, уверясь, что оба равны друг другу, как две половинки золотого яблока, уверясь, что любовь их чиста, увидев своими глазами и поверив всем сердцем в истину рассказов полной луны и летучих серн,— Куксай и Аксай, отважный джигит и прекрасная девушка, сливаются в одно тело и в одну душу, текут полноводно, спешат к жаждущим полям, к цветущим садам. Теперь вы, наверное, поняли! — Взглянув исподлобья на Калдыргоч, я заметил, что она страшно бледна. В глазах стояли слезы. Я оторопел.

— Еще как понял...— Кажется, и этот мой ответ был невпопад.

— Нет! Не поняли,— сказала она, соскочила с места и, уже удаляясь, прибавила с какой-то обидой и даже злостью:— Или не желаете понять...

— Калдыргоч!.. Калдыргоч!..— закричал я, но она уходила не оглядываясь. Я не кинулся за ней: надо было остаться одному, попробовать просеять через решето размышления минувших дней. Я пустился в путь вдоль берега Аксая. Шум реки и посвист певчих птиц подгоняли мои мысли. «Эй, парень,— говорил я сам себе,— что бы мог означать ее поступок? В чем смысл легенды, которую она рассказала, приведя к месту слияния двух горных речек!.. Хочет ли сказать, что ровня — с ровней, лишь кизяк — мешками? Что, если так дает понять: дескать ты мне не ровня и проваливай, пока совсем не сдурел!.. Да, но тогда с какой же стати так внезапно и сильно меняться в лице!.. И что в этой горьковатой злости? «Не поняли», видишь ли, «Или не желаете понять»... Постой, Умид, почему ты все принимаешь на свой счет, может, на душе у нее есть другая, неизвестная тебе печаль! Может, она сбилась с пути, вручила частицу своего сердца человеку, который ей не ровня? Кто бы это мог быть?.. А-а. Да нет... Неужто Бекташ Атаханович ей не отец... Ведь, когда я

спросил: «Он ваш отец?»— смолчала же... А помнишь ли? Когда Бекташ Атаханович окликнул ее: «Слушай-ка, моя славная! Калдыргоч, говорю»— она ответила: «Слушаю, профессор!» Да-да, значит, он ей не отец, а человек, которому она по ошибке отдала чувство... Но почему же по ошибке? А если они любят друг друга?.. Или это невозможно при их разнице лет? Мир видел множество раз подобные дела... Так-то оно так, но почему с таким горьким укором объясняла она мне свою печаль, ее звездные очи взглядывали на меня то с нежностью, то с испугом. Умид, если сердце твое с треском расколется — не удивляйся: может, она полюбила тебя, может...»

Мысли мои, волнующие сердце, перегоняя друг друга, вели меня по тропинке вдоль бурливо скачущей речки. В санаторий я вернулся, когда уже кончался день и наступали сумерки. Вдруг я заметил, что стою против ее широко распахнутого окна: Калдыргоч, расположившись возле самого окна, читает. Что могло сравниться с красотой ее слегка склоненной головы, ее лебединой шеи! Я смотрел — и не мог наглядеться. Когда бы природа не была беспредельно щедра, разве подарила бы она одной девушке столько очарования и прелести! И беды мужчин, и счастье их — от подобных ей.

В глубине комнаты девушки показалась фигура Бекташа Атахановича. Едва завидев это, я задрожал, как от холода... Держась прямо, он подошел к девушке и, взяв обеими руками, повернул лицо Калдыргоч к себе.

— Ты плакала?— спросил Бекташ Атаханович и долго вглядывался в ее лицо.— Веки распухли и покраснели...

Девушка молчала, и тут Бекташ Атаханович принялся вдруг с какой-то торопливостью целовать ее звездные очи, ее смуглое лицо, ее рассыпавшиеся волнистые волосы. Спрятав в душе рыдания, я бросился прочь. Она — не дочь ему!.. Она — не дочь!.. Эта истина жгла мне сердце.

Всю ночь я не сомкнул глаз, кружась в водовороте мучительных размышлений. Наутро стало известно, что профессор в этот день обходит больных. В сопровождении помощников Бекташ Атаханович вошел в палату.

— Привет, молодой человек!

— Привет!

— Итак, Любовь Николаевна, что вы вписали в но-

вые страницы истории болезни Умиджана? — сказал профессор и сел возле меня.

Любовь Николаевна начала докладывать.

— Общее состояние больного неожиданно значительно улучшилось. Тревожные симптомы в крови исчезли. Два дня назад произвели рентгеноскопию: легкие значительно чище. Вот взгляните на снимки, Бекташ Атаханович.

— Верно. Полностью с вами согласен,— сказал он, внимательно рассматривая рентгеновский снимок, затем, положив руку мне на плечо, продолжал: — Неплохо, что набрали весу, но, сдается, вы сегодня бледноваты, Умиджан, а?

— Не знаю.

— Не знаю?.. Снимите рубашку! Ну-ка, побеседуем с вашими легкими.

— Пожалуйста,— сказал я, и тут же мне бросилась в глаза малиновая помада на воротнике халата профессора. Именно — та... Ведь вчера на губах Калдыргоч была в точности такая же... Вдобавок от Бекташа Атахановича, приложившего ухо к моей груди, исходил запах ее духов... Тот самый аромат, который любила Калдыргоч и который для меня был связан только с нею... В мыслях моих стремглав проносились различные предположения... Да нет же! Не может быть!.. Неужели зашло так далеко... Нервы мои не выдержали:— Я здоров! Оставьте меня в покое!..— закричал я и, повергнув всех в изумление, выбежал из палаты.

Где и сколько я бродил — не могу вспомнить. Боль любви, горечь сомнений, муки ревности разрывали мне грудь. Коль сомненья мои чернили Калдыргоч, любовь моя обеляла ее. Коль муки ревности призывали на ее голову камнепад, любовь моя становилась преградой на пути беды. Калдыргоч для меня была безупречно чиста, как цветок, на который я не хотел допустить ни крупицы пыли. Однако что же давешние доказательства? Как можно назвать действия Бекташа Атахановича вчерашним вечером? Кто же ему, в конце концов, Калдыргоч? Дочь его? Да нет, не дочь, нет. Хорошо, если не дочь, но тогда кто?.. Может, она наивная птаха, запутавшаяся в сетях искусного охотника?..

Эти смятенные, переворачивающие душу размышления похитили у меня весь день. Проступили звезды горного неба. Я, незадачливый, вновь очутился возле ее дома, против приоткрытого окна вчерашней комнаты.

И, словно мотылек, кружившийся вокруг яркого огня, долго не мог отойти. Подслушивать чужую беседу, заглядывать через открытые окна внутрь комнат, конечно же, непристойно. Знаю. Однако я был бессилен: сердце мое возобладало над разумом.

— Калдыргоч, не мучай меня,— говорит Бекташ Атаханович.— Видеть в твоих сверкающих юностью звездных глазах хоть искорку, хоть намек жалости на старость, тронувшую мое лицо,— для меня равносильно смерти. Да, у меня была жена. Старики женили меня на вдове моего безвременно умершего брата. Был, оказывается, такой старинный обычай. Пренебречь желанием отца и матери, лишившихся своего старшего, своей верной опоры, значило раньше времени свести их в могилу, и я вынужден был покориться. Однако не лежало мое сердце к этой несчастной женщине, которая всегда пребывала в печали. А потом — фронт, ранение, госпиталь...

— Когда в поисках типажа... когда, разыскивая типаж для работы над портретом раненого бойца, я пришла в госпиталь...— Это был голос Калдыргоч, она говорила задыхаясь,— я сразу натолкнулась на раненого в голову человека, лежавшего без чувств. Брови, разрез глаз, строение лица — все было точно с чудесных миниатюр великого Бехзада... Три морщинки над переносицей свидетельствовали о жизненном опыте, воле, горячем уме... Словом, именно тот типаж, который я искала... Помню, уже вдохновляясь будущим портретом, я задумалась, когда вы, открыв глаза и глядя на меня, произнесли: «Воды, глоточек воды...» Бегом я принесла воды. Приподняв вашу голову, я поднесла чашку, вы захлебываясь, передыхая, напились и вдруг спросили мое имя. Поныне звучит в моих ушах ваш вопрос: «Кто вы?»

— «Калдыргоч», услышал я в ответ,— подхватил Бекташ Атаханович.— И самым необходимым лекарством для моих страданий и ран стала ты, Калдыргоч. Каждый день я с нетерпением ожидал твоего прихода. Но стоило тебе прийти, начинал я беспокоиться: «Поскорей бы ушла». Потому что боялся и за тебя и за людей, которые могли задеть тебя обидным словом...

Вот прошли годы. Мое счастье и радость — в мгновеньях, проведенных вместе с тобой... До сей поры, как гора охраняет красоту и покой небес от пыльного мусора ураганов, так и я прилагал все силы, чтоб ни

пятнышко не легло на тебя, на твою честь, твое девичье достоинство. Преступил я и волю отца с матерью. Теперь я холост... и свободен... Ты ведь хотела в этот приезд дать окончательный ответ? Однако... В последние дни... В глазах твоих отчужденность, боязливость... Или ты полюбила кого-нибудь другого?

— Что за человек Умид? — спросила вдруг совершенно неожиданно Калдыргоч.

— Кто?! Умид?..

— Ну да, тот самый Умиджан... Знаете же!

— Я не знаю такого, о ком стоило бы говорить, но одного парня по имени Умид, подхватившего чахотку в скитаниях вместе с ворами и негодяями, я спас от смерти. Это я знаю.

— Что? Вор и негодяй?

— Человек, не знавший воспитания, не оставит своих черных дел. Если не веришь, вот...— сказал Бекташ Атаханович и бросил что-то в сторону Калдыргоч.— Вот письмо, полученное от его старшего брата. Прочти!

Когда разговор дошел до этого места, терпение мое иссякло. Если бы Калдыргоч была где-нибудь подальше, я бы разорвал на части Бекташа Атахановича. Посмотри, каков, а!.. «Погодите, я еще докажу, что я — человек и вам, товарищ профессор, и Калдыргоч. Глаза ваши в дреме, а разум — затянуло жиром»,— погрозился я про себя и с тем бежал из санатория.

— Акмаль, друг мой, вот и вся тайна моего одиночества. Теперь все тебе известно.

— С тех пор вы не встречались?

— Нет.

— Как же сложилась судьба Калдыргоч?

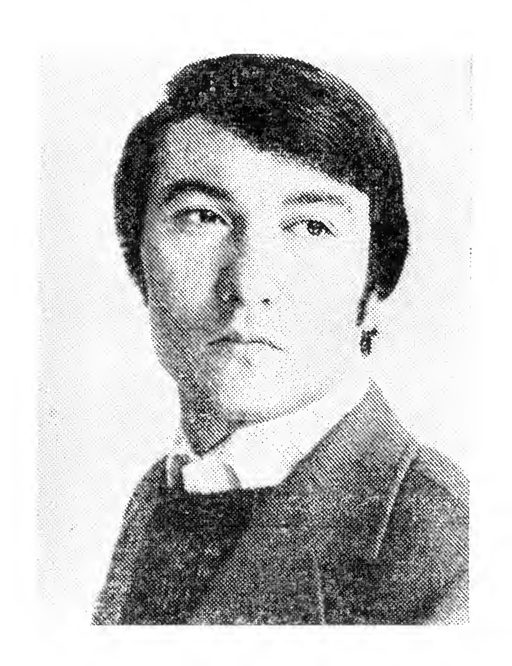
— Не знаю.

— Умид, да ты же чурбан бесчувственный!

— Оставь, давай-ка спать, а то я совсем растревожил тебя.— Умид перевернулся на спину. Усиливался гул суетливого города, почуявшего дыхание рассвета. Нахлынула тоска по родным цветущим краям, и захватила сердце тихая печаль моего друга. Я поклялся разыскать Калдыргоч. Разумеется же, где бы она ни была, Калдыргоч должна знать тайну сердца такого человека, как Умид. Может, мое врачевание принесет исцеление... и моему другу, и Калдыргоч...

Дорогой читатель, как по-вашему? Посоветуйте!

Перевод *Р. ГАЛИМОВА*



Прозаику Эркину АГЗАМОВУ 34 года. Родился он в Байсунском районе Сурхандарьинской области УзССР. Окончил факультет журналистики Ташкентского университета в 1972 году.

Эркин Агзамов один из тех писателей, которые пришли в узбекскую прозу семидесятых годов со своеобразной манерой письма, актуальной тематикой. Его рассказы, появившиеся впервые в журналах «Гулистон», «Шарк юлдузи» и на страницах других литературных изданий республики, сразу привлекли внимание читателей и литературной общественности.

Большинство произведений Э. Агзамова, повествующих о жизни современной молодежи, подкупают своей достоверностью, искренностью тона рассказчика, а главное, подлинностью человеческих характеров. Читаются они легко, увлекательно. Вероятно, этому способствуют мягкий лиризм, тонкий юмор, заключающиеся в языке этих произведений.

Э. Агзамов — автор трех сборников: «Ночь негаснущих огней» (1977), «Год рождения Атаи» (1981), «Голубой мир» (1984).

ЭРКИН АГЗАМОВ

ЯБЛОКИ РАМАЗАНА

ПОВЕСТЬ О МОЕМ ДРУГЕ

Он появляется ежегодно в одно и то же время, когда сходит последний снег и задувают озорные весенние ветры. Он как бы врывается вместе с ними, такой же озорной и буйный. Внезапно. На плече — да, на плече, а не в руках — потертый чемодан с надписью «Барнаул» на крышке. Прищурив левый глаз и неподражаемо улыбаясь, он неожиданно возникает в дверях. Затем, небрежно швырнув чемодан в сторону, как кидают мешок с барахлом и широко раскрыв объятья, кричит напоминающим мне беззаботное детство звонким голосом.

— Чантриморэ-э!

А меня при виде его охватывает тревога: прощайте спокойные дни! Теперь все вокруг погрузится в шум и гомон! Однако нет у меня права нарушать этот странный, но когда-то столь дорогой для каждого из нас обычай.

— Каламакаторэ,— невольно вырывается у тебя.— Опять приехал? И снова поступать?..

— Нет, только чтоб надоедать тебе,— говорит он и, словно стараясь еще больше разозлить меня, обнимает за талию и, приподняв, кружит по комнате.— Друг ты мой, дружище ненаглядный!

Потом, присев на корточки, он с трудом, после тысячи уловок, ухитряется открыть такой же непутевый, как сам хозяин, и такой же видавший виды чемодан. Комната наполняется запахом осенних яблок. С красными бочками в крапинку, со следами красного песка у основания плодоножки лежат в чемодане яблоки, невзрачные на вид яблоки местного сорта. Яблоки детства, запахи детства, от которых приятно кружится голова. И сразу многое вспоминается, ты глубоко вздыхаешь, и у тебя тоже появляется желание обнять его и сказать: «Дружище!» Но что-то, то ли накопившееся прежде раздражение, то ли гор-

дость препятствуют этому, и ты только недовольно ворчишь:

— Зачем ты приехал, Рамазан? Ведь все равно не поступишь!

— А если поступлю? — отвечает он, снова прищуривая левый глаз и расплываясь в улыбке.— А если поступлю?

— Не поступишь! Ей богу, не поступишь!

— Да ладно, приятель, это я так, к слову! Мне достаточно, что ты учишься. Оставим разговоры, лучше отведай этих яблок. Таких даже в райских садах не сыщешь.— Покопавшись в чемодане, он достает нечто, завернутое во много слоев бумаги.— Это тебе бабушка сузьму [1] прислала. Пусть, говорит, внучек себе чалоб [2] приготовит — жажду утолять. А то, говорит, бегая за городскими юбками, совсем небось умаялся!..

И чемодан, известный всему свету чемодан, после долгих шуток и прибауток наконец закрывается.

Чемодан этот Рамазан привез из Барнаула, возвращаясь после службы в армии. Помню, явился ко мне, как сейчас, нежданно-негаданно; жил я тогда в общежитии. Всю ночь напролет рассказывал о Барнауле и о том, как служил в тех краях, рассказывал громогласно, никому не давая спать. У него это выходило так, словно он в Барнауле родился и провел всю жизнь. «У нас в Барнауле вот так, у нас в Барнауле вот эдак». Для пущей важности он сдабривал свой рассказ русскими словами. И когда тебя начинало коробить от этого словесного потока и ты его пытался прервать, Рамазан замолкал на секунду, улыбаясь до ушей, а потом продолжал как ни в чем не бывало.

Утром, увидев, как я намыливаю щеки, чтобы побриться, он со словами: «У-у, салага!..» вырвал у меня бритву и стал показывать, как бреются по-солдатски; потом достал из чемодана флакон, надушил выбритые щеки и предупредил, что задержится у меня в гостях. А несколько дней спустя, вечером, вдруг заявил, что ему надо снова съездить в Барнаул. Я стал его отговаривать — в своем ли, мол, ты уме, что тебе там делать, раз уж отслужил... Тебя же, мол, дома ждут!.. Но он твердил в ответ: домой неохота. Получил, де-

---

[1] **С у з ь м а** — домашний творог из кислого молока.

[2] **Ч а л о б** — напиток из кислого молока, разбавленный водой.

скать, одно письмо... Что за письмо, я, однако, так и не узнал. После долгих уговоров мне, чуть ли не силком, удалось отправить его домой. И теперь, приезжая в город под предлогом поступления в институт, он каждый раз тихо вздыхает: «Может, мне куда податься, а, друг?» «Что, опять в Барнаул потянуло? — спрашиваю я раздраженно.— Ей-богу, у тебя, Рамазан, мозги не в порядке!» «Точно, не в порядке. Что делать, тянет меня туда. А-а, что тебе объяснять, все равно ничего не поймешь!».

Или вдруг — «Послушай!» скажет Рамазан, и, присев на край стоящего в углу чемодана, хорошо поставленным, как у диктора, голосом начинает вещать:

— Говорит Байсун! Начинаем свои передачи для байсунцев, проживающих вдали от родных мест! Послушайте новости вашего родного города!.. Ашур-лысый, отказавшись от курения наса[1], как пережитка прошлого, перешел на сигареты (хоть была бы от этого какая польза, что толку, если лысый вместо шапки наденет на голову модную шляпу — все равно каждому ясно: как блестела на голове его лысина, так она и продолжает светиться!), а его дед, накурившись кукнара, поругавшись с бабкой, переехал в дом к своей тетке. А теперь послушайте о событии, которое не дает покоя всему Байсуну. У деда Уккагара хранилась в доме жестяная коробочка. Ложась спать, он клал ее под подушку. Видать, коробочка была с секретом! Но когда дед умер, он прихватил ее с собой на тот свет. А мы-то надеялись! Эсанбердыев, единственный в истории Байсуна зловредный милиционер, выйдя в отставку и пройдя месяц обучения у какого-то муллы, стал носить чалму, и теперь ни одни поминки, ни одна помолвка без него не обходятся. Но однажды, проходя мимо милиции в чалме и с клюкой в руке, он, по привычке, отдал честь...

Слушая веселую болтовню Рамазана, словно и впрямь возвращаешься в Байсун, к его удивительным, веселым людям.

— А может, прогуляемся? — говорит он, кончив знакомить меня с «новостями».— Лагманом накормлю — до отвала!.. Небось, твой желудок переполнен четырехкопеечными пирожками из потрохов. Хорошо бы вам, студентам, скинувшись по четыре копейки, по-

---

[1] Нас — особо приготовленный табак, закладываемый под язык.

ставить памятник пирожнику, а? На площади в центре Бешагача! Это я так, в порядке совета...

Рамазану, с его отношением к жизни, нелегко было бы жить в городе. Порой на улице за него просто стыдно бывает: ходит, разинув рот, как простофиля, разговаривает во весь голос... Да и говорит чудно: трамвай называет «трехкопеечником», такси — «деньглотателем», ресторан у него — «регистран». Боже упаси попасться на дороге фотостудии — заорет от радости, будто золото нашел:

— О-о!.. Пошли! Пошли — запечатлеемся на портрете!

— Ну зачем тебе наши портреты?..

— Как зачем?! Странный вопрос! Зачем!.. На память! Вот ты когда-то станешь большим человеком, нос задерешь, а я приду к тебе на прием, вытащу снимок и скажу: «Во, гляди — мы же с тобой приятелями были!..»

— Ну, а дальше что?

— Как — что? Твой нос от стыда на место опустится...

— Так уж и опустится,— говорю я, поневоле начиная ему подыгрывать.— Но как бы вы хотели запечатлеться?

Тут Рамазан останавливается посреди дороги и с удовольствием, даже с упоением начинает показывать, как мы будем сидеть перед фотоаппаратом. Естественно, вокруг собирается толпа любопытных, но Рамазану все равно.

— Значит, ты сядешь на стул, вот так, нога на ногу,— расписывает он со смаком.— Глаза смотрят вперед... Вот та-ак! А я стану сзади. Хм! Моя правая рука у тебя на плече, а сам я... сам я смотрю на часы на своей левой руке! Вот так! Портрет будет называться «Два друга!» Ну, идет?..

— Э, нет,— говорю я, снова поневоле ему подыгрывая и постепенно входя в роль. Мне вспоминается фотография отца Рамазана, где он снят со своим однополчанином — фотография в рамке висит у них дома на стене.— Нет, эта поза устарела. Еще довоенных времен!..

— Ну, тогда давай в твоей фозе! — сразу соглашается Рамазан. Он так и говорит «фозе».— Сфотографируемся по-современному, под ручку!

Я согласно киваю, и мы оба весело смеемся. Нет, как бы ты его хорошо ни знал, как бы ни был наперед раздражен — устоять перед его веселой и естественной напористостью просто невозможно. Все для него — свое, каждый встречный — как родной брат. Слово, другое — и он уже нашел общий язык с совершенно незнакомым человеком!

В столовой, едва встав в очередь, он может запросто подойти к любому и сказать: «Слушай, приятель, займи-ка вон тот столик и принеси пока чаю!» Ты ждешь, что человек возмутится — ни с того ни с сего такая бесцеремонность, но все бывает наоборот: выбранная жертва только удивленно таращит глаза на Рамазана и с какой-то непонятной покорностью отправляется на поиски пустого чайника. И Рамазан не остается в долгу — за столом он шутит, смеется, стараясь поднять настроение соседу. Он может заглянуть в хозяйственный магазин и попросить таблетку от головной боли, и будьте покойны — таблетку тут же находят. Обращается он к людям всегда грубовато, а отвечают ему почему-то спокойным, вежливым тоном.

Вот такой наш Рамазан...

Однажды он укротил самого Таша!

Таш, хулиган из хулиганов, был на Бешагаче грозой района. Не знаю, правда это или нет, но рассказывали, что он трижды был судим за поножовщину и каждый раз его из тюрьмы вызволял дядя, который ходил в больших начальниках. Таш с удовольствием вспоминал: «Да, было такое. Ну, подумаешь, немножко пошутил!» Внешность у него была отталкивающая: невысокий рост, толстый, свисающий над ремнем живот, большая, круглая, как тыква, голова и круглое лицо, на котором едва различались узкие щели заплывших глаз. Когда он расплывался в улыбке — вас ослепляли два ряда золотых зубов. И стар, и млад — все его почтительно величали «ака», а сам он обращался ко всем по настроению, захочет — и почтенному старцу может «тыкнуть». У нашего кинотеатра с кучкой своих дружков он с утра до вечера лузгал семечки и приставал к прохожим. Пройдешь — не поклонишься, считай, житья тебе не будет. «Ну, что, учитесь? — покровительственно спрашивал он нас, похрустывая толстыми в татуировке пальцами.— Молодцы, учитесь. Выучитесь — и будете рисовать зай-

цев». Почему рисовать зайцев — я никак не мог взять в толк.

Однажды, проходя мимо кинотеатра, я подошел и почтительно поздоровался с ним. Он, как обычно, задал свой традиционный вопрос об учебе — и тут заметил стоявшего шагах в пяти от нас Рамазана.

— Эй, ты, поди-ка сюда!

— Чего тебе?! — Рамазан стоял, расставив ноги, со своим неподражаемо беспечным видом, и глядел на Таша как бы свысока.— Тебе нужно, ты и подойди!

Ну все, Рамазан, теперь ты погиб!

Но странное дело. Таш посмотрел на него пристально, и во взгляде его мне почудилась какая-то опаска. Потом, не продолжая разговора, он перевел взгляд на меня, покровительственно похлопал по плечу, повернулся— и пошел в кинотеатр!.. Он старался идти своей обычной вразвалку походкой, но в спине его проглядывалась явная напряженность. Ну и ну! Неужто испугался?.. И кого! Рамазана, который за свою жизнь и букашки не обидел!.. Правда, в тот раз при Таше его бражки рядом не было. Но, спустя несколько дней, он меня спросил: «А этот твой приятель — будь здоров! Кто он, а?» Я, как бы невзначай, бросил: «Да, уж такой. Четырежды судимый. Вот и сейчас только вышел на свободу». После этого Таш стал первым со мной здороваться.

Когда я про это рассказал Рамазану, он очень удивился.

— А чего это я должен его бояться? Что ему, Бешагач в наследство от бабушки достался?!

Вот такой наш Рамазан!

Первым, кто благословил нас с Маликой, был Рамазан. Я тогда только познакомился с ней, изредка, по выходным дням, мы ходили в кино, в театр. И однажды, чтобы повысить культурный уровень Рамазана, еще бы — он ведь с периферии, предложил ему как-нибудь сходить в театр вместе с нами.

В тот же день он раздобыл три билета на какой-то редкий спектакль, а в антракте угощал нас мороженым с шампанским, чем расположил к себе Малику. И вдруг как будто кто его за язык тянул, так, между прочим, сказал: «Наш Байсун, Малика, не такое уж плохое место!» От волнения я даже похолодел. Малика молча улыбнулась. Провожая ее после спектакля, я попросил извинения за бестактность своего приятеля,

на что она ответила: «Среди ваших друзей лучшего я еще не встречала».

Вот такой наш Рамазан!

Каждый год он приезжает в город поступать в институт. И хоть бы раз при этом вспомнил об экзаменах — вытащит учебники, что с прошлого года лежат у меня под кроватью в чемодане, да, так и не раскрыв, закинет их обратно.

— Давай лучше поговорим, приятель! — скажет он весело.

— Ведь ясно, что не поступишь, Рамазан, поезжай-ка по-хорошему домой,— говорю я, еле сдерживая возмущение.— Если ты поступишь, клянусь богом, я брошу учебу! Ведь про то, как ты учился в школе, ходят легенды!

— Нет-нет, ни в коем случае, я согласен всю жизнь прожить неучем, только бы ты не бросал института, а то Ташкент лишится талантливого поэта! — отвечает он, смиренно сложив руки на груди. И, хихикнув, добавляет: — Помнишь, как я по алгебре пятерку получил?!

Как не помнить. Учитель математики был у нас немного чудаковат. И вот однажды он, вызвав к доске Рамазана и не вытянув из него ни единого слова (Рамазан молчал, как попавший в плен стойкий партизан, которого пытали враги), вдруг сказал: «Хайдаров, я ставлю тебе пятерку, чтобы ты, десять лет проучившись в школе, не жалел об этом». И, действительно, вывел ему в журнале отличную оценку.

Рано утром, когда я досматриваю сладкие рассветные сны, Рамазан успевает принести к завтраку горку студенческих пирожков и свежий кефир. Потом, включив радио на полную громкость, пыля, подметает нашу комнату и дурным (никакого слуха!) голосом напевает всегда одну и ту же песню:

Будь счастливой, моя Зухрахон,
Коль тебя разлучат со мной...

После завтрака я отправляюсь в институт. Рамазан идет шататься по городу. Порой он исчезает на несколько дней. А однажды, возвратясь с занятий, я застаю его грустно жующим корку хлеба.

— Где пропадал?

— Да бродил...

Потом вдруг ему приходит в голову уехать в Барнаул, и я его долго отговариваю от этой затеи.

— Ну а чем мне тогда заняться, скажи?

— Отправляйся домой.

— Как?

— Купи билет, садись на поезд и езжай!

— Мне нужен бесплатный билет.

— А где ж твои деньги? Говорил мне, что их у тебя много.

— Были, да сплыли, приятель! Что делать...

Потом я узнаю: Рамазан, разыскав своих земляков-студентов, угощал их несколько дней, приглашая то в ресторан, то в чайхану на плов. Всласть погуляв за чужой счет, они весело посмеялись над простачком Рамазаном. А теперь Рамазан пытается деньги на дорогу выклянчить у меня.

Приехав поступать в институт, Рамазан отправляется домой так же неожиданно, как появился.

— Пора, думаю, возвращаться домой, приятель!

— Только честно, езжай и не тешь себя надеждой.

— Можешь ждать меня следующим летом!

Вот каков наш Рамазан!

Так уж жизнь человеческая устроена: по словам одной песни, «после радостей — неприятности по теории вероятности». А уж если человеку не повезет — начинается прямо-таки полоса невезения. Видно, в тот раз, когда похвастался я Ташу Рамазановой судимостью, эти слова ангелы благословили, напророчил — посадили Рамазана...

На следующий год он, как и обещал, снова появился со своим неизменным чемоданом и сеткой, полной яблок. Подарил Малике (я женился, мы теперь жили в своей квартире) шкуру степной лисы, которую сам, сказал, подстрелил на охоте,— прошлогоднее обещание,— пожил у нас два дня и, ничего не объясняя, взяв чемодан в руки, ушел неизвестно куда. Мы и не волновались, такое с ним и раньше бывало. Но спустя три или четыре дня после его исчезновения мне прислали повестку из милиции.

Я сразу понял, что это связано с Рамазаном: так уж, видно, мне с моей мягкосердечностью и всепрощенчеством на роду написано терпеть и страдать из-за его поступков. Встретил меня неожиданно грубым окриком рыжеватый следователь с синими глазами.

— Вас придется арестовать! Доигрались, голубчик!

У меня аж в глазах потемнело. Всего несколько месяцев назад я, закончив институт, устроился на работу в редакцию газеты. Прошлым летом женился, сейчас мы ждем ребенка (жена хочет девочку, а мне, честно сказать, хочется пацана) — и вот, в такой момент попасть в милицию? За что? Что могло случиться?

Следователь ознакомил меня с делом.

Оказывается, пять дней назад Хайдаров Рамазан был задержан в поезде «Ташкент — Новосибирск» с тремя чемоданами яблок и гранат и двумя коробками винограда. Тоже небось доказывал: «Хочется мне, приятель, разок съездить в Барнаул. Погулять, повидаться с друзьями. Соскучился я по местам, где служил». Садились в вагон двое, утверждал проводник. А когда зашли в купе с понятыми, почему-то второго не оказалось в вагоне. И вот, по предварительным показаниям, скрывшимся «главарем»-спекулянтом оказался я.

— Кто вам мог наговорить такую чушь?! Докажите! — возмутился я, прочитав протокол следствия.

— Ваш приятель, Хайдаров, признался!

Проклятый Рамазан! Значит, сам попался в ловушку и меня решил подставить? Трусливый спекулянт!

— Пригласите его сюда немедленно! Хочу поговорить с ним с глазу на глаз! Прошу устроить очную ставку.— Возмущению моему не было предела. Порывшись, я поспешно вытащил из кармана служебное удостоверение сотрудника редакции и бросил на стол следователю.— Можете удостовериться, никакого отношения я к этому делу не имею...

Следователь без особого энтузиазма пробежал глазами мой документ, сунул его мне обратно и спросил, испытующе глядя в глаза:

— Приятель ваш и раньше занимался спекуляцией?

Наверное, никогда я не прощу себе те слова, что выкрикнул тогда сгоряча.

— Может, и занимался, откуда мне знать?! Никакой он мне не друг, а просто знакомый, земляк!

— Ах, вот как? А он назвал вас своим другом, близким другом. Если я его сейчас приведу, сможете вы ему повторить то, что вы сейчас сказали?..

Я промолчал.

— Хорошо, вы свободны,— сказал следователь ледяным голосом и, расписавшись в повестке, протянул мне.— Не смогли бы вы известить его родных, что

в следующую пятницу суд? Кстати, про вас он ничего плохого не говорил. Сказал, что вы его приятель и что две ночи он ночевал у вас! И все!

Я, разинув рот, смотрел на следователя.

За два дня до суда приехали родные Рамазана — отец и брат, работавший в совхозе шофером. На отце был пахнущий нафталином пиджак, который украшали боевые медали.

И каждому встречному отец Рамазана твердил одно и то же:

— Сбежал он со свадьбы. Не любит он, видать, дочь дяди. Как только речь заходит о его женитьбе, под предлогом поступления в институт отправляется в Ташкент. И так каждый год с тех пор, как возвратился из армии. А тут еще мать тяжело больна, только и причитает: «Да неужто я так и умру, не погуляв на свадьбе сына!» Что он мог натворить?! Такой тихий, мухи не обидит.

А брат упрямо повторял:

— Да вы сами избаловали его, отец! Надо было связать ему руки и ноги арканом и насильно сыграть свадьбу. Чего ему, подлецу, не хватало, так нас опозорил!

Отец вдруг начинал сетовать на меня:

— И ты, голубчик, хорош, ведь образованный человек, умный, остановил бы своего несмышленого друга! И откуда только беда пришла...

Да и суд над Рамазаном был похож на него самого — ну просто смех! Судья, женщина средних лет в очках, двадцать лет проработавшая в суде, не могла припомнить такого необычного судебного заседания и тем более — такого странного обвиняемого. И чем больше на протяжении всего заседания она пыталась смягчить наказание (учитывая заслуги отца, сидевшего в зале в первом ряду, справку о состоянии здоровья матери и положительные характеристики самого Рамазана), тем больше сам обвиняемый врал и запутывал дело. Рамазан скорее был похож не на обвиняемого, а на циркового шута, прикидывавшегося дурачком. И вид у него был в самом деле шутовской — наголо остриженная голова, яркая пестрая рубаха с широким отложным воротником, как будто он нарочно, для смеха, и оделся так, и постригся наголо. Он паясничал,

словно все, происходящее здесь, к нему не относится, будто он пришел сюда просто так, повеселить собравшуюся публику. Когда задавали вопрос, он удивленно хлопал глазами, оглядывая каждого сидящего в зале, и затем, глядя в потолок, ляпал такое, что судья, сняв очки, то удивленно таращила глаза, то пожимала плечами, то хваталась за голову. Рамазан же, смущенно улыбаясь, подмигивал мне. То ли ему надоело следствие, то ли его сбили с толку наставления опытных дружков, сидевших с ним в камере предварительного заключения, словом, было ясно, что он совсем одурел и устал.

— Обвиняемый Хайдаров Рамазан, вы и раньше занимались такими делами? — спрашивал судья.

— Я, Хайдаров Рамазан, родился в 1950 году в Байсунском районе. После...

— Обвиняемый Хайдаров, я не спрашиваю вас, когда вы родились. Я спрашиваю, занимались ли вы и раньше спекуляцией?

— После окончания средней школы нес службу в рядах Советской Армии. Потом...

— Потом, потом...— злилась судья.— Хайдаров!.. Мы знаем вашу биографию, вот здесь все про вас написано. Вы нам ответьте: занимались ли вы и раньше этим делом?

— Каким делом?

— Ух-х! Спекуляцией!

— Не-ет... А, занимался, занимался.

— Вот те на! На предварительном следствии вы утверждали, что никогда прежде не занимались спекуляцией?

— Вообще-то не занимался.

— А что вы мне ответили минуту назад?

— Если я скажу: не занимался, вы мне поверите?

— Ух-х! Скажите, кто ваш сообщник?

— Сообщник, сообщник... не знаю... У меня не было никакого сообщника.

— Как же вы один смогли внести в вагон столько багажа? Может, кто-нибудь помогал вам?

— Никто не помогал, мы сами... то есть я сам все внес! Что, разве трудно поднять один чемодан? Да и было-то у меня всего четыре или пять килограммов яблок.

— Послушайте, Хайдаров, вас задержали с тремя чемоданами и двумя коробками, не так ли? Если вы

утверждаете, что у вас был один чемодан, тогда остальные вещи чьи же?

— ...

— Итак, они к вам никакого отношения не имеют. Ваш сообщник или незнакомец, заметив, что за ним следят, бросил все вам и убежал? Так, что ли, Хайдаров?

— Так... Нет-нет, все вещи мои!

— Обвиняемый Хайдаров! Соберитесь с мыслями, не спешите. Может, вы себя плохо чувствуете? Может, у вас голова болит? Тогда мы прервем судебное заседание!

— Зачем? Я здоровый...

— Тогда отвечайте: куда вы направлялись с яблоками, коробками винограда и гранат? Что собирались с ними делать?

— Я ехал в Барнаул, туда, где служил в армии. Отличные места!.. Навестить своих друзей хотел. У меня их там много.

— Выходит, все эти коробки вы везли своим друзьям?

— Нет, что вы, я им прихватил четыре килограмма яблок и все, чтоб с пустыми руками не ехать.

— А виноград и гранаты? Вы их собирались там продать?

— Зачем продавать? Ведь он... Знаете, я в Барнаул...

— Барнаул, Барнаул!.. А яблоки у вас откуда?

— Что значит откуда? Из моего сада. Приезжайте к нам осенью, увидите, сколько яблок в саду, даже земля вся усыпана ими.

— И стоило оттуда тащить с собой яблоки? Для подарка могли спокойно купить в Ташкенте.

— Здешние яблоки не годятся, они с горьковатым привкусом. А у нас такие яблоки, мы их так и зовем «байсунские», совсем иной вкус и запах. В других краях не растут такие. С виду-то они некрупные, но сладкие и сочные, попробуйте...

— Хорошо, хорошо, Хайдаров, потом попробуем...

— Отличные, однако, яблоки. Нынче и сорта пошли какие-то невкусные. Всякое прививают деревьям, что-то с чем-то скрещивают, а толку мало. Только у нас остались яблони нетронутые. Я-то сам яблок не люблю. Съем одно и достаточно. Мутит меня от них.

— Стало быть, яблоки из вашего сада, вы везли их из дома?

— Если не верите, вон — отец сидит, брат и друзья сидят,— спросите! Сад у нас большой! Или мне принести справку на четыре килограмма яблок?..

— Хорошо, допустим, мы вам верим. Итак, вы, прихватив с собой из дома четыре килограмма этих, как вы назвали, байсунских яблок, отправились в Барнаул навестить своих друзей, с которыми вместе служили. С одним чемоданом. Так, кажется?.. Тогда встает резонный вопрос: чьи остальные коробки с виноградом и гранатами?

— ...

— Акаджан, поймите, мы хотим помочь вам. Хорошенько подумайте и скажите правду. Ведь решается ваша судьба!

— Ападжан, простите меня на этот раз! Больше не буду!

— Я вам не апа!

— Ну, вы же сами обратились ко мне «акаджан», как же мне на это отвечать? Ни имени-отчества, ни фамилии вашей я не знаю...

— Не обязательно знать мою фамилию. Я для вас гражданин судья!

— Я тогда тоже гражданин!..

— Вы теперь обвиняемый! Раз виноваты!

— Я... виноват? Виноват, простите...

Судья, закрыв глаза, схватилась за голову.

Я сидел в зале и ничего не понимал. Казалось, все это происходит во сне. Разве наяву возможно такое!

Огласили приговор. Признанный виновным в спекуляции, Хайдаров Рамазан был приговорен к одному году лишения свободы.

Рамазан стоял, слегка склонив голову и пряча глаза. Услышав приговор, он поднял голову и, посмотрев в зал, как-то странно улыбнулся. Улыбнулся, будто его отправляли не в тюрьму, а в кругосветное путешествие.

После суда, когда все его родные и друзья, ожидая чуда (сейчас выйдут, скажут: «Извините, мы пошутили. Рамазан невиновен»,— и освободят), собрались во дворе под деревом, я вдруг увидел Таша. Он шел по двору в сопровождении лейтенанта милиции.

— Что такое? — спросил он встревоженно, тоже заметив меня.

— Опять он...— ответил я многозначительно.

— Того, да?! — Большим пальцем Таш провел у горла, как бы спрашивая: «Кого-нибудь прирезал?..»

— Почти,— сказал я. Не было настроения разговаривать с ним.

Таш понимающе кивнул: «Да, силен, брат, признаю!» и ушел под конвоем милиционера. Кто знает, может, не желая отстать от Рамазана, он и в четвертый раз что-нибудь натворил.

Но тут меня окликнул до боли знакомый голос.

— Эй, стихи твои прочитал — газеты нам тут дают!

Это был Рамазан. Руки за спиной, шагал он к «черному ворону» в сопровождении охраны, и его глаза светились радостью: «Прочитал твои стихи!..»

«Вот черт, — подумал я.— И что тебе до моих стихов, лучше бы о себе подумал!» Но эгоизм пересилил: «Надо же, даже там нашел время прочесть мои стихи!..»

Глядя вслед уезжающей машине, я почему-то вспомнил песню, которую любил напевать Рамазан: «Будь счастливой, моя Зухрахон, коль тебя разлучат со мной...»

— Твой друг — круглый дурак,— сказал мне коллега-журналист, присутствовавший вместе со мной на суде, когда мы возвращались домой.— Сам себя усадил за решетку. Ну, прямо чеховский «злоумышленник». А я читал когда-то — и не верил, что такие люди бывают в жизни...

Весь вечер я прождал у себя отца и брата Рамазана: вероятно, они обиделись на меня или, расстроенные приговором, сразу уехали в Байсун. Словом, они ко мне не пришли.

Прошло полгода с тех пор, а у меня кошки на сердце скребли — хожу или сижу, на работе нахожусь или дома — грызет меня что-то внутри: не выручил друга!.. Злюсь на себя. Ругаю Рамазана. Ругаю, а самому хочется его увидеть. Чувствую себя виноватым перед ним. Верно, он мне надоедал. Из-за него я попадал в разные истории. Может, он плут, мошенник и спекулянт, но все равно он мне друг! А теперь сидит в тюрьме... И даже не знаю, как он там. За это время я получил от него три письма, точнее три записки. В каждой из них было всего одно только слово: «Чантриморэ!..» И все!

«Чантриморэ!» — значит все в порядке. Чантриморэ... Каламакаторэ... Шады-глухой... Сказки нашего детства... Радость и веселье. Жил он возле нашей школы. Когда б ни повстречался, всегда улыбается. Мы, мальчишки, часто дразнили его (все равно не слышит!), а он улыбается. Круглый год он ходил, закутав шею теплым платком и натянув на голову ушанку. Вечерами он усаживался на супе возле своей калитки и, закрыв глаза, покачивался из стороны в сторону, словно в такт мелодии, которую себе напевал. Временами кричал вслед кому-нибудь из прохожих: «Чантриморэ!» — и если ему отвечали тем же, он выкрикивал: «Каламакаторэ!»

Дом его стоял в конце узкой, с покосившимися дувалами улочки. Холодными зимними днями, когда ударяли сухие морозы, мы с мальчишками заливали эту улочку водой, превращая ее в сплошной каток, а сами поджидали, спрятавшись за дувал, возвращения Шады-глухого с работы. Он, не торопясь, шел домой, не глядя себе под ноги, ступал на скользкое зеркало льда и в тот же миг, поскользнувшись, летел вверх тормашками. Ушанка слетала с его головы, а сам он подкатывал прямо к своей калитке. Из-за забора доносились наши радостные крики: «Чантриморэ!.. Каламакаторэ!..» Шады-глухой с трудом вставал на ноги, смешно переваливаясь с боку на бок, возвращался за своей ушанкой. Потом, смешно тараща глаза, грозил нам пальцем и уходил домой. Спустя какое-то время он появлялся, набрав в полы своего халата яблоки, и, выложив их горкой прямо посреди улицы на снегу, снова исчезал за калиткой. Мы, осторожно оглядываясь, по одному подкрадывались к этой кучке и, схватив каждый по яблоку, разбегались в разные стороны с криками «Чантриморэ!» А Шады-глухой, высунувшись из калитки, вторил нам вслед: «Каламакаторэ!»

И каждую зиму было так. Всякий раз мы заливали каток. Шады-глухой, зная об этом, неизменно все-таки растягивался на скользком льду, вставая, грозил нам пальцем, а потом угощал яблоками из своего сада. И это повторялось каждую зиму! Мы знали, что у него нет детей и что живет он вдвоем с женой в этом доме с большим яблоневым садом...

Но вот как-то раз на работе у меня зазвонил телефон, и чей-то голос попросил спуститься вниз. «Кто это?» — спросил я раздраженно и в ответ услышал волнующее, знакомое слово: «Чантриморэ!» Сердце заколотилось у меня в груди. Вернулся! Слава богу! Но каким образом? Когда?

Быстро спустился — напротив редакции, на противоположной стороне улицы, стоял улыбаясь Рамазан. Он слегка изменился. Глаза ввалились, лицо осунулось. Вид небрежный — брюки и рубашка мятые.

— Ну?! — сказал я взволнованно.

— Вот, приехал.

— Как? Отпустили? Досрочно? Вроде срок еще не вышел?..

— Бежал, приятель. Тебя захотелось увидеть,— раскрыв объятья, он пошел ко мне навстречу.

— Бежал?..— честно сказать, я поверил: чего только не дождешься от Рамазана! Поверил — и попятился назад.— Убирайся с моих глаз! — закричал я на него.— Видеть тебя не хочу! Оставь, пожалуйста, меня в покое!..

— И это ты так встречаешь друга, вернувшегося из заключения?

Выяснилось: дело пересмотрели и дали год условно с отбыванием обязательной трудовой повинности. До истечения срока он должен был работать на кирпичном заводе, что находился недалеко от города.

— Оправдали меня, приятель, оправдали,— все повторял он радостно.— Да и не виноват я вовсе.

— Как это ты не виноват? Объясни, пожалуйста. Безвинных не сажают!

— Но меня же посадили?.. В этом-то вся штука.— Рамазан высыпал на ладонь щепотку наса и ловко закинул под язык. Он здорово изменился не только внешне — как-то посерьезнел, раньше я этого за ним не замечал. Выплюнув табак, он облегченно вздохнул и, махнув рукой, сказал: — Да что с тобой говорить, все равно бесполезно. Ведь не поверишь. Потом как-нибудь я тебе обо всем расскажу. Но ты все же прав: невиновных людей не сажают. Вина!.. Вина есть — у кого ее нет, приятель? Вот эти, что с важным видом ходят вокруг нас, думаешь, чистенькие?

Рамазан в тот день заночевал у меня, а наутро отправился на работу. Работал укладчиком: надо склады-

вать штабелями только что изготовленные кирпичи — устаешь, кожа на ладонях покрывается волдырями и лопается. Раз в месяц ему полагался выходной. В день отдыха он приезжал в город, по старой привычке гулял, пока не проматывал всех денег и, как всегда, на обратную дорогу выпрашивал у меня.

Все тот же — наш Рамазан!

Через полгода истек его срок. В тот же день, купив на вечерний поезд билет в Байсун, он появился у меня.

— Приглашай всех своих друзей!

— Что это ты еще хочешь выкинуть?

— Давай на прощание посидим в регистране! Я угощаю!

Отпросившись пораньше с работы, я с четырьмя друзьями отправился в ресторан «Зеравшан», где Рамазан уже ждал нас. Он сидел, улыбаясь, за длинным широким столом, уставленным разными яствами, а увидев нас, присвистнул с искренней обидой.

— И это все твои друзья? Бедняга! Ну и скупец же ты! Не бойся, у меня карман большой!

В тот вечер мы хорошо погуляли. И больше всех веселился Рамазан. Как только заиграл оркестр, он выбежал на середину зала и отплясывал до изнеможения. Да и танец его был похож на него самого: он то шлепал себя по коленям, отстукивая цыганочку; то шел по кругу в быстрой лезгинке; то, подбоченясь, тряс плечами, издавая какие-то выкрики; вопил, скакал, корчил рожи, прыгал, улыбался, хмурился, приглашал по очереди на танец сидевших за другими столиками девушек, и они, ничуть не смущаясь, выходили отплясывать с ним; Рамазан кружил вокруг девушки, гоготал, рыдал, пугал, умолял, серьезнел, печалился, радовался... Аплодисменты, смех, радостные крики... Взгляды всех в ресторане были прикованы к Рамазану. Сегодня был его праздник, его торжество: забылись вчерашние печали, он снова в родной стихии, опять тот же неунывающий, веселый, простодушный Рамазан.

Выйдя из ресторана и простившись с друзьями, я поехал на вокзал проводить Рамазана. До отхода поезда еще было время, нам хотелось пить, и Рамазан под этим предлогом снова затащил меня в ресторан на вокзале. Сам он уже изрядно выпил в тот вечер. И вдруг стал изливать мне душу.

— Я тебе все скажу, слышишь... Все! Только не поверишь ведь, приятель. Знаю я, не поверишь! А жаль! Хоть на этот раз поверь!..

Вот что он мне рассказал.

В тот злосчастный день Рамазан действительно собрался ехать в Барнаул. В ожидании поезда решил пообедать в ресторане. За столиком познакомился с пожилым мужчиной, как оказалось, его попутчиком. Потом Рамазан помог своему новому знакомому поднести вещи к вагону — те злополучные чемоданы и несколько коробок. Перед самым отправлением поезда к ним в купе заглянули двое мужчин. Почувствовав, что за ним следят, сосед по купе стал слезно умолять Рамазана выручить его и признать часть вещей своими. «Пронесет, поделимся выручкой. Меня уже знают, поймают — не миновать мне тюрьмы. А у меня жена, маленькие дети. Вы молоды, вам простят». Простачок, добрая душа, Рамазан согласился, поверил пожилому человеку. И тут его окружили милиционеры. «Да, это мой багаж,— ответил он в замешательстве.— Все мое!» Оглянулся — а того мужика и след простыл, исчез, как в воду канул.

— Ну вот, я же вижу, что ты мне не веришь. Я так и знал,— говорит Рамазан разочарованно и, махнув рукой, добавляет.— Никто не верит.

— Почему всего этого ты не рассказал на суде?

— Говорил я на следствии, тысячу раз повторял. А следователь и слушать не хотел. Не верил. А что поделаешь, коль попался в руки с поличным? Попался — отвечай. Ведь все равно не отпустят, пожурив и похлопав по плечу? Да и следствие это, и предварилка — до чертиков мне надоели. А, думаю: будь что будет!

— Ну, дурак! Послушаться какого-то подлеца, мошенника... И надо быть таким идиотом? Да я бы, хоть убей, не поверил ему...

— А я вот поверил, дружище, что теперь делать? Сказал, что у него семеро детей, и все девочки. И что трое уже взрослые, и пора выдавать замуж, а он работает сторожем на заводе, и денег на содержание семьи не хватает, да еще жаловался на больную печень. Поглядел бы ты на него тогда — тоже бы поверил.

— Ну и получил награду за доверие! И тебе тоже надо было дать деру. Бросить все и бежать. Или уж

сказать сразу, что эти вещи не твои. Голова ты, голова! Пусть бы все конфисковали. Тебе-то что!

— Тогда бы его поймали! Я же обещал его выручить. Это было бы нечестно с моей стороны.

— Ух-х! — я даже завыл. — Да пусть бы его поймали и посадили за решетку! Поделом ему! Нет, ей-богу, ты ненормальный,— слово он, видите ли, дал! Сироток пожалел — кто их, бедненьких, замуж выдаст!.. А что это был отъявленный негодяй, спекулянт высшей марки — тебе и невдомек! Они все такие жалкие...

— Это вам видней, писателям. Вы на язык остры, находчивы. Как не верить, когда убеленный сединами человек слезно умоляет помочь? Да, ладно, приятель, что теперь горевать — что было, то прошло и быльем поросло. На мир я и через решетку посмотрел, не повредило...

Обхватив руками голову, Рамазан сидел за столом и задумчиво смотрел в окно. Тихий, скромный. «Могут не нравиться его поступки, с ним можно во многом не соглашаться, но не любить его нельзя!» — подумал я.

А он, подмигнув мне, вдруг сказал:

— Сейчас подойдет новосибирский, может махнуть мне в Барнаул, а?

— Клянусь!— сказал я сердито.— Не быть мне мужчиной, если не сдам тебя в милицию! Хватит морочить голову!..— Тут я взглянул на него пристальней: на лице у него было прежнее беспечное выражение, словно ничто и ничему его так и не научило. Я вдруг почувствовал, что устал и волноваться, и возмущаться.— А, ладно!..— сказал я.— Езжай, куда хочешь! Только здесь больше не появляйся!..

Рамазан поднялся — и ушел. Когда поезд тронулся, сквозь перестук колес до меня донеслось знакомое: «Чантриморэ-э!..» Ответ застрял у меня в горле. Поезд уже не остановить. Ни мне, ни Рамазану. Уехал Рамазан и теперь действительно не вернется!

Вдруг и люди вокруг меня, и весь шумный город показались мне серыми и скучными.

Рамазан в самом деле больше не возвращался. Я слышал от друзей, что живет он в Байсуне, женился на дочери дяди (мать, видно, уже поправилась). Построил себе дом и, поговаривают, собирается отметить рождение сына.

Прошлой осенью я был в Байсуне. Возвращаясь с приятелем из гостей, я проходил мимо базара. Приятель толкнул меня в бок.

— Узнаешь своего старого друга?..

Рамазан! Он стоял, засучив рукава, за прилавком, перед полным ящиком яблок и громко зазывал прохожих. Червячок у меня в душе закопошился: «Не случайно его тогда осудили...» И тут же оборвал себя: «Что поделаешь, нужно кормить семью, каждый крутится, как может».

— Говорят, в Барнауле яблок мало уродилось, не лучше ли туда поехать продавать,— сказал я, подойдя к нему сбоку.

— О-о! Кого я вижу!— лицо его засветилось улыбкой.— Я уж подумывал так поступить, да не было советчиков. А урожай у нас хорош — вся земля яблоками усыпана. Как говорится, яблоку негде упасть. Скоту скормить — душа болит. Лучше уж, думаю, так — не пропадать же добру,— Рамазан выбрал из кучи по два больших яблока и протянул нам с приятелем.— Попробуйте, таких и в райских садах не сыщете!

Мы немного постояли, поболтали о том о сем. Между разговором он все же продолжал зазывать прохожих, наполняя их сумки, карманы, а если не во что было положить, то просто клал за пазуху.

— А почему ты денег не берешь за яблоки?— поинтересовался я.

— Родственник отца, неудобно.

— А это?

— А это знакомая, соседка...

— Если тебе действительно их некуда девать, что ж не сдашь государству?..

— А что, я им должен? Дешево покупают!

— Ты же все равно даром отдаешь?

— Так то ж знакомым да родным.

— У тебя же в Байсуне чужих нет.

— Есть!— улыбнулся Рамазан.— Вот ты, например. Человек городской, ненашенский!

Вечером он принес к нам домой целую сетку отборных яблок.

— Какое-никакое, а ты все ж носишь звание поэта. Неприлично тебе, думаю, ходить по улице с авоськой, авторитет твой испортится...

«Авторитет испортится!» Это только Рамазан так может сказать!

Вот вам и Ра-ма-зан!

...Рамазан, друг, приятель, вот, по мере сил, я постарался рассказать о тебе. Не принимай близко к сердцу, если я где-то хватил лишку. Но, что поделаешь, таково писательское ремесло, нельзя иначе.

Если тебя интересует моя жизнь, то живу я попрежнему — размеренно, спокойно. (По-моему, даже слишком!) Я не ною, не плачусь! Всего у меня хватает! И все же чувствую — чего-то не достает! Может, больших забот, беспокойства или чего-нибудь такого, что не оставит человека равнодушным... Я не удовлетворен собой, своими делами. Все, что я написал,— мне кажется мелким, ненужным, незначительным. Придя на работу — ожидаешь какого-то чуда и дома ждешь, и все напрасно! Порой хочется биться головой о стену — авось это что-нибудь даст!..

Эти стенания не жалобы, Рамазан,— а исповедь души!

Вчера ночью меня разбудил чей-то кашель. Я долго ворочался в постели, не в силах заснуть — за стеной слышался сильный, глухой кашель, звук такой, будто вбивают гвоздь в бетонную стену. «Не дочь ли?» — подумалось мне. Сон совсем пропал. Проснулась жена и, встав, пошла проведать дочь, которая спала в соседней комнате. Возвратившись, успокоила: «За стеной соседский ребенок плачет!» И в тот же миг я успокоился и заснул.

Почему так, Рамазан?

На прошлой неделе в полночь зазвонил телефон. Звонили из Байсуна. Оказалось, у моего земляка, живущего в Ташкенте, умер дядя, родные просили, по возможности, передать ему, что утром похороны. «Извините за беспокойство в столь поздний час, но уж не откажите в помощи!» И еще тысячу извинений за причиненное беспокойство, с пожеланием всяческих благ. С работы я возвратился усталым, время было позднее, и я решил про себя:«Племянник живет на окраине города. Утром похороны дяди, что я сейчас поеду к нему, что утром позвоню на работу — все равно на панихиду не успевает». Ясно, что не успевает, но...

Вот так, дома у меня стоит телефон! Каждый день усталый возвращаюсь с работы. Почему так, Рамазан? Как бы ты поступил на моем месте?

Один из моих друзей писателей, присутствовавший на твоем суде, как-то спросил меня: «А где этот твой приятель-чудак, который сам себя засадил за решетку? Чем занимается?»

А разве ты был чудаком, Рамазан? И сейчас тоже не изменился? Ты не меняешься. Но почему изменился я? Почему я стал таким? Почему я посмеивался над твоими сетованиями? Почему так и не сфотографировался с тобой, «не запечатлелся на портрете»? Будь у меня такой снимок, я бы теперь повесил его на самом видном месте.

Утром в субботу лень рано вставать, долго валяюсь в постели — это результат недельной бестолковой и бесполезной гонки, разных дел. Лежу неподвижно, оцепенелый, в ожидании какого-то чуда... Вот сейчас ты ворвешься в комнату. Неожиданно. Шумный, полный забот и тревог. Привезешь с собой яблок из своего сада. «Чантриморэ!» — скажешь ты, раскрыв объятья. «Каламакаторэ!» — отвечу я.

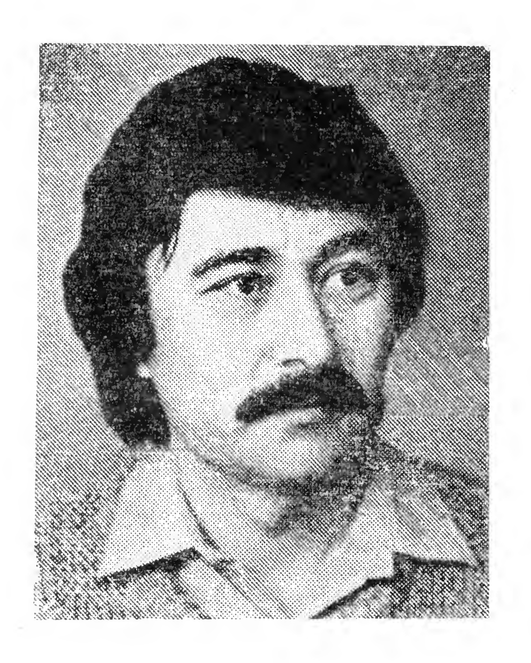
Что означают эти слова, Рамазан? Из какого они языка и в чем их смысл? Я не знаю, и ты тоже. Спросить бы у Шады-глухого, но его уже нет — умер в прошлом году. Что-то случилось с головой. Это после контузии. В войну получил.

Никого и ничего после него не осталось — ни детей, ни наследства. Остались только эти слова: «Чантриморэ! Каламакаторэ!»

Что они означают?

Мне кажется, это могли бы понять только мы двое — ты да я.

Перевод *Камрона ХАКИМОВА*



Мурад Мухаммед ДОСТ родился в 1949 году в селении Джам Самаркандской области. Учился на философском отделении Ташкентского университета, работал учителем в сельской школе. В 1979 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Руководитель его творческого семинара писатель Григорий Бакланов, предваряя первую публикацию М. Мухаммед Доста в журнале «Дружба народов» в 1979 году, писал: «Мухаммед Дост хорошо знает то, о чем пишет, и хорошо знает людей. Создается даже впечатление, что он мог бы рассказать о них гораздо больше, чем позволяют рамки короткого повествования... И колорит, и особенности мышления, и характеры людей выписаны достоверно, живо, хорошо». С тех пор прошло несколько лет. Ныне М. Мухаммед Дост знаком узбекскому читателю как автор ряда рассказов и повестей, в том числе: «Галатепинцы», «Цена одного жеребенка», «Отставной», романа «Плаксивый Хануман, или Сказание о счастливчике Хайбарове». По его сценариям поставлены художественные фильмы «Уроки на завтра» и «Пророк из Галатепе».

МУРАД МУХАММЕД ДОСТ

МУСТАФА

Мустафа живет на западной окраине Галатепе, на склоне холма, сразу за прудом Ибадулло Махсума. Справа от него разместился двор Камиля Письмоноши, а слева — двор Маматкула. Он пустует уже десять лет, с тех самых пор как Маматкул переселился в новый каменный дом на другой стороне долины. Старый же его двор остался пустовать. Случается, в зимнее время пригоняют сюда овец, чтобы назавтра поутру продать. Накормят их, напоят, а рано утром погонят, сытых и отдохнувших, на большой воскресный галатепинский базар. Летом старый двор обыкновенно пуст. У иного такой двор давно бы превратился в обитель сов и ядовитых змей. Но Маматкул человек прилежный и обстоятельный, и каждую осень, едва спадет жара, он принимается обновлять свой двор. Чинит дувал, ворота, мажет крыши густым месивом из глины и самана, и смотришь — перед тобой двор как двор, почти новенький, и только тем и нехорош, что человек в нем не живет.

Другой двор, что справа от Мустафы, трудно даже и двором назвать, поскольку в нем начисто отсутствует дувал... Пять или шесть батманов дикой земли, заросшей бурьяном и тамариском, маленький домик без айвана, лицом к солнцу, чуть правее — коровник, где пегая корова Камиля Письмоноши соседствует с почтовой клячей,— вот и весь двор. Что касается двора самого Мустафы, то он тоже без дувала, но это уже особая статья... Вместо дувалов Мустафа вбил когда-то в землю колы тала и хлебной джиды. Колы эти оказались живучими. Прошло немного времени, и они принялись выпускать побеги, а те — еще побеги, так и пошло, вверх, вбок, ввысь, вкось — и выросла сплошная живая изгородь, такая густая, что даже кошке не пролезть. Этим и красив теперь двор Мустафы: войдешь — и глазам радостно! Со всех сторон живая, метров в пять высотой, изгородь, напротив ворот, в самой глубине двора — аккуратный домик с айваном и дву-

мя молодыми чинарами по бокам, справа от ворот — большой хлев, круглая кошара для овец под широким брезентовым навесом о шести высоких жердях. Во дворе еще четыре равных клочка земли, три из них засеяны клевером, один кукурузой, а на межах между ними растут несколько низеньких скороспелых яблонь.

Ранней весной изгородь Мустафы желтая — это талы распускают свои сережки. Затем сережки упадут, и изгородь вся покрасится в зеленый цвет таловых листьев. Так и стоит она до самого лета, зеленая-зеленая, а летом снова меняет цвет. Сереет изгородь, сереет, сереет, пока совсем не превратится в серебристую — теперь уж считай, что пришла очередь за джидой. Когда джида начнет выпускать цветочки, дней на десять изгородь станет опять ярко-желтой, отпадут цветочки — снова серебристая с зеленой полоской талов сверху, а к осени еще раз пожелтеет... Мустафа любит свою изгородь, ухаживает за ней, словно молодуха за цветником в первый год замужества. Благо вода рядом, старый арык, с эмирских еще времен, огибая холм, протекает чуть выше двора Мустафы. Стоит коснуться кетменем, и тут же побежит вода вниз — к Мустафе, а там, глядишь, и до Камиля Письмоноши. Но Камилю Письмоноше вода ни к чему. Огорода у него нет, деревьев тоже нет, и вообще ничего подобного у Камиля Письмоноши нет. Есть у него одна пегая корова и еще одна старая кляча, на которой он разъезжает от зари до заката по кишлаку, развозит людям письма, газеты, деньги... И жену подобрал себе под стать, не любит она дома сидеть, стоит Камилю Письмоноше сесть на свою клячу, как она берет в охапку прялку с клоком шерсти и уходит куда-нибудь посудачить.

Мустафа и Камиль Письмоноша не дружат. И жены их не дружат. К тому же у них большая разница в возрасте: Камиль молодой, ему еще и шестидесяти не исполнилось, а Мустафе прошлым летом перевалило за семьдесят. Слава аллаху, сил у него пока достаточно. Ни к кому он не лезет, живет себе тихо, скромно, спокойно.

Денег у Мустафы хватает. У него их столько, что жить бы им с женой припеваючи до конца своих дней. Но не умеет сидеть Мустафа без дела. Едва наступает весна и чуть оживет земля, Мустафа начинает пахать.

Пашет он выше эмирского арыка, на верхнем склоне холма. Опояшет холм одной бороздой, принимается за вторую, потом за третью, четвертую — и так до самой макушки холма. На вспаханной земле Мустафа сеет клевер, сажает дыни, кормовые арбузы для коров. А коров у него много, целых четыре. Еще он держит баранов на убой. Откормленных Мустафой баранов всякий мясник считает за счастье купить. Ходила даже легенда, будто однажды Мустафе пришлось подставить под курдюк своего барана большой табурет, до того оказался жирный баран... Но это, честно говоря, чистейшая выдумка, на которую способны лишь одни мясники. Нет у Мустафы никакого табурета. Это другой человек, Манзар-палван, а не Мустафа, так похвалялся перед Ибадулло Махсумом. Но и другое верно. В день, когда мясник Салех достиг возраста пророка, то есть когда ему исполнилось полных шестьдесят три года, он купил у Мустафы гиссарского барана с огромным курдюком, и мясо этого барана оказалось таким жирным, в пиршественном казане плавали одни лишь белые кусочки. Отличная тогда получилась шурпа у мясника Салеха. Перед тем как разрубить тушу барана, мясник Салех повесил ее на рогатине яблони и, позабыв, что сам угощает народ, долго любовался этой тушей, всячески прищелкивая языком и приговаривая:

— Ах, Мустафа!.. Велика же твоя доброта, Мустафа!.. Ты воистину мусульманин, Мустафа, ибо сам пророк наш Мухаммед любил такое мясо, хорошее вкусное мясо и упитанных женщин!..

Сам Мустафа тоже был на этом пиршестве, но, когда его спросили, каким же образом удалось ему откормить столь божественного барана, так и не смог ничего толком сказать. Пришлось за него ответить Ибадулло Махсуму:

— Видать, он научился у Манзара-палвана подставлять под курдюк табурет.

И удивился народ искусству Мустафы. А вот когда резали барана у самого Манзара-палвана, то хоть и хвастался он своим табуретом, не было такого удивления. Да и баран Манзара-палвана, хоть и подставлял Манзар под его курдюк табурет, не оказался таким жирным, и шурпа из того барана не получилась такой вкусной, как у мясника Салеха. Покойный мулла Данияр, любивший отменно покушать, оказывается, под-

лил в казан целый черпак кунжутного масла, видать, шурпа из барана Манзара-палвана показалась ему слишком постной.

Что-что, а откармливать баранов Мустафа умеет. У других так не получается. Поэтому зря завистники посмеиваются над ним. Скажем, всем галатепинским мужикам странно, что Мустафа ни разу в жизни не стриг своих баранов. Но тут все проще простого, не стоит даже и удивляться. Мустафа это делает исключительно ради бараньей шкуры. Даже продавая баранов на убой, он может скинуть с каждой головы по пять-десять рублей, но ни за что не отдаст шкуры. Шкуры он оставляет себе. Его старуха выскребет потом из шкуры остатки мяса и крови и начнет разминать так и сяк, пока шкура совсем не отмякнет, потом умастит ее соленым творогом и опять помнет... После окончательной выделки, которая, впрочем, длится не одну неделю, она возьмет несколько таких шкур и сошьет из них коврик. Оба они, и она и Мустафа, люди уже пожилые, овчина им пригодится, особенно зимой. Иногда старуха выделывает шкуры специально для Мустафы. Тогда Мустафа берет в руки шило, большие ножницы, дратву, воск и шьет себе и жене мягкие кауши. Если захочет, то может сшить и сапоги. И такие сапоги очень пригодятся зимой. Да и весною они удобны. Если есть тонкие портянки, то их можно носить даже в летнее время. Слатает Мустафа одну, две пары таких сапог, сядет на своего осла и поедет в Сарсан, где кузнец Салим сделает им набойки. А до Сарсана совсем недалеко — стоит перейти один перевал, а там, при подъеме на другой перевал, уже виден Сарсан. После кузнеца надо будет сапоги как следует натереть бараньим салом, высушить в тени — и вот они уже готовы. Надевай и иди вброд хоть через Зерафшан, вода в них не попадет.

В самом Галатепе мало ценителей таких сапог. Тут народ «чересчур культурный», как сетует иногда Ибадулло Махсум, и носят они готовые сапоги из магазина. Да есть еще у них какое-то дурацкое суеверие, верят они, будто сапоги, подбитые желтыми гвоздями, хороши, а белыми — никудышны. И носят они большей частью сапоги с желтыми гвоздями, хотя и те и другие разваливаются через каких-нибудь полгода. Мустафе иногда даже обидно бывает, что в родном

кишлаке не ценят его сапог. Но зато в Сарсане, который вовсе не его родной кишлак, не встретишь ни одного кузнеца (а там, почитай, одни кузнецы и живут) без мустафинских сапог. Мустафа за свое изделие денег не берет. Один, едва открыв в воскресенье на галатепинском базаре свою походную кузницу, подкует у Мустафы ослика, другой делает ему хорошие шила, третий — железный кол для привязи скота, четвертый — еще что-то, не важно что, но очень полезное и хорошее. Словом, каждый старается отблагодарить тем, на что горазд. Скажем, шорник Мавлян из Чонкаймыша сам не носит мустафинские сапоги, но поскольку жене его по вкусу мустафинские кауши, то шорник снабжает Мустафу воском, нитками и жилками собственной выделки. Да и тесемки из бараньей шкуры у шорника Мавляна очень хорошие. А без этих тесемок Мустафе просто не обойтись. Мустафа, сам хоть и не делает, подобно шорнику Мавляну, конские седла, зато умеет мастерить крепкие седла для ослов, конские покрывала и потники.

Конские потники, которые делает Мустафа, тоже славятся на всю округу. Тут уже требуется хороший воск, липкий, без лишней примеси. Не смажешь нитки таким воском, считай, что потников у тебя нет, назавтра же подопреют все нитки и потники развалятся. Конь — это тебе не ханская жена, он потеет. Да и ханские жены, по свидетельству Ибадулло Махсума, потели, но им потники были ни к чему, а вот коню они необходимы.

Иногда Мустафа покупает у колхозного амбарщика серый войлок. Из такого войлока потники или покрывала для коней не сошьешь. Но для коров он просто незаменим. И делает из него Мустафа тонкие покрывала для своих коров. Баранам — нет, у них шерсти полно, а вот коров все-таки надо держать в тепле, особенно в зимнюю стужу. Впрочем, один только Мустафа во всем Галатепе и держит коров под покрывалом. Остальные так не делают. А у Мустафы это идет, так сказать, от самой его природы — Мустафа и сам не выносит холода. Зимою он ходит в большом тулупе, а летом — в шерстяном чекмене. Сперва в этом чекмене кажется очень жарко, потом становится еще жарче, пот так и катит градом с тебя, но дальше уже прохладно делается, как только собственная же твоя влага начинает остужать тебя. Но это хорошо, когда

особенно жаркая погода и нет ветра, при ветре опасно так потеть, можно простудиться.

Мустафа, хоть и кажется великаном в своем тулупе и чекмене, в самом деле отнюдь никакой не великан. Ростом он даже ниже среднего, но жилистый, сильный. Оттого, что жилистый, незаметно даже, стареет он или нет. Какой был тридцать лет назад, такой же остался и по сей день, все тот же Мустафа, сын Хамракула, внук Нуркула, трудяга, вечно занятой человек.

Трудно что-либо сказать о других стариках, но Мустафа один в состоянии нагрузить на осла пудов пять. Может ли он нагрузить пять пудов на коня, мы не знаем, ибо Мустафа еще ни разу не держал коней. Мустафа считает, что кони — это удел больших людей, пускай они и ездят на них. Поэтому, хотя он не слишком разбирается в скачках, но то и дело расхваливает пегого мерина колхозного председателя. Даже грудастый белый скакун Якуба-козлодера, чистейший карабаир, не кажется ему таким породистым, как тот щупленький председательский мерин. «А почему это лошадь Якуба-козлодера так вперед рвется? — да все оттого, что у нее душа болит,— думает он.— Якуб-то-козлодер бьет своего коня без пощады, как же ему не прорваться сквозь толпу всадников? Попробуй не побеги, когда тебя камчой по голове бьют! Якуб-козлодер бьет, а ему еще за это деньги платят...» Так Мустафа думает о белом скакуне Якуба-козлодера, но об этом никому не говорит. Даже своей старушке. Боится, как бы старушка не засмеяла его. Но выскажи он ей свои мысли, она бы его не засмеяла. Слишком она уважает своего старика. Она-то знает, что многие одногодки Мустафы давно передвигаются только с помощью палки, стали ворчливы, как дети, а Мустафа — нет, держится сам, бодро тащит пока свои кости... Есть еще, значит, сила, есть, значит, за что уважать старика. Скажем, Назар Махдум, сын муллы Сунната, одногодка Мустафы, сперва взберется на осла, а потом кричит жене, чтобы та отвязывала осла от привязи. Да еще сердится, что жена такая нерасторопная. Это называется, он едет на мельницу... Да и там, на мельнице, пальцем не пошевельнет, ждет, пока мельник сам не погрузит на осла мешок с мукой. И еще ворчит на мельника, он, мол, такой да сякой... Разве Мустафа так когда-нибудь поступил бы? Вон сколько лет живу

вместе, хоть бы слово дурное сказал!.. Совесть, значит, есть у старика. Умрет, но никому не станет обузой!..

Когда надо резать бычка у Мустафы, мясник Бако всегда приходит один. Больше никого не приглашают. Вдвоем они быстро справляются с бычком, схватят и мгновенно свалят его на землю. Мустафа сам свяжет бычку ноги, потом уйдет, чтобы не видеть крови. А мясник Бако спокойно развяжет свой холщовый мешок, возьмет оттуда топор и бьет по голове лежащего на земле бычка, наметив попасть ему между глаз. Это он так привык работать на большой городской бойне. Там всегда топорами оглушают быков. Этого бычка можно даже не оглушать, так он смирно лежит у ног, но мясник Бако так уж привык — оглушает. Только потрет свой длинный тонкий нож и вонзает его в шею бычка...

Пока мясник разрезает шкуру бычка, Мустафа сидит за воротами возле большой навозной кучи и наблюдает за кишлаком. Отсюда, со склона холма, кишлак хорошо виден. Каждый раз, когда Бако режет скот у него во дворе, Мустафа приходит сюда и смотрит на лежащий под ним кишлак. Если дело происходит летом, то он больше смотрит на колхозный сад, который начинается сразу же за прудом Ибадулло Махсума. Если выдался большой урожай, то Мустафа думает, что урожай большой, значит, и денег будет много; если плохой урожай, то он думает, что урожай плохой, значит, и денег будет мало. В последнее время Мустафа часто думает о том, какими плохими стали урожаи и как мало за них выручают денег... Постарели яблони, и урюки постарели, а персики, те и подавно стали дряхлые, стволы покрылись шишками, много на них белого жира клейковины, муравьев, которые пожирают эту клейковину... Земля зря пропадает, думает Мустафа, пора уже вырубать сад... Если вырубить, то дров много будет. Детей Апсамата попрошу, не откажут, надеется Мустафа, могут же они и ко мне во двор занести несколько охапок дров... Хороший был сад, думает Мустафа с грустью, хороший был сад, если не считать ненужных двух лип, то все деревья плодоносили. Плодов было много, и денег за них много выручали, жаль, теперь весь сад превратится в дрова...

Зимою Мустафа старается не смотреть на колхозный сад. Зимою сад неприглядный: всюду снег, деревья голые, сплошь и рядом торчат из-под снега обломанные ветки... Смотрит Мустафа то на белый снег, то на свою белую бороду и думает, что и сам уже постарел, вот и борода совсем белая стала... Думать о старости ему неприятно. Поэтому он любит смотреть в сторону Чонкаймыша, большой снежной вершины на востоке. Думает тоже только о Чонкаймыше. Если на вершине много снега, то Мустафа думает, что будущей весною непременно обрушится сель. Лишь бы только этот сель не унес дом Сатвалды, у самого обрыва над речкой. Почему этот Сатвалды до сих пор не удосужится откочевать в безопасное место?.. В позапрошлом году селем унесло у него годовалого телка, а в прошлом году утонула рыжая корова... Сам без конца хвастал перед людьми, что рыжая по два ведра молока в день давала, сам же и сглазил ее... Не хвалился бы Сатвалды, может, и корову его не унесло бы селем... И вообще, сель не разбирает, какая корова много молока дает, какая мало, уносит — и все. Эх, дурень же этот Сатвалды!..

Думать, что Сатвалды дурень, Мустафе тоже неприятно. Тогда он попристальней вглядывается в снежную вершину и думает о другом. Если в субботу в Чонкаймыше выпадет много снега, размышляет Мустафа, то никто не приедет на базар продавать морковь, и многие галатепинцы останутся без плова. Ему становится жалко и чонкаймышцев, которые из-за снега не приедут продавать морковь, и своих несчастных галатепинцев, которые не смогут сварить себе плова. Потом его взгляд переносится на близлежащие холмы. Снега полно навалило, думает он, если еще две-три недели так будет идти снег, земля насытится, травы будет много, и урожай дынь будет большой... То, что урожай дынь будет большой, радует Мустафу. Дынь много, значит, и корок от них много, куда же их денешь, не пропадать же коркам... Баранов ими можно кормить... И Мустафа тут же решает купить еще пару баранов. Мысль о баранах возвращает его снова во двор, где он оставил мясника и бычка. И он вспоминает те дни, когда этот самый бычок, которого он помог Бако свалить, был еще теленком и все бегал по двору, высоко задрав хвост, а потом, вялый и вымотанный жарой, подолгу лежал в тени под навесом...

Грустный, очень грустный возвращается Мустафа во двор. В это время мясник Бако уже успевает содрать полшкуры, и теперь принимается за вторую половину. Увидя скорбное лицо Мустафы, он ухмыляется и тут же лезет за голенище сапога, вынимает нож и, как ни в чем не бывало, протягивает его Мустафе. Тот поневоле занимает место рядом с мясником и тоже принимается кончиком ножа отдирать шкуру. Хороший был бычок, думает он, очень хороший... Ему до того жаль несчастного бычка, что он изо всех сил старается не порезать его шкуру. Мустафа — плохой мясник, вернее, совсем никакой не мясник, он страшно боится крови. Вот это-то больше всего и забавляет мясника Бако. Он начинает остервенело сдирать шкуру большим стальным ножом. Под руки он не смотрит, знает — работа его спорится, он смотрит на Мустафу — очень уж забавен этот старик. Смотрит на Мустафу, а сам сдирает шкуру. Сдирает и ругается всеми ругательствами, которым научился на городской бойне. Мустафа, хоть и ни слова не понимает по-русски, чувствует, что Бако нехорошо ругается, думает даже остановить его, сказать: «Не ругайся, Бако, не оскверняй мясо недозволенными словами...» Но не хватает у него смелости обуздать мясника Бако. Ему бы только не думать про этого бычка.

Мустафа старается думать о его грехах, что мясо от его ругани осквернится, что именно Бако, а не он, Мустафа, будет виноват перед аллахом, и таким образом мало-помалу он забывает про бычка. Сдирает Бако шкуру, сдирает шкуру Мустафа и видит только руки мясника, его большой нож, синеватую шкуру, и вдруг ему начинает казаться, что вся эта куча мяса так всегда и была только кучей мяса, а бычка и вовсе не было. Потом один за другим приходят покупатели. Разговоры, ругань мясника, недовольство покупателей, что он их обвешивает, все больше и больше отвлекают Мустафу, и он совсем забывает о своем бычке.

Когда мясо продано, Мустафа рассчитывается с мясником за его труды. Такса мясника Бако неизменна. За бычка тридцать рублей, за барана — десять. Отдает Мустафа ему эти тридцать рублей. Бако берет их, сует в большой карман грязного фартука, потом требует еще десятку. Он почему-то не верит в щедрость Мустафы, поэтому всегда требует с него лишних десять рублей. И каждый раз, когда Мустафа пос-

лушно отдает ему эту десятку, мясник Бако удивляется, но деньги не возвращает, видимо, какое-то крошечное сомнение все же остается в душе мясника. После расчета Бако делает знак жене Мустафы убрать весы, а сам начинает собирать лежащие на шкуре бычка «запретные» жилки и бросать их в свой холщовый мешок. Слишком уж нетерпелив этот мясник Бако, не любит он отдирать эти богом запрещенные жилки чистенькими, а вырезает их с большими кусками мяса, чтобы потом как следует почистить у себя дома... Мустафа все это видит и хочется ему призвать мясника побояться бога. Но Мустафа не решается и рта раскрыть. Надо ли ссориться из-за проклятых жилок? Расскажет Бако людям, скрягой еще обзовут. А Бако тем временем убирает в мешок свои ножи, топор, разные дощечки, заворачивает шкуру бычка и говорит Мустафе:

— На, старик, неси домой.

А сам смеется. Мустафа на минуту теряется, не знает, как ему быть. Он понимает, можно и не брать шкуру домой, но и отказаться не осмеливается.

— Неси, старик, неси!— повторяет мясник.— А то мухи ее разукрасят!

На этот раз Мустафа вроде бы находит здравый смысл в словах Бако. «Лучше уж правда унесу, а то мух-то вон как много...» — думает он, но опять останавливается. Не даѐт Бако спокойно ему уйти. Но как только отрывает Мустафа от земли тяжелую шкуру, мясник начинает хохотать:

— Неси, старикан, неси! Коврик шить будешь!...

Мустафа поднимает голову, чтобы возразить, но опять не решается... Как же тут возразишь, когда Бако сам прекрасно знает, что из шкуры бычка овчины не получится, шерсти-то у бычков, считай, совсем нету... Мустафу обижает насмешка мясника, но тут же, сам того не замечая, он опять начинает оправдывать Бако. «Сапоги сошью,— думает он,— коврика из нее не сошьешь, а вот сапоги можно... Если хорошенько обработать, то хорошие сапоги получатся».

— Неси, неси, старик!— уже третий раз призывает мясник Бако.

Мустафа со шкурой в руках молча направляется в дом. Голова у него опущена вниз, да и весь он будто уменьшился в размерах, грустный такой идет... Ста-

руха удивленно взирает на него. Мустафе стыдно, он старается не встретиться с женой взглядом. И старуха молчит. Она думает, что шкура очень тяжела, что ее, язву такую, опять надо будет вынести из дома для обработки...

Немного спустя Мустафа выходит из дома и видит, что мясник стоит, уставившись на его точильный брусок. Давно хочется Бако унести этот брусок, но никак не решается он это сделать. Просить как-то совестно — на дне речки полно таких камней. Но у Мустафы он какой-то особенный, ровный, длинный, словно настоящий кинжал, только без рукоятки. Бако прекрасно знает, что Мустафа ему не откажет, но все же не может попросить этот проклятый брусок, который ему так нравится. Не может потому, что он взял с Мустафы лишние десять рублей, и еще потому, что Мустафа ему не откажет... Бако сам удивляется на себя, ему становится как-то жалко Мустафу, и оттого, что душа у него размягчается, он опять начинает ругаться. Кроет Мустафу отборными словами... Но Мустафа его не понимает. Поскольку он не понимает, Бако начинает злиться еще пуще, еще искренней, и, сам того не замечая, переходит на родной язык:

— Обабился, старик! — кричит он Мустафе.— Чего ж это ты бабой-то стал, а? Может, скажешь? Не скажешь? Баба ты, баба и есть. Крови боишься, ножа боишься... Баба ты, не Мустафа, а баба!..

Бедный Мустафа никак не может взять в толк, за что на него так обрушился мясник. Стоит и молчит. Молчит и молит бога, чтобы не забрел сейчас ненароком племянник Усман, чего доброго, отлупит он мясника. Посматривает Мустафа украдкой в сторону ворот, но нет, все тихо, племянник вроде не идет.

Мясник Бако, злой, как черт, уходит. Мустафа его не провожает, садится в сторонке и начинает размышлять. «Бако больше не позову,— думает он,— никогда больше не позову этого бандита резать бычка». А сам чувствует, что позовет. Поэтому он еще раз пытается распалить себя, чтобы вовсе не позвать мясника, вспоминает, с каким наслаждением Бако обозвал его бабой. Но ему что-то не верится, что он баба... Смотрит Мустафа на свою белую бороду, теребит ее, начинает говорить вслух, чтобы послушать, похож ли его голос на бабий. Потом зовет жену, прислушивается к ее голосу, сам начинает говорить с ней, сравнивает

свой голос с ее тоненьким старушечьим, и остается довольный. Нет, его голос, пусть хоть и немного мягок, совсем не похож на бабий...

Однако, что бы там ни было, но после каждого визита мясника Мустафа начинает громко басить. Однажды Ибадулло Махсум даже удивился, услышав, что Мустафа говорит каким-то странным голосом.

— Вы, Мустафа, так, пожалуйста, не говорите,— сказал он.— Так вы совсем не похожи на Мустафу.

— Ведь у меня совсем мягкий голос,— смутился Мустафа.— Очень даже мягкий. Махсум...

— Мягкий, слов нет, мягкий,— подтвердил Ибадулло Махсум.— Аллах дает каждому свое, даже голос...

— Люди смеются, что у меня такой мягкий голос,— пожаловался Мустафа.

— Так они, должно быть, пошли от обезьян, если смеются по такому поводу,— рассудил Ибадулло Махсум.— А вы попробуйте, Мустафа, немножко простудиться, может, и голос чуть огрубеет, а?

— От простуды меня лихорадит,— сказал Мустафа.

— А раз лихорадит, так уж тогда не простужайтесь,— сказал Ибадулло Махсум.— Вы потеплее одевайтесь, Мустафа, раз вас лихорадит...

Так сказал Ибадулло Махсум и ушел.

В другой раз Мустафа хотел пожаловаться на свой голос старику Хуччи, хотя тот ничего странного в его голосе не заметил. Но старик Хуччи не пожелал его слушать и сам завел разговор про лошадей. Хуччи говорил, а Мустафа, которому так хотелось пожаловаться на свой голос, смиренно слушал.

— Вот вы есть Мустафа,— сказал старик Хуччи.— Никто ведь еще не назвал вас Манзаром-палваном, потому что вы с самого своего рождения Мустафа. Или я неправду говорю?

— Правда, почтенный, правда,— сказал Мустафа.— Вы правду говорите, Хуччи-ака.

— А мерин Камала мерин и есть, поэтому нельзя его назвать скакуном,— продолжал свою мысль старик Хуччи.— А раз он мерин, то грош ему цена, будь он хоть трижды пегим, правда ведь?

Мустафа не очень понял, куда клонит старик Хуччи, но кивнул головой — согласился. Молча, с уваже-

нием слушал он почтенного Хуччи, некогда первого всадника во всем Галатепе.

— Теперь возьмем Якуба-козлодера,— сказал старик Хуччи.— Сам он большой дурак, но лошадь у него хорошая. Как можно назвать ее дурной, коли она хорошая? Она же не виновата, что ее хозяин дурак?

Тут Мустафа не выдержал...

— Да вот голос у меня мягкий, почтенный,— начал он.— Даже Пиримкул смеется, что у меня голос больно мягкий,— соврал Мустафа.

Уж очень неудобно было начать разговор сразу с мясника Бако.

— Пиримкул не должен над вами смеяться,— сказал старик Хуччи.— Он же вам родной брат, пускай лучше смеется над чужими...

— Кажется, и Бако немного смеется...— сказал Мустафа.

— Бако — жулик! — отрезал старик Хуччи.— Живи он в старое время, из него получился бы настоящий разбойник!

— А я, оказывается, баба,— Мустафа не мог сдержать своей обиды, сразу вылил душу перед стариком Хуччи.— Бако меня бабой обозвал...

— Вы — баба?..— старик Хуччи задумался.— Не знаю, Мустафа. Коли так... нет, Мустафа, вы меня послушайте, если вы баба... как же тогда? Ведь есть же у вас дочь?

— Есть, почтенный,— сказал Мустафа и глубоко вздохнул.

Старик Хуччи его понял.

— Будь у вас сын, он бы размозжил этому мяснику череп,— заключил Хуччи.— Вы, Мустафа, могли бы сказать своему племяннику, Усману, он тоже неплохой парень, мог бы...

— Нет, так нельзя, почтенный,— испугался Мустафа.— Усману драться нельзя, он и без того виноватый ходит...

— Как хотите, дело ваше,— сказал старик Хуччи.— А вы сами разве не сказали ему, чтобы он унялся, чтобы знал свое место этот паршивец!..

— Уймется ли, он же такой...

— Вот сын блудницы!...— выругался старик Хуччи.— Вы его обидели чем-нибудь, а?..

Мустафа не ответил. Опять вздохнул.

Вечером того же дня старик Хуччи пришел к Мустафе с Ибадулло Махсумом. Они не захотели войти в дом, остановились у ворот. Мустафа выкатил со двора пустую тачку, перевернул, накрыл овчиной, чтобы гости, раз уж они не вошли в дом, могли бы тут сесть, отдохнуть... Старик Хуччи не стал долго мешкать и спросил прямо в лоб у Ибадулло Махсума:

— Скажите, Махсум, скажите Мустафе самому, разве он похож на бабу?

Вопрос был совершенно неожиданный, но Ибадулло Махсум не растерялся.

— А вы сами как думаете, почтенный? — невозмутимо сказал он.

— Мустафа говорит, что Бако обозвал его бабой.

— Бако сам осел,— сказал Ибадулло Махсум.

— Это хорошо, что он осел, но очень плохо, когда такой осел обзывает Мустафу бабой.

— У него глаза как у дохлого осла,— сказал Ибадулло Махсум.— Вы ему не продырявили слегка череп, Мустафа?

— Нет, я в жизни никого не бил, Махсум!..

— А надо бы...

— Меня вот били,— вспомнил старик Хуччи.— Меня Усман Звездочет с сыновьями бил. Один он не справился бы, а вот с сыновьями избивал.

— Я старше Бако,— сказал Мустафа,— а он меня бабой обозвал...

— Вот уж неправда,— утешил его Ибадулло Махсум.— Вы, Мустафа, если даже похожи, так на мягкую, кроткую женщину.

— Кротких баб не бывает,— возразил старик Хуччи.

— Мустафа-то кроткий?..

— Мустафа же не баба,— опять возразил старик Хуччи.— Это Бако обозвал его бабой.

— Бако не в счет, осел и есть осел, но разве грешно быть немного похожим на добрую, кроткую женщину? — спросил Ибадулло Махсум.— Не дай бог быть похожим на злую женщину! Сожрет тебя живьем такая баба! А вы, Мустафа, еще никого ведь не сожрали?

— Поймите, Махсум, Мустафа не баба, чтобы кого-нибудь жрать! — рассердился старик Хуччи.— Это Бако, сын блудницы, окрестил его бабой...

Ибадулло Махсум и старик Хуччи еще немного поспорили и ушли, оставив Мустафу в еще большем смятении...

Вернувшись в дом, Мустафа застал жену за работой. Она колотила в передней палками по куче шерсти, чтобы выбить из нее пыль. Увидев Мустафу, она сразу начала с упреков:

— Могли бы и получше что-нибудь купить, разве это шерсть!..

Мустафа промолчал. Он и без нее знает, что торговцы шерстью добавляют в нее извести и всякой другой дряни. Им нет дела, что шерсть портится. Лишь бы весила больше.

— Они совсем совесть потеряли! Вот, смотрите!..— показала старушка и с размаху ударила палкой по тюку. Поднялась едкая белая пыль. Старуха зачихала, но палки не бросила, заколотила, будто назло, еще сильнее.

Вскоре пыль залезла и в ноздри Мустафы, и он несколько раз чихнул. Ему захотелось скорей проскочить в комнату и запереться, но он передумал — все же совестно показалось оставить жену одну глотать пыль, и Мустафа присел на край коврика рядом.

— Дались вам эти потники! — продолжала ворчать старушка.— Могли бы из серого войлока сделать.

— Из серого не годится,— тихо ответил Мустафа,— серый из плохой шерсти.

— А эта, с известью, по-вашему хорошая? — зло спросила старушка.

— Если почистить, то...— Мустафа замялся, виновато посмотрел на жену.— Это мне Камал Раис заказал, человек он уважаемый, надо сделать.

— А он все равно вам денег не даст.

— Зачем тебе деньги? — удивился Мустафа.— У нас же есть деньги.

— Да, есть,— подтвердила старушка.— Их даже больше, чем надо. Что с ними делать-то?

Мустафа только удивился наивности жены.

— Вдруг какой негодяй пронюхает? — всполошилась она.

— Ты что так испугалась? Тебя, что ли, придут воровать?

— Меня? Вот богатство-то! — старушка засмеялась мелким дребезжащим смешком.

— Нет, Гульсара, украдут, так деньги украдут, а тебя не тронут!..

Мустафа сказал и вдруг вспомнил, что его жену зовут Гульсарой. Это девичье имя удивило его, старухе совсем не подходит такое — Гульсара.

Сколько ни тужился Мустафа, но никак не мог представить жену девушкой. Гульсара была его вторая жена. Когда первая жена, Майрам, умерла, старики в Галатепе не захотели оставлять Мустафу вдовцом и женили его на Гульсаре. Она тоже тогда была вдовой после смерти мужа, торговца кунжутным маслом. Давно это было, лет сорок назад.

— Ты не бойся, Гульсара,— сказал Мустафа. Он нарочно назвал ее Гульсарой. Сейчас ему очень забавно было называть ее Гульсарой.— Тебя не украдут, Гульсара!

— Да кому я нужна!.. — отмахнулась старушка.— Только вот думаю, все же что-то надо делать, раз есть деньги.

— Скажи, сделаем, Гульсара...

— Может, поминки по Майрам-апа справим?

— Это ты хорошо придумала, Гульсара,— Мустафа обрадовался, что она вспомнила про его первую жену.— Но поминки мы уже делали. Помнишь, резали тогда еще большого белого барана? Я его совсем маленьким купил у Ибадулло Махсума.

— Что-то запамятовала,— призналась старушка.— Но если небольшие поминки, тогда, может, я сама что-нибудь испеку, зажгу пару свечек?

— Хорошо, Гульсара, ты зажги пару свечек,— согласился Мустафа.— Бедная Майрам порадуется.

— Дай бог, чтоб порадовалась! А то ее дух стал часто навещать нас, вы не заметили?

Мустафа сделал вид, будто не услышал. Он не любил говорить о духах умерших. Верить в них верил, но говорить не любил. Дух одного возвращается и поет сверчком, другого — цикадой. Дух у кого-то еще оборачивается даже змеей. Тут ничего нельзя предугадывать, и лучше уж не тревожить духов лишними разговорами. Мустафа хорошо помнил, как дух умершего ишана обернулся змеей и укусил его же собственного сына Салимхана. Вообще этих духов никогда не поймешь, и они, кажется, не слишком разбираются, виноват ты или нет, свой ты или чужой, раз дух обернулся змеей, так он непременно ужалит. А Салимхан тот был

человеком тихим, покорным, сроду никого не обижал, а отца своего и подавно — отец резкого слова от него никогда не услышал. И сам покойный ишан был неплохой человек, но, увы, дух его обернулся змеей и ужалил его же сына, еле спасли. Так что о духах лучше не заикаться. Но жена Мустафы не догадывается об этом и все говорит о них. Мустафа сколько раз просил ее не делать этого, да что с нее взять, она ведь баба, а у баб язык без костей.

Старушка опять принялась колотить шерсть. Опять поднялась едкая известковая пыль. Мустафа засуетился и, чтобы хоть немного отвлечь жену от ее занятий, спросил?

— Ты телят накормила, Гульсара?

— Накормила,— ответила она, перестав орудовать палкой.— Рыжий что-то невесел, заболел, наверное...

— Ничего, отойдет... А ты себя особо не утруждай, Гульсара,— торопливо сказал Мустафа, боясь, что она опять примется за свою палку.— Ты себя не мучай, зачем тебе в старости лет так надсаждаться. Сиди спокойно, и без этой шерсти как-нибудь проживем.

— А потник для Камала? — удивленно спросила жена.

— Так он не сегодня нужен, можно и повременить... Ты хоть немного отдохни, Гульсара.

— Человек без работы быстро стареет,— сказала она.

Мустафа не мог удержаться от смеха — так потешны показались ему слова жены.

— Ты же все равно старая, Гульсара! — сказал он.— Ты точно Назар Махдум, тому тоже все молодым хочется быть. Самому уже за семьдесят, а он еще...

— Это вы над кем смеетесь? — спросила старушка. — Надо мной или над Махдумом?

— Над тобой, Гульсара, над тобой!..— сказал Мустафа.— Над кем же мне еще смеяться?

— А Назар Махдум? — чуть обиженно спросила старушка.— Над ним вы не смеетесь, он же старше меня на целых пять лет.

— И над ним немного смеюсь, Гульсара,— утешил ее Мустафа.— Ты уж не обижайся, Гульсара, это я без злости смеюсь.

Мустафа вспомнил Назара Махдума, маленького словоохотливого старичка, о котором ни один галатепинец не мог думать без улыбки. Ходил Назар Махдум

важно, заложив руки за спину,— не больше не меньше председательская походка! Страшно не любил сам работать, но каждый день без всякой на то надобности выпроваживал на улицу, к большой яме под дувалом, своих внуков и заставлял их месить глину. Внуки работают, а Назар Махдум гордо расхаживает по краю ямы и заговаривает с прохожими...

— Эй, Саламбай! — кричит он.— Проходишь тут мимо моего дома, а где твой салам? Нехорошо, Саламбай, нехорошо! Думаешь, я тебя самого увидел, так мне от тебя и салама не надо?

Салам кисло улыбается — он сколько помнит себя, постоянно слышит эту шутку Назара Махдума, связанную с его именем.

— Салам-алейкум, дед Махдум! — говорит он, подойдя поближе.— Не уставать вам желаю! Вижу, работаете тут...

— А! Какой из меня работник! — отмахивается Назар Махдум и, довольный собой, продолжает ходить взад-вперед по краю ямы.— Видишь, Саламбай, какие у меня внуки, не парни, а настоящие дэвы!..— он показывает на лоснящиеся от пота спины подростков в яме.— Это я раньше работал, а теперь, слава богу, эти ребятки избавили меня от всего. Но, Саламбай, что поделаешь, человек я, как ты сам знаешь, привыкший к труду, не знаю ни минуты покоя! Не могу я сидеть дома, Саламбай! Сам удивляюсь, почему это мне не сидится дома. Ведь я мог бы и дома посидеть, а?

— Быть пиру в вашем доме, почему это вам не сидится дома, дед Махдум? — спрашивает Салам.— Не лучше ли дома-то посидеть?

— Лучше-то оно лучше, но не могу,— с достоинством отвечает Назар Махдум.— Сам подумай, всю жизнь я трудился и вдруг сидеть дома? Нет, Саламбай, такое не по мне!..

После такого разговора прохожий, если он коренной галатепинец, как этот Салам, невольно начинает думать: ведь этот Назар Махдум в жизни пальцем не ударил. А если прохожий случайный человек, то он невольно посмеется, глядя на маленькую фигурку Назара Махдума, да еще пожалеет его, а, может, подумает, что вот, мол, старичок был некогда богатырем, но перетрудился и стал теперь таким тщедушным после своих адских трудов.

— Прямей бейте кетменем! — поучает тем временем Назар Махдум своих внуков — Прямей бейте и черенок держите покрепче! Наискосок кетмень не берет землю! Горе мне с вами, несмышленыши, даже этого вы не знаете!..

Бедные внуки не смеют ослушаться деда, бьют кетменем прямо, как им приказывают. Земля твердая, словно камень, ее и наискосок-то не больно возьмешь, а когда бьют прямо, кетмень и вовсе не лезет. Но Назару Махдуму нет до того дела, он доволен собой и гордо взирает на прохожего.

— Они еще совсем глупые,— говорит он,— силушки поднакопили, а опыта никакого... Вот я... Да что я? Ведь заслужил же я наконец право поваляться немного в тени карагача? Заслужил. Я свое отработал, с меня теперь и спросу мало. Только из-за них вот и держусь, Саламбай, из-за них пока и не сдаюсь смерти!.. Смотрите, какие дэвы! Не парни, а настоящие дэвы! Такая уж наша порода — работать мы любим! На что им моя сила? Им скорей нужен мой опыт, нужен мой старый, но ясный ум! Ведь не зря я потрудился столько на этой земле!..

Прохожим всегда бывает жалко внуков Назара Махдума, и они стараются избегать таких разговоров.

А что до стариков галатепинцев, то для них это потруднее. Как-никак Назар Махдум человек их круга. А старикам не очень по вкусу, когда люди помоложе посмеиваются над их товарищем. Иногда, правда, они пытаются сказать Назару Махдуму, чтобы он особо не кичился, люди-то не дураки, сейчас такое время, что будь ты хоть богом, тебя вмиг раскусят и сразу скажут, сколько кусков мыла дадут за тебя. Но Назар Махдум не любит, когда его учат, он сам любит учить, потому и все старания стариков галатепинцев тщетны. Какой был, такой и остался — лентяй и хвастун. А когда его сын в городе стал большим начальником, Назар Махдум и совсем голову потерял, будто это не сын его, а он сам стал начальником и тоже начал разъезжать в большой машине. Однажды на свадьбу к Раиму Раису, что живет через двор от него, он прикатил на этой машине. Только вот Ибадулло Махсума он по-прежнему побаивается. Ибадулло Махсум, несмотря на свою общительность, совсем игнорирует Назара Махдума, видимо, он считает, что уже поздно с ним нянчиться. Отчасти он прав, куда теперь

учить Назара Махдума. Семьдесят лет — это не семьдесят дней и даже не семьдесят месяцев, что прилипло, то уж не отлипнет...

— Бедная Зухра жалуется на своего мужа,— сказала жена Мустафы.— Ваш друг никому покоя не дает!..

— Да никакой он мне не друг, Гульсара,— возразил Мустафа.— Мы просто с ним одногодки, вот и заходит иногда...

— Не каждый день заходит,— уточнила старушка.— Только по субботам. Показать себя приходит, при сыне, в машине!..

— Ну это ты зря,— сказал Мустафа.— Будь у меня сын, а у сына машина, я бы тоже ездил. Назар уже старый человек, грех про него думать такое.

— Он завтра придет,— сказала старушка.— Сегодня уже пятница, а Хасан приезжает только в субботу.

— Кто его знает, может, завтра и не приедет.

— Приедет, а как же?.. Весной он каждую субботу приезжает. Это он летом носа не кажет.

— Ну, летом понятно, жара, путь далекий...

— Жара, жара!..— передразнила Мустафу старушка.— Летом молочных барашков не режут, вот что!..

— Ты это брось, Гульсара!..— Мустафа недоуменно посмотрел на жену, словно впервые ее увидел.— Не ради одних барашков приезжает человек. Назар ему отец, Зухра — мать, вот к ним и приезжает.

— А вам очень скучно без вашего Махдума? — спросила старушка.— Вдруг Хасан завтра не приедет, что тогда будет?

— Скучно не скучно, а поговорить можно,— неопределенно ответил Мустафа.— Человек все-таки...

— Не будет Хасана — не увидите Махдума!..— со злорадством сказала старушка.— Он без машины и шагу не ступит!

Мустафа так и не понял, с чего это она ополчилась на Назара Махдума и его сына...

— Что он тебе сделал, Гульсара, пускай живет себе спокойно.

— Помните, когда сыновья Шадмана упекли Раима в тюрьму и поставили председателем брата Махдума? Ваш Махдум в то же утро пошел в колхозную конюшню и забрал себе белого скакуна Раима Раиса. Взял себе самого лучшего белого коня!

— Нет, Гульсара, неправда, он взял тогда гнедого жеребца,— улыбнулся Мустафа.— Конь Раима был похож на хозяина, чужих не признавал, так никого и не подпустил к себе после Раима. Пришлось отвезти его в Каттакурган и сдать на мясо. Назар выбрал себе тогда гнедого жеребца, но и на нем ему ездить почти не пришлось, быстро отобрали...

— Вот видите,— обрадовалась старушка.— А вы еще такого человека ожидаете! Не приедет Хасан, так и Махдума вашего не увидеть вам как своих ушей...

— Хасан-то приедет наверняка...

— А если не приедет?

— Ну ты словно ребенок, Гульсара,— рассердился Мустафа.— Заладила себе, приедет, не приедет!.. Тебе-то какое дело? Приедет Хасан.

— А вот и не приедет!

— Брось ты, Гульсара, он приедет.

— Не приедет!..— чуть ли не закричала старушка и, быстро вскочив, стряхнула с платья белую известковую пыль и демонстративно вышла из дома.

Мустафа покачал головой ей вслед, будто бы осуждая, старуха, мол, а ведет себя как девчонка, пора бы и образумиться. Но на душе у него все же было радостно.

Назавтра Хасан все-таки приехал.

В этот день Мустафа с утра таскал воду из эмирского арыка, смешивал прошлогодний навоз с опилками и делал из этого месива круглые, с маленький тазик, таппи, чтобы зимою было чем топить печку. Он хотел было попросить племянника пособить немного, но нашел постель его уже холодной, видно, Усман или не ночевал дома, или куда-то ушел спозаранок. Других людей Мустафе не захотелось тревожить. Усман — это одно, он свой человек. Лучше уж одному работать, чем кого другого просить, так даже спокойнее.

Дело в том, что Мустафа сорок лет тому назад зарыл под этой кучей навоза целых полсотни эмирских золотых монет. С тех пор он каждые десять лет раскапывает богатство: убедится, что золото цело, и опять закопает. Монеты зарыты довольно глубоко, да еще навозная куча сверху, не сразу доберешься. Они достались Мустафе от его отца, Хамракула, а тому от его отца, Нуркула, и вот уже сорок лет лежат в

земле. Странное бывает чувство у Мустафы, когда он думает о золотых монетах, ведь их некому продать, если даже раскопаешь, не возьмут. Тридцать лет назад он вручил две монеты арабу Узаку, а тот дал взамен верблюда. Но Мустафа так и не научился обращаться с верблюдом, пришлось продать его колхозу. Остальные монеты, теперь уже, считай, сорок восемь, все еще покоятся в земле — у Мустафы и без них достаточно денег. Но, что ни говори, золото есть золото, а человек устроен так, что его лихорадит от одного только названия золота, то ли страх, то ли жадность, не поймешь. Стоит кому-нибудь повнимательней посмотреть на кучу навоза, и Мустафе сразу становится не по себе. Нет, он не боится, что золото отберут, пускай забирают, не велика беда, но ведь после всего начнут таскать повсюду, расспрашивать, откуда да почему. Попробуй докажи, как оно у тебя оказалось, хорошо, если поверят, а коли нет?.. Что тогда делать? Ведь тебе не семнадцать, а все семьдесят, пора уже присматривать клочок земли поближе к предкам...

Занятый этими мыслями, Мустафа даже не заметил, как приехал Назар Махдум. Оглянулся, когда просигналили снизу, и увидел, что Назар Махдум уже поднимается к нему по узкой тропинке. Сын его, как всегда, сидел на берегу пруда под горбатеньким старым талом и терпеливо ждал возвращения отца.

Мустафа встал, весь испачканный навозом, и, опершись на черенок лопаты, стал дожидаться Назара Махдума. Наконец тот подошел к нему, остановился и чуть выжидательно посмотрел. С тех пор как его городской сын сделался начальником и сам Назар Махдум начал разъезжать в его желтой машине, он больше уже не здоровался первым. И на этот раз было так — он дождался, пока Мустафа его поприветствовал, затем важно обошел вокруг навозной кучи, остановился, снисходительно оглядел испачканную одежду Мустафы и только потом раскрыл рот:

— Здравствуйте, Мустафа, здравствуйте... Работаете, значит?

— Да вот...— ответил Мустафа, смущенно глядя на свои грязные руки.— Работаю... Таппи делаю...

— А я хочу купить коня,— сказал Назар Махдум.— Пришел заказать вам потники.

Мустафа знал, что Назар Махдум боится лошадей с тех еще времен, как упал с гнедого жеребца, и уж

наверняка не купит лошадь, и поэтому легко согласился:

— Вы сперва купите, а что до седла, так это мы сделаем за два дня.

— Я просил потники, Мустафа,— сказал Назар Махдум.— Седло у меня есть. Отцовское, совсем крепкое.

Мустафа не ответил. Он уже видел отцовское седло Назара Махдума: старое и совсем не крепкое, ничем не лучше низкого калмыцкого, каким обычно седлают в Галатепе крупных ослов.

— Вы бы тут дорогу какую проложили,— сказал Назар Махдум.— Сколько я к вам ни езжу, машину внизу оставлять приходится. Ведь широкая дорога лучше, чем эта ваша тропинка?

— Конечно, широкая, она лучше,— согласился Мустафа.

— Тогда почему же вы не проложите широкую дорогу?

— Незачем,— ответил Мустафа.— Проложу, а она опять зарастет. Некому тут ходить-то по ней, наши коровы да мы со старухой...

— А Усман, ваш племянник?..

— Конечно, и Усман ходит, но все равно нас мало, дорога опять зарастет.

— Кругом одни колючки,— сказал Назар Махдум.— Могли бы убрать хоть эти верблюжьи колючки?.. Вырубите их, Мустафа, не оставляйте так, я бы на вашем месте...

— Еще рано их трогать, Махдум,— ответил Мустафа.— Они только в рост пошли, даже не зацвели еще, подожду уж, пока сахару наберутся, иначе овцы не будут есть.

— Поймите, Хасанбек не может сюда подниматься,— продолжал свое Назар Махдум.— Он всегда внизу остается стеречь машину.

— Разве у него нет шофера? — спросил Мустафа.

— Шоферу платить деньги надо,— разъяснил Назар Махдум.— Но наш Хасанбек сам водит свою машину, а раз он сам водит, то государство может и не платить шоферу деньги.

— Выходит, он сам и за шофера получает?

— Нет, за шофера никто не получает,— объяснил Назар Махдум. Его немного злило невежество Мустафы, но все же он объяснил.— Ведь наш Хасанбек че-

ловек государственный, вот он и экономит государственные деньги.

Мустафа опять не понял Назара Махдума. Ведь у государства столько денег, подумал он, так зачем же отнимать немного денег у одного бедного шофера.

— У шофера, должно быть, тоже семья, дети...— несмело начал он.

— Хасанбека все уважают,— Назар Махдум не обратил внимания на слова старика.— Помните, Мустафа, я когда-то пришел сватать вашу дочь, а вы тогда не согласились. Потом наш Хасанбек поехал учиться. А вот сегодня, видите, он уже большой человек, все его уважают. Хорошо, что он не остался тогда в Галатепе.

Мустафа вспомнил, как Назар Махдум действительно ходил сватать его дочь за своего сына. Мустафа тогда не отказал, он просто попросил дать ему немного подумать. Очень совестно было с первого же разу согласиться, вдруг люди подумают, будто Мустафа рад избавиться от своей дочери, может, у нее там не все на месте?..

— Видать, судьба такая...— как бы сожалея, проговорил Мустафа.

— Хасанбек стал большим человеком,— повторил Назар Махдум и ободряюще похлопал Мустафу по плечу.— Ничего, Мустафа, вы только не думайте, будто я вас упрекаю. Разве вы знали, что так получится. Сейчас вы бы отдали за него свою дочь, правда ведь?..

— Может, и отдал бы...— поспешно кивнул Мустафа.

Снизу послышался сигнал. Назар Махдум обернулся и помахал сыну рукой, подожди, мол, я сейчас,— затем опять обратился к Мустафе:

— Вы о потниках-то не забудьте, Мустафа!..

Мустафа еще раз кивнул.

Назар Махдум пошел по тропинке вниз. Шагал он как всегда важно и ровно, чуть развернув плечи, и даже создавалось ощущение, будто человек идет по ровной плешине такыра, а не по крутому склону холма.

Проводив Назара Махдума, Мустафа сел на землю и бросил под язык щепотку насвая. И он, острый, жгучий, быстро подействовал на него: чаще забилось сердце, на лбу выступили капельки холодного пота. Приятно закружилась голова... Хорошо думается, когда

насвай под языком, мысли теснятся одна на другую, и такое ощущение, будто думы сами думаются, а ты тут ни при чем. По всему телу разливается легкое опьянение, такое сладостное, что даже немного грустно становится. В двух шагах от тебя куча навоза, а под ней — золотые монеты, и кажется, будто они чужие и будто ты спишь и видишь их во сне. Очень странное это чувство, когда тебе вдруг кажется, будто золото ничем не отличается от навоза... С навозом, пожалуй, даже лучше, его хоть можно месить, делать из него таппи, протопить ими зимою печку... А от золота какой прок? Ведь и не продашь? Это так дико, так кощунственно — продать золото, продать деньги...

Мустафа выплюнул насвай из-под языка, сполоснул рот из стоявшего рядом медного кувшина, отдышался... Теперь он в соседстве золота с навозом вроде бы нащупал какой-то смысл, но он показался таким зловещим, что его до конца даже разгадывать не хотелось. Мустафе вдруг стало тревожно и неуютно. Желая отвлечься от неприятных мыслей, он встал и с двумя ведрами в руках поплелся к эмирскому арыку. Он принялся считать, сколько перетаскал ведер. За десять раз принес двадцать ведер, за двадцать — сорок, за тридцать — шестьдесят... Только после ста ведер он сел на прежнее место, немного отдышался, снова поднялся и стал утрамбовывать лопатой края разжиженной навозной кучи, выкопал рядом маленькую ямку, куда бы сливалась лишняя вода. Затем он опять сел отдохнуть. Но сколько ни старался не думать, противные мысли упорно лезли в голову... Ему было очень жалко, что эти золотые монеты так и останутся под землей. Дед умер, они остались, отец умер, они остались... Теперь вот Мустафа умрет — а они останутся... Проклятые монеты! Чтоб им сгнить!

Мустафа не выдержал, он опять вскочил, вытер локтем пот со лба и снова принялся за работу...

Мустафа страшно не любит покидать свой дом. Иногда, под каким-либо предлогом, сам угощает народ, иногда со стариком Хуччи и Ибадулло Махсумом ходит на свадьбы или на похороны, но все это, как говорится, дань тому, что ты человек и живешь среди себе подобных. А так, без крайней надобности, он почти никуда не выходит и ни с кем не общается. Из-

редка к нему приезжают дальние родственники из Бухары, каждый раз они просят его хоть недельку погостить у них, Мустафа каждый раз обещает, но ехать туда не едет. Бухарские родственники, те хоть далекими считаются и далеко живут, но даже со своими родными братьями, что в двух шагах от него, Мустафа видится не часто. Удивительно даже, когда они успели так отдалиться друг от друга. Пока были живы родители, братья казались неразлучными. И все говорили: вот они, братья... Нишанбай, Мустафа, Пиримкул, Апсамат... сыновья Хамракула... внуки Нуркула... Дай бог каждому иметь таких братьев!

Разлад начался с Нишанбая, самого старшего из братьев. Когда началась революция, он уехал к Мадаминбеку. Он и Мустафу уговаривал уйти, но тот не согласился. Ему, еще молодому парню, непривычно было покидать родной кишлак, и он остался дома, подружился с Раимом, сыном Гайбара Заики, и ухватился за него, как малый ребенок за подол матери,— куда Раим, туда и Мустафа. Раим был тогда совсем молодой, сильный, храбрый, смерти еще не боялся. Подобрал он себе в команду тридцать горячих парней, и вместе они выступили против басмачей. Много тогда сновало вокруг басмачей: с запада шел Акбаш-курбаши, с востока — Мамадали Пансад, каждый с сотней, не меньше, нукеров. Но с парнями Галатепе нелегко было сладить, они пустили в ход кинжалы, ружья, но приблизиться к кишлаку не дали. Вскоре из Каттакургана пришла подмога, Мамадали Пансада разбили. Раим взял с собой Мустафу, и они вдвоем поехали в пристанище Акбаша-курбаши, в древние пещеры, что в ущельях Паландары. Мустафа не надеялся вернуться живым, но оказалось, что басмачи уже были не те, ослабели вояки, обносились и могли теперь только выкрикивать бранные слова. Раим предложил им сдаться. Кто-то из басмачей согласился, кто-то стал возражать. Но к единому решению они так и не пришли. Раим был горяч, нетерпелив, увидя нерешительность и разногласия басмачей, он закричал:

«Ведь все люди отвернулись от вас, на что вы надеетесь, сукины вы дети!.. Всего жить вам осталось считанные дни, какого вы черта ломаетесь, будто бабы! Сдавайтесь, кладите оружие и катитесь на все четыре стороны... Так уж и быть, простим мы вам, сукиным детям, ваши грехи. Всем простим, кроме курба-

ши!.. А вашего Акбаша расстреляем под забором, как собаку!..»

Басмачи стали смеяться. Кто-то даже сказал:

— Не петушись, сын Заики! Был бы здесь Акбаш, он бы пикнуть тебе не дал. Содрал бы с тебя шкуру на чучело!..

И тут, словно сама судьба, подъехал к пещерам, окруженный свитой, Акбаш-курбаши.

— Приведите-ка сюда того щенка. Сына вшивого Гайбара Заики,— потребовал он.

Раима и Мустафу вывели к курбаши. Акбаш сидел на саврасом высоком коне старый, седой, в богатой одежде. Увидев Раима, он прикрикнул:

— Эй, ты, красный ублюдок, чего приперся морочить им головы? — и, вынув из ножен саблю, помахал над головой.

Мустафа насмерть перепугался. «Ну, вот и все,— мелькнула мысль,— теперь он и меня, и Раима разрубит». Но рука Акбаша, маленького тщедушного старичка, который ни разу в жизни не рубился, быстро устала, он убрал саблю в ножны и вынул висевший на боку маузер. Старик был разгневан и наверняка застрелил бы их обоих, но нашлись люди, знавшие Нишанбая, брата Мустафы. Нишанбай служил у Мадаминбека, у самого умного курбаши, как тогда поговаривали люди. Акбаш, узнав об этом, разозлился еще больше, но все же сдался — назначил каждому по двадцать розог и отпустил.

Неделю спустя басмачи сами приехали в Галатепе и привели с собой избитого связанного Акбаша. Они передали курбаши Раиму, а сами, как было договорено, разошлись по кишлакам.

Акбаш сказал Раиму:

— Я тебя, красный, не убил, и ты меня не убьешь. И бить ты меня не будешь, меня уже мои же щенки потрепали...

Но Раим был непреклонен, он сам продиктовал писарю сельсовета мулле Саттару приговор: «Именем революции... расстрелять как вредного и ненужного элемента!..»

Потом Ачил, помощник Раима, вывел Акбаша на окраину кишлака, к зимовью сбежавшего бая и разрядил в курбаши винтовку. Мустафе дали кетмень и велели закопать труп Акбаша. Мустафа завернул труп в старую кошму, нагрузил на осла и повез на кладби-

ще. Но сторож Карим, он же могильщик, наотрез отказался пустить их за ограду.

— Твой Акбаш не человек,— сказал он,— я не могу пустить его к людям.

Пришлось Мустафе ехать в Кзыл-Таш. Там он похоронил курбаши под стенами старого рабата. Вырыл маленькую ямку, положил туда мертвеца и кое-как засыпал землей. Но на обратном пути ему стало жалько Акбаша, ведь того даже не омыли, не отпели, бросили в яму, как бездомного пса... Мустафа вернулся к рабату, выкопал рядом новую могилу, глубокую, с широким сводом сбоку, и похоронил Акбаша. Обложил холмик камнями, потом даже прочел аят, стоя на коленях у могилы. Долго-долго не мог он забыть, как хоронил тогда старого курбаши, ему все казалось, будто он поступил с мертвецом не так как полагается. Только тогда и успокоился, когда родственники откопали и увезли прах Акбаша к себе...

Вскоре поймали и брата Мустафы — Нишанбая. Честно говоря, его даже не ловили. После того как Куршермат-курбаши отрубил Мадаминбеку голову, Нишанбай сам вернулся в кишлак. Пришел пешком, без оружия, очень подавленный, остановился не дома, а у молоденькой вдовушки, где его и взяли. Нишанбай не сопротивлялся, спокойно дал себя связать, но, когда его вывели на улицу, он все же не выдержал и грустным голосом попросил отпустить его к туркам. Больше он не проронил ни слова. Раим не стал его расстреливать, кажется, он пожалел Мустафу. Нишанбая отправили под конвоем в Каттакурган, откуда через месяц пришла весть о его расстреле. Мустафа поехал в Каттакурган на арбе и выпросил тело брата. На этот раз сторож кладбища Карим оказался не таким строгим. Он долго смотрел в суровые, отрешенные лица Мустафы и его братьев, потом сам помог им выкопать могилу. Нишанбая предали земле по всем обычаям, омытого, с молитвами...

Мустафа очень любил брата. После его расстрела он возненавидел Раима, пошел к нему домой, полный обиды и гнева, пришел и застал того в постели с простреленной грудью, харкающего сгустками крови... И он пожалел Раима и опять встал на его сторону. «Видно, так мне на роду написано,— подумал тогда Мустафа,— оказался с ними в одной упряжке, теперь идти мне с ними до конца».

Через год в Галатепе организовали первый колхоз. Раима выбрали председателем, Мустафа стал его помощником. Вспоминаются теперь те годы, и не верится: будто все это было не с ними, а с кем-то другим. Ведь ничего тогда не имели, кроме голых рук и страстного желания трудиться. Все создавали из ничего! Раим был горячий, словно огонь. Поднял он галатепинцев, и все они, и стар и мал, все как один, вышли в Джамскую степь пахать дикую землю из-под бурьяна и горькой полыни. Раз в неделю люди возвращались в Галатепе, и то не всегда и не все, спали прямо на открытом поле, положив головы на свежие межи, пахнущие полынью и сырой землей. Ночи бывали прохладными, но днем такая жара — губы трескались. Воды было мало, ее отдавали в первую очередь младенцам и их матерям... Мустафа сколько раз видел, как молодые женщины, обнажив груди, прижимались к прохладной свежераспаханной земле, чтобы хоть немного унять жажду. Трудно пришлось людям. Мустафа и Раим работали рядом, каждый со своей парой волов. У одной пары в поводырях шла Анзират, жена Раима, у другой — Майрам, жена Мустафы, вели они за собой свои пары, а их мужья сзади, нажимая изо всех сил за ручки сохи, вгрызались в дикую степную, в давно переставшую родить землю. Не успеешь осилить и батмана, а уже меняй сошники. Даже железо не выдерживало... Трудно было, эх как трудно! Железо крошилось, а человек выдюживал... Одна борозда, почти незаметная в высоком бурьяне, пролегла на поле, смотришь, вторая, третья... все вширь, вширь расходятся круги, и вдруг — целое поле вздыбилось и задымило черным паром!..

Мустафа в те времена еще не знал, что такое усталость, он мог бы шагать за волами хоть целые сутки, но и он все же время от времени останавливался, отрывал грудь от сохи и кричал жене:

— Постой, Майрам, осади волов, я больше не выдержу!.. И ты, эй, Анзират, остановись... Раимбай, заставь жену передохнуть!..

Но отдых был нужен не так ему и женщинам, как Раиму с его старой раной. Раим не садился отдыхать, ему, мужчине, было совестно показывать свою слабость, он наверняка знал, что не встанет, стоит ему сесть, и поэтому, еле держась на ногах, оперевшись на могучие шеи волов, делал вид, будто осматривает яр-

мо... Женщины уходили к палаткам на другой конец свежей пашни, Анзират принималась кормить грудью маленькую дочку, Майрам присаживалась посидеть немного с заскучавшим сыном. Сыну Мустафы тогда исполнилось пять лет. Временами, любуясь, как сын его бегает за крупными, залетевшими с сырых тугаев, стрекозами, Мустафа говорил Раиму:

— Видишь, Раим, пашем мы тут с тобой, а дети наши тем временем растут, дай-то бог, чтоб у них сложилось все получше нашего!.. Дети подрастут, мы чуть-чуть постареем, и вот однажды приду я к тебе...

— Покороче, Мустафа,— смеясь прерывал его Раим.— Я знаю, что ты собираешься сказать: придешь сватать мою дочь, будешь точно так же нудить... Ладно уж, Мустафа, так и быть, выдам я дочку за твоего сына!..

Но сыну Мустафы не суждено было жениться на дочери Раима. Восемнадцати лет он ушел воевать с немцами. Мустафа никогда в жизни так не боялся смерти, как в те годы. Нет, не за себя он боялся, он думал о сыне, о молодом, восемнадцатилетнем веселом парне, каким он запомнил его в последний раз. Долгими ночами Мустафа молил бога: «О, господи, верни мне Базара живым, если тебе нужна чья-то жизнь, возьми лучше мою, но верни мне Базара, пускай он даже не увидит меня, пускай он только вернется живым...» Но, видно, молитвы Мустафы не дошли до бога — Базар не вернулся.

Потом Мустафа потерял жену Майрам. И женился на Гульсаре. Ведь должен же хоть кто-то испечь в доме хлеб, разжечь огонь в его очаге, присмотреть за маленькой дочкой. Теперь дочь уже замужем. Лет десять прошло, как Мустафа не видел ее. Честно говоря, он и не хочет ее видеть, так уж получилось, лучше о ней не думать. Отчасти и из-за нее он не заходит во многие галатепинские дома. А братья,— кто полюбил богатство, кто женщину, кто еще чего, и вот сегодня, глядишь, не такие уж все они братья, каждый живет сам по себе. Был еще племянник — сын Нишанбая, но тот забыл о своих родственниках по отцу. Ушел с матерью к ее братьям. Братья матери дали ему кров, братья матери женили, теперь он от них ни на шаг. И горе и счастье — все пополам. А до братьев отца ему и дела нет, повстречает — поздоровается, и на том спасибо.

Мустафа давно привык к этому миру, все перечувствовал, все перевидел, никого он не упрекает и ни на кого не обижается. Иногда в летнее время ходит на кладбище навещать родных. Присядет у могилы отца, пошепчет молитвы, поговорит... «Вот один я остался, отец, была мать, были вы, были родные братья, а теперь стали просто родственники...»

Так говорит Мустафа. А могила отца безмолвствует. Все вокруг безмолвствует. Никто ему не отвечает. Мустафа медленно поднимает голову, оглядывает другие могилы... Рядом могила его деда Нуркула, чуть правее, у ног отца, могила Нишанбая... Дяди, двоюродные, троюродные братья... Две тети... И все по отцовской линии. Иногда Мустафа ловит себя на том, что считает могилы и начинает молиться. За отцовской могилой есть еще кусочек земли, заросший густой, в пояс, травой. Мустафа берет серп и принимается тщательно срезать ее. Когда трава скошена, площадка вдруг становится большой. Мустафа отмеряет на ней пять шагов — это для него самого, еще пять шагов — для Пиримкула, еще — для Апсамата. Но земли все еще много остается, широкий простор тянется аж до самого кладбищенского дувала. На кладбище все торжественно, спокойно, с боков встали высокие молчаливые холмы, сверху чашей повисло небо. Кладбищенская тишина успокаивает Мустафу. Ему не страшно, что он себе и братьям отмерил будущие могилы. «Все равно ведь помрем,— спокойно думает Мустафа,— кто раньше, кто позже, но все там будем. Только я уйду первым, первым пришел в этот мир, первым и уйду». Мустафа сознает справедливость такого порядка, и ему на какой-то миг становится даже легко при мысли о смерти. Ни о чем другом он больше не думает. Другие мысли тут, на кладбище, кажутся малозначительными, ненужными... Что тут странного, ты умрешь, тебя похоронят, он умрет, его похоронят. Вон сколько тут зарыто людей, и все они когда-то были живые, потом умерли, потом их похоронили... И вот теперь спокойно лежат в земле. И даже не верится, что они когда-то могли обижать или обижаться, радовать или радоваться. Всех их сравняла смерть, мужчин и женщин, богатых и бедных, добрых и злых... Все хорошее и плохое остается здесь, в этом мире. Конец всему именно здесь, на кладбище, где обрываются все дороги, куда бы они ни вели. Все человеческие

дрязги покоятся под этими вот маленькими холмиками, потом, для уверенности, их придавят плоским камнем, на котором напишут твое имя, кто ты, чей, откуда... Это хорошо, когда на камне есть твое имя, взглянет прохожий и подумает мимоходом, вот, мол, и такой человек жил, оказывается, на этом свете...

Недавно, после похорон своего сверстника мельника Алима, Мустафа наконец решил заказать себе могильную плиту. Дал Усману двести рублей на мрамор и еще пятьдесят на дорожные расходы и еду. Утром Усман поехал в Самарканд и исчез на целых три дня. На четвертый день утром все же, наконец, объявился, но вдрызг пьяный, еле держался на ногах. Вошел в дом, упал на ковер возле неразобранного сандала и заснул мертвым сном. Долго спал Усман. Только под вечер, перед возвращением стада, очнулся, кое-как дополз до стены, прислонился спиной и сказал старухе Гульсаре:

— Позовите старика, пускай войдет!..

Мустафа сидел перед домом, рубил жмых для коровы. Он вошел в дом, держа топор в измазанной кунжутным маслом руке.

— Ура, явился меня зарубить! — радостно воскликнул Усман.— Смотрите-ка, старик пришел меня зарубить, ура!!

Мустафа смутился. Бросил в угол топор, присел на край ковра рядом с Усманом.

— Деньги мы пропили, дядя,— сообщил Усман.— Так и быть, теперь аллах запишет на наш счет парочку ваших грехов.

Мустафа промолчал. И что он мог сказать, раз Усман ему не чужой человек, а племянник, сын его родного брата. Что ты ему скажешь?

— Значит, деньги мы пропили...— повторил Усман.

— Зря ты так, Усманбай... Мог бы привезти мне камень...

— Я не привык врать, дядя,— сказал Усман.— Слушайте, дядя Мустафа, вы ведь поверили бы, скажи я вам, что плита будет готова через неделю? Ведь поверили бы, а?

— Поверил бы, Усманбай...

— А я вот не стал вам врать,— сказал Усман.— Пропил деньги, так и сказал. Правду сказал. Разве плохо, когда говорят правду?

— Хорошо, что ты сказал правду,— признался Мустафа.— Но было бы еще лучше, если бы ты привез кусок мрамора...

— Не горюйте, дядя, я еще привезу вам самую большую плиту,— пообещал Усман.— Три локтя в ширину, пять локтей в длину — самую большую плиту!

— Нет, Усманбай, это очень много для меня,— сказал Мустафа.— Зачем мне такой большой камень? Хватит и поменьше.

— Нет, я самую большую плиту привезу и поставлю на вашу могилу! Вот попробуйте тогда сказать, что Усман вас обманул. Я вас не обману, дядя, для меня это все равно, что отречься от своего имени!.. Да лучше уж расстаться со своим именем, чем вас обмануть!

Кажется, эти слова вконец разжалобили Усмана, в его глазах заблестели слезы. Мустафа больше не мог обижаться на племянника.

— Да ты уж не утруждай себя, Усман,— сказал он.— Откуда тебе взять столько денег?

— В Сырдарью поеду, дядя,— сказал Усман.— Не могу тут больше. В Сырдарье земли много, а председателей мало, раз-два и обчелся. Только я считать не умею, но это не беда, найму два лишних учетчика, они за меня и будут считать.

— Тебя не сделают председателем, Усманбай,— сказал Мустафа.— Ты неплохой парень, но вот слава о тебе плохая... Ты бы хоть поменьше пил...

— А если брошу пить, выберут меня председателем? — спросил Усман.

— Бог его знает, Усманбай, вряд ли...

— Ведь так и погибнуть можно, дядя!..— сказал Усман.— Может, и я перестал бы пить, если бы выбрали меня председателем. Вот Камал Раис ведь не пьет?

— У Камала больной желудок, ему нельзя.

— А-а! Все равно... Будь я председателем, начисто бы завязал! А сейчас в моем положении...— Усман вовсе упал духом.— Кому я сейчас такой нужен? Помру, некому и поплакать над моей могилой. Сейчас я никому не нужен. А был бы я председателем, одному зарплату побольше дашь, другому барана подешевле уступишь. Ведь это хорошо, дядя, когда ты людям добро делаешь!.. И они рады, и ты сам рад, и все вокруг тебя рады и счастливы! Посмотрите на меня, дядя, неужели я по-

хож на зверя, ведь я человек, дядя, такой же, как вы!..

Мустафа украдкой взглянул на племянника. Усман все еще был пьян. Только в глазах засела давняя грусть, и, кажется, ее никакой водкой не заглушить. Не повезло парню, жалко, тысячу раз жалко, но не повезло ему, кажется, с самого начала. В двадцать лет он ни с того ни с сего вдруг влюбился в старшую дочь счетовода Тилло, влюбился и взбаламутил все Галатепе своими песнями. Нараспашку и грудь и душа, бродил Усман по кишлаку, точно блаженный дядя Мурад, пел о ней песни, думал о ней думы, горел в любви, тонул... всяко пробовал, но ничего не помогло. И всю свою обиду вложил парень в песню. Иногда даже казалось, будто он решил мстить самой песне — с таким надрывом пел человек! Чуть свет, а Усман уже шастает у ворот Тилло со своей песней, вечером — опять мозолит глаза со своей песней... Пел он о ней по-разному, то хвалил, то проклинал, но неизменным в его песнях оставалось одно: Усман выбрал эту девушку из тысячи тысяч, и без нее, любимой и проклятой, он ни дня не может прожить — погибнет...

В Галатепе до Усмана никто не пел о любимых во всеуслышанье. Первым запел он. У других было попроще, они покоряли женщин втихую, пели тоже втихую, в одиночку или только вдвоем. Иные обходились и вовсе без песен. Но Усман даже с песней не смог покорить эту девушку. А может, любовь его потому и оставалась без ответа, что он пел?..

Мало нашлось таких, кто смеялся бы над его песнями. Однажды, после полуденной молитвы, когда зашла речь об Усмане, мулла Данияр — да продлится память о нем до самого судного дня! — не сумел совладать с собой, выругался прямо под сводами божьего дома, позабыв даже о своем звании. «И чего только надо этой счетоводовой сучке? Может, Усман для нее не хорош? Может, ей надо кого-нибудь из табуна Нормурада? Тилло глуп, как осел, не будь он глуп, давно бы справился, связал бы ей руки да ноги и бросил через порог. Была бы у меня дочь, не выдал бы ни за кого другого, а было бы у меня две дочери, обеих бы выдал за Усмана!..»

Назавтра мулла Данияр вместе с Мустафой пришли сватами к счетоводу. Самого хозяина дома не застали, вышла его дочь, та самая, которую они решили сватать, вышла, позабыв всякий стыд, закричала:

— Убирайтесь вон, я не собираюсь замуж.

Мустафа повернулся было уходить, но мулла Данияр, добрая душа, его не пустил. Схватил за рукав и сказал:

— Нет, Мустафа, ее слова не в счет, есть над ней еще отец и мать и решать им. Не годится, если мы так и уйдем, не поговорив с ними. Люди знают о наших делах, я еще с утра гонца прислал...

Мустафе пришлось последовать за ним. Войдя во двор, они направились к маленькой супе. Она оказалась голой, без паласа. Хозяева даже не удосужились ведерком воды смахнуть с нее пыль, хотя и знали, что появятся сваты. Увидя все это, Мустафа опять стал просить:

— Уйдем же отсюда, уважаемый, ничего хорошего у нас не выйдет...

Но мулла Данияр не согласился. Они присели на краешек пыльной супы и стали ждать, когда подойдет к ним хозяйка дома, которая в это время доила корову. Долго пришлось им ждать. А дочь ее, вместо того чтобы подменить мать и самой подоить корову, прислонилась к косяку двери и стала презрительно их оглядывать, будто это не люди уважаемые к ним пришли, а какие-нибудь там цыгане. Так и простояла, скрестив руки, грудастая, дерзко красивая, пока наконец не пришла ее мать. Мулла Данияр был человеком ученым, не зря десять лет проучился в бухарском медресе, он умел говорить с людьми, помнил все обряды, знал когда как надо поступать. Он развязал узелок со сладостями и двумя лепешками. Но жена Тилло тоже была не дура, она знала: отведать хлеба другого, значит, во веки веков быть у него в долгу. Она принесла свой дастархан и разломила свою лепешку. Мулла Данияр не растерялся, с невозмутимым видом он взял кусочек хлеба и положил в рот. Долго жевал он этот кусок, никак не лез он ему в горло. Наконец мулла проглотил свой хлеб и заговорил:

— Вот пришли мы к тебе, Ойпарча, пришли с хлебом и с такими же святыми и дозволенными мыслями, как этот белый хлеб... Давай разломим теперь эту лепешку, и пускай одна ее половина останется у твоей дочери, а другую мы возьмем с собой и отнесем к будущему жениху...

Но Ойпарча, жена Тилло, не торопилась разломать лепешку, она сказала, что дочь ее еще молода и хочет учиться.



— Зачем ей учиться, Ойпарча? — удивился мулла Данияр.— Ведь учение дозволено богом для одних мужчин. Выдавай свою дочь за Усмана, а уж он наверняка прокормит ее хоть сто лет.

Ойпарча ничего не ответила. Она не сказала даже, что не вольна решать, пускай, мол, муж скажет свое слово. Норовистая была женщина, играла своим мужем как хотела, захочет, так тот запляшет под ее дудку на десять ладов. И сваты поняли, что Тилло никогда не пойдет против ее желания. Мустафе даже страшно стало при мысли, что придет вдруг человек и опозорится перед сватами, мужчина все же как-никак...

Прибрела к супе какая-то собака. Черная, смирная, немного грустная. Собака к добру, подумал с надеждой Мустафа, пророк наш погладил кошку по спине, и она с тех пор никогда не падает на спину, и собаку он благословил на верную службу людям, хотел, чтобы она была с людьми в божьем раю и служила им... К добру это, дай бог, чтобы это оказалось к добру... И Мустафа, будто собака могла ему чем-то помочь, взял с дастархана кусок хлеба и бросил ей. Собака унесла хлеб подальше, съела и снова вернулась к супе, подобострастно виляя куцым хвостом. Но Мустафа не стал больше отвлекаться, он взглянул на муллу Данияра и с его молчаливого согласия начал:

— Я родной дядя Усмана, пришел вот к вам сватать вашу дочь. Парень он неплохой, надежный... Правда, по молодости немного осрамил он вас своими песнями, но вы на него не сердитесь. Все это из-за любви к вашей дочери. Давайте, уважаемая Ойпарча, сыграем свадьбу, позовем все одиннадцать кишлаков вокруг...

Мустафа однажды уже ходил сватать. Тогда с ним был не мулла Данияр, а Имам, тоже мулла, но только из соседнего Шуркудука, родной дядя будущего жениха. Тогда мулла Имам говорил отцу девушки: давайте, мол, сыграем свадьбу, почтенный, и позовем все одиннадцать кишлаков вокруг Галатепе. После таких слов отец девушки враз согласился, встал, обнял муллу Имама, потом Мустафу, повеселел и стал говорить, что вот, слава богу, теперь они через жениха и невесту породнятся навеки, поздравил сватов с будущей свадьбой, затем сваты поздравили его... Все тогда было прекрасно, по всем правилам, по-мусульмански. Сейчас Мустафа вспомнил про то сватовство и повто-

рил слова муллы Имама об одиннадцати кишлаках. Но женщина на это не обратила никакого внимания. Тогда Мустафа сказал:

— Каждой девушке полагается жених, Ойпарча. И каждому парню полагается невеста, а потом жена, чтобы оберегать его очаг от дурного глаза, чтобы служить ему верой и правдой.

— А моя дочь не служанка,— оборвала его женщина.— У нее такие же права, как у мужчин. Вы не думайте, будто она какая-нибудь там забитая, ошибаетесь!..

Мустафу такие слова женщины глубоко обидели. Он и сам видел, что ее дочь отнюдь не забитая. Но так говорили испокон веков все сваты, про очаг, про верность... Пожалел он, что бросал перед этой спесивой женщиной такие хорошие слова.

— Ты хоть немного устыдила бы свою дочь,— попросил мулла Данияр.— Научи ее, чтоб не показывалась она при сватах-то. Должна же невеста немного робеть перед сватами!..

— Она человек вольный,— засмеялась женщина.— Вот я, женщина, ведь разговариваю с вами, почему же и ей не стоять здесь? Ваши законы давно устарели, мулла...

— Может, нам прийти, когда будет твой муж? — с последней надеждой спросил мулла Данияр.

— Да как хотите, дед мулла, дело ваше...— опять засмеялась женщина, знала, что муж у нее будет как попугай повторять за ней ее слова.

Сваты примолкли. Черная собака опять подошла к супе. Тихо заскулила и, точно больная, жалким комочком легла у супы, положив узенькую мордочку на ее край. Странно она сейчас выглядела — туловищем внизу, на земле, морда на супе, глаза несчастные, будто она что-то хочет сказать и не может... Мустафа, почувствовав недоброе, резко обернулся и увидел дочь Тилло. Та все еще стояла у дверей, опершись спиной о косяк, внимательно рассматривала браслет на смуглом запястье. Вдруг ее брови взметнулись вверх, она резко оттолкнулась от косяка и, тряся грудями, подошла к сватам. Собака вскочила и, жалко скуля, побежала прочь. Девушка схватила узелок муллы Данияра и швырнула его вслед черной собаке. Лепешки и сладости посыпались на землю. Собака на мгновение остановилась, взглянула на валявшееся в пыли добро, но не до-

тронулась, стремглав выбежала со двора, прижав между ног обрубок хвоста...

— Боже милостивый, покарай ее,— взмолился Мустафа.— Собака, и та поняла человека, но эта девица ничего не поняла, собаке совестно стало, а ей хоть бы хны... Покарай же ее, господь!

Дочь Тилло еще пять лет просидела в родительском доме — не нашлось больше охотников на нее. Не только свои, но даже из тех одиннадцати кишлаков вокруг Галатепе никто не пришел ее сватать. Но она все же добилась своего. Поехала в город учиться, в городе нашла себе ученого мужа. Кроме отца и матери, никто из галатепинцев не поехал на ее свадьбу...

Вернулись сваты домой подавленными. Мулла Данияр позвал к себе Усмана, который с нетерпением ждал их возвращения, и сказал:

— Выкинь эту дурь из головы, сынок, лучше на всю жизнь остаться холостяком, чем жениться на таком скорпионе...

Усман все понял и молча вышел из дома с опущенной головой. Мустафа тоже было хотел последовать за племянником, но мулла остановил его:

— Вы, Мустафа, чуть погодите, хочу вам сказать напоследок несколько слов.

Мустафа остался. И тогда мулла Данияр обратился к Мустафе со следующими словами:

— Запомните, Мустафа, раз женщины так сильно потянулись к благодати знаний, то пришел мужчинам конец, они уже выродились, не смогут больше влиять на женщин и не смогут больше прокормить их своим трудом. Еще ан-Наззам об этом говорил. Никто не отнимет знаний у человечества, но ученые исчезнут. А когда не останется больше ученых, хороводить будут глупцы. Заблуждаясь сами, они еще потянут за собой других... Живите, Мустафа, пока есть на земле умные люди...

В тот памятный вечер не слышно было песен Усмана. Люди напрасно ждали до поздней молитвы — они уже привыкли к его песням, и без них странно тихими и пустынными показались улицы Галатепе. Усман больше не пел. До глубокой ночи сидел он на обратном склоне Коровьей вершины, и только потом, когда уже погасли все огни, озираясь как вор, вернулся по глухим оврагам домой. Вернулся и лег в постель. Но заснуть

не смог, снова встал, вышел из дома, обошел весь кишлак, все его улицы и закоулки, словно собирался навсегда их покинуть, прошел и мимо голубых, ставших еще неприступнее, ворот счетовода Тилло. Только под утро воротился обратно и пошел прямо к новому дому в глубине сада, куда думал привести свою будущую жену. Дом освещала луна, окна и двери пахли и блестели свежими красками, и весь он, белый, нарядный, казался мертвым и никому не нужным. Усман еще утром выровнял последнюю яму у стены, откуда брали глину. Теперь здесь валялся тяжелый кетмень, тускло поблескивая наточенным лезвием. Усман схватил кетмень и что было сил ударил им по стене дома. Стук разбудил собаку, и она тревожно заскулила. Заревел осел на задворье. Залились лаем другие собаки, затрубили другие ослы... Усман зло отшвырнул кетмень в сторону, принес из угла сада охапку сена и, разбросав по полу дома, чиркнул спичкой...

Одним словом, не повезло парню. После того как он в сердцах спалил новый дом, отец и мачеха прекратили с ним всякие отношения. Некоторое время он ночевал у старшего брата Расула. Тогда и запил в первый раз. Потом, крепко повздорив с Низамбаем, целый год проболтался где-то под Бухарой, то ли в Кермене, то ли в Учкудуке, говорят, обжигал там кирпичи. Вернулся оттуда и снова запил... Старший брат, стыдясь людей, построил для него маленькую лачугу под Коровьей вершиной, подальше от кишлака, чтобы Усман, живя там, не мозолил глаза. Но Усмана это не устроило. Уж если жить отшельником, так лучше всего в какой-нибудь пещере, сказал он и ушел в горы. Но долго не смог жить отшельником, вернулся снова в кишлак, однако не в расуловскую лачугу, а к Мустафе.

— Вот пришел теперь к вам, дядя, может, приютите до зимы.

Мустафа приютил, и стало их в доме три человека, как-никак, поуютней зажилось, поживей... Но и здесь Усман не сразу выправился. Снова запил. В кишлаке живет — пьет, в город отправится — и там пьет, дерется, в милицию попадает... Только два года, как Усман немного остепенился. Целый год совсем крепко держался, не пил... Подсобил Мустафе по хозяйству, потом все же пошел к Камалу Раису, просить какую-нибудь работу. Камал Раис ему не поверил:

— Ты опять запьешь, Усман, верить тебе нельзя. И,

пожалуйста, без клятв, для пьяниц клятвы не существует...

— Это для шлюх и воров клятвы не существует,— ответил Усман.— А ты мне дай ферму, и увидишь, как через год я увеличу твое поголовье в два раза.

— Не мое поголовье, а скота,— поправил Камал Раис.— Нет, Усман, все же тебе нельзя верить. Учетчиком еще куда ни шло, а ты вон куда замахнулся, в завфермой метишь!.. Нет, брат, так не пойдет!..

— Да я бы рад и учетчиком,— сказал Усман,— но не люблю считать. Скучное это дело, Раис, ты бы меня лучше завфермой...

— Запьешь ты, Усман,— третий раз повторил Камал Раис.— Нельзя тебе верить.

— А как же тогда быть? — спросил Усман.— Я же целый год не пью. Ты мне хоть раз в жизни поверь, Раис, пойми, мне очень нужно, чтоб ты мне поверил, ведь я погибну, если мне не будут верить!..

Камал Раис немного смягчился.

— Ладно, приходи через день,— сказал он.— Может, суну тебя телятником к Мирзаеву. А про учетчика ты позабудь, это я так, для слова сказал...

— Иди ты к черту! — разозлился Усман.— Я к тебе как к человеку, а ты мне что предлагаешь, разве я баба, с телятами возиться. Уж лучше бы ты мне жабу какую дал, и то бы охотнее проглотил! Дай мне другую работу, пускай самую черную, но чтобы я чувствовал себя мужчиной!..

Не поладили они тогда с Камалом Раисом. Тот наотрез отказался дать Усману другую работу. Усман от злости снова запил на целых три дня. Огородился в комнате бутылками крепкого мусалласа и пил, никого к себе не пуская...

Потом все же не выдержал, опять пошел к Камалу Раису. К тому времени оба они немного отошли, и Камал Раис без лишних разговоров зачислил Усмана телятником. Так и тянет Усман по сей день, платят неплохо, работа вроде пустяковая. Утром напоит телят сывороткой из сепаратора, в полдень — опять сывороткой, вечером еще какой-нибудь бурдой, и иди себе домой. Одно хорошо, что есть у него какая-никакая работа. Правда, не для мужчины, но все же работа. Другое плохо: не может он до сих пор забыть дочь счетовода. У той уже дети взрослые, и сама она (Мустафа изредка

видит ее, когда она приезжает с мужем в гости к родителям) стала совсем другой, располнела, расползлась вширь, вроде бы не на что поглядеть. Но что поделаешь? Любовь зла, чужая душа потемки, а человек все видит так, как сам того желает. И вот Усман никак не может ее забыть, увидит — и сам не свой становится.

Многое хочется сказать Усману... Усадить его перед собой и сказать примерно так: «Эй, ты, человек, сын человека, вроде бы вовсе и не дурак, так зачем же зря себя мучаешь? И вообще, стоит ли из-за одной вздорной бабы терпеть столько позора? И стоит ли она твоих страданий? Свет на ней клином не сошелся!.. Присмотри себе другую и женись. Только на девушек не заглядывайся. Время твое уже прошло, ты уж не молод, и будь у тебя хоть помет золотой, девушек ты не прельстишь. Но ты не отчаивайся. Вон сколько разведенных женщин вокруг — выбирай любую, а не хочешь иметь дело с разведенными, посватайся к вдовушке, есть и такие. Кому ты, собственно, мстишь? Времена Фархада и Меджнуна давно миновали. Кто сейчас бьется головой о камни из-за женщин? То были другие женщины, они стоили того, чтобы царевичи гибли из-за них! Но ты-то не царевич, Усман, ты всего-навсего сын Пиримкула Скряги, сборщика земельных налогов, ты только племянник Мустафы, обычного человека, и та твоя избранница не была царевной. Назло клопам постели не сжигают! Не позорь себя, Усман, будь человеком!..»

К сожалению, все это надо не говорить, а кричать. Иначе Усман не услышит. Многие учили Усмана уму-разуму, многое вдалбливали ему в голову, вот и стал теперь Усман глуховатым, не сразу понимает, что ему говорят. Надо или криком кричать, или плакать. А Мустафа человек робкий, кричать он не умеет, и плакать ему как-то непривычно... Даже те слова, что он хочет высказать своему племяннику, произносит только про себя или совсем тихо и смущенно. Никого у Усмана не осталось, кроме Мустафы. Родители, те давно уже от него отказались, даже видеть не хотят. И у Мустафы никого, кроме Усмана, нет. Зачем же ему такие горькие слова говорить? Зачем терзать душу? Думает об этом Мустафа и молчит. Молчит и горюет про себя. А старуха Гульсара все пристает да пристает, поговорите, мол, с Усманом, скажите ему, пускай больше не пьет. Ладно

бы говорила она это просто так, как чужие люди, но нет, говорит, а сама плачет — душа у бедной старушки болит за Усмана. В такие минуты весь мир чернеет перед глазами Мустафы. И он утешает старушку... «Не убивайся, Гульсара, что я могу ему сказать, авось вразумит и его господь бог».

Вскоре после того злополучного случая с могильной плитой Усман три дня не ночевал дома. Мустафа только через других узнал, что засел он в каморке базарного сторожа и режется в карты. Все три дня старики держали его долю в казане, вдруг образумится, придет, поест. Мустафа эти дни ходил сам не свой, ни к какой работе притронуться не мог, то выйдет из ворот, посмотрит в сторону базара, то опять вернется и возьмет в руки шило, но делать ничего не может — муторно на душе. Вдобавок ко всему истерзали его причитания Гульсары, все плачет старуха да плачет, клянет себя, свою судьбу, клянет Саломат, мачеху Усмана. Почему они, женщины, не сумели приглядеть за Усманом, это только из-за них он пропадает... Не вытерпел Мустафа, отправил сына Камиля Письмоноши за Усманом. Слава богу, Усман не пренебрег просьбой старика, пришел домой после полудня, голодный и невыспавшийся. Пришел, сел...

— Я тебя звал, Усманбай...— промолвил Мустафа.

— Говорите, дядя...

Сказал «говорите», а сам не смеет взглянуть в глаза Мустафе. Жалко стало старику парня. «Пугливый какой стал,— подумал Мустафа,— видно, от упреков, вот даже в глаза мне смотреть не может». Так и просидели они минут пять молча. Наконец Мустафа сказал:

— Может, деньги тебе нужны, Усманбай, ты скажи...

Усман очень устал. Он клюнул носом, но тут же очнулся, как от испуга.

— Деньги нужны,— пробормотал он.— Сто рублей мне нужны. Проигрался я в карты, дядя, не повезло мне сегодня. Вчера выиграл триста, а сегодня опять все спустил до копейки...

— Кто же обыграл тебя?

— Мясник... Бако...

— Зачем ему деньги? — удивился Мустафа.— У него и так их девать некуда.

— Деньги нужны всем, старик,— объяснил Усман.— Но мир этот так несправедливо устроен. Деньги идут к тому, у кого их много. Странно как-то, у него денег

полным-полно, просто преют они под подушками, а у тебя ни шиша, и ты все равно проигрываешь...

— А ты не играй в карты, тогда и проигрывать не будешь.

— А что мне еще делать, дядя? — удивился Усман.

Мустафу вопрос парня поставил в тупик.

— Поменьше играй,— сказал он немного погодя.

— Ладно,— неожиданно согласился Усман.— Завтра же брошу, дядя. Но мне сегодня надо выиграть хоть сто рублей. Мне уже осточертело проигрывать, дядя, поймите, противно так, все время проигрывать!..

Усман опять ушел играть в карты. Выиграть сто рублей ему не удалось. Вернулся он домой расстроенный и весь по горло в долгах. Назавтра Мустафа погнал двух баранов на базар. Усман стоял в стороне, пока дядя продавал своих гиссарских баранов, потом взял деньги и отнес их мяснику Бако. Домой они возвратились вдвоем. По дороге ни он, ни Мустафа не проронили ни слова. Обоим было стыдно и неуютно. Мустафа ехал впереди на своем сером осле, Усман — пешком, в кирзовых сапогах плелся сзади, отставая все больше и больше.

На полпути, проезжая мимо ворот Назара Махдума, Мустафа немного придержал своего осла и стал ждать, пока подойдет Усман. Скажу ему, твердо решил Мустафа, пускай только подойдет, скажу ему так: сынок, ты только больше не уходи от нас, денег я тебе дам, не хватит денег, вон, в земле лежат эмирские золотые, достань их, трать сколько хочешь. Все, что мое,— то твое, Усман, бери все и женись, а мы со старушкой будем нянчить твоих детей... Ты все у меня забери, Усман, и пускай мне выколют глаза, если я хоть словом тебя упрекну!

Усман поравнялся с дядей, остановился и посмотрел на него рассеянным, бесконечно усталым взглядом. Но Мустафа ничего ему не сказал, оробел, из головы вылетели все слова... Усман с минуту постоял перед ним, затем резко повернулся и зашагал прочь от дороги к тропинке, что ведет по пустырю в сад старика Хуччи. Но все же не решился далеко уйти, на полдороге обернулся и увидел дядю посреди дороги, по-прежнему косо сидевшего в седле серого осла. Усман опять вернулся и стал перед дядей, растерянный, несчастный. Мустафа смутился и суетливо ударил осла по шее:

— Хых, хых!..

Но голос его прозвучал так слабо, что хитрый осел даже и не подумал сдвинуться с места. Мустафа острым концом палки ткнул его в самый круп. Осел отчаянно припал на левый бок, потом выправился и побежал рысцой... Усман двинулся за ним. «Чем виновато это бедное животное,— подумал Мустафа.— Он же не виноват, что у нас все так нескладно получается...»

Наконец они вернулись домой. Мустафа снял с седла полный хурджун с покупками, и старуха повела осла к привязи. Мустафа вынул из хурджуна покупки: изюм, халву, килограмм зеленого чая, отрез ситца для старухи, а хурджун с оставшейся зеленью и овощами бросил под супу.

— Перец вот забыли купить, Усман,— сказал он.— У меня ума совсем почти не осталось, ты хоть напомнил бы...

— А у меня ума вообще нет,— ответил Усман.

Мустафа засуетился. Подумал, вдруг войдет сейчас Гульсара и совсем некстати затянет свою вечную песню...

Так оно и случилось. Старушка вернулась с подворья, куда отводила осла, присела на край супы и спросила:

— Сколько дали за баранов, Усманджан?

«Дура! — подумал Мустафа.— Усману и без тебя тошно, а ты к нему с такими вопросами лезешь?» Ему захотелось выбежать со двора. Лишь бы никого не видеть: ни старухи, ни Усмана, ни самого себя... Выбежать со двора и уйти куда глаза глядят... Перемахнуть перевал, добраться до Сарсана, а там еще дальше в горы уйти, заблудиться, забыться...

— Ты пока раскрывай дастархан,— сказала старуха.— Я пойду за чаем...

А сама никак не уходит, смотрит, не спуская глаз, на Усмана, жаль ей его, не хочется одного оставлять... И с глупого языка опять срываются слова, которых не надо было бы говорить.

— Устал ты, поди, Усманджан, вон как осунулся весь... Рано поднялся на базар.

Усман молчит.

— Рыжий баран-то был поплотнее,— говорит тем временем старуха.— За него-то вам хоть получше заплатили?

Усман опять молчит.

— Иди, принеси нам чай, Гульсара,— не вытерпел Мустафа,— больно много ты стала говорить. Принеси нам лучше чаю. Страсть как пить хочется!

Старушка ушла. Мустафа со страхом понял, что опять один на один остался с Усманом.

— И ты иди, Усманбай,— сказал он.— Иди переоденься, грязный какой-то весь ходишь, доброму мусульманину стыдно с тобой рядом сидеть...

Усман удивленно посмотрел на старика. Ему показалось странным услышать такие слова от дяди. Но возражать он не стал, поднялся с супы и, волоча пыльные кирзовые сапоги, направился в дом.

Мустафа еле дождался, пока Усман исчез за дверью, потом поспешно надел кауши и вышел со двора...

Спустившись к пруду Ибадулло Махсума, Мустафа сел в тени старых талов, снял с левой ноги кауш, высыпал попавшие туда зернышки ячменя в воду. Пожелтевшая от таловых листьев вода в пруду вдруг ожила, пошла кругами от бесчисленных прыжков маленьких рыбок, собравшихся под зернышками. Через минуту поверхность воды была уже чистой. Мустафа и из правого кауша высыпал зернышки ячменя, но не стал смотреть, как их начнут делить рыбки, обулся и прошел в другую сторону пруда. У арчовых ворот он увидел Ибадулло Махсума, сидевшего с грустным видом на лавочке. Старики поздоровались, потом Ибадулло Махсум сказал:

— А почтенный Хуччи продал своего скакуна. Дешево продал, как воду... Понимаете, всего за тысячу рублей продал! Я сам хотел купить, да не было денег. А хоть бы и были, все равно не купил бы за тысячу рублей, это ведь так дешево... Мне было бы стыдно перед Хуччи. А теперь новый хозяин меньше чем за полторы не отдаст.

— Тогда почему же продал за тысячу? — спросил Мустафа.

— Это почтенный Хуччи продал за тысячу,— сказал Ибадулло Махсум.— Теперь он уже не хозяин своему коню. Купил-то его кто, вы знаете? Салим, да-да, этот самый Салим Разбойник! А теперь он меньше чем за полторы не отдаст. Вы, Мустафа, знаете цену хорошему коню, скажите, сколько бы вы отдали за коня почтенного Хуччи?

— Я в конях совсем не разбираюсь,— ответил Мустафа.— Но конь у него вроде был неплохой... Тысячи на две бы потянул...

— Вот. А он за одну тысячу продал, Мустафа. Да что толку говорить!..

Ибадулло Махсум встал.

— Идемте,— сказал он Мустафе.— Идемте со мной, посмотрите.

Мустафа послушно пошел за ним. Они вошли во двор Ибадулло Махсума. Но хозяин не пошел к своему дому, а свернул налево, к хлеву. Заглянув в хлев, Мустафа увидел на земле каменных баб, какие-то вытесанные из камня головы.

— Вот, смотрите!..— сказал Ибадулло Махсум.

— Да, видно, такая уж работа у вашего сына,— Мустафа подумал, будто Ибадулло Махсум жалуется на своего сына, каменотеса, который недавно опять переехал жить в город.— Что поделаешь, раз у него такая работа...

— Нет, нет, вы туда посмотрите, Мустафа!..— показал Ибадулло Махсум в глубь хлева.

Мустафа посмотрел и увидел огромного белого осла.

— Вот,— сказал Ибадулло Махсум.

Они снова вышли со двора.

— Все это бабьи козни, Мустафа,— сказал Ибадулло Махсум.— А так у меня есть свой осел, вы видели, черный, с такими отвислыми ушами, как у Турабая. Но я не мог отказаться и от этого белого. А знаете, как все получилось? Когда почтенный Хуччи продал своего коня, он купил двух белых ослов. Сам-то почтенный Хуччи не слушается баб, но у него есть сын, Иргаш, учитель, ясно, это он пошел у них на поводу. Я знаю, они давно надоедали почтенному Хуччи своими требованиями, продай коня да продай, зачем тебе на старости лет конь, упадешь и разобьешься, смотри, какой он у тебя резвый... Ну что из этого, что резвый, какой же это конь, если не резвый? Эх, Мустафа, я бы на его месте ни за что не продал. Теперь ему трудно придется. Салим Разбойник будет ездить мимо его ворот на его же коне, а почтенному Хуччи остается только смотреть...

Ибадулло Махсум сел на лавочку.

— Да, вот продал он своего коня и купил двух ослов,— сокрушенно продолжал Ибадулло Махсум.— Оба осла белые, пускай у нас с тобой будут одинако-

вые ослы, говорит, по свадьбам будем вместе разъезжать. Будь моя воля, я завел бы этих ослов в дом самого Иргаша, сына почтенного Хуччи, пусть бы там постояли с недельку, быстро бы он понял, каково вынуждать отца продавать коня. Что вы на это скажете, Мустафа, ведь я правильно говорю?

Ибадулло Махсум с надеждой посмотрел на Мустафу. Но тот молчал, не знал, что ответить.

— А я все равно откуплю у Салима Разбойника этого коня,— сказал Ибадулло Махсум.— Душу свою заложу, а коня откуплю. Без коня почтенный Хуччи совсем зачахнет, трудно ему придется, Мустафа.

Ибадулло Махсум вынул из кармана халата маленькую тыквинку с насваем, высыпал щепотку на ладонь и бросил под язык. Остатки насвая на ладони смел кисточкой из козлиного хвостика, укрепленной в затычке. Но и насвай, кажется, не отвлек его от горестных мыслей, он быстро выплюнул его из-под языка и продолжал молча сидеть, низко опустив голову. Мустафа топтался рядом, ожидая, когда он заговорит.

— Ладно, я, пожалуй, пойду,— сказал Мустафа немного погодя.

— У меня на душе кошки скребут, а вы уходите,— сказал Ибадулло Махсум, не поднимая голову.— Могли бы немного и посидеть...

Мустафе все равно было некуда идти. Он легко согласился, присел рядом на лавочку. Оба долго молчали. На холме показался Усман. Он медленно спускался к пруду Ибадулло Махсума, ведя на поводке бычка.

Усман напоил бычка и пошел обратно по тропинке. Ибадулло Махсум некоторое время следил за ним, затем обернулся к Мустафе.

— А Усман-то как похудел, что твой цыган в долгую зиму, просто страшно смотреть на человека. Могли бы вы хоть получше о нем позаботиться? Я бы на его месте сжег за это ваш дом. И не только дом, еще и сад бы спалил.

— Сад не сгорит, Махсум,— тихо возразил Мустафа,— там всего-то несколько яблонь, да и те очень редко посажены, не будут они гореть.

Ибадулло Махсума такой ответ очень обидел.

— Что вы заладили, будут не будут. Сбросить бы мне годков двадцать, я бы и воду поджег. Почему вы думаете, что ваш сад не будет гореть?

— Так ведь трудно же, Махсум,— сказал Мустафа, словно оправдываясь.— Это же не сухие дрова, думаю, сразу не загорятся.

— Если надо, загорятся,— сказал Ибадулло Махсум.— Вы мне не возражайте, Мустафа, мне и без того муторно.

— Да я и не возражаю, Махсум,— сказал Мустача.— Но вы зря говорите, будто я об Усмане не забочусь. Быть мне последним псом, если я перестану о нем заботиться!

Мустафа сказал это так резко, что даже сам смутился.

— Он ведь у меня словно сын, Махсум,— продолжал Мустафа уже более спокойно.— Видит бог, я душу свою не пожалею ради Усмана. Только вот старуха моя не всегда умеет умно сказать, иногда такое ляпнет.

— Старухи все дуры,— подытожил Ибадулло Махсум.— Вы мне о них лучше не говорите, Мустафа. Все они круглые дуры, что у вас, что у почтенного Хуччи, что у меня — все до единой дуры.

— Усман парень неплохой, жаль только, иногда выпивает.

— А вы его заставьте пни корчевать,— посоветовал Ибадулло Махсум.— Мой покойный отец частенько меня так наказывал, когда я приходил домой навеселе.

— Да неужели, Махсум!..— удивился Мустафа.— Я никогда не слышал, что вы пили.

— Было и такое,— скромно признался Ибадулло Махсум.— Известное дело, молодость, Мустафа, даже сам наш господь бог не сразу познал себя. Вы предложите Усману пни покорчевать, здорово помогает!

— Как я могу ему такое предложить? — смутился Мустафа.

— Да будьте вы хоть раз мужчиной, Мустафа!..— Ибадулло Махсум не на шутку рассердился.— До чего же вы добренький, даже тошно делается... Чего вы стесняетесь? Заставьте, и пускай корчует, пока не свалится от усталости. Вот и пить меньше будет!

— Теперь он вроде совсем мало пьет...— сказал Мустафа.

— Тогда какого черта вы на него жалуетесь? — вспылил Ибадулло Махсум.— Бросьте вы свое нытье.

Все, кому не лень, ездят на вас, как на безропотном осле. Скажите, Мустафа, вы хоть раз в жизни от души выругались?

— Да нет, Махсум, не приходилось...— засмущался Мустафа.

— Тогда уходите, Мустафа,— сказал Ибадулло Махсум.— Уходите. Мне что-то не хочется с вами больше разговаривать.

Мустафа покорно встал.

У ворот ему встретилась Гульсара с лопаткой в руках.

— За водой пошла, клевер полить,— весело сообщила она.— А Усманджан дрова колет,— она вдруг понизила голос, словно собиралась открыть древнюю тайну.— Сам вызвался. Я не стала перечить, так-то все же лучше, чем слоняться без дела...

Мустафе не понравилась веселость старушки, но он промолчал.

— Пускай он займется полезным делом,— сказала она.— А то ходит проигрывает ваши деньги.— И, исполненная сознанием полезности дела, гордо вскинула голову.

Мустафа не выдержал.

— Да пускай он хоть меня самого проиграет,— неожиданно вскричал он.

Старушка опешила, даже выронила лопатку и ошалело уставилась на мужа, словно не узнавая его.

— Не будь же такой дурой, Гульсара,— продолжал Мустафа.— Не перегибай палку. Нельзя относиться к нему так безбожно. Ладно, иди уж, пусти воду.

Старушка Гульсара подняла лопатку и зашагала вверх, к эмирскому арыку.

Во дворе Мустафа увидел, как Усман пилит большой ножовкой таловые бревна. Сидит на сложенном вчетверо старом коврике под стеной кошары, рядом топор, и отпиливает от бревна коротенькие поленца. Силы парню не занимать, ножовка не выдерживает его усердия, гнется, застревает в бревне. Усману явно не по себе. Он пыхтит, чертыхается, сидит красный от прилившей к лицу крови, но ножовку не бросает...

Мустафе не хочется ему мешать, он осторожными шагами идет к хлеву, отводит от стены тачку. Через несколько минут, уже с нагруженной до краев тачкой,

Мустафа стоит за воротами возле злополучной навозной кучи, под которой зарыты золотые эмирские монеты. «Вот возьму и раскопаю их сейчас, будь они прокляты,— со злостью думает Мустафа,— раскопаю и уничтожу... Нет, закопаю их к черту! — мелькает мысль, и Мустафа неожиданно улыбается: — Какая чушь. Ведь они и так закопанные лежат!..»

Старушка Гульсара вернулась с эмирского арыка и вслед за Мустафой вошла во двор. Но Мустафа даже не обернулся в ее сторону, внимание его привлекло куриное перо на колесике тачки, забавно было смотреть, как оно с каждым оборотом колеса возвращается на старое место. Мустафа и не заметил, как очутился в другом конце двора. Когда колесо тачки заехало в маленький арык, Мустафа спохватился. Ему показалось, что старушка неотрывно следит за ним. Он поборол искушение обернуться, как ни в чем не бывало вытащил тачку и принялся расчищать арычок от набившегося туда мусора и кусочков засохшего дерна. Освободив путь для воды к клеверному полю, Мустафа покатил тачку обратно к хлеву, прислонил ее к стене и украдкой посмотрел в сторону кошары. Под низкой стеной кошары лежали аккуратно сложенные с десяток круглых болванок. Усмана во дворе уже не было. Мустафа выпрямился, вздохнул и пошел в дом, сменить одежду.

— А куда Усман делся? — спросил он у жены, принимая из ее рук свой старый чекмень.

— Ушел,— ответила Гульсара,— за кетменем, говорит, пойду.

— А где наш кетмень? — удивился Мустафа.

— Говорит, такой ему не годится, очень легкий он для мужчины.

— Вот это уже хорошо, Гульсара,— Мустафа улыбнулся.— Хорошо, если он почувствовал себя мужчиной... А мой-то кетмень тоже не из легких. Слава богу, уже два года обрабатываю им землю. Кетмень у меня хороший, Гульсара.

— Вы уже пожилой человек, он молодой,— сказала старушка.— Ему нужен кетмень потяжелее.

— Ты правильно говоришь, Гульсара.

— Вы бы сперва хоть чаю попили, с утра ведь ни крошки во рту не держали.

— Чай потом, Гульсара,— сказал Мустафа.— Интересно, какой участок он собрался обрабатывать? Неу-

жели клеверный? Клевер-то у нас еще совсем молодой, только три года, как засеяли.

— Нет, сказал, кукурузный.

— Тогда другое дело, если кукурузный,— сказал Мустафа.— Но мне все равно надо пойти.

Надев свой чекмень, Мустафа вышел из дома, взял кетмень и принялся обрабатывать кусочек земли под кукурузу. Земля была податливой, ее нетрудно было взрыхлять. Не прошло и пяти минут, как появился Усман с тяжелым, килограммов в пять, кетменем, который он взял у Ибадулло Махсума, и занял место рядом с Мустафой.

— Вы идите, дядя,— сказал он.— Один справлюсь.

— Я тебе не помешаю, Усман,— сказал Мустафа.— Ты будешь работать, а я буду следить, чтобы земля ложилась ровно.

Усман ничего не ответил. Он сел на межу, снял тяжелые кирзовые сапоги, закатал штанины до колен. Обнажились белые, как у больного, ноги. Кажется, это его смутило. Он поднял комочек сухой глины и начал его растирать. Бурая земля потекла сквозь пальцы мелкими струйками к ногам, но белизну не скрыла. Усман чуть покраснел и воровато оглянулся на Мустафу. Вдруг он резко вскочил, взял в руки кетмень.

— Не путайтесь под ногами, старик! Уходите домой, пока вас не обидели!..

Мустафа, волоча за собой кетмень, отошел на несколько шагов в сторону. Усман босыми ногами ступил на землю, поднял над головой кетмень и что было сил ударил... Кетмень вошел в землю до самого черенка. Усман легко бросил под ноги вывернутую землю. Работал он нервно, рывками и даже не заметил, как выросла целая горка земли. Мустафа неодобрительно следил за его работой и, как только Усман отодвинулся, подошел к горке и выровнял ее. Усман, поглощенный своей работой, даже не посмотрел в его сторону. Мустафа чуть осмелел, ударил тыльной стороной кетменя о твердую межу, проверил, крепко ли держится черенок, и взялся за дело. Но теперь Усман заметил его вторжение, поднял голову и прохрипел сквозь зубы:

— Уходите, дядя, уходите, худо вам будет!..

Пока Мустафа соображал как бы поскладнее возразить, к его радости, из дома вышла Гульсара с прялкой в руке и направилась в их сторону.



— Эй, Гульсара! — крикнул Мустафа.— Принеси нам воды!..

Усман еще какое-то время сердито смотрел на дядю, потом махнул рукой и снова взялся за кетмень. Больше он уже не цеплялся к Мустафе. Пришла старушка с кувшином воды.

— Пора бы уж тебе жениться, Усманджан,— сказала она, присаживаясь на меже.— Вон как ладно работаешь, можешь две семьи прокормить!

Усман действительно работал с увлечением. Но, услышав слова Гульсары, резко обернулся и сказал, не скрывая раздражения:

— Хватит ворчать, слушать тошно.

— Нет, не хватит,— вдруг заявила старуха с несвойственной ей смелостью.— Что, так и будешь ходить бобылем до судного дня? Должен же ты жениться!

— Хватит, я сказал!..— Усман отложил кетмень.— Я женюсь лишь на том свете, и то после судного дня! Ясно? Или повторить еще раз?

Старушка надулась. Нижняя ее губа отвисла от обиды. Мустафа стал беспомощно озираться по сторонам, не зная, кого из них осадить, жену или Усмана.

— Сидела бы себе лучше дома, Гульсара,— Мустафа решил Усмана не трогать.— Иди, свари нам похлебку.

Гульсара ушла, шмыгнув носом,— сильно обиделась.

— Ты не сердись на нее, Усман,— сказал Мустафа.— На, бери свой кетмень.

Вдвоем они опять взялись за работу и быстро, в какие-нибудь полчаса, разрыхлили почти весь участок. Присели на межу передохнуть.

— Дайте-ка, дядя, ваш платок...— попросил Усман.

Мустафа снял с пояса свой шелковый платок, передал Усману.

— Почему вы меня избегаете, дядя? — спросил Усман, вытирая со лба пот.— Я же не прокаженный какой. Или вы меня боитесь?

— Обидеть тебя боюсь, Усманбай,— признался Мустафа.

— Обидеть меня невозможно,— сказал Усман.— Я же веселый человек.

— Вот что, Усманбай...— начал Мустафа.— Ты у меня один-единственный, и за сына, и за дочь...

— Я не баба, дядя,— перебил его Усман.

— Ты не возражай, Усманбай, я это так, к примеру,— сказал Мустафа.— Старуха права, тебе надо жениться, хватит в холостяках ходить.

— Нет, дядя, я сперва съезжу на Сырдарью,— сказал Усман.— Попробую на бахче потрудиться, выплачу все долги... И вам долг верну... Если уж опять сорвусь, то останется мне только тюрьма, там хоть кормят бесплатно.

— Ну, зачем, зачем же ты меня унижаешь, Усман? — Мустафе вдруг стало страшно обидно.— Разве я тебе говорил о каком-нибудь долге? Не обижай так меня, я тебе не враг! Почему ты без конца твердишь о своей Сырдарье? Неужто не найдешь кусок хлеба здесь, на родной земле?

Усман метнул на дядю быстрый взгляд. Слова Мустафы, кажется, подействовали на него, и он чуть смягчился.

— Хорошо, дядя, я останусь здесь,— согласился он.— Наверное, мне придется жениться на бывшей жене Юльдаша.

— Нет, нет, она не годится,— испугался Мустафа.— О ней всякое говорят, я не хочу ее судить, но она тебе не будет хорошей женой, Усман. Ты сам, наверное, слышал, что о ней болтают?

— Ну и пусть болтают! Ведь мы с ней как раз друг другу под стать. Какое запястье, такой и браслет!..

Усману самому понравилось это сравнение, и он громко расхохотался.

— А баба она мировая, дядя!..— продолжал Усман.— Я ее видел в позапрошлом году, на выборах. Вот стерва! Сказала, будто я не имею права избирать! Ну и я соответственно, мол, уже три года как не обжигаю кирпичи и имею право не только избирать, но и жениться. А она мне будто в ответ бедрами так и виляет. Смеется, чертовка, и с томненьким таким видом спрашивает: «А на ком это вы, миленький, жениться собираетесь, не на чужой ли?»

— И ты сказал, что на ней женишься? — с опаской спросил Мустафа.

— Нет, дядя, я не дурак. Я вообще стараюсь о бабах поменьше думать. Тогда я немножко выпивши был, но не сказал, что на ней женюсь.

— Она тебе не пара, Усман.

— А подыгрывать она умеет. Лихая бабенка!

— Она стыд потеряла,— сказал Мустафа.— Ты себе

лучше другую найди, Усманбай. Потом мне скажи, мы с Махсумом сходим посватаем. А эта тебе не годится.

— На водяного ужа похожа!..

— Вот, вот, у нее очень холодное лицо,— подтвердил Мустафа.

— Нет, дядя, я не об этом, лицо у нее даже очень теплое,— сказал Усман.— Скользкая она, дядя, понимаете, скользкая, как водяной уж! Никакими руками ее не удержать — ускользнет!

— А у тебя есть кто на примете? — серьезно спросил Мустафа.

— Не будьте глупым, дядя! — грубо оборвал его Усман. И даже изменился от злости в лице.— Нет такой женщины, которая за меня бы пошла, разве что только самому родить!..

Усман резко встал и снова принялся за работу, но без прежней охоты. Сделав несколько ударов, он выпрямился и бросил кетмень.

— Не по мне все это, дядя. Не умею я быть порядочным, меня мутить начинает!..

Усман сел на межу, надел сапоги. Выражение лица его не предвещало ничего хорошего. Мустафа испугался, а вдруг Усман опять что-нибудь вытворит...

— Не могу я быть другим, дядя,— сказал Усман.— Лучше уж пойду своей дорогой.

— Куда же ты пойдешь?

— Куда-нибудь, где можно поспокойней сдохнуть, выпью напоследок грамм пятьсот.

— Ты только сейчас совсем другим был, Усманбай,— с укором сказал Мустафа.— Нельзя же так, пожалуйста, не дури...

— Нет, дядя, ничего не могу обещать. Вы же знаете — для вора и шлюхи клятвы не существует!

— Но ты же не вор, Усманбай.

— Тогда я — шлюха, дядя.

— Нет, Усман, не говори так...

— Тогда я — пьяница, это вас устраивает? Не мешайте, дядя, сгинуть человеку. Не поможет!..

Вечером к Мустафе пожаловал милиционер Низамбай. Выглядел он растерянным, все мялся, не зная, как начать. Мустафа сразу понял, что Низамбай пришел из-за Усмана.

— Он что-нибудь натворил, Низамбай? — с тревогой спросил старик.

— Пока еще не успел,— сказал Низамбай.— Вы бы его прибрали к рукам, почтенный Мустафа. Как-никак мы с вами ведь не чужие, еще деды наши дружили. Мне стыдно, если будут болтать, что вот, мол, Низамбай пошел против своего ближнего. Я уже один раз арестовывал Усмана за драку, год он отсидел, мне хватит и того позора.

— Он что, напился, да?

— Нет, и до этого еще не дошло. Да оно, может, и лучше было бы, если б напился, я бы его тогда одним пинком успокоил. Но нет, совсем трезвый был. Опозорил он меня перед всем народом, бороться заставил. А я ведь не городской участковый, я там всяким приемам да самбам не обучен, я, слава богу, свой, галатепинский... Ваш Усман еще молодой, а мне, считайте, под пятьдесят, разве я могу тягаться с таким быком!..

— Бороться, говорите?..— Мустафа не поверил своим ушам.

— В том-то и дело, что бороться! — сказал Низамбай.— Пускай сам подтвердит, сказал ли я ему хоть одно обидное слово. И ладно бы дома, так нет, прямо на улице, когда я при исполнении служебных обязанностей... Подошел и взял меня за бока!..

— Вот глупый человек! — Мустафа мог только посочувствовать Низамбаю.— Сил у него много, не знает, куда их деть.

— И вчера он приходил ко мне, просил его арестовать. Еле выгнал из дома! Ну что из того, что сил много, угодит в тюрьму, будет бесплатно работать. Там направят его силу куда надо.

— Вы уж не арестовывайте его, Низамбай,— взмолился Мустафа.— Я с ним поговорю.

— А! Он сам себе роет яму.— Низамбай махнул рукой.— В Галатепе живет семь тысяч человек. Вы видели, чтобы хоть один из них потешался над милиционером? Над милиционером потешаться нельзя.

— А ваши друзья, они разве не шутят с вами? — с надеждой спросил Мустафа.

— Какой он мне друг, ваш Усман!.. Мне уже под пятьдесят,— Низамбай еще раз напомнил свой возраст.— Ваш Усман мне в сыновья годится, нашел, над кем шутить! Вы хоть знаете, сколько дадут за оскорбление милиционера?

Этого Мустафа не знал, но, глядя на рассерженное лицо Низамбая, понял, что дадут много.

— Еще раз такое вытворит, арестую,— пообещал Низамбай.— Так ему и передайте. Если не терпится угодить в тюрьму, пускай едет в город и пристанет к городскому милиционеру. Там-то хорошо знают, что с такими хулиганами делать. А мы разбаловали тут вас. Каждый, кому не лень, ходит на голове!

— Не сердитесь, Низамбай,— сказал Мустафа.— Не обижайтесь на Усмана, я сам с ним поговорю.

— Дело ваше, поговорите или не поговорите. Впрочем, я не уверен, что он вас послушается. Отца своего не слушался, так будет вас, дядю, слушаться!.. А с меня хватит. Если сам не справлюсь, вызову подмогу из города... Вот дурак, еще хвалится, будто спит на одной подушке, а другую оставил там, в тюрьме!..

Мустафе кое-как удалось успокоить Низамбая. Они выпили по пиалушке чая, но от ужина милиционер отказался, обещал сегодня поужинать у Назара Махдума. Мустафа не настаивал, он был даже рад отпустить гостя. Человек суеверный, он хотел поскорей пройти в комнату Усмана и проверить, действительно ли у него всего одна подушка. Проводив Низамбая до ворот, Мустафа поспешил в комнату Усмана и увидел на краю тюфяка одну подушку. Он пошарил под сундуком, среди сложенных одеял, но другой подушки не нашел... Мустафа принес из другой комнаты совершенно новую подушку, положил ее рядом и только тогда немного успокоился...

Усмана ждали до полуночи, но он не пришел. Наконец, Гульсара встала и погасила свет. Тихо всхлипывая в темноте, прошла к своей постели и легла. Мустафа при свете еще стеснялся жены, но едва погас свет, тоже дал волю чувствам и так разволновался, что встал поперек горла какой-то комок, даже дышать стало трудно...

— А все потому, что он нам не родной,— причитала старушка.— Унизил он вас, еще не хватало вам на старости лет с милицией иметь дело!..

— Да я и сам вижу, как мучается парень,— сказал Мустафа.— Люди перестали верить друг другу. Вот и Усман мне не верит. Думает, когда-нибудь да упрекну его в чем... Бог наказал нас, Гульсара, только не знаю за что?

— Да, наказал господь бог,— подтвердила старушка.

Оба они решили, что это кара господня, но жаловаться на бога не посмели — сразу подумалось о смерти, о судном дне. Старушка немного помолчала, но вдруг не выдержала и с плачем обрушилась на Мустафу:

— Вам бы хоть вовремя выгнать меня. Женились бы на другой, может, родила бы она вам ребенка. Горе мне, горе, бог наказал меня, не дал детей. Отпустили бы меня, мучилась бы одна, а так сколько из-за меня вам приходится терпеть горя. Так и покину этот мир, ни разу не покормив ребенка грудью!.. Горе мне, горе!.. Горе несчастной!..

— Не плачь, Гульсара,— сказал Мустафа.— Ты нисколько не виновата. Другая бы родила!.. Была же у меня дочь, какое она мне дала счастье? Опозорила меня, втоптала в грязь на старости лет!..

Но старушку уже было трудно унять. Теперь она плакала навзрыд.

— Дочь была единственной вашей опорой. Сколько раз приходила к вам, билась головой о порог, но вы хоть бы раз посмотрели на нее!.. Каменное у вас сердце!

— Не говори мне о ней,— взмолился Мустафа.— Нет у меня никакой дочери. Умерла она. Понимаешь, умерла в тот самый день, когда принесли мне такую весть!..

— Не гневите бога, пусть аллах даст ей пожить,— сказала старушка.— Это шайтан ее спутал, сбилась она с пути. Вы бы простили ее, как-никак ваша дочь, плоть от плоти...

Мустафа вскочил с постели.

— Она же опозорила своего мужа!..— почти закричал он.— Разве я вырастил ее для того? И муж оказался хорошей свиньей, не выгнал пинком под зад, живет еще с ней, с такой! Да я бы... А, что говорить! Не было у нас в роду шлюхи, вот и решила наградить нас таким счастьем!.. Хребет мне сломала, из-за нее сколько лет выпрямиться не могу, смотреть людям в глаза стыдно! Тысячу раз пожалел, что родился!..

— Какое несчастье, какое несчастье,— всхлипывала Гульсара.— Ведь больше десяти лет прошло, а вы даже зятя на порог не пустили, он-то в чем виноват? Могли бы хоть его пустить!

— Не могу якшаться со свиньей,— отрезал Мустафа.— Хватит, Гульсара, хватит. Забыл я о ней. Сколько лет не вспоминал и наперед не вспомню.

— Вспомните,— сказала Гульсара.— Не можете вы о ней не вспомнить.

— Ну так вспомню про себя. А слов от меня о ней не услышишь.

Старушка опять принялась оправдывать дочь:

— Она же не сама впустила его. Дверь ведь выломали. Что может слабая женщина, если вломились в дом?

— Могла бы закричать,— сказал Мустафа.— Пришли бы к ней на помощь.

— Боялась опозориться...

— А так не опозорилась? — Мустафа был тверд, как камень.— Так, по-твоему, меньше позора?

Старушка больше не говорила о дочери. Она знала, Мустафу не сломить. Вот уже больше десяти лет тщетно старается она разжалобить его. Дочь Мустафы почти каждый год приезжает в Галатепе, издалека приезжает, останавливается у чужих, тайно навещает Гульсару, плачет, просит ее, умоляет, только что в ноги ей не кидается: «Попросите отца, попросите, пусть он простит меня...» Гульсаре жалко несчастную женщину, любит она ее как родную, обещает помирить с отцом, хотя знает — не удастся уломать мужа. Мустафа, хоть и мягкий человек, уперся, как буйвол, ничем его не проймешь. Гульсаре иногда даже страшно делается при одной только мысли, что Мустафа вдруг умрет, не простив дочери. Ведь это тяжко: лишиться благословения отца! Кем доволен отец, тем и сам аллах доволен. Не дай бог, если Мустафа умрет, так и не помирившись со своей дочерью. Та уже раскаялась во всем, живет, пришибленная позором. Это раньше она ходила с гордо поднятой головой, веселая, неприступная. Где теперь те времена!.. Похудела, осунулась, стала точно лучинка, в глаза людям не осмеливается смотреть... Еще четверо детей у нее, и о них думает, бедняга, боится, как бы проклятие отца не коснулось ее детей. Каждый раз молит Гульсару поговорить с отцом. Но что может сделать для нее Гульсара, несчастная старуха, она же не бог, чтобы вложить в сердце Мустафы хоть чуточку жалости. Последнее, что осталось у Мустафы, это его надежда — сделать из Усмана человека, но тот тоже пока не радует старика — пьянствует, режется в карты. А Мустафа все это терпит — уж чем-чем, а терпением не обделил его господь бог. Тронь Усман хоть пальцем чью-нибудь дочь или

жену — тогда все пропало! Тогда уж Мустафа не простит. Лучше умрет, но не простит.

Старики долго не могли сомкнуть глаз. Под утро, когда пропели первые петухи, они услышали, как со скрипом открылась дверь и кто-то вошел в дом. Затем раздались тяжелые шаги, грохнули пустые ведра в передней. Старики затаили дыхание. Гульсара бесшумно встала и, еле отыскав в темноте свои кауши, вышла из комнаты. Мустафа стал прислушиваться, но больше не доносилось ни звука. Минуты через две вернулась жена и легла.

— Не пьяный?..— тихо спросил Мустафа.

— Плачет,— ответила Гульсара.— Не знаю, пьяный или нет, боязно войти...

— Пускай поплачет,— сказал Мустафа.— Может, полегчает ему, пускай немножко поплачет... Ты завтра дай ему рублей пятьсот, Гульсара.

— Зачем? — спросила старушка.— Он же их мигом пропьет.

— Не пропьет,— сказал Мустафа.— И ничего такого не говори ему. Он сам все поймет.

— Не верю, он их точно пропьет.

— Ну, ты говоришь, точно враг,— рассердился Мустафа.— Пускай он возьмет эти пятьсот рублей и отнесет Ибадулло Махсуму. Надо выкупить коня Хуччи у Салима Разбойника. Если не хватит, еще дам. Махсум прав, жалко такого коня оставлять у Салима. Надо отвести его обратно к хозяину домой.

...Назавтра над Галатепе не взошло солнце. Спустился желтый вонючий туман, да такой плотный, что вытянутую вперед руку нельзя было разглядеть. Люди бродили, словно слепые, пошаривая палками.

Салим Разбойник, сын Мансура, унаследовавший от отца его прозвище, вынес из дома старый отцовский даул, поднялся на Коровью вершину и долго бил по нему палками. Но натянутая на даул кожа уже успела намокнуть, и, сколько ни старался Салим Разбойник, его ударов не то что бог, даже он сам не мог толком расслышать. С гор дул холодный ветер. Салим Разбойник замерз на вершине, спустился вниз и бросил со злости свой отяжелевший даул в первый же попавшийся арык. Пороптал на бога, который вздумал нас-

лать им такой вонючий туман в месяце джаузе, прямо накануне саратана...

Люди еще ждали два дня, но туман что-то не собирался рассеиваться. В полдень третьего дня человек десять, в том числе и Мустафа, вышли из Галатепе и направились в соседний Шуркудук. Тут не было никакого тумана, солнце стояло прямо в зените, приятно грело.

— Вот идиоты,— засмеялись соседи.— Чтоб мерзнуть в самый саратан? Кто это придумал такую чушь? Какой может быть туман в это время года? У нас уже третий день не заходит солнце!..

Никогда еще не было случая, чтобы кто-нибудь смеялся над галатепинцами. Галатепинцы знали себе цену. Они быстренько затыкали рты даже тем, кто пытался заговорить о них с улыбкой. На этот раз люди Шуркудука открыто смеялись над ними. Но ни один галатепинец не посмел дать им отпора. У галатепинцев даже не было сил раскрыть рты. Они только что выбрались из плена мерзкого тумана и все еще стучали зубами. Стояли, словно побитые, нет, еще хуже, словно цыплята, вышедшие из арыка, жалкие и несчастные. Потом, когда немного погрелись, кто-то попытался пригрозить шуркудукцам. Но теперь было уже поздно — в ответ услышали только смех, дружный и гадкий. Никто уже не боялся галатепинцев. Тогда бедные галатепинцы склонили головы в знак полного поражения и стали умолять соседей:

— Не гоните нас, братья, не по своей воле мы к вам, нас выгнал туман, нет ничего хуже этого желтого тумана. Мы готовы быть вашими слугами, не гоните нас обратно...

Один только Мустафа не сдавался:

— Опомнитесь, люди,— говорил он своим галатепинцам.— Что же вы делаете, это же позор для нас!

Но его уже никто не слушал. Мустафа один вернулся в Галатепе, в мрачный туман и темноту. Тут его стали расспрашивать. Мустафа им сказал:

— Мы пришли, а они стали нас по-всякому оскорблять...

— Как?! — в один голос воскликнули галатепинцы.— Как они посмели?

— Не знаю,— ответил Мустафа.— Кажется, они нас нисколько не испугались.

До этого дня все галатепинцы были твердо убеждены, что обитатели соседних кишлаков немного побаиваются их, но теперь выходило, что они ошибались. Галатепинцы дали волю своему гневу:

— Люди! Люди-и! — взревел Манзар-палван.— Что вы тут стоите, идемте все за мной! Идемте на соседей! Проучим их наконец, как они смеют потешаться над галатепинцами! Так проучим, что даже их дети забудут, как смеяться при нашем имени!..

И все двинулись за Манзаром-палваном. Конные и пешие, стар и млад, все пошли на соседний кишлак. В кишлаке остались одни старухи и Мамадали, сторож колхозного сада.

— Уходите, все уходите! — запрыгал он от радости.— Все оставляйте мне! И жен своих оставляйте!

Было страшно холодно. Люди оделись по-зимнему, в тулупы и ватники. Кое-кто даже укрылся овчиной. Долго шли люди. Только через три часа выбрались из тумана. Показалось солнце. Оно стояло в зените, на том самом месте, где и должно находиться еще в полдень. Сразу стало жарко. Но никто не снял теплой одежды — все были очень напуганы внезапным холодом. Усталые и потные, они прошли еще один фарсах и уперлись в высокую каменную стену. Люди побрели в разные стороны, но стене не было конца.

— Люди! Галатепинцы! — крикнул Салим Разбойник.— Шуркудукцы оказались подлыми, это они поставили высокую стену. Они боятся нас, братья, еще как боятся, зачем бы им тогда строить такую стену! Давайте, все разом навалимся на нее и свернем к чертовой матери!

Но никто не отозвался на его призыв — галатепинцам было достаточно, что шуркудукцы по-прежнему боятся их. Честь их была восстановлена. Люди стали расходиться.

— Куда же вы, братья! — взревел Манзар-палван.— Опять хотите глотать вонючий туман?

Услышав о тумане, все разом остановились. Никому не хотелось возвращаться в туман. Манзар-палван поставил Нар-палвана и Якуба-козлодера рядом под стеной и взобрался на их плечи. Стена была очень высокой, и он еле сумел ухватиться за ее край. Но тут на стене появилась какая-то бритоголовая женщина, и ударила по рукам Манзара-палвана огромной, как чабанский посох, скалкой. Пальцы Манзара-палвана раз-

жались от боли, и он с грохотом упал вниз. Потом на стене появились другие люди, мужчины, женщины, все до единого бритоголовые. Многие были знакомы галатепинцам. Их каждое воскресенье видели в Галатепе на базаре. Но сейчас ни один из них не выдал себя, все держались, словно чужие, смеялись над своими соседями. Сторож галатепинского базара Бахрам Колченогий крикнул им:

— Мы вам еще покажем, попробуйте только приехать к нам на базар!

— Мы больше не поедем к вам на базар! — последовало в ответ.— Одни торгуйте, на кой черт сдался нам ваш базар!..

Только один, посредник в торговле скотом Саидкул, сказал:

— Я бы поехал, но вы же сами видите, стену тут воздвигли, мне через нее не перейти.

Тогда Бахрам Колченогий сказал ему:

— Ты человек порядочный, Саидкул, можешь к нам приезжать, тебя мы не тронем!

— Хвала отцу твоему, Колченогий!— ответил Саидкул.— Ты тоже порядочный человек. Слушай, что я тебе скажу...

Но Саидкул не успел сказать — его тут же сбили с ног свои люди. Потом они стали кидать камнями в галатепинцев. Галатепинцы рассвирепели и стали шарить под ногами... Тут на стене появился Турабай, один из девяти перебежчиков, сдавшихся в полдень на милость шуркудукцев. Турабай уже успел побрить голову и теперь вел себя как чужой человек.

— Идиоты,— засмеялся он, увидя своих односельчан. — Только идиоты могут мерзнуть в саратан. Идиоты, все галатепинцы идиоты.

И он пустился в пляс на стене. Манзар-палван бросил в него посох и сбил его с ног. Турабай свалился со стены к шуркудукцам. Свались он к галатепинцам, те растерзали бы его на клочки — до того им ненавистно было обнаружить предателя в своей среде. Все последовали примеру Манзара-палвана, стали забрасывать врагов чем попало — палками, сапогами... Но на этот раз никто не упал. Вдруг все мгновенно куда-то исчезли.

Немного погодя на стене появился совершенно голый человек. Женщины и дети разом отвернулись. Только повитуха Фатьма да бывшая жена Юльдаша продолжали смотреть.

— И сапоги скинь, срамник,— крикнула Фатьма-повитуха.

Голый Человек был в сапогах, ярко-красных, с высокими голенищами.

— Сапоги я не скину,— заявил Голый Человек.— Эти сапоги мне Мустафа подарил.

— Он врет,— крикнул Мустафа.— Не верьте ему, люди, я никогда в жизни не шил красных сапог...

— Это Мустафа врет,— сказал Голый Человек.— Он, он шил мне сапоги, только потом я покрасил их в красный цвет. Краской из гранатных корок.

— Врешь, бессовестный,— оборвал его красильщик Атабай.— Из корок граната делают желтую краску. А у тебя сапоги красные, не шил их Мустафа, сразу видно!..

— Нет, шил! — крикнул Голый Человек и принялся расхаживать взад и вперед по стене.

— Хорошие у него сапоги! — воскликнул невесть откуда взявшийся сапожник Микаэл.— Слышите, какой скрип? Скрип-то хороший!.. Дай бог всякому, чтобы его сапоги так скрипели!..

Но никто из галатепинцев не стал прислушиваться к скрипу сапог, все набросились на бедного сапожника.

— Кто тебя звал сюда? — спросил старик Хуччи у Микаэла.— Зачем ты вмешиваешься в наши мусульманские дела?

— Э! Странно вы говорите, почтенный Хуччи! — удивился Микаэл.— Где вы еще найдете второго такого мусульманина, как я?

— Засвидетельствуй, что ты мусульманин! — приказал старик Хуччи.

Микаэл тут же засвидетельствовал:

— Нет бога кроме аллаха, и Мухаммад — его посланник, да будет добрая молитва и вечный мир ему и всем, кто следует по его стезе, да будет он благословенен до судного дня милостью аллаха, ибо лишь аллах достоин поклонения!.. Вы зря так говорите, почтенный Хуччи, я вас не за то так сильно уважал, чтобы вы в один прекрасный день меня несправедливо упрекнули!..

Тут к Микаэлу подошла Айша, жена Салима Разбойника, и чмокнула его в щеку. Затем подошел сам Салим Разбойник, крепко обняв его и тоже поцеловал в щетину.

— Брат ты мой родной!..— проговорил он сквозь слезы.— Сколько лет я тебя искал, сколько облазил мест!.. Где же ты пропадал?

— Я же почти каждое воскресенье приезжаю сюда,— смущенно отозвался Микаэл.— Не мешай мне сапожник Ислам, я бы насовсем перебрался в Галатепе.

Тут из толпы вышел сапожник Ислам и заявил:

— Ладно уж, Микаэл, я согласен, переселяйся хоть завтра. Я буду чинить ичиги, а ты валяй чини сапоги... Хочешь, я тебе дам целый мешок дратвы? И будку свою поставь рядом с моей, переезжай, я тебе разрешаю. Ведь ты мой родной брат, не чужой человек.

— Врррешь, Ислам! — взвился Салим Разбойник.— Микаэл мой брат, а не твой, смотри, если не веришь, смотри, как мы похожи друг на друга!

Люди посмотрели, но не увидели Салима Разбойника. Перед ними стояли два Микаэла. Оба чернобородые, остроносые, у обоих одежда вся в черной ваксе.

— Куда же ты пропал, Салим? — крикнул Манзарпалван.

Микаэл, стоявший слева, ответил:

— Да вот я — твой Салим.

Но второй, что был справа, Микаэл, перебил:

— Нет, это я Салим!

Оба Микаэла заспорили — кто из них Салим Разбойник. Голый Человек, доселе наблюдавший за всем со своей стены, громко засмеялся:

— Смотрите, тупицы, сейчас будет три Микаэла.

И галатепинцы увидели, что перед ними схватились драться уже три Микаэла.

— Сколько захочу, столько и будет Микаэлов! — крикнул Голый Человек.

— Хватит, колдун проклятый! Хватит!..— Айша, жена Салима Разбойника, пала на колени и простерла руки к небу.— О, боже, накажи этого колдуна, верни мне моего мужа!..

— Твой муж больше никогда к тебе не вернется!— крикнул Голый Человек и пустился в пляс. Из-за стены показался Турабай с белой повязкой на голове. В руках у него был новенький дутар. Он сел и ударил по струнам. Голый Человек заплясал еще пуще.

— Молитву, братья, молитву!..— взмолился один из трех Микаэлов, которого били двое других.— Творите молитву, чтоб этот колдун исчез, иначе эти двое убьют меня!..

Все принялись читать молитвы. Но колдун не исчез. Он все еще продолжал плясать под звуки дутара.

Вдруг послышался топот коня. Все повернулись назад. Со стороны Галатепе несся к ним всадник и кричал:

— Бога нет, бога нет, бога нет!..

Галатепинцы узнали во всаднике Касымова, секретаря сельсовета. Он подскочил на своем взмыленном коне, спрыгнул с седла, пошел к стене.

— Бога нет! — повторил он опять.— Нет никакого бога!

Галатепинцы перестали читать молитвы и уставились на Касымова.

— Вот до чего довело вас ваше суеверие! — покачал головой Касымов.— Какой это колдун? Посмотрите получше, это же Хасан, сын нашего Назара Махдума!

Услышав имя Хасана, все, даже женщины, повернулись к стене. И в самом деле на стене плясал голый Хасан, сын Назара Махдума. Едва в голом человеке узнали Хасана, он стал весь пунцовый, быстро снял с головы Турабая белую повязку и прикрыл свою наготу.

— Плохой ты человек, Хасан,— упрекнул его старый учитель Тагаев.— Разве я тебя такому учил?

— Я не виноват, уважаемый муаллим,— начал оправдываться Хасан.— У меня и других забот полно! Не очень-то мне надо плясать голым!..

— А кто тебя заставил? — строго спросил Тагаев.

— Вот этот ваш Мустафа,— сказал смущенно Хасан.— Он не отдал за меня свою дочь, и я ему мщу...

— Ведь ты женился на дочери другого Мустафы, который живет возле мельницы,— сказали Хасану.

— Да,— ответил тот,— но я хотел жениться на дочери этого Мустафы. Теперь вот пришло время отомстить ему. И туман к вам я наслал. Ну ладно, так и быть, пришлите ко мне Низамбая, я ему дам десять человек, вместе они разгонят туман!

Манзар-палван с гневом набросился на Мустафу:

— Все это, оказывается, из-за вас, Мустафа! Почему вы не отдали за Хасана свою дочь?

Мустафа не на шутку струсил. Манзар-палван приближался к нему со сжатыми кулаками. Но тут случилось чудо: с неба послышался шум от взмаха крыльев и кто-то тут же поднял Мустафу от земли. Мустафа

не сразу сообразил, что с ним происходит, только оказавшись над стеной и увидя за ней соседний кишлак, он понял, что летит по воздуху. Повернув голову, Мустафа увидел, что его несет пери необыкновенной красоты и вся в белом одеянии. Мустафа стал бормотать молитвы, но, кажется, пери была мусульманкой и молитвы на нее не подействовали, скорее наоборот, добавили ей силы, и она еще энергичнее начала взмахивать своими огромными крыльями. Тогда Мустафа сильно ткнул пери в грудь. Она вскрикнула и стала падать на землю. «Теперь она раздавит меня»,— подумал Мустафа. Но пери оказалась легкой, легче пушинки, Мустафа даже не почувствовал боли. Тут кто-то ударил по крыльям пери палкой, пери застонала от боли и быстро поднялась в воздух. Когда она уже перелетела через высокую стену, из левого ее крыла выпало несколько белых перьев. Они плавно опустились на землю, но никто не дотронулся до этих перьев. Только Касымов поднял одно перышко и стал внимательно рассматривать его через какую-то круглую стекляшку.

— Отнесу детям в школу,— сказал он.

— А дети не поверят,— сказали ему.— Оно ничем не отличается от куриного.

— Но теперь-то вы поняли, к чему приводит вас ваше суеверие? Вы же сами убедились, что ангел ничем не отличается от обыкновенной курицы!

Все засмеялись. Всем сразу стало весело. Даже враги галатепинцев, что стояли на стене, не могли удержаться от смеха. Кто-то даже сказал, что Мустафу чуть курица не унесла. Раздался новый взрыв хохота.

— Не смейтесь, люди,— взмолился Мустафа,— откуда мне было знать, что это курица!..

К счастью, люди пожалели его, не стали больше донимать насмешками. И вдруг, совершенно неожиданно, словно гром среди ясного неба, вышел вперед мулла Данияр в белом как снег халате. Манзар-палван попытался его прогнать:

— Уходите, почтенный мулла,— сказал он.— Вы же давно умерли. Грех, если вы еще начнете сейчас разговаривать с живыми!..

Но мулла Данияр не послушал его.

— Отойдите от меня, Манзар,— он рукой отстранил Манзара-палвана.— Все вы живые, все до единого, но не можете справиться с шуркудукцами! Даже я, мертвый, не вытерпел такого позора и вот должен был

прийти. Смотрите, Манзар, на мое волшебство, ни один мулла не может тягаться со мной, смотрите!

Мулла Данияр подошел поближе к стене, прочел какую-то волшебную молитву и сильно выдохнул: «Куф-суфф!..». Стена вмиг исчезла, будто ее никогда и не было. Вместе с ней исчезли и Хасан, и Турабай, и все другие бритоголовые. Взору открылась широкая холмистая степь с редкими дворами. Это и был Шуркудук, к которому галатепинцы шли войной. Но сейчас они меньше всего думали о Шуркудуке. Все были поражены таинством, совершенным муллой Данияром, все, кроме Назара Махдума. Тот засучил рукава и стал подступать к мулле:

— Куда ты дел моего сына? Сейчас же верни мне его, верни, а то худо будет!..

— Худо мне уже никогда не будет,— спокойно ответил мулла Данияр.

Тут на защиту Данияра выступили еще двое мулл— мулла Кудрат и мулла Парда. Мулла Парда, кажется, загорелся желанием научиться волшебству, он сразу взял муллу Данияра под руки.

— Окажите мне милость,— попросил он любезно.— Пожалуйте ко мне на пиалушку чая.

Но мулла Данияр только покачал головой:

— Я бы и рад, но мне нельзя, отвык я от чая за те пять лет, как умер...

Потом он повторил свою волшебную молитву и растаял в воздухе. Через минуту откуда-то сверху донесся его удаляющийся голос:

— Вернитесь, братья, назад! Во всем виновата та женщина-ангел! Не поминайте меня лихом, пускай душа моя пребывает в покое-е-е!

Люди возликовали, стали смеяться, шутить. Они даже забыли, что пришли с войной к соседям из Шуркудука. Манзар-палван аж запрыгал от радости.

— Но мулла вам соврал,— сказал он.— Никакая это была не женщина-ангел, это была пери, на которой я чуть не женился в Кзыл-Таше, когда жил там два года отшельником [1].

Но люди не поверили ему:

— Врите, Палван, врите, да знайте меру. Выходит, вы собирались жениться на обыкновенной курице?

---

[1] О приключениях Манзара-палвана и о мнимой его женитьбе на прекрасной пери мы расскажем в другой повести (*автор*).

Но Манзар-палван не сдавался. Он твердо стоял на своем:

— Нет, она была не курицей, а настоящей пери!

— Нельзя быть таким суеверным, Манзар-палван,— сказал Касымов.— Я же своими глазами видел, что это была обыкновенная курица...

Он развязал платочек и показал ему куриное перо. После этого Манзар-палван умолк и обиженно отвернулся.

Все пустились в обратную дорогу. На полпути им встретился незнакомый кишлак. Когда шли в Шуркудук, этого кишлака и в помине не было, а теперь он, словно из сказки, красовался перед ними высокими домами и пышными зелеными садами. Мулла Кудрат немного отстал от других и попытался уничтожить этот кишлак своей молитвой, но безуспешно — его молитва не имела такой волшебной силы, как у муллы Данияра. Он позвал на помощь муллу Парду, но тот не был уверен в силе своей молитвы и, боясь опозориться, не согласился.

— Оставьте вы их,— сказал он своему другу.— Пускай себе живут, раз уж построили такой кишлак. Они ведь ничего нам плохого не сделали, не воздвигли на нашем пути стену, как шуркудукцы. Пожалейте несчастных, почтеннейший мулла, а нам еще надо добраться до своего Галатепе!..

Вернувшись в Галатепе, они опять увидели мрак и вонючий туман. Стало еще холоднее, чем было утром. Дрожа и проклиная судьбу, несчастные галатепинцы разбрелись по своим домам. На улице остался только один Низамбай. Назар Махдум приказал ему ехать к Хасану с подмогой, чтобы разогнать вместе туман...

Мустафа еле нашел во мраке холм и добрался до своего двора. В доме было совершенно темно. Он нащупал в кармане отсыревшие спички и после долгих усилий зажег старую керосиновую лампу. Старухи Гульсары дома не оказалось. На ее месте в углу сидела уже знакомая пери с прялкой на коленях. Мустафа на минуту растерялся.

— Уходи,— сказал он наконец.— Уходи, тебя никто сюда не звал...

— Правильно, не звал, но я сама сюда пришла.

Ее голос, приятный и молодой, сразу понравился Мустафе.

— Ваша жена ушла, сказала, что не будет делить со мной своего мужа. Ну и хорошо, теперь я буду вашей женой!..

— Ведь так нельзя,— нерешительно возразил Мустафа.— Я же совсем тебя не знаю. Потом ты из племени ангелов, а я из людского рода... Не думаю, чтобы твоя выходка понравилась аллаху...

— Я совсем непривередливая,— сказала пери.— Вот увидите, со мной вам будет легко. Я пью только молоко, больше ничего мне не надо...

Мустафа удивился, но тут же принес ей целую миску молока. Пери сделала глоток и заплакала:

— Ой, это же сырое молоко. Нет, я такое не пью, боюсь простудить горло! Я хочу кипяченого!..

— А еще говоришь, что непривередливая!..— сказал Мустафа.— Нет, моя жена лучше, она хоть не капризничает. Стану я еще кипятить тебе молоко! А кто за скотом будет смотреть? Ты, что ли?

— Вы сперва скипятите мне молока,— сказала пери,— а потом пойдете смотреть за своим скотом.

Мустафе волей-неволей пришлось выйти в прихожую вскипятить молоко на керосинке и принести пери. Но той опять не понравилось:

— Оно же совсем жидкое, сливки небось сами вылакали?

— Не дури,— обиделся Мустафа.— Я тебе не ребенок, сливки лакать.

— Но это не молоко, а какая-то кислая сыворотка,— захныкала она.— Может, вы принесли ее из сепараторной?

— Вот зануда! — рассердился Мустафа.— У меня самые лучшие коровы во всем Галатепе и дают самое жирное молоко!

Но пери уже не слушала его. Она ринулась в дальний угол комнаты и стала биться головой о край большого кованого сундука.

— Я согласен на все, согласен на все, скажи, что мне делать? — испугался Мустафа.— Вот несчастье-то на мою голову! Зачем же ты явилась сюда, если когда-то хотела выйти замуж за Манзара-палвана? Могла бы к нему пойти!..

— Он меня побьет,— всхлипнула пери.— Мне с вами лучше. Дайте мне немного золота, я перестану капризничать, если вы дадите мне немного золота.

— Нет у меня никакого золота,— сказал Мустафа.

— А то, что вы зарыли под навозом?

— Но ты же ангел, зачем тебе золото? — удивился Мустафа.— Что ты с ним делать-то будешь?

— Усману отдам,— сказала женщина-ангел.

— Ладно,— согласился Мустафа.— Вот за воротами куча, сама раскапывай, а мне холодно, не хочу копаться в мерзлой земле.

— А я не могу копаться в навозе,— сказала женщина-ангел.— Как вы смели предложить мне такое. Я же пери...

— Вот и раскапывай! — сказал Мустафа.— Не буду я пачкать себе руки.

— А если я разгоню туман, вы откопаете мне золото?

— Ты сперва разгони туман, а тогда я тебе все отдам.

— Нет, пока вы не раскопаете золото, туман не рассеется,— сказала пери.— Сперва надо достать золото. Оно уже ушло глубоко в землю, долго вам придется копать. А если не рассеется туман, всем вам придется бежать из Галатепе...

Туман не рассеивался еще целых три дня...

Мустафа пришел в себя только на четвертый день. Открыв глаза, он увидел над собой старушку Гульсару, увидел в ее руках мокрое полотенце и глазами дал понять: приложи его, приложи...

Старушка положила полотенце Мустафе на лоб, затем принялась гладить его виски тонкими костлявыми пальцами.

— Горите, как в огне,— сказала она.

— Нет,— еле слышно сказал Мустафа.— Не горю, мерзну...

— Усман все время сидит возле вас,— сказала Гульсара, чуть потупив глаза.— Может, с ним попрощаться хотите?..

— Разве он куда уезжает? — удивился Мустафа.

— Нет, дядя, никуда не уезжаю,— донесся откуда-то снизу голос Усмана, но тут над Мустафой появилось его усталое лицо.— Тетя думает, вам очень плохо стало...

— Это хорошо, что ты называешь ее тетей,— сказал Мустафа.— Ведь у нее никого, кроме нас с тобой,

нет... Хорошо, что называешь ее тетей. Ты лучше сам раскопай золото, Усманбай, я очень замерз...

— Бредит,— сказала старушка.— О каком золоте вы говорите?

Мустафа не обратил никакого внимания на слова жены.

— Раскопай, Усман, раскопай, а то этот туман никогда не рассеется.

— Да нету никакого тумана, дядя,— сказал Усман.— Посмотрите в окно, откуда сейчас быть туману? Солнце же светит!..

Мустафа оторвал голову от подушки, посмотрел в окно и увидел коричневый ствол чинары и освещенные солнцем верхушки низеньких яблонь. Потом жена и Усман осторожно опустили его голову на подушки.

— Ты все равно откопай золото, Усманбай,— сказал Мустафа.— Я раньше тебе не говорил. Зарыты под навозом сорок восемь золотых монет. Делай с ними, что хочешь: хочешь, истрать, хочешь подари кому... Ты у меня единственный наследник...

— Мне ничего не надо, дядя,— сказал Усман.— Все равно пропью. Но еще немного подержусь, может, и вправду расхочется пить...

— Это хорошо, если расхочется...— сказал Мустафа.

Он опять посмотрел в окно, и ему показалось, будто проскользнула за окном какая-то тень. Мустафа сразу насторожился, бросил на жену недоверчивый взгляд.

— Ты это зря, Гульсара,— сказал он.— Зря ты ее пустила...

Старушка сделала вид, будто ничего не поняла.

— Скажи дочери, я ее прощаю, но пускай не показывается мне на глаза,— сказал Мустафа, затем обернулся к Усману.— Ты сам отвези ее домой, Усманбай. Если умру, на похороны позовите. А пока пусть не показывается на глаза.

— Не могу я, дядя,— сказал Усман.— Поймите меня, не могу. Она же ваша родная дочь.

Мустафа его понял. Он опять посмотрел на старушку:

— Тогда ты ее отвези, Гульсара. Или попроси кого другого.

Старушка склонила голову в знак повиновения.

В полдень Мустафа почувствовал, что умирает. И очень удивился этому чувству. Как странно, подумал он, ходишь, ходишь по земле и вдруг в один прекрасный день больше не встанешь. Положат тебя на носилки и понесут, а ты даже не заметишь, как тебя несут. Потом тебя закопают, и люди вернутся в дом, где ты жил. Начнут плакать. Заплачут мужчины, заплачут женщины... Скажут, вот был на свете такой божий человек, звали его Мустафой, вроде неплохой был старик... Потом все попривыкнут, что тебя уже нет, и тихонько разойдутся по домам. Останется одна Гульсара. Если бог вразумит, то и Усман с ней останется. Но придет день, и Гульсары не станет. После ее смерти больше не будут зажигать в твоем доме огонь. Вечерами во всех домах будет гореть свет, все дома будут светлыми, только один твой дом на террасе холма, за прудом Ибадулло Махсума, потонет во мраке. Год он постоит, два года, три, но вот начнут рушиться стены, сохнуть деревья, и наконец весь твой дом превратится в развалины, станет обиталищем сов...

Мустафе стало грустно. Он велел жене позвать Усмана. Тот вошел и сел у постели дяди.

— Я эти дни совсем не пил, дядя,— сказал он, как бы оправдываясь.— Давно уже, еще перед тем, как вы заболели, перестал пить...

— Посиди со мной,— попросил Мустафа.— Потом пойдешь пить...

— Нет, дядя, так нельзя... Вы тут больной лежите, а я...

На глаза Мустафы навернулись слезы.

— Похоже, я больше не встану, Усманбай,— сказал он.— Я никогда так сильно не болел, теперь вижу, как это бывает...

— Поправитесь, дядя! — сказал Усман.— Вы сильный человек. Не пьете, не курите, не играете в карты...

— Я в жизни не играл в карты, Усманбай...

— Я про то и говорю. Картежник может скопытиться раньше времени и от горя и от радости. А вам спокойней, дядя. Вы еще долго будете жить.

— Ты только не уезжай на Сырдарью,— сказал Мустафа.— Гульсаре одной трудно будет. Ты не мучай ее, Усманбай.

— Вы за кого меня принимаете, дядя? — обиделся Усман.— Думаете, без вас я ее убью и заберу все деньги?

Мустафа промолчал. Такая мысль однажды уже приходила ему в голову. Сейчас он раскаялся, глядя в лицо племянника.

— Я, хоть и ползаю, но еще не успел стать гадом,— сказал Усман.

— Ладно, ладно, ты позаботься о старушке,— сказал Мустафа.— Оставим все другие разговоры. Я и на том свете буду молиться за тебя, сынок. Плохим ты был или хорошим, но чести своей ты не пропил. Оставайся в этом доме, поддерживай свет, чтобы не спросил кто прохожий, чьи это развалины.

— Не надо так, дядя,— хрипловато сказал Усман.— Давайте поговорим о другом. Я и не собираюсь оставлять вас.

Мустафа успокоился. Он чуть приподнял голову и еще раз оглядел Усмана.

— Ладно, иди, сынок,— сказал он.— Сходи на свою ферму.

— Я там уже был,— ответил Усман.— Хорошо, пойду попою бычка.

Мустафа опять остался один. Увидя воткнутое в стену шило, он вспомнил про свое обещание сшить для Камала Раиса потник. «Не успел,— подумал он с сожалением.— Что теперь остается делать, лежу пластом, ладно уж, Камал все поймет...» Он поудобней устроился на подушке. Почувствовал, как свинцовая тяжесть вдавливает все его тело в постель. «Только не было бы больно,— подумал Мустафа.— Только бы не было больно...»

...Потом один за другим стали приходить односельчане. Разные люди пришли. Все говорили о неизбежности конца, воздавали хвалы Мустафе, прощались и благословляли. Люди шли до самого вечера. Вечером в доме остались только свои: Мустафа, Гульсара, Усман...

В пятницу утром пришли его братья — Пиримкул Малия и Апсамат. Пиримкул Малия, сборщик земельных налогов, был на два года старше Апсамата, он присел повыше, у изголовья старшего брата. Младший

остался в ногах. Он был немногословным, как все пастухи, поэтому разговор начал Пиримкул Малия.

— Ну, как себя чувствуете, Мустафа?

— Спасибо, мне лучше...— ответил Мустафа.— А вы как живете?

— Мы хорошо живем,— сказал Пиримкул Малия.— А вы, Мустафа, были всегда такой крепкий, нашли время болеть, когда вас уже освободили от налогов!.. Сегодня Саломат сказала, будто вы слегли. Я не хотел поверить, совсем испугался!..

Мустафа тихо покачал головой — не разделил он тревогу брата. Затем он обратился к Апсамату, младшему брату:

— А ты как живешь, Апсамат?..

Апсамат, как и всякий пастух, начал говорить о своем стаде:

— Как живу? Пасу коров, Мустафа-ака. А сейчас такая пора, от оводов нет никакого спасения. Кусают они коров, а я бегаю, выгоняю из каждого оврага!.. Дома почти не бываю. Вы уж не обижайтесь, Мустафа-ака, никак не мог прийти раньше попрощаться с вами... Благословите меня, Мустафа-ака...

Мустафа знал, что Апсамат, как и он сам, человек непосредственный, говорит то, что думает. Поэтому он сразу благословил его:

— Я доволен тобой, Апсамат, дай тебе бог счастья... Вспоминай меня, если я уйду...

— Ты не каркай, Апсамат,— рассердился Пиримкул.— Мустафе еще жить да жить!..

— Да я не каркаю, пускай живет Мустафа-ака,— смутился Апсамат.— Разве я могу желать ему смерти?..

Увидев, как смутился Апсамат, Мустафа поспешил к нему на помощь:

— Ты не беспокойся, Апсамат, я буду жить, если аллах не сократит мои дни...

— Скорей выздоравливайте, Мустафа-ака,— сказал Апсамат.— Сами понимаете, я не могу каждый день приходить к вам, не то разбредутся коровы во все концы... И сейчас вот беспокоюсь. Оставил все стадо на жену, а она беременная, еле ноги таскает.

Мустафе понравилось, как говорит младший брат. Ему хотелось попросить его продолжать, но он постарался удержаться от просьбы.

— Ладно, ты иди уж к своему стаду, Апсамат,— сказал он.— Будет время, еще как-нибудь заглянешь.

Апсамат в нерешительности посмотрел на другого брата. Тот, доселе злой и угрюмый, немного смягчился:

— Ладно уж, иди, паси свое стадо. Зайдешь вечером. Мустафа, чай, не чужой нам человек, можешь и вечером заглянуть... Как вы думаете, Мустафа? — Пиримкул повернулся к старику.— Наверно, ему можно навестить больного вечером. Он же свой человек!..

— Пускай придет вечером,— согласился Мустафа.

Апсамат вышел. И тут же, будто ожидая ухода Апсамата, в комнату вошла Саломат, жена Пиримкула, немолодая уже, но очень нарядная, словно невеста из-за свадебного полога. Она скромно села рядом с мужем, несколько секунд помолчала, потупив глаза, как и подобает невестке, играя стежками тюфяка, затем, когда муж одобрительно кашлянул, подняла глаза...

— Вот, пришла к вам, дорогой деверь,— сказала она.

Мустафа улыбнулся:

— Вижу, вижу...

— Пришла проститься,— сказала Саломат.

— Спасибо, невестка,— сказал Мустафа. Ему уже начало нравиться прощаться с людьми. Уже второй день все приходили с ним прощаться, все ему были рады.— Я тысячу раз доволен вами всеми.

— Вы нас простите, если мы что плохого делали...

Пиримкул Малия недобро взглянул на жену. Мустафа заметил этот взгляд, но не понял, с чего бы это брат озлобился на свою жену, вынул руку из-под одеяла и слабо махнул:

— Не надо, Пиримкул, она же женщина, пускай говорит!..

— Вы меня не ругайте,— сказала Саломат мужу.— Видите, деверь оказался лучше вас, сам хворый лежит, а добрых слов для меня не пожалел...

Похвала невестки понравилась Мустафе. Он даже заерзал в постели от удовольствия.

— Вы нам много добра делали,— сказала Саломат.— И нет у нас другой опоры, кроме вас.

Мустафа, сколько ни старался, не мог вспомнить, какое делал им добро. Жили они каждый по себе, и Пиримкул, и он... Вон сколько лет прошло, как его брат на ноги встал. Работа есть, деньги есть, так чем ему еще может помочь Мустафа? Да, он когда-то помогал, но это было очень давно, когда Пиримкул еще

не был женат на Саломат. В последние годы из-за Усмана братья не особо ладили между собой. Но брат остается братом, и Саломат ему не чужая, невестка, жена брата... Очень плохо, что они так отдалились друг от друга. Но вот теперь, когда Мустафа заболел, брат сам пришел со своей женой... Не забыл брата, заговорила, значит, родная кровь.

— И вы меня не поминайте лихом,— сказал Мустафа.

В передней послышались тяжелые шаги Усмана. Пиримкул чуть побледнел. Но Саломат не растерялась...

— Усманджан, о, Усманджан!..— крикнула она в двери. Голос ее был звонкий, чистый.— Усманджа-ан!..

Вошел Усман. В пыльных сапогах прошел к постели Мустафы и сел. Потом обратился к отцу:

— Пришли, значит?

— Пришли, Усманджан...— смущенно ответил Пиримкул Малия.

— А тут, видите, старик совсем разболелся,— сказал Усман.— Уговаривает меня быть его наследником. Но я пока не согласился. Как вы думаете, отец, соглашаться?

Пиримкул промолчал. Вмешалась в разговор его жена:

— Он вам не чужой человек, а родной дядя. Если уж решил сделать вас своим наследником, не отказывайтесь. Берите себе его наследство!..

— Брать, отец? — в лоб спросил Усман у Пиримкула.

— Сам знаешь,— неопределенно ответил тот.— Если получишь наследство, то должен тратить его мудро, с умом, советуясь со старшими, ну, хотя бы со мной... Конечно, будем молить бога, чтобы продлил жизнь твоему дяде. Но кто его знает, как поступит аллах. А пока мы с тобой в первую очередь должны позаботиться о нашем брате и дяде. Ведь у него никого, кроме нас, почитай, нету...

— Я сама вас женю,— пообещала Саломат.

— Вы мне сватаете бывшую жену Юльдаша, отец? — спросил Усман.

Пиримкул не ответил.

— Не будь он вам родным дядей, разве могли бы мы допустить, чтобы вы жили не в нашем доме, Усманджан,— сказала Саломат.— Потому и не возража-

ли, что он вам родной дядя. У вашего отца руки длинные, всюду достанут. Он вас женит на самой лучшей девушке, в тысячу раз лучше той, бывшей! Вы ведь и у нас единственный наследник!

— Это правда, отец? — спросил Усман у Пиримкула.— Вы мне завещаете наследство?

— А кому еще завещать? Конечно, тебе.

— Нет, так не годится,— возразил Усман.— Я пропью все ваше наследство за три дня.

— А ты не пропивай,— Пиримкулу Малия стало жалко своего наследства.— Это нечестно.

Усман хрипло засмеялся.

— Плевать я хотел на ваше наследство, отец! — заявил он вдруг.— Это вы-то оставите мне свое наследство? Это вы-то? Да вы никому ничего в этом мире не оставите, все унесете, вплоть до дырявого кувшина! Повесите себе на шею и унесете туда!.. Знаю я вашу заботу, сидите тут над братом, как коршун в ожидании падали!..

— Прекрати! — вспылил Пиримкул.— Прекрати, сукин сын!

— Чего вы так? — усмехнулся Усман.— Я же ваш наследник, разве можно так кричать на наследника?

— Уйди, Усман!..— Мустафа поднял с подушки свою отяжелевшую голову.— Не дело так разговаривать с родным отцом.

— И вы, дядя!..— с укором сказал Усман.

Но Мустафа не захотел его слушать.

— Уходи! — строго приказал он.— Займись каким-нибудь делом!

Некоторое время все сидели молча. Мустафе было неловко за выходку Усмана. Пиримкул был зол. Только Саломат оказалась на высоте...

— Весь в отца,— сказала она, улыбаясь.— И брат ваш тоже ни с кем не посчитается, если рассердится...

Пиримкул улыбнулся, но как-то натянуто.

— Золотой парень, но иногда теряет голову...

Услышав о золоте, Мустафа насторожился.

В комнату вошел толстый рыжий кот, любимец Гульсары. Не обращая внимания на гостей, он переступил через раскрытый дастархан и свернулся калачиком у ног Мустафы.

— Ваш кот пришел,— тихо сказал Пиримкул.

— Это его Гульсара нашла...— сказал Мустафа.

Немного помолчали. Кот задремал и начал мурлыкать.

— Мурлычет,— сказал Пиримкул.— Хороший кот, красивый.

Мустафа пошевелил ногами и разбудил кота. Тот потянулся и залез под сундук в нише стены.

— Гульсара его совсем избаловала,— сказал Мустафа.— На мышей даже не смотрит...

Мустафа взглянул на брата. Пиримкул Малия неотрывно смотрел в нишу, куда скрылся кот. Затем Мустафа перевел взгляд на невестку — она тоже смотрела в нишу...

Еще немного помолчали.

Послышался шум в передней, и на пороге показалась морда теленка, белая от муки. Переступить порог теленок не решился, так и остался стоять, одной ногой в комнате...

— Теленок ваш такой упитанный!..— польстил Пиримкул.

— Это не теленок, а настоящий ворюга,— сказал Мустафа.— Любит шарить в мешках с мукой.

— Все они такие,— сказала Саломат.— Но лучше, если отучите его воровать, не то из такого теленка хорошей коровы не получится... Выгоните же его!..— она повернулась к мужу.— Скажите, пускай уходит!

— Кш! — зашикал Пиримкул, потом взял в изголовье Мустафы большое полотенце и замахал.— Кш!

Теленок нехотя отступил назад. Через минуту услышали, как он ударился копытами об другой порог.

Мустафа посмотрел в угол комнаты, где был неразобранный еще с зимы сандал. Гости тоже посмотрели туда. Мустафа, почувствовав неловкость, перенес взгляд на потолок. Потом снова посмотрел на брата. Пиримкул быстро закрыл устремленные вверх глаза и сделал вид, будто зевает, но Саломат не успела закрыть глаза и так и осталась сидеть, уставившись в потолок.

Мустафа смутился. Ему хотелось сказать, что он больной и ему ничего больше не остается, как только смотреть по сторонам в этой тесной комнате. Но скажи он такое, брату и невестке тоже стало бы не по себе. Мустафа тяжело вздохнул и закрыл глаза...

Опять помолчали.

Вошла Гульсара. Взяла с полки посуду, снова вышла.

И кот, лежавший под сундуком, вышел следом за старушкой...

Мустафа открыл глаза: гости смотрели на сундук.

— Там, под сундуком, полно мышиных нор,— сказал Мустафа.

— Наверное, лет пятьдесят, как вы построили этот дом? — спросил Пиримкул Малия.— Или даже больше прошло?

— Нет, пятидесяти еще нет,— сказал Мустафа.— Сорок лет прошло.

— Мой деверь все делает на совесть,— сказала Саломат.— Вот смотрите, сорок лет стоит его дом, а все как новый!..

— Нет, он уже не новый,— сказал Мустафа.— А дувал я каждый год чиню.

— Это хорошо, что вы каждый год чините дувалы,— сказал Пиримкул Малия.

Мустафа не ответил. Его утомил разговор. С минуту он полежал с закрытыми глазами, но ему стало тоскливо, он опять открыл глаза и взглянул на брата и невестку. Взгляд их горящих нетерпением глаз вконец рассердил Мустафу... «Чего это они следят за каждым моим движением? — подумал он.— Не в доме же зарыл я золото!.. Скорей бы они ушли, замучили!.. К черту золото! Пускай пропадает под навозом!..»

Наконец Саломат первая устала ждать, встала...

— Пойду я, дорогой деверь. Пускай уж ваш брат посидит возле вас. Нельзя больного человека оставлять одного, вдруг что понадобится.

И она вышла, шурша атласным платьем. Братья остались одни. Кажется, Пиримкул немного стеснялся при жене, с ее уходом он придвинулся поближе к Мустафе, взял полотенце и вытер со лба капельки пота.

— Лоб-то у вас какой горячий,— сказал он.

— Сейчас еще ничего, вечером горячее бывает...

— Вечером вы, наверное, бредить начинаете?..— со слабой надеждой спросил Пиримкул Малия.

Мустафа не ответил. Сильно обиделся он на брата. «Все равно ничего не скажу,— решил он.— Пускай пропадет!..»

Вечером, когда ушли последние посетители, Мустафе вовсе неинтересно стало умирать. Было скучно часами лежать в постели, уставясь на потолок.

— Не буду я тут валяться, Гульсара, нет никакой силушки больше терпеть,— сказал Мустафа жене, сидевшей у печки с прялкой, и, не обращая внимания на причитания, снял с гвоздя халат и бросил его через плечо.

Старушка Гульсара было испугалась, но, увидя, что Мустафа поднялся без посторонней помощи, обрадовалась и бросилась на улицу, позвать Усмана. И через минуту они вернулись уже вдвоем, подхватили Мустафу под руки и повели к двери. Гордость не позволяла Мустафе пользоваться такой помощью, он попытался оттолкнуть помощников и идти самому. Он даже высвободил левую руку, со стороны старушки, но с Усманом справиться не удалось, тот был сильнее старика.

Мустафа, сам того не замечая, два раза топнул ногой от собственного бессилия.

— Вы только посмотрите на него: гарцует, как жеребенок! — засмеялся Усман и, подняв Мустафу на руки, словно малого ребенка, вынес, хохоча, из дома.

Мустафа задрыгал ногами, но ничего не вышло. Тогда он наконец успокоился и улыбнулся Усману:

— Ладно, вынеси меня за ворота, сынок.

Усман вынес Мустафу со двора, осторожно опустил на ноги, но рук не убрал, кажется, он боялся, что Мустафа упадет. Мустафа сделал несколько шагов вперед, но и тогда Усман не отпустил его, посадил на толстое тутовое бревно. Потом принес из дома старенький палас, расстелил на бревне и пересадил старика.

Чуть ниже холма, над самым колхозным садом, пролетела стайка пегих скворцов. Мустафа долго следил за их полетом, пока они не скрылись на востоке, в дымке голубых гор. Старик перевел взгляд на запад. Вдалеке показалась еще одна стайка. По тому, как они летели рывками, то медленно, то быстро, Мустафа понял, что это воробьи. Через минуту воробьи нырнули вниз и вот уже защебетали в ветках мустафинских чинар.

Пролетела еще одна стая пегих скворцов.

Показался орел, задержавшийся в степи, в окружении пяти сизоворонок. Те упрямо преследовали медлительного орла. Кажется, ему надоели эти наглые птицы, и он попытался взлететь чуть повыше, но сизоворонки были начеку — двое из них тут же оказались

над головой орла. Орел нырнул вниз, но сизоворонки опять ринулись за ним. И так, гомоня, пролетела и эта странная компания. «Сизые останутся в обрыве за домом Бутабая,— подумал Мустафа,— не могут они далеко летать. А орел полетит в свои горы...»

Пролетела с шумом большая стая индийских скворцов, потом снова стайка воробьев... одинокий ястреб... Все птицы летели с запада на восток. На западе была степь, там птицы кормились...

Пролетела еще одна стая пегих скворцов, на этот раз огромная. Тысячи птиц, словно тучи, закрыли собой полнеба.

С другого конца кишлака, со стороны базара, показалось стадо коров. Они длинной вереницей потянулись по улицам. Первые коровы были уже у ворот Назара Махдума, а последние все еще скрывались за Коровьей вершиной.

Пыль, поднятая стадом, ползла сюда вверх. «До пруда Махсума, поди, дойдет,— рассудил Мустафа.— Дальше коровы не пройдут...» Стадо редело и редело, пока наконец не осталось с десяток коров. Две из них повернули к пустырю старика Хуччи. Остальные потянулись дальше. На какое-то время Мустафа потерял их из виду, кажется, коровы решили пройти напрямик, через упавший дувал колхозного сада. Но вот они опять показались, теперь уже за прудом Ибадулло Махсума. Три коровы пошли к воротам Ибадулло Махсума. Не успели они еще войти, как вышел сам Ибадулло Махсум за остальными коровами. Те подошли к пруду и с отлогого берега стали пить воду. Одна рыжая, корова Камиля Письмоноши, и три мустафинских быстро напились. У пруда осталась одна только корова, тоже Мустафы, огромная, с черно-золотистыми полосками на крупе. Ибадулло Махсум подождал, пока корова напьется, потом все вместе двинулись дальше. Передние коровы были уже на развилке тропинки. Корова Камиля Письмоноши повернула направо, замычала. В ответ ей послышалось мычанье теленка перед домом Камиля Письмоноши. И мустафинские коровы замычали, но телята им не ответили — они были сытые.

Наконец поднялась на холм и четвертая корова. Ибадулло Махсум отставал от нее шагов на двадцать. Корова вошла в ворота, а Ибадулло Махсум подошел к Мустафе, поздоровался.

— Какая корова у вас шустрая,— сказал он, чуть отдышавшись.— Враз обогнала меня!.. Как себя чувствуете, Мустафа, вам уже лучше?

— Скучновато, Махсум...— ответил ему Мустафа.

— Я пришел вас предупредить, Мустафа, сейчас почтенный Хуччи придет скандалить.

Ибадулло Махсум сел на землю напротив Мустафы.

— Садитесь сюда, Махсум,— сказал Мустафа.— Не сидите на голой земле.

— Мне везде хорошо,— сказал Ибадулло Махсум.

— А коня вы отвели к хозяину, Махсум?

— Отвели, Мустафа. Но почтенный Хуччи сильно разгневался на нас. Сейчас он придет скандалить.

— Пусть приходит, Махсум, мне самому не терпится его повидать.

— А вы странный человек, Мустафа,— сказал Ибадулло Махсум.— Не думал я, что вы пошлете ко мне своего Усмана. Надо же? Купили коня и отвели к почтенному Хуччи. Кто услышит, смеяться будет, Мустафа.

— Пускай смеются, Махсум, хорошо, если будут смеяться...

Мустафа улыбнулся. Ибадулло Махсум тоже улыбнулся.

— Я верну вам ваши деньги, Мустафа.

— Не говорите мне о деньгах, Махсум. Я только с постели поднялся, мне не хочется говорить о деньгах.

— Нет, так не годится, Мустафа,— сказал Ибадулло Махсум.— Я не могу не платить свои долги. Надо и о душе подумать. Что я буду делать, если вы придете ко мне на том свете требовать свои деньги?

— Не приду требовать, Махсум.

— Нет, Мустафа, нехорошо это. Вдруг сам аллах прикажет: пойди, мол, Мустафа, потребуй свои деньги?

— Нет, я не потребую, Махсум,— повторил Мустафа.

— Я вам все равно верну долг,— не согласился Ибадулло Махсум.— Да еще тут почтенный Хуччи взбунтовался, трудно будет его уговорить.

— Уговорим,— сказал Мустафа.— Я ничего не хочу у вас брать. Посидите со мной, мы с вами вдвоем и обрадуем человека.

Кажется, Ибадулло Махсуму хотелось одному обрадовать старика Хуччи, и он промолчал.

— Я вот смотрю, как птицы летают,— сказал Мустафа, желая отвлечь Ибадулло Махсума.

— Решили голубятником стать?

— Да нет, просто так... сижу и смотрю, как они летают. Вон летят индийские скворцы...

Ибадулло Махсум взглянул на небо и увидел стайку скворцов.

— А, эти? — Ибадулло Махсум немного помолчал? — Я что-то не помню их до войны.

— Нет, они появились у нас еще до войны,— сказал Мустафа, гордясь своей памятью.— А раньше их совсем не было. Говорят, из Индии прилетели.

— Скворец хоть и индийский, но умная птица,— сказал Ибадулло Махсум.— Одно плохо, растаскивают виноград. Хорошо бы только в винограднике клевали, так нет, по целой кисточке в клюве уносят... Это же подлость, Мустафа!..

— Все равно хорошая птица,— сказал Мустафа.— Сказывают, могут человеческим языком разговаривать, если вскормить материнским молоком.

— Это, наверное, так про галок говорят,— не поверил Ибадулло Махсум.

— Нет, Махсум, про этого самого индийского скворца.

Ибадулло Махсум чуть задумался.

— А ведь это здорово, Мустафа, если птица заговорит,— сказал он немного погодя.— Сиди с ней и разговаривай, сколько хочешь. Если бы у меня был такой скворец, я бы научил его ругать Турабая!..

— Зачем вам учить птицу ругаться? Дома женщины, дети, неловко как-то, Ибадулло Махсум.

— Да, правильно, Мустафа,— согласился Ибадулло Махсум.— Я обо всем думал, а об этом не подумал. Конечно, хорошо, если бы птица ругалась только когда Турабай один. Но так, наверное, трудно ее научить. Да и кто ее знает, может, она вообще станет болтливой, как женщина!.. Ведь ее женским молоком надо вскормить?

— И немногословных вскармливали женским молоком,— возразил Мустафа.

— Ваша правда! — обрадовался Ибадулло Махсум. — Но, Мустафа, думаю, дело это не легкое...

— Но вы смогли бы научить птицу, Махсум, все-таки сами учились в медресе.

— Нет, не смогу,— покачал головой Ибадулло Махсум.— Где мне взять материнского молока? Старуха моя давно не рожает, сама стала, как ребенок, будто ее позавчера родили. У невестки спрашивать совестно.

Ибадулло Махсум постоял несколько секунд во власти нечаянной грусти, потом поднял голову и посмотрел на запад, и тут же лицо его просияло.

— Посмотрите-ка на закат, Мустафа. Горит, будто щечки молодой девушки, каково, а?

— Завтра будет жаркий день, Махсум,— сказал Мустафа.— Раз закат розовый, значит, день выдастся непременно жаркий.

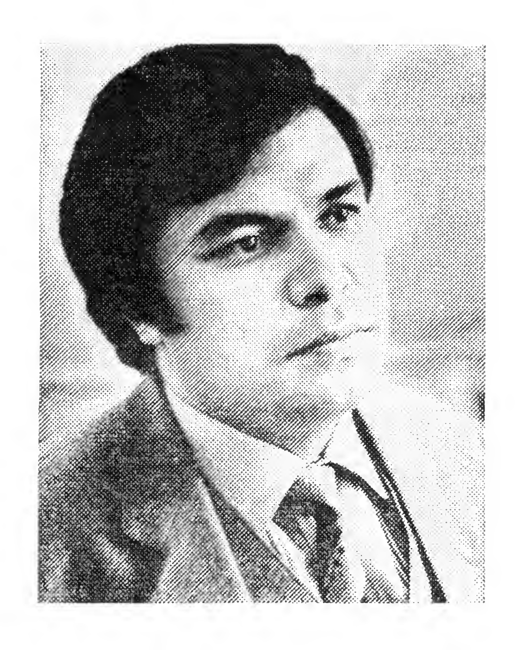
— Я не очень верю этим приметам, Мустафа, помню как-то, в прошлом году весной был такой красный закат, а назавтра выпал град, с орех.

— Но это редко бывает, чтобы не совпало...— возразил Мустафа.

— Почтенный Хуччи идет! — сказал Ибадулло Махсум, мгновенно позабыв о закате.— Сейчас он начнет скандалить. Посмотрите вниз, Мустафа, вон там, у пруда!

Мустафа посмотрел вниз. Старик Хуччи шел в их сторону, ведя за уздечку неоседланного коня...

Перевод *Валентина КОТКИНА*



Нурали КАБУЛ (Халбутаев Нурали Кабулович), прозаик, родился в 1953 году в Бахмальском районе Джизакской области.

Н. Кабул — участник VII Всесоюзного совещания молодых писателей. Его первое крупное произведение — документальная повесть «Ойкор» появилась в печати в 1978 году. Затем были опубликованы в журнале «Юность» повести «Небо твоего детства» и «Здравствуйте, горы». Книга Н. Кабула «Небо твоего детства», выпущенная издательством «Советский писатель», тепло встречена читателями и критикой.

Правдивость — вот, что прежде всего подкупает в произведениях Нурали Кабула. Он пишет о том, что хорошо знает, пережил сам. Писатель предельно искренен и откровенен в своих симпатиях и антипатиях. И выражает он свою позицию с такой эмоциональностью, которая не может не захватить читателя.

НУРАЛИ КАБУЛ

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ГОРЫ!

Восходит солнце — тебя напоминает,
Восходит луна — тебя напоминает,
Чащобы, скалы, родники.
Я у твоего подножья преклонил
колени.

(Из народной песни)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Зулайхо, очнешься ты от своих мыслей или нет? Ребята уже за дровами пошли, а ты все не торопишься!

Это мать. С самого утра она возится во дворе, поэтому в голосе ее слышатся усталость и раздражение.

— Иди собери немного дров, хватит у окна сидеть!

Ну вот, так всегда... Мать прерывает ее мысли на самом интересном. Конечно, можно было бы все додумать ночью, но Зулайхо засыпает, едва коснется головой подушки. И в школе нельзя помечтать о своем: там есть над чем ломать голову на уроках. А если задуматься, когда дрова в горах собираешь, то недолго и отстать от всех.

— Гаибназар с ними ушел, Зулайхо!

— Сейча-ас!

Гаибназар — сын Ташбуви-холы, он в этом году заканчивает седьмой класс. Для Зулайхо Гаибназар совсем как старший брат, ведь они выросли вместе и судьбы у них схожи: Гаибназар тоже сирота. Их дома стоят рядышком, на берегу веселого сая — резвой прозрачной речушки, которая начинается на Ойкоре и делит кишлак на две почти равные части. В обоих дворах протекает арык. Сначала он вьется по двору Гаибназара, потом сворачивает влево, во двор Зулайхо. В каждом дворе над арыком растет по карагачу с толстенным стволом, с густой, раскидистой кроной. Во дворе Гаибназара под карагачом стоит старая деревянная сури, в жаркие дни соседи любят посидеть на ней, в тени дерева. Во дворе Зулайхо тоже есть низенькая ветхая сури, но, после того как на нее с карагача

сползла змея, сидеть там никто не хочет. Только ее мать Энакиз ничего не боится — летом она часами стегает одеяла на сури, и солнечные блики скачут по яркой материи, по цветастому платку на голове матери...

— Не забудь веревку, слышишь, Зулайхо?

— Слышу-у!

Гаибназар старше Зулайхо на два года. Он совсем взрослый и очень сильный, поэтому никто из ребят никогда не посмеет обидеть Зулайхо. И дрова в горах они всегда собирают вместе. Гаибназар не успокоится, пока не наберет для Зулайхо целую вязанку.

Его отца, дядю Эгамназара, расстреляли басмачи в горах Етимтаг. Он похоронен в Джизаке, в городском саду, и на могиле его всегда лежат свежие цветы. Их там четверо, в могиле. Четверо красных солдат, расстрелянных басмачами. Гаибназар уже два раза ездил в Джизак; он говорит, что сам будет красным солдатом, когда вырастет. Жаль, что Зулайхо девчонка. Если б она родилась мальчиком, то обязательно стала бы красным солдатом.

— Долго эта девчонка будет возиться?! Горе мне, твои друзья уже до Ойкора дошли!

— Иду, иду! — крикнула Зулайхо и, схватив платок, выбежала во двор, на ходу весело махнув рукой рассерженной Энакиз.— Иду, мамочка!

Она надела платок, чтобы не напекло голову, и помчалась догонять ребят. Зулайхо любила этот скроенный из маминого старого платья платок. Любила, потому что от него всегда пахло матерью. Обычно, когда набиралось прилично дров, она, сложив платок вчетверо и подстелив его под вязанку, несла дрова на голове, не прикасаясь к ним руками. Это очень просто, надо только научиться держать ровно спину и голову. Однажды Гаибназар, утащив из дома платок Ташбувихолы, попробовал проделать то же, что и Зулайхо. Можно было лопнуть от смеха, глядя, как он тщетно пытался водрузить на голову вязанку дров. Так он смешно балансировал руками и таращил глаза, пока наконец дрова не посыпались на землю. Здорово ему, бедняге, тогда влетело от матери за платок...

Странная эта тетя Ташбуви. То она ласковая и приветливая; в такие минуты позовет Зулайхо, сунет ей в руку два-три катышка курта — высушенного соленого творога — и долго смотрит в смущенное лицо девочки. Однажды она сказала ей:

— Аллах даст, станешь моей невесткой...

От стыда Зулайхо чуть сквозь землю не провалилась... Но чаще всего тетя Ташбуви сердится и кричит-причитает, жалуется на судьбу свою, проклинает сына, так что слышно во дворе Зулайхо. Иногда девочка приникнет к щели в заборе и наблюдает, как Ташбуви-хола хлопочет по хозяйству. Громкий раздраженный голос женщины разносится в полуденном воздухе над домами кишлака:

— Гну спину с утра до ночи, а ты растешь бездельником и шалопаем! Посмотрел бы отец, каким вырос его сынок, накажи тебя аллах!

Ну, разве можно говорить такие слова своему родному сыну?! Конечно, тете Ташбуви трудно приходится. После гибели отца Гаибназара она вышла замуж за мельника из соседнего кишлака. Но, видно, судьба у нее такая — вдовья. И второй муж скончался от какой-то болезни, не прожив с тетей Ташбуви и полгода. С тех пор никто ее замуж не брал, за глаза называя Ташбуви Несчастливицей. Казалось, она и сама уверовала в свой тайный злой рок и, находясь в постоянном напряженном ожидании несчастий, не скрывала обиды на жизнь, на соседей, на собственного сына.

Прошлым летом теленок, которого Гаибназар привязал в саду к яблоне, сорвался с веревки и высосал молоко у коровы. Что тут было! Какие только проклятия не сыпались на голову бедного Гаибназара! Зулайхо стояла за забором, и сердце ее сжималось от жалости к другу. Он, молча слушая причитания матери, привязывал теленка под навесом. А тетю Ташбуви его угрюмое молчание лишь сильнее распаляло, и в конце концов она схватила веник с явным намерением проучить мальчика...

Тогда Гаибназар метнулся к калитке и убежал во двор к Зулайхо. Он пробыл у них весь день, потому что боялся возвращаться домой. Вечером Энакиз усадила детей ужинать, Гаибназару налили мучной похлебки в большую деревянную пиалу. Он, оказывается, даже не обедал в тот день и съел похлебку в один миг, не поднимая от пиалы головы, заедая все кукурузной лепешкой. Он ел, а Зулайхо разглядывала его, потому что в другое время не могла этого делать. Глаза у Гаибназара совсем не похожи ни на чьи другие — по его глазам можно все прочесть. И брови какие-то... необыкновенные. Длинные и густые. Так вот, когда Зу-

лайхо медленно ела, рассматривая Гаибназара, она собственными глазами увидела, как по его лицу скатились две слезинки и капнули прямо в пиалу. Мать за разговором не заметила этого, а Зулайхо поспешно отвела взгляд от лица Гаибназара. Впервые он плакал при ней.

Потом Энакиз постелила курпачи — ватные стеганые одеяла — и уложила детей спать: Гаибназара справа от себя, Зулайхо — слева. Мальчик, сняв с головы тюбетейку и сунув ее под подушку, бесшумно лег. Зулайхо знала, что он лежит с открытыми глазами. Его тоскливый взгляд был устремлен в окошко, где за мутным стеклом тусклыми светлячками мерцали звезды. Им дела не было до двух детей в маленьком, аллахом забытом горном кишлаке.

— Эх, Гаибджан, мальчик мой...— вздохнув, тихо проговорила Энакиз.— Ты не сердись на маму свою. Бедная она, бедная... Недаром в народе говорят: жена без мужа — что камень, на дороге брошенный.— Мальчик промолчал, но кивнул согласно.— Думаешь, легко ей одной управляться? — продолжала Энакиз.— Сам видишь: из сил она выбивается. Никакой радости в жизни.— В ее сдавленном, дрожащем от слез голосе чувствовалась тоска и горечь и своей одинокой доли.— Постылая, постылая жизнь...

Гаибназар слушал по-прежнему молча, и Энакиз ласково гладила его по голове, убирая со лба густые вьющиеся волосы.

На открытом его лбу стал виден небольшой шрам, тот самый, с прошлого года. Это Гаибназару память о драке с Касымом Бузотером, председателевым сынком. Несносный этот Касым драчлив и заносчив, никогда не упустит случая съязвить, крикнуть какую-нибудь обидную глупость. Вот и тогда весной... Гаибназар и Зулайхо позже обычного погнали скот на пастбище: Энакиз замешкалась, не успела подоить коз, и девочке пришлось ждать, пока мать управится. А Гаибназар никогда без Зулайхо не уходил. Он стоял возле ее калитки и, сдвинув тюбетейку на затылок, щурясь от весеннего, но жаркого уже солнца, вычерчивал опущенным кнутовищем замысловатые узоры в пыли. Мимо гнал баранов Касым.

— Э-эй, дрыхнешь, безотцовщина? — крикнул он, щелкая кнутом.— Другие, которые порядочные, шесть раз уже свои стада накормили!

— Придержи язык, Касым! — бледнея, ответил Гаибназар.

— Ты моему языку не хозяин, безотцовщина голоштанная! — еще громче крикнул тот.

Зулайхо видела, как они сцепились, как в пыли катался клубок из двух мальчишеских тел. Кнуты валялись тут же, переплетясь веревками. Девочка с визгом помчалась на улицу разнимать дерущихся, но Касым успел вскочить на ноги и, подобрав небольшой острый камень, бросил его в голову Гаибназара. С лицом, залитым кровью, взбешенный Гаибназар догнал удирающего Касыма, опрокинул его на землю и несколько раз ударил кулаком по лицу. Неизвестно, чем бы кончилась эта драка, если бы со двора, громко ругаясь, с толстым прутом в руках к ним не выбежала Энакиз...

Что творилось, когда Гаибназар домой вернулся,— страшно сказать! Оказывается, прибегала мать Касыма, председательша, и заходилась в крике, и сыпала угрозами, и припоминала всех предков Гаибназара, так что те, наверное, на том свете на другой бок перевернулись. Бедная тетя Ташбуви, чего ей только не пришлось выслушать! Понятно, едва Гаибназар появился во дворе, на него обрушились проклятия, которые мать с горечью копила весь день. Не умолкая ни на минуту, Ташбуви-хола достала сажу из казана и, смешав ее с маслом, приложила ко лбу сына. Гаибназар тогда целую неделю ходил с завязанной материнским платком головой. А сейчас вот лишь шрам остался, небольшой, белый, чуть выше левой брови...

Гаибназар говорит: «Сердце без огня, что безжизненная почка на ветке». И кто его таким словам научил? Смешной, он никогда не зовет Зулайхо по имени. Он зовет ее Каракоз — Черноглазая. Каракоз да Каракоз... Ну, разве это имя? А все потому, что глаза у Зулайхо черные-пречерные. Прозвище словно приклеилось к ней. Сначала в школе ей стали кричать «Каракоз!», а теперь уже во всем кишлаке так зовут. Даже мать нет-нет да скажет:

— Каракоз, дочка...— И спохватится и долго потом, улыбаясь, качает головой.— Вот уж дал имя, негодник! Само на язык просится...

И почему она все время думает о Гаибназаре? Конечно, он добрый и столько хорошего сделал для нее, но все равно — разве можно о нем все время думать?!

...На луну в окне наползло легкое рваное облачко, и

она стала похожа на головку козьего сыра, прогрызенную мышами... Спит мама, спит Гайбназар, на сельском кладбище вечно спит отец. Только Каракоз никак не заснет. В детстве мама убаюкивала ее песнями. Негромко, размеренно звучал ее голос, и песни все были тихие да печальные. Мамин голос — так чудилось девочке — просачивался на свободу сквозь дверные щели, и улетал на кладбище, и вился, вился маленькой птицей над отцовской могилой...

Мать еще в детстве показала ей могилу отца. Небольшой убогий холм виден из мутного окошка их дома. Зулайхо могла часами сидеть у этого окна и смотреть на могилы. Иногда она разговаривала с отцом о своих делах, шепотом, конечно, чтоб не слышала мать. Подоконник, гладко отполированный локтями Каракоз, был для нее родным. В скучные зимние вечера, в свободное от домашней работы время она думала об отце, разглядывая замысловатые снежные лапы на стекле. Отец, как рассказывала мать, тоже любил сидеть у окна и смотреть на кладбище и часто с грустью повторял: «Смерть права. Всем нам суждено вернуться в эту землю...»

Мать считает, что Каракоз очень похожа на отца, особенно брови и глаза. Больше всего сходство заметно, когда девочка сердится... Ах, как бы она хотела взглянуть на живого отца — хоть на минуточку, хоть краешком глаза! А о нем и поговорить не с кем. Соседи прячут глаза, вздыхают, молчат. Да и мать запретила ей спрашивать об отце.

Каракоз, как ни старалась, так и не смогла вникнуть в смысл этих холодных жестких слов: «Чуждый элемент». Отец никогда не занимал высокой должности, он был просто очень трудолюбив, всегда был занят работой, поэтому даже в самое тяжелое время у них на дастархане хватало хлеба.

Мама говорит, что во всем виноват этот человек — Юсуф-Дум[1], председатель кишлачного Совета. Он еще в молодости на отца злобу затаил. Верно, острый отцовский язык не давал ему спать спокойно. Рассказывают, что однажды на поминках отец, задетый за живое грубостью Юсуфа-Дума, сказал ему при всех: «Мулла Юсуф, а вы, видать, позабыли, как при царе были начальником налогосборщиков? Как русских приставов по кишлакам возили, как охотились с ними в

[1] Дум — прихвостень, лакей.



горах на кекликов? Теперь вы главный борец за бедняцкую правду, а? Видать, у Советов грудь широкая, всех вместит?»

Юсуф-Дум промолчал, лишь взгляд его маленьких, глубоко посаженных лисьих глаз жег отца ненавистью. Юсуф-Дум ушел с поминок, ни с кем не прощаясь. Люди качали головами, переговаривались между собой: «Удивляемся мы на Шодмонкула! И охота ему связываться с этим негодяем! Ведь Юсуф и подлость может подстроить бедняге...»

Люди как в воду глядели. Не прошло и месяца — отца забрали, обвинив его в том, что он «возглавил кампанию борьбы против колхозного строя, подрывая авторитет коммунистов-руководителей».

...Вернулся отец иссохший, харкающий кровью, с больными легкими. Он вернулся умирать. Возможно, отцу суждено было умереть молодым. Если так, то все-таки хорошо, говорит мать, что он умер дома, а не в чужих холодных краях, что лежит в родной земле и из окна собственного дома видна его могила...

Прежде Каракоз часто думала: «Если б не родился на свет этот проклятый Юсуф, не была б я сиротой. И как это аллах позволяет ходить по земле таким извергам?..— Она облокачивалась на подоконник и мысленно укоряла отца: — Ну зачем, зачем вы сказали ему те слова? Почему не сдержались? Ведь знали же вы, отец, что это за человек! Нозик-мома[1] говорила о нем: «Юсуфу-Думу и духовный отец не станет другом, никто не угадает, что затевает он в своем черном сердце...»

Сидишь так, сидишь у окна и не заметишь, как уснешь. А мама шьет что-то и напевает. И ее негромкий голос ласково овевает склоненную во сне голову Каракоз, ее пушистые ресницы. То ли наяву звучит мамин голос, то ли во сне. И представляется он маленькой тоскливой птицей, что вьется без устали над отцовской могилой.

Даст ли тень в знойный полдень
высохшее дерево!
Приласкает ли прохожий
одинокую сироту!
Пусть я буду тенью
от высохшего дерева,
Пусть я буду лаской
для одинокой сироты...

---

[1] Мома — бабушка.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Тетушка Энакиз порой вздохнет тихонько: «У кого нет сына, у того нет счастья». А мать Гаибназара частенько ворчит: «Нет дочери — нет близкого человека...» Обе они, наверное, правы.

Гаибназар любит мать, хоть ему нередко от нее попадает в пылу раздражения. Но даже в такие минуты душа его наполняется жалостью к ней. Поскорей бы стать совсем взрослым, зарабатывать на жизнь, так чтобы мать ни в чем не нуждалась и успокоилась наконец, рассталась со своей вечной тоской о несбывшемся счастье. Он бы помогал и тете Энакиз с Каракоз. Ведь ближе у него никого нет.

Недавно бригадир Сулайман-ака пообещал:

— Поговорю-ка я с председателем колхоза, пусть поставит тебя учетчиком в мою бригаду.

Вот будет здорово, если это получится! В счетном деле Гаибназар понимает хорошо, он бы справился.

По вечерам его мать исподволь заводит разговоры, от которых замирает сердце и пьянящее тепло разливается по телу.

— Тебе сейчас надо подыскать работу получше,— говорит мать,— скоро деньги понадобятся. Не сегодня-завтра женишься. Калым, да свадебные расходы, да подарки для невесты — ох, деньги, деньги...— Она качает головой и бормочет что-то про себя, еле слышно.

В этом году Каракоз заканчивает седьмой класс. Она постарше своих одноклассников, и, когда все ребята гурьбой возвращаются из школы, Каракоз можно узнать издалека: она и ростом повыше, и походка у нее иная, чем у других девочек,— походка взрослеющей девушки.

Перед началом учебного года Гаибназар, как всегда, отдал свои учебники Каракоз. «В последний раз,— подумал он,— вот и выросли...» И твердый комок застрял у него в горле, и почему-то он долго не мог сглотнуть его.

В тот день Гаибназар волновался так потому, что впервые принес Каракоз подарок. За этим маково-алым платком он ездил специально в район. Но дело было не в самом платке. В один из четырех уголков он завязал небольшой клочок бумаги, над которым просидел полночи. И теперь Гаибназара волновало единст-

венное: заметит Каракоз узелок на платке или придется самому показать ей на него?

Когда Каракоз взяла в руки подарок, щеки ее заалели поярче, чем сам платочек. Впервые в жизни она получила подарок. Смущенно-радостно улыбаясь, Каракоз развернула платок, раскинула его на коленях, разгладила.

— Ой, смотри! — Она заметила узелок.

Гаибназар вспыхнул и, не зная, куда деваться, забормотал:

— Как бы там... теленок... не отвязался...— И пулей выскочил во двор.

Каракоз так и осталась сидеть с платком, расстеленным на коленях.

Чернее черного твои глаза,
Мучают мое сердце.
Пушистые твои ресницы
Не скроют этих глаз...

Еще не до конца понимая смысл бесхитростных строк, она почувствовала, что они гораздо дороже для нее, чем платочек. Несколько минут Каракоз в оцепенении смотрела на четверостишие, написанное рукой Гаибназара, и вдруг вскочила и поспешно спрятала бесценный клочок бумаги среди книг.

С чего это он решил написать стихи? Неужели сам сочинил? Неужели... влюбился?! Любовь! Нет, даже думать неловко. Интересно, у всех ли она бывает? И сколько раз за всю жизнь может любить человек? Вот, например, покойный мулла Намаз-бай женился четыре раза. Значит, его бедное сердце в ожиревшем туловище было переполнено любовью ко всем женщинам!..

Бедняга Гаибназар, ведь это нелегко: любить кого-нибудь. Недаром он красный, как первый весенний мак, выбежал за калитку — якобы на теленка взглянуть. Какие могут быть телята в голове у влюбленного человека?..

А она сама? Почему она так часто думает о Гаибназаре? Конечно, он нравится ей, нравится больше других. Но можно ли это назвать любовью? Конечно, нет! Любовь, наверное, совсем не такая. Во всех сказках, во всех легендах влюбленные гуляют в весенних садах, среди цветов, они побеждают чары злых волшебниц, им напевают райские песни звонкоголосые птицы... А

Каракоз с Гаибназаром что? Дрова собирают, овец пасут — ну, какая это любовь!..

Но в горах тоже здорово. Если подняться на Коккутан и громко крикнуть: «Здравствуйте, го-о-ры! Мы пришли-и-и!», то горы в ответ прогрохочут: «Добро пожалова-ать!»

— Эй, Каракоз! Держи его, держи! Полюбуйся на этого беспризорного, он с привязи сорвался! Да лови же его, проклятого!

Каракоз, размечтавшись, не сразу выбежала на крик матери. Козленок отвязался, нашел козу и вволю насосался молока. И теперь весело гонял по двору, не давая схватить себя.

— Проклятье, разрази тебя гром! Остались без вечернего молока...— Энакиз, запыхавшаяся от ловли маленького преступника, тяжело дышавшая, с разлохмаченной седой головой, растерянно смотрела на дочь.— А я хотела отнести молочную кашу дочери Мехри-холы, она родила недавно... Как на грех, мука кончилась, а то бы приготовила мучную похлебку...

— Может, попробовать подоить? — сказала Каракоз.— Авось хватит на кашу. Где посуда?

Она не доила козу с прошлого года, и руки ее отвыкли от сосков. Тот год был засушливый, жаркий. Однажды утром Каракоз, как всегда, подоила козу и, перед тем как погнать ее на пастбище, крепко завязала вымя. Вечером коза примчалась домой. Рогами распахнув на бегу ветхую калитку, она то бросалась в арык, стараясь погрузить вымя в воду, то судорожно выскакивала и терлась им о землю. Когда встревоженная девочка подбежала к козе, сердце ее замерло в испуге: два варана величиной с ладонь присосались к вымени козы.

— Неси скорее щипцы для углей и положи их на очаг! — крикнула мать.— Тысячу раз говорила тебе: завязывай крепче вымя!

Коза каталась по земле, жалобно блея. Раскаленными щипцами мать отодрала присосавшихся к вымени варанов. Изо рта у ящериц брызнуло молоко. Каракоз поспешно отвернулась, чтобы не стошнило. После этого случая они чуть ли не месяц выливали надоенное молоко, а для козленка брали молоко у козы тети Ташбуви.

С тех пор Каракоз никак не могла заставить себя подойти к козе. Но сейчас мать выглядела такой расстроенной и уставшей, что девушка пересилила себя и принялась доить.

Соски козы стали крепкими — так всегда бывает после того, как вараны сосут молоко. Коза стояла покорно и глядела на Каракоз совсем человеческими добрыми глазами, будто извиняясь за то, что не смогла уберечь молоко от собственного козленка. Соски ее покраснели, молоко из вымени даже не капало. Вздохнув, Каракоз покачала головой и, сполоснув холодной водой вымя козы, бросила ей в кормушку очистки...

С тех пор как Гаибназара взяли учетчиком в зерноводческую бригаду, дела обеих семей стали поправляться. В этот сезон он выписал Энакиз-холе заработок сполна. Обрадованная женщина взяла у колхоза десять пудов пшеницы. Да еще пуда два зерна осталось от прошлого урожая. Аллах даст, со всем этим они дотянут до будущей жатвы. К тому же Энакиз продавала на базаре кислое молоко, и тогда у них появились деньги на полкилограмма, а то и килограмм мяса и на сахар.

Каракоз не любила ходить на базар. Стеснялась. Бывало, возвращаясь из школы и завидев мать, идущую с базара, она замедляла шаги и отставала. Ей было стыдно. Казалось, кто-нибудь из сверстников-забияк назовет сейчас ее мать торговкой.

Все чаще Ташбуви-хола заговаривала о том, что заработки у Гаибназара стали приличными, что он совсем взрослый и серьезный парень, что пора его, должно быть, женить. Каждый раз едва Ташбуви-хола заводила об этом разговор, Каракоз внутренне напрягалась, лицо ее делалось непроницаемым, глаза прятались под опущенными ресницами. Она быстро и неслышно выходила из комнаты и потом несколько дней избегала встреч с Гаибназаром... Дни шли, а четыре строки его стихотворения оставались без ответа. Каракоз была в смятении. Все валилось у нее из рук, все чаще она задумывалась так, что не отзывалась на оклики матери.

— Каракоз, проснись! На ходу засыпаешь! — сердилась мать. Она не знала, что творилось в душе дочери.

Сколько ни придумывала Каракоз, как ответить на стихи Гаибназара, ничего не получалось. Наверное, она такая глупая и совсем еще маленькая, раз не может

достойно ответить парню. Конечно, Гаибназар окончил семилетку, он взрослый и уже самостоятельный. Даже Ташбуви-хола стала относиться к сыну иначе — не кричит, не проклинает судьбу. А что Каракоз? Школьница...

Самым неприятным было то, что с недавнего времени к ним в дом зачастила Мастон-хола, жена маминого брата Самандара. За высокомерный и вздорный характер в кишлаке его звали Самандар Холодный. Каракоз опасалась, что Мастон-хола повадилась к ним неспроста: уже давно она подыскивала невесту своему сыну Камариддину. Заговаривала тетя Мастон издалека, похваливала сына, расписывала, как хорошо и сытно будет ее будущей невестке в доме Камариддина. Наконец в один прекрасный день она выложила все начистоту.

— У вас единственная дочь, Энакиз! — Полное лицо Мастон-холы расплылось в лучезарной улыбке так, что глаза превратились в щелки. Такие щелки-бойницы на сторожевой башне, бойницы, за которыми затаилась опасность.— Обеими руками мы берем ее у вас. Захотите — отдадите и не захотите — отдадите. Лучше нам провалиться, чем искать невест по чужим дворам, когда в своем же роду такая красавица подросла!

Каракоз в это время в прихожей снимала с гвоздя под потолком связку сушеного перца для мясного супа. Услышав эти слова, она едва не свалилась с сундука, на который встала, чтобы дотянуться до перца. Ей захотелось выбежать во двор, броситься в дом Гаибназара, спрятаться там, но девушка пересилила себя и замерла, прислушиваясь к ответу матери.

— Что вы, милая Мастоной, Каракоз совсем еще девочка,— донесся из комнаты сдержанный голос матери.— Пусть школу окончит, а там видно будет...

— Я надеюсь, это не отказ, милая Энакиз, а только отсрочка? У вас единственный брат, не годится портить с ним отношения. Единственный дядя у Каракоз. Недаром говорят: один дядька семерых отцов заменит... Не отказывайте нам. Да не возрадуются наши враги!

— Каракоз еще слишком молода,— повторила мать.— А женихи... Что ж, женихов много, но мужа надо выбирать одного. Пусть у сердца своего спрашивает. У меня одна дочь, я хочу ей счастья...

В комнате повисла напряженная пауза. Потом стало слышно, как зевнула Мастон-хола и небрежно, словно невзначай, заметила:

— Говорят, сын Ташбуви Несчастливицы поглядывает на вашу дочь? Как бы чего не случилось, милая. Знаете, как оно бывает... А потом приходится пенять на себя...

— Что вы, Мастоной! — воскликнула мать возмущенно.— Если кто-то и болтает глупости, то вам уж такие слова не к лицу! Сын моей соседки смирный как барашек!

— Как барашек смирный или как козел, мне нет до этого дела... Я говорю: пеняйте потом на себя. Проморгаете, а кому будет нужен подержанный товар?

Каракоз, глотая слезы, выскочила во двор и забежала в ветхий сарай, где у них хранились дрова. Опустившись на чурбан для колки дров, она зарыдала уже открыто. И, как это часто бывало, в горьком тумане заплаканных глаз сначала смутно, потом все ясней проступило лицо отца, каким она его себе представляла.

«Вот видите, отец, каково нам живется... Нет в доме мужчины — и любой может обидеть нас. Если бы тогда вы сдержали себя и промолчали, не вывел бы вас в «чуждые элементы» этот проклятый Юсуф-Дум...»

И по обыкновению, отец вначале молчит, грустно опустив голову, потом негромко и ласково отвечает ей:

«Что поделаешь, дочка, говорить правду — у нас в крови».

«И вы не пожалели нас с мамой?.. Были бы вы живы, разве посмела бы эта Мастон обидеть маму? Прежде она и по праздникам к нам не заглядывала, а теперь явилась: отдайте дочь за нашего распрекрасного сына. За дубину эту, за Камариддина!»

«Не огорчайся, дитя мое. Будь терпелива. Если вначале судьба немилостива к человеку, то в конце обязательно ниспошлет удачу...»

Зыбкое лицо отца печально, вот-вот растает, исчезнет, и Зулайхо ловит каждое его слово, жадно вглядываясь в дорогое видение.

«Я ведь тоже рос сиротой, дитя мое. Наверное, на роду у нас это написано... Не печалься. Кто поднимает руку на безвинного, не остается безнаказанным в этом мире».

«А знаете, отец, на наше счастье, соседи очень помогают нам. Тетушка Ташбуви и... у нее сын... Гайбназар, мы друзья...»

«Что ж, солома из рук близкого лучше, чем зерно из чужих рук. Лучше хороший сосед, чем плохой родственник».

«Мама говорит, что мои глаза похожи на ваши, отец. Поэтому если я иду по улице, то широко-широко открываю их: пусть видят все — я ваша дочь! А однажды на мельнице, когда относила мешок с зерном, я слышала, что бригадир Сулайман сказал своему спутнику: «Посмотри, как дочь Шодмонкула похожа на него!» А тот вздохнул в ответ: «Хорошие люди долго не живут. Пропал, бедняга, ни за что». Я ждала, чтобы они еще что-нибудь сказали о вас, отец, но они взвалили на спины мешки с мукой и ушли...»

«Пусть всю мою жизнь аллах отдаст тебе и твоим детям, дитя мое».

«Но неужели правда, что хорошие люди долго не живут?»

«Хорошие люди всегда бывают безоружными, поэтому быстро находит их пуля, поэтому быстро ранит их душу каждое горькое слово, доченька. Что бы там ни было, от плохого человека остается плохая память, от хорошего — хорошая. Старайся быть достойным человеком».

«Я верю, что обязательно встречусь с вами, отец! И бабушка Нозик мне говорила об этом. Еще она сказала, что каждый человек родится снова через семь или четырнадцать поколений. И если в первой жизни он жил мало, то во второй непременно доживет до старости, и если в первой жизни был несчастлив, то во второй ему обязательно посчастливится. Бабушка Нозик сказала, что во втором рождении я не буду сиротой. А у вас, отец, родится много детей! Так она сказала, Нозик-мома, и я ей верю, потому что за свою долгую жизнь она никогда не обманывала».

«Правда, дитя мое, правда, я знал Нозик-мому еще мальчишкой, и мне она рассказывала все это...»

...Пронзительно-визгливый голос Мастон-холы проник в сарай:

— Да провались ты вместе со своей строптивой дочерью! Нищему бродяге отдай, прокаженному отдай — делай что хочешь! Чтоб ты светлого дня не видела, чтоб твоя неблагодарность против тебя и обернулась!



Самандар тебе не брат, ты ему не сестра! Попробуй еще прийти к нам с какой-нибудь просьбой!

Хлопнула калитка, и некоторое время, пока Мастон-хола шла вдоль их забора, проклятья еще слышны были во дворе.

Энакиз, сидя на пороге, плакала. У ее ног лежал вечно голодный, но неунывающий пес Олапар и, поминутно поднимая голову, смотрел в сторону сарая.

Каракоз вышла, медленно опустилась возле матери и обняла ее за шею... Тихо было во дворе, лишь на сломанной ветке старого абрикоса поддакивал чему-то удод. Мать плакала безутешно, и столько было в ее слезах горькой обиды — не на скандальную Мастон, а на свою судьбу,— что успокаивать ее казалось делом бесполезным. Каракоз только прижалась к матери покрепче и тоже заплакала.

Они просидели так долго, пока солнце не скрылось за вершинами Ойкора. С гор стали возвращаться сборщики дров. Вот за жердями изгороди появился серенький ослик Гаибназара. Энакиз поспешно поднялась и, взяв кувшин, подошла к арычку. Калитка открылась, и во двор, приветливо улыбаясь, шагнул Гаибназар с большой вязанкой дров.

Но, увидев тетушку Энакиз, умывающую над арыком заплаканное лицо, взглянув на застывшую на пороге Каракоз, он остановился как вкопанный. Каракоз вскочила и бросилась в дом. Гаибназар, свалив на землю дрова, пошел за ней. Тихо сел рядом, осторожно повернул к себе ее заплаканное лицо.

— Что случилось, Каракоз? Кто обидел вас?

Она молча ткнулась лицом в его рубашку, пахнущую полевыми травами и по́том.

— Я никому не дам тебя в обиду. Скажи мне, Каракоз, кто посмел? Скажи!

Но она лишь покачала головой и тихо утирала слезы краешком платка, подаренного ей Гаибназаром. И не было у него слов, чтоб утешить ее, успокоить, а было только сердце, нежно любящее ее, и руки, готовые заслонить ее от всех горестей на свете...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Перед новым сезоном Гаибназара сняли с должности учетчика. Может, провинился в чем-то — говорят, кто не работает, тот не ошибается... Бригадир Сулай-

ман-ака вначале плечами пожимал, но, после того как поговорил с председателем колхоза, объяснил Гайбназару хмуро, нехотя:

— Что за люди, ей-богу! Не спится им спокойно, если у кого-то дела идут на лад... Ну, Юсуф-Дум, этот — понятно! Он свой поганый нос в каждый дом сунет, где плов готовят. Но Самандар Холодный-то чего на тебя взъелся?..— Он еще раз пожал плечами и добавил: — И тот и другой в один голос: «Сопляк он еще, молоко у него на губах не обсохло — людям заработки подсчитывать. Поговорите с каждым — люди недовольны им». А председатель что! Он к аксакалам прислушивается.

Дома Гайбназар сказал матери:

— Ничего, так даже лучше. Теперь примусь за настоящее дело.

Ташбуви вздохнула, нагнулась над шитьем, перекусила нитку и проговорила невесело:

— Из кожи вон не лезь. Люди найдут за что выбранить. Все равно никто спасибо не скажет.

Сулайман-ака, который относился к парню с симпатией, взял его в свою бригаду косарем. И Гайбназар вздохнул свободно. Ему нравилось выходить из дому еще затемно и приходить поздно, нравилось даже, что к вечеру тело, налитое усталостью, казалось многопудовым, и плохо слушались руки, и разламывалась спина. Любовь ко всему, что связано с зерном, с хлебом, с тяжелым трудом, жила в нем давно, может, с детства, с того жаркого, иссушающего все живое лета...

Мальчику шел тогда одиннадцатый год. Время было голодное: второе неурожайное лето свело на нет все запасы в каждой семье. Гайбназар с матерью голодали. Через день Ташбуви плелась на базар продавать свежее или кислое молоко и на вырученные гроши покупала немного ячменной муки, которой хватало лишь на жидкую похлебку. В тот год не было дня, чтобы они наелись досыта. Мать вообще чудом дотянула до весны, ведь часто она почти насильно заставляла сына съедать ее долю. Гайбназар глотал куски грубой, жесткой лепешки, давясь слезами, боясь поднять глаза на мать. В те жуткие месяцы она ни разу не крикнула на сына: то ли сил не было, то ли, стра-

шась смерти, не хотела оставлять о себе плохой памяти.

Вечерами, чтобы хоть немного развеселить голодного сына, она рассказывала ему сказки. Сказок мать знала немного, поэтому каждая повторялась в неделю по нескольку раз. Особенно волновала воображение мальчика сказка о богатыре Эрдане-чукки. И когда мать заплетающимся от слабости языком еле слышно напевала песню колдуньи, Гаибназар, в ужасе зажмурившись, представлял себе жуткую старуху — одноглазую, с зубами как пила, с хваткими руками-крючьями. Ослабевшая от недоедания мать путала слова, умолкала, снова начинала рассказывать, забыв, на каком месте остановилась. И тогда, не желая мучить ее, мальчик притворялся спящим. Мать тоже вскоре засыпала, бормоча молитвы бесцветным, однообразным шепотом, а перед его взором, необыкновенно живая и зловещая, вращая красным воспаленным глазом, лязгая зубами-пилами, вставала колдунья и, похохатывая, потирая руки, принималась петь:

Дома ли Эрдан-чукки?
Сосновая палка в руках ли?
Алмазный меч на поясе?..

Они с трудом дожили до весны. Перед жатвой мать пошла кланяться бригадиру Маткабилу.

Дома у Маткабила застала его жену Барчин. Она встретила Ташбуви неожиданно приветливо:

— Заходите, Ташбуви, давно не видела вас! Как сынок, как поживаете?

Может, чуяла хваткая Барчин: Ташбуви отдаст все, что у нее осталось, и саму себя в придачу, лишь бы ее мальчик больше не голодал.

— Плохо, милая, едва не умерли мы зимой от голода,— поделилась Ташбуви, пытаясь разжалобить жену бригадира.— Если сейчас, летом, не накопим хоть немного зерна, положение наше совсем будет плачевным. Я слышала, детей берут на молотьбу?

— Как сказать...— замялась Барчин. — Знаете, каждый хочет своего сунуть.

— Милочка Барчиной, моему двенадцать исполняется,— горячо заговорила Ташбуви, прибавив сыну на всякий случай год.— Вот пришла я просить Маткабилджана, чтоб взял моего. Замолвите словечко, родная.

— Ох, Ташбуви, не знаю, что и сказать вам. У моего хозяина голова кругом идет. Вчера четверым отказал. У всех подсушил силы этот проклятый голод. Каждый бы хотел, чтоб и дети подработали на зиму.

Отчаявшаяся Ташбуви готова была встать на колени перед женой Маткабила.

— Все ваши болезни пусть станут моими, Барчиной! Одно ваше слово! Сколько слез я пролила, прежде чем прийти к вашему порогу! Скажите мужу: на любую работу согласны. А я для вас все сделаю, что ни скажете.

— Ладно,— вздохнула Барчин, сдаваясь.— Попрошу. Может, не откажет. В этом мире нужно помогать друг другу.

Правда, это «может, не откажет» обошлось недешево. Пять месяцев Ташбуви сучила нитки для Барчин. Как говорится, за все на этом свете надо платить. Ташбуви сучила нитки и благословляла судьбу.

Рано утром бригадир Маткабил, посадив Гаибназара на свою лошадь позади себя, повез его на поле. Главный на току Шербута-ака, приземистый, плотный мужчина с крючковатым носом и маленькими юркими глазками, подвел мальчика к худой кляче грязно-гнедой масти и велел садиться.

Радости Гаибназара не было предела. Солнце весело палило с синего-пресинего неба, вдали вздымались бело-голубые вершины Ойкора, пахло травами, лошадиным потом, близкой речной водой... Но ближе к полудню радость мальчика стала меркнуть. Голову напекло, и она кружилась, пот стекал со лба и пощипывал веки, спина болела. Взрослые мужчины, сдвинув арбы, сели обедать в тени деревьев. Дети же без разрешения Шербуты-ака не имели права слезать с лошади. Гаибназару уже хотелось соскочить скорее с этой гнедой клячи, которая плохо слушалась, и бежать без оглядки в кишлак, к матери, но, вспомнив мать и ее взгляд, каким утром она провожала его на работу, мальчик сдержался.

Наконец Шербута-ака встал и, вытирая ладонью измазанные жиром и айраном губы, крикнул ребятам:

— Выводите лошадей на водопо-ой!

Перед тем как напоить лошадей, измученные, опаленные до черноты солнцем дети выстроились цепочкой за своей долей: повар давал каждому по половине кукурузной лепешки и куску мяса. Гаибназар при-

строился сзади, последним — он работал здесь первый день и сильно робел и перед взрослыми, и перед ребятами постарше. Голодный, с блестящим от пота лицом, он стоял и, облизывая шершавым языком сухие, потрескавшиеся губы, жадно следил за сноровистыми руками повара: раз! — пол-лепешки и на ней, сверху, кусок мяса; два! — пол-лепешки, кусок мяса; три! — пол-лепешки, кусок мяса...

— Вай, беда, не хватило тебе мяса...— Дородный повар Саттар-ака разводил руками и сокрушенно тряс головой. Гаибназар поднял на него глаза и увидел только темное пятно полного лица и покачивание — туда-сюда — тюбетейки, обвязанной выцветшим поясным платком.— Не повезло, пострел! Ну, не расстраивайся, завтра получишь побольше.— И протянул ему горсть нарезанного лука, оставшегося от обеда взрослых.— Напоите лошадей и заодно сами напейтесь! — крикнул он детям.— Наша вода нагрелась на солнце!

Некоторые ребята съели свою долю еще на полпути к речке. Гаибназар достал из-за пазухи кусок лепешки, вдохнул ее сытный кукурузный запах и, сглотнув слюну, откусил первый кусок.

И тут он опять вспомнил лицо матери — худое, с резко выпирающими скулами, с отвисающими морщинистыми мешками под глазами,— вспомнил ее слова: «Сынок, бережно относись к хлебу. Дадут побольше — спрячь лишний кусочек...»

Он быстро разжевал и проглотил кусок. Что и говорить, эта половина лепешки совсем не казалась ему лишней. И даже если к ней прибавить еще половину... Гаибназар вздохнул, отломил от своей доли небольшой кусок и быстро, плохо разжевывая, съел его. Остальное он сунул за пазуху, чтобы не видеть. Потому что, когда видишь хлеб, совершенно невозможно удержаться и не откусить кусочек.

Речка, к которой они пришли, извиваясь и обегая большие черно-серые валуны, текла, почти скрытая от глаз густыми зарослями камыша. Называлась она Сирлисай — Таинственная река. Нозик-мома рассказывала, будто в древности семь дочерей падишаха как-то отправились на прогулку. Дело было весной. Дочери падишаха восседали в паланкинах и сверху взирали на бело-лиловые сады предгорных селений, на багрово цветущие маковые поля, на согнутые плечи рабов, не-

сущих паланкины. Путь им преградила эта речка — Сирлисай. Впрочем, в те незапамятные времена это, может, и не речка была, а настоящая река — широкая, быстрая, с ревом подмывающая глинистые берега. Надо бы повернуть назад, но дочери падишаха в один голос повелели перебраться на противоположный берег. Время давнее, дело темное — то ли рабы виноваты, то ли слишком быстрое течение коварной речки, только утонули все дочери падишаха, все семь, как одна. Так легенда говорит, а в этих краях легенда — сущая правда. С тех пор и называли люди речку Сирлисаем. Днем-то она безобидная, прозрачно-бирюзовая, а вот ночью мало кто отважится прийти к этим камышам. Вдруг схватит за халат какая-нибудь дочь падишаха да утащит к себе под воду, хохоча и лаская утопленника.

Ребята с громкими криками, играя, переругиваясь, завели лошадей в реку. Гаибназар пошел с гнедым подальше, чуть выше по течению, где еще не успели замутить чистую холодную ледниковую воду. Здесь было тихо, только посвиркивали в камышинках крошечные юркие птички, названия которых не знал никто. Шагах в тридцати от мальчика, прижавшись к земле, внимательно следила за птичками лиса. Она и не пыталась броситься за какой-нибудь — видно, по опыту знала, что обречена на неудачу,— слишком проворны были серые крохи,— но не уходила, лежала в камышах неподвижно, напряженно. Так безмятежно и ровно шумела речная вода, так беззаботно чирикали резвые птички, что мальчик совсем забыл о кабанах, которые часто появлялись здесь, отпугивая приходящих на водопой животных, взбаламучивая воду.

Гнедой пил медленно, спокойно, мерными глотками. Гаибназар напился тоже. Он еще не поднялся с колен, только повернул голову, проверяя, здесь ли хитрая рыжуха или удрала, разочарованная, прищурился и оцепенел: прямо на него угрюмо уставился серыми глазками большой кабан на другом берегу речки. Еще секунда — и он ринулся тяжело и мощно прямо наперерез лошади. Не помня себя от страха, Гаибназар кинулся в сторону, откуда были слышны голоса мальчишек. Он взбежал на пригорок, увидел купающихся ребят и упал обессиленный. Гаибназар уже понял, что кабан вовсе и не преследовал его, но от пережитого ужаса колотило в горячке его маленькое тело и он

не мог подняться. Ребята окружили его, помогли встать и подсадили на чью-то лошадь. Гнедой исчез.

— Ничего, он на ток вернется,— сказал один из мальчиков.— Этот гнедой однажды уже сбросил Мурадилло. Его всегда подсовывают тому, кто в первый раз приходит.

— А ты счастливчик, Гаибджан,— заметил другой.— От верной смерти спасся. Будешь теперь жить до ста лет. Интересно, что бы ты делал, если б кабан на тебя напал?

Все удивлялись везучести Гаибназара, а он вдруг вспомнил про оставшийся кусок лепешки, хлопнул себя ладонью по рубашке на животе и понял, что потерял хлеб. Он слез с лошади, огляделся вокруг, думая, что обронил его, когда упал. Но тщетно — хлеба нигде не было. Ребята молчали, отворачиваясь от Гаибназара, пряча глаза.

Подъезжая к току, он увидел гнедого. Тот жадно и сосредоточенно жевал еще не обмолоченное зерно.

— Чья лошадь?! Заберите! — крикнул кто-то из взрослых. Это был Бердимурад, рослый и широкоплечий богатырь — его мускулами восхищалась вся кишлачная детвора.

Гаибназар, поспешно соскочив с лошади, бросился к гнедому.

— Так это твоя лошадь, бездельник?! Не успел начать работать, как уже отличился! — продолжал шуметь Бердимурад.

— Гнедой испугался кабана, там, у речки... и... убежал,— торопясь, запинаясь, объяснил мальчик.

— Молчал бы, не оправдывался! Взялся работать — работай, а то скажу Шербуте, выгонят тебя отсюда в три шеи! — И добавил сварливо: — В отца пошел, такой же простофиля...

Гаибназар онемел на миг от жгучей обиды, от ярости и желания немедленно ударить этого человека, посмевшего оскорбить память отца. А Бердимурад как ни в чем не бывало играючи орудовал лопатой, перебрасывая зерно. На солнце блестели его литые мускулистые руки и великолепная спина.

— Что вам сделал мой отец?! — выдавил мальчик, побелев.

— Ах, да у тебя язычок подрос! — возмутился Бердимурад.

— Э-э, Бердимурад, зачем говорить об умершем? Разговаривай о живых, если голова у тебя на месте,— подал голос работающий тут же Дустмурад-бобо [1]. Он скручивал солому, его проворные сухие старческие руки двигались как заведенные, и казалось, что Дустмурад-бобо сам по себе, а его руки скручивают солому сами по себе, независимо от хозяина.— Зачем обижать сироту? Добра тебе за это не будет...

Бердимурад промолчал на слова старика. Вот интересно: никто не может возразить этому человеку или отказать ему в чем-то. И бригадир и председатель колхоза поддакивают ему и слушают его совета.

Вечерело. Гаибназар, уставший от всех происшествий, двигался почти машинально и даже не обрадовался по-настоящему, когда кончили работу. Он сидел на нагретой за день земле и смотрел на спящие под снегом вершины Ойкора. Никогда он не тает, этот снег. Даже в саратан — самую жаркую пору лета. Гаибназар знал это хорошо, потому что не раз, когда приходил в горы за дровами, видел, как бушевал здесь снежный буран. Старики говорят: если на Ойкоре растает весь снег, то плохо придется людям — наступит засуха и голод.

Ночь опустилась быстро и неожиданно — солнце окунулось за вершины Ойкора, стремительно стало меркнуть небо, и вскоре совсем потемнело, как давно не чищенный медный кумган. Почти все работники ушли домой в кишлак. А Гаибназар решил остаться вместе с братьями-близнецами Хасаном и Хусаном. Они потеряли родителей давно, еще в младенчестве, и жили у дальних родственников, где их, видно, не особенно ждали.

Взошла круглая ленивая луна — повелительница ночного неба, поплыла в облачной сизой дымке неторопливо, осторожно, словно боялась напороться на острые пики Ойкора. Несколько человек на току уже заканчивали просеивать зерно. Движения их уставших за день рук были замедленны, как движения луны навстречу вершинам гор, и от этого фигуры людей казались призрачными.

Поужинав, все вскоре уснули, завернувшись в халаты. У кого халатов не было — устраивались в соломе.

---

[1] Бобо — дедушка.

— Эй, Гаибназар, пойдем, у нас вырыты норы,— предложил Хасан.

— Норы?! — удивился, не поняв, Гаибназар.

— Ну да, вон там.— И он кивнул в сторону стогов.

Действительно, в одном стогу были вырыты две норы, в них и устраивались на ночлег ребята.

— А я,— сказал Гаибназар,— вырою себе нору наверху, чтоб видеть горы...

— Замерзнешь,— заметил Хасан. Они с братом похожи как две капли воды, только у Хасана была привычка беспрестанно быстро-быстро моргать глазами.— Ты лучше ложись с нами. Если эти норы рыть без конца, весь стог развалится.

— Верно,— поддержал его Хусан,— ложись у нас в ногах, под голову подложи седло...

Наработавшись за день, мальчики быстро уснули. Но посреди ночи Гаибназар вдруг открыл глаза, словно его окликнули или потянули за руку. Совсем рядом за стогом кто-то шептался. Гаибназар замер и с трудом удержался от того, чтобы не дернуть за ногу лежащего рядом Хусана. Три черные фигуры возились у стога с чем-то большим, тяжелым. «Мешок,— подумал Гаибназар,— они вырыли его из стога. Вот еще один...»

Он узнал всех троих. Это были Бердимурад, двигавшийся мягко и бесшумно, как рысь, дядя Маткабил и любимый Гаибназаром Дустмурад-бобо.

«Вот те на, тоже ворует государственное?»

Дядя Маткабил, чувствовалось, здорово боялся. Он командовал отрывистым истерическим шепотом и нервничал, злясь, что его товарищи так неповоротливы. Наконец мешки взвалили на двух ишаков, безразлично стоявших неподалеку, и погнали животных в сторону дороги. Это была дорога на кишлак.

Гаибназар долго пытался заснуть и не мог: перед глазами все маячили эти трое. Лишь когда предрассветная сырость стала забираться в самое, казалось, нутро, он зарылся еще глубже в сено, поворочался немного и задремал.

Все утро за работой он думал о том, что нечаянно увидел ночью. Он старался не смотреть на Дустмурада-бобо и, когда тот спрашивал о чем-то, отвечал коротко, неохотно, опустив голову. Наверное, поэтому тот заподозрил неладное. Он отозвал Гаибназара в сторону и, ласково потрепав по плечу, спросил:

— Ты почему такой хмурый сегодня? Не заболел?

— Нет, ничего...— пожал плечами Гаибназар, глядя себе под ноги.

Тогда старик, положив на голову мальчугана большую, выдубленную солнцем руку со вздутыми суставами, осторожно повернул к себе его лицо.

— Ты видел?..— тихо спросил он, и Гаибназар ощутил, как на его бритой колючей голове подрагивает рука Дустмурада-бобо.

Мальчик молча кивнул и заставил себя взглянуть в глаза старика. Стыд, мучительный стыд, смешанный с паническим страхом перед разоблачением, был в этих старческих, выцветших, когда-то, должно быть, карих, а теперь неопределенного цвета глазах.

— Не смог отказаться...— с трудом сказал он сдавленным голосом.— Они пообещали, что и мне дадут мешок...— И умоляюще, словно этот мальчуган, стоящий перед ним, сирота, бедняк, был его судьей и обвинителем, воскликнул: — Что мне оставалось, Гаибджан? Двое детей у меня умерли зимой, ты же знаешь. Не могу смотреть, как дети мучаются! Ну, что делать, что делать?!

— Успокойтесь, Дустмурад-бобо...— выдавил Гаибназар, чувствуя жалость к старику.— Я никому не расскажу...

— Дай аллах тебе счастья, сынок,— горячо, с облегчением заговорил старик.— Вернемся в кишлак — заходи ко мне, отсыплю тебе зерна немного. Вы ведь тоже перебиваетесь, бедняги.

— Спасибо, дедушка, не нужно. Лишь бы здесь выдали, что причитается.

— Дадут, не волнуйся, все сполна дадут, я заставлю! — пообещал старик.

В это время на дороге со стороны кишлака показался всадник. Он погонял лошадь изо всех сил. Когда он приблизился, стало ясно, что это Маткабил. Соскочив с лошади, утирая рукавом пот с красного, взволнованного лица, он торопливо проговорил:

— Сегодня в полдень приедет лектир!

— Зачем? Работу проверять? — спросил один из взрослых.

— Кто знает, может, и проверять...— с тревогой ответил Маткабил, оглядывая всех.— Может, кто-то написал...

— Во-первых, не лектир, а лектор,— вмешался высокий худой человек, голова которого была обвязана

поясным платком.— Во-вторых, лектор не проверяет жалобы, а рассказывает о событиях, происшедших в мире.

Это был Абдурайим Солдат. Так его звали потому, что он никогда не снимал солдатскую форму. Давно закончилась война, уже несколько лет не было слышно о басмачах, а он, когда ни встреть его, все ходил в солдатской форме. Поэтому люди говорили: «Абдурайим родился солдатом».

— Ах, вот оно что...— протянул Маткабил, успокаиваясь.— А я-то гнал лошадь! Едва председатель колхоза сказал мне — я в седло — и ну погонять. Даже домой не заехал.

Весть о лекторе разнеслась мгновенно. Все пожимали плечами, озадаченные, гадали о причине приезда лектора. Гаибназар тоже думал об этом. Все-таки государственный человек приедет — может, рассказать ему о тех, кто ворует зерно? Но если он расскажет о Бердимураде и Маткабиле, придется упомянуть и о Дустмураде-бобо. Нет, нельзя, ведь Гаибназар слово дал. Да и жаль старика. У него одиннадцать детей. Было тринадцать, но двое умерли прошлой зимой от голода. Люди говорили, что тогда Дустмурад-бобо спятил: както зимним вечером он подстерег Юсуфа-Дума возле его дома и, приперев председателя Совета к высокому, внушительному забору, держа увесистый камень у его виска, потребовал зерна из колхозного амбара. И что же? Получил Дустмурад-бобо немного продовольствия для своих голодающих детей — видно, здорово перепугался Юсуф-Дум.

Нет, нельзя рассказывать лектору о старике. Вот если бы только о Маткабиле и Бердимураде. Особенно отвратителен Бердимурад — прекрасно сложенный, с красивыми, будто вылепленными руками и торсом, с непропорционально маленькой головой, с глубоко спрятанными, как у рыси, глазами. Его отец в свое время удрал в Афганистан. А Маткабил? Мать говорит: он и с покойника умудрится взятку содрать.

Вообще-то, наверное, нет на свете совсем плохих людей. Плохих с самого рождения. Это жизнь людей гнет и скручивает, каждого по-своему. А может, оттого и начинаются эти разговоры: «Плохой — хороший»,— что люди не хотят понять друг друга, в чем-то друг другу уступить. Те же Бердимурад и Маткабил для

кого-то самые дорогие, самые любимые... Как разобраться во всем этом?

К полудню приехал лектор — статный, хоть и небольшого роста, в военной форме, с маленькой, аккуратно подстриженной черной бородкой. Маткабил, едва заметил на дороге двух всадников (лектора сопровождал человек из района), поспешил навстречу, улыбаясь, пытаясь скрыть страх и тревогу. Ребята, приостановив лошадей, с любопытством глазели на приехавших.

В тень под двумя молодыми карагачами подкатили арбу, усадили на нее гостей, и вскоре их тесной толпой окружили люди. Среди них был и Дустмурад-бобо. Он не полез вперед, а остался стоять за чьей-то спиной, лишь изредка осторожно выглядывая, стараясь понять, что за человек лектор. Гаибназар нарочно не смотрел в его сторону, чтобы старик не сомневался в нем.

— Почему на лошадях только дети? — спросил лектор у Маткабила.

— Чтобы лошадям было легче, товарищ лектор,— быстро объяснил Маткабил.

— Смените детей. Вы же знаете, как изматывает такая работа.

— Так ведь не сегодня-завтра работа на току кончится, и мы переведем ребят на другую, полегче.

— Полегче? А именно?

— Будут возить зерно в район.

— Выходит, самую ответственную работу вы поручите детям?

— Какая же это работа, товарищ лектор! Покатаются на арбах...

— Не покатаются! — отрубил лектор, сведя прямые властные брови.— Пусть зерно возят взрослые. Время неспокойное, голод. Немало всякой дряни по горам шатается.

— Хорошо, товарищ лектор, хорошо,— поспешно ответил Маткабил. Он махнул ребятам рукой, приказывая слезть с лошадей. Впервые работа на току остановилась.

Что-то записав в своем блокноте, лектор спрятал его в нагрудный карман и повернулся к ребятам. Те стояли, испуганно и настороженно глядя на приехавших. Этот лектор в военной форме, его отрывистый негромкий голос, его властные интонации, когда он об-

ращался к Маткабилу,— все говорило о том, что человек он важный и, по-видимому, суровый.

— Хорманг[1], ребята,— сказал он, улыбаясь. И эта неожиданная улыбка, и то, что он обратился к ним, как ко взрослым, совсем сбили с толку детей. Они молчали, переглядывались.

— Здравствуйте, товарищ лектор,— наконец нерешительно произнес кто-то из ребят постарше.

— Здравствуйте! — говорили друг за другом дети. Они оживились.

— Устали, наверное? — спросил лектор, по-прежнему улыбаясь.

— Нет! Спасибо! — зашумели ребята.

— В детстве я тоже помогал отцу молотить зерно. Весь день, бывало, на лошади, с утра до вечера. Скажу вам откровенно, ребята, уж очень доставалось заднице от этой молотьбы...

Раздался дружный смех. Смеялись все — от маленького десятилетнего Шавката до старика Дустмурада, который всего пять минут назад не знал, куда деваться от страха и растерянности.

— Теперь перейдем к основному вопросу,— уже серьезно сказал лектор.— Я прибыл к вам по заданию райкома. Партия и правительство делают очень многое для укрепления колхозного строя. Но есть люди, которые пытаются помешать становлению колхозов. Они организуют покушения на жизнь видных деятелей колхозного движения, прячут пшеницу, крадут зерно. Особенно опасно то, что такие люди попадают в члены коллективного хозяйства...

Тут Гаибназар, сам того не желая, взглянул на Дустмурада-бобо. Как назло, и тот повернул голову в сторону мальчика. Их взгляды встретились, и Гаибназар тут же опустил глаза, как будто это не старик, а он сам ночью тайно погонял ишаков с мешками зерна по дороге в кишлак. Он уже проклинал себя за то, что стал невольным свидетелем греха Дустмурада-бобо, и поклялся себе еще раз ни за что никому не выдавать эту позорную тайну...

После приезда лектора на току все чаще стали слышны голоса детей. Маткабил перестал кричать на

---

[1] «Хорманг»—«Не уставать вам!»— приветствие, употребляемое обычно при встрече с работающими; соответствует русскому «Бог в помощь!».

них своим надрывно-тягучим басом, и даже, когда кто-нибудь из ребят начинал переговариваться чересчур громко, он молчал, награждая их лишь угрюмыми взглядами.

Наконец закончилась работа на току. Маткабил в присутствии председателя ревкома распределял зерно. Взрослому полагалось восемь пудов, ребенку — четыре. Все долгие три часа, пока длинная очередь измотанных, запыленных работников тянулась к весам Маткабила, Дустмурад-бобо стоял возле Гаибназара, придерживая его за худенькое острое плечо. И когда подошла очередь мальчугана, старик негромко и твердо бросил Маткабилу:

— Добавь сыну Ташбуви еще пуд! Тяжело им без отца.

Маткабил возмущенно вытаращил глаза и хотел гаркнуть что-то, но под взглядом старика молча отвесил добавочный пуд.

На следующий же день поле заполнилось сборщиками колосьев. Среди них были Ташбуви с сыном, осунувшимся, не успевшим еще смыть пот от вчерашней тяжелой работы, и Энакиз со своей мечтательной дочерью...

Работая косарем в бригаде Сулаймана-ака, Гаибназар почти не видел Каракоз: уходил рано — Ойкор сумрачно громоздился в рассветном небе,— возвращался поздно, в сумерках, смертельно уставший. Лишь изредка они сталкивались перед калиткой Гаибназара, когда уже вечером, в темноте, Каракоз пригоняла с пастбища стадо коров. Щелкая кнутом, покрикивая, она успевала только кивнуть Гаибназару, а он провожал ее долгим влюбленным взглядом.

Весна в этом году выдалась недождливой, приветливой. Семьи животноводов, все лето жившие в горах, уже ранней весной отправились на Ойкор. И, как это бывало всегда весной, Ойкор ожил: вечерней порой на Коккутане, Говкутане, Майликутане загорались огоньки — костры чабанов. И тогда сжималось сердце в какой-то сладкой тоске, и хотелось туда, в горы, где прохладный ветерок разносил запахи пахучей горной растительности, где возле костра чудилось, что кишлак с маленькими глинобитными домишками, с кладбищем и пыльной дорогой навсегда остался внизу, а ты живешь в ином, прекрасном, сказочном мире...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Ташбуви не решалась заговорить с соседкой о свадьбе: думала, что та захочет сделать все по-мусульмански, с традициями, со сватами. И с Гаибназаром не торопилась советоваться, хотя сын — она видела — с каждым днем становился все нетерпеливее. Он не понимал, почему мать откладывает разговор с Энакиз-холой.

Иногда к ним заходили его одноклассники — насмешник Садык, щуплый, сутулый, но неизменно жизнерадостный, и молчаливый Джура. Они помогали Гаибназару подправлять его хибару, которая, казалось, могла рассыпаться от громкого смеха. За обедом ребята затевали разговор.

— Когда вы прибавите этому дурню еще одну голову?[1] — спрашивал Джура, кивая в сторону Гаибназара.

— Чтобы вы не мучились в поисках невесты, он согласен взять дочь вашей соседки,— продолжал насмешливо Садык.— Хватайтесь за это предложение, тетя Ташбуви, пока он не раздумал!

Ташбуви терялась от шуток парней, на глаза почему-то наворачивались слезы радости: вот и вырос ее Гаибназар.

Наконец она решилась. Надела праздничный бархатный жилет, голову повязала ярким цветастым платком — подарок сына — и, взяв с собой кое-какие гостинцы, вышла за калитку, словно ей предстоял долгий путь в соседний кишлак, а не пять шагов до калитки соседей.

Энакиз, увидев приодетую Ташбуви, ее напряженное, торжественное лицо, все поняла, и не успела Ташбуви сказать и двух слов из приготовленной ею длинной речи, как обе женщины уже дружно плакали, обнявшись. Простодушная Энакиз не ставила будущей сватье никаких условий, не просила калыма. Она считала, что достаточно добра сделали эти люди для нее и дочери...

После того как по кишлаку распространился слух, будто Каракоз выходит замуж за Гаибназара, мать, по обычаю, стала редко отпускать ее на улицу. Да и сама Каракоз избегала людей. Вскоре должна была быть помолвка. Энакиз совсем покой потеряла. Целыми но-

---

[1] Иными словами: «Когда вы жените своего сына?»

чами она ворочалась с боку на бок, прикидывая, сколько понадобится на угощение муки, сколько мяса, рису и как все устроить, чтобы и гости были сыты и чтоб недорого обошлась помолвка. За три дня до нее, тяжело отдуваясь, Энакиз вытащила из ниши в прихожей мешок с зерном, которое они с дочерью насобирали в прошлом году. Тогда она шутя сказала Каракоз: «Намелем из этого зерна муки, напечем, господь даст, лепешек к твоей свадьбе». Теперь Энакиз говорила, что, видно, услышал тогда эти слова всевышний. Повязавшись выцветшим на солнце платком, Энакиз поволокла мешок на мельницу. Обычно они брали лошадь у соседа слева, у Яманкула-бобо, но на этот раз мать почему-то решила обойтись своими силами. Хотела этот мешок, который мысленно называла «свадебным», донести на своих собственных плечах.

В один из волнующих сердце весенних вечеров Энакиз разожгла в старом очаге дрова, собранные накануне Гаибназаром. В большом котле варилось мясо старого, но жирного козла. И вот, негромко переговариваясь, торжественно-немногословные, в дом вошли приглашенные аксакалы, пять-шесть самых уважаемых в кишлаке людей. Степенно усаживались они на курпачах, важно кивали головами. Потом приступили к угощению и долго, неторопливо ели, смакуя вкусную шурпу. Наконец, сытые и угощением и почетом, умиротворенные благоговейными взглядами Ташбуви и Энакиз, они торжественно и громко сотворили фатиху[1]...

Каракоз пряталась от гостей в сарае. Помолвка вовсе не требовала присутствия невесты, и Каракоз была рада этому. Втайне она ждала этого дня, но сегодня, когда наконец свершилось то, чего она так ждала, когда она и Гаибназар во всеуслышание были объявлены женихом и невестой, ей стало тревожно и грустно. Она пыталась успокоить себя тем, что это еще не свадьба, а только помолвка, и что в конце концов ведь уходит она не в другой кишлак, а в соседний дом, который дорог ей не меньше, чем свой, но все равно нет-нет да и представляла себе одинокую Энакиз, сидящую в опустелом доме,— и на глаза ее набегали слезы. Она вглядывалась в полутьме сарая в каждое поленце, в каждую ветку, щедро источавшую запах арчи, словно си-

[1] Фатиха — молитва, читаемая при сватовстве.

лясь разгадать какую-то тайну, узнать, что ждет ее в будущем. Именно сегодня она почувствовала окончательно, что стала совсем взрослой.

Вдруг отворилась, скрипнув, дверь сарая, и Каракоз увидала дочь Яманкула-бобо, тринадцатилетнюю Гуландом.

— Мама велела передать, чтобы вы к нам шли,— запыхавшись, сказала она.

— Не пойду. Там люди во дворе, мне неловко.

— Нет, все давно в доме,— уверила ее девочка и, приблизившись, протянула Каракоз ладонь, на которой лежало несколько шариков курта.— Угощайтесь.

Берегом речки, по саду, растущему за домом, влажно дышащему вечерней глубокой прохладой, Каракоз и Гуландом дошли до дома Яманкула-бобо.

— А я видела Гаибназара-ака,— сказала Гуландом словно невзначай. Она радостно и застенчиво улыбалась, обнажая при этом маленькие некрасивые зубы, сидящие неровно в массивных деснах. Чувствовалось, что неказистой девочке страсть как хотелось поговорить о замужестве Каракоз.

— Видела Гаибназара? Ну и что?— с намеренно безразличным видом спросила Каракоз.— Рога у него выросли, что ли, или третий глаз во лбу загорелся?

— Ничего, просто видела, и все,— по-прежнему улыбаясь, ответила Гуландом.— Он новую тюбетейку надел. Как ему идет! Увидите — с ума сойдете!

— Да ну! — воскликнула Каракоз, покровительственно взглянув на девчонку.

— Ох, если бы вы знали! Волосы он подстриг, и от этого брови кажутся еще чернее. И глаза у него такие большие-большие, посмотрит — не знаешь, куда деваться. Такой высокий Гаибназар-ака, сильный, плечи — во какие! Мама говорит, что вы будете вторыми Юсуфом и Зулайхо, такими же легендарными влюбленными!

— Хватит, хватит! Ишь разговорилась, бесстыдница!

— Я сказала, что слышала, вы же сами спрашивали,— ухмыльнулась Гуландом.— А приятно невестой быть? — помолчав, поинтересовалась она.

— Будешь на моем месте — узнаешь. Наберись терпения,— ответила Каракоз.

...Поздно вечером за ней пришла замученная дневными хлопотами и переживаниями Энакиз. В кромешной

тьме, крепко прижавшись друг к другу, они возвращались домой тем же ночным, влажным от росы садом.

— Все хорошо, доченька,— тихо рассказывала мать,— все как у людей. Тебе люди счастья желали, разошлись поздно. Кажется, все сыты, довольны... Только дядя Самандар не пришел, даже Мастоной не прислал вместо себя.

— Подумаешь! — беспечно возразила Каракоз.— Может, оно и лучше. Вам нужен был скандал на моей помолвке?

— Молода ты еще, доченька,— печально сказала мать,— повзрослеешь — поймешь. Люди удивлялись: «Единственный брат у Энакиз, и тот не пришел». Многие о нем спрашивали. Позор, позор... Правду говорят, что родственники познаются на свадьбе или похоронах. Как он мог не прийти — родной мой брат!

Энакиз еще долго качала головой и устало бормотала что-то, вздыхая...

...Дом Гаибназара в эти дни был во всем похож на соседский. Мать и сын с ног сбились, хлопоча о свадьбе. С трудом решился самый важный вопрос — вопрос с рисом. Предстояло еще съездить в Самарканд, привезти два мешка парвады, белых, похожих на подушечки конфет, или раздобыть где-то сахару в головках. Один мешок оставляли у себя, другой должны были отправить сватье.

Долго ломали голову над тем, как добыть на свадьбу барана. Их ягненок, вскормленный молоком козы, вырос и стал довольно упитанным, но ни мать, ни сын и думать не могли о том, чтобы отдать его на мясо. Они выходили его с трехнедельного возраста, и ягненок этот давно уже стал для Гаибназара и Ташбуви как бы членом семьи. В прошлом году волк задрал в Иргайчинской степи их единственную овцу. Это была вина пастуха Исмаила, который, бросив стадо на младшего сына, ушел косить траву на Катарталсай. Вернувшись, он увидел растерзанную тушу овцы и в голос ревущего сына. Разъяренный Исмаил избил мальчика пастушеским своим посохом, но дела уже поправить было нельзя.

В тот вечер, обеспокоенные тем, что стада нет и нет, мать с Гаибназаром вышли ему навстречу. Вдалеке по дороге кто-то ехал на ишаке и громко плакал. Через спину ишака было перекинуто что-то громоздкое.

— Наверное, волк чью-то овцу задрал,— с сочувст-

вием к неизвестному пострадавшему сказала Ташбуви.

— А вдруг нашу? — сам не зная почему, спросил Гаибназар.

— Сплюнь сейчас же, типун тебе на язык! — воскликнула мать.— Тебе что, захотелось избавиться от единственной овцы?

Малолетний сын Исмаила, завидев Ташбуви-холу с Гаибназаром, заплакал еще громче. Гаибназар вгляделся пристальней и вдруг узнал свою овцу — окровавленную, с обвисшими ушами. Мать ахнула, как подстреленная, и запричитала:

— Натворил дел, а теперь ревешь, проклятый! Чтоб тебе счастья в этой жизни не было! Не успокоитесь, пока последнюю скотину у бедняка не убьете!

— Что делать, тетечка, такое несчастье! — горько всхлипывал мальчуган, перепуганный, виноватый, избитый палкой отца.— Собаки, как назло, за отцом увязались, а волк был голодным, чуть меня не задрал. Еле я спасся...

— А ягненок жив? — расстроенно спросил Гаибназар.

— Жив, жив! Я не смог его поймать. Но я обязательно поймаю и принесу, акаджан[1]! — уверил его заплаканный мальчик.

...Так вот, это был ягненок той несчастной овцы. Смирный, пригожий, толстенький, он ел все, что дают. А какой ласковый! Ходил по двору за Гаибназаром, как собачонка. Ну разве можно зарезать, даже на свадьбу, такого славного ягненка?..

ГЛАВА ПЯТАЯ

Год змеи, как обычно, не принес ничего утешительного. Люди уже поговаривали, что на хороший урожай надежды нет, что уродятся яблоки, мало будет винограда, пшеницы, овса. Даже дрова — хворост и ветки — стали редко встречаться в горах.

А Энакиз как раз о дровах и беспокоилась. Те, что Гаибназар собрал перед помолвкой, уже кончились.

— Дитя мое, говорят, на Майликутане много сухих арчовых веток. Может, сходишь, принесешь вязанку? Будет стыдно, если на свадьбе не хватит дров,— сказала Энакиз дочери.— Только вот не знаю, удобно ли

[1] Акаджан — уважительное обращение к старшему брату.

тебе идти, ведь ты помолвлена. У нас это не принято. Что люди скажут?

— Да кто за мной следит, мама! Возьму кого-нибудь в компанию — Фирузу, например,— и быстренько управимся,— возразила Каракоз.— Можно не заходить слишком далеко. Поищем дрова возле хижины Нурмана-бобо.

Мать все сомневалась.

— Боюсь посылать тебя, доченька. Вчера на базаре молочница Мехри рассказывала, что Самандар с женой грязные слухи распускают про тебя, а Камариддин якобы грозился отомстить Гаибназару...

— Глупости, мама! Не надо слушать сплетни, мало ли что скажут злые языки! Ничего, за все им отплатится. Бабушка Нозик всегда говорила, что людей с черной душой видно и на земле и с самого неба.

— Ну, иди, господь с тобой. Только возьми подругу.— Она накинула платок на голову дочери.— Жаль, не смогла я Нурману-бобо отправить гостинцев с твоей помолвки. Узнает — обидится. Постой, соберу-ка я для него что-нибудь.— И, вручая дочери маленький узелок для Нурмана-бобо, добавила: — Твой покойный отец очень любил его. Обязательно навести старика и получи его благословение.

Каракоз зашла за подругой, но та с матерью уехала в район. Домой возвращаться не хотелось, горные пастбища призывно зеленели на склонах, легкий теплый ветер ласково трепал ей мелкие кудряшки на лбу. Она решила идти за дровами одна.

На Майликутан люди наведывались в поисках сухих веток. Здесь стада необыкновенно быстро нагуливали жир, да и молоко у коров было словно сметана. Поэтому и называли это пастбище Майликутан — Масляное. Два пологих холма, поросших густой, сочной травой, и между ними речка Сирлисай — это и есть пастбище. А у подножия одного из холмов, почти на берегу Сирлисая, притулилась низенькая хижина. Там жил девяностодвухлетний Нурман-бобо. Сколько помнила себя Каракоз, старик жил здесь один-одинешенек. Какие только легенды об этом человеке не ходили по окрестным кишлакам! Особенно одна, самая печальная, рассказанная бабушкой Нозик давно, когда Каракоз была совсем маленькой девочкой... Нет, лучше не вспоминать о ней, да еще если приближаешься к хижине старика! И как он может жить здесь один, не-

ужели ему не страшно? Дорога на Майликутан вилась недалеко от его хижины, и не было путника, который прошел бы мимо, не поприветствовав старика, не угостив его чем-нибудь.

Стремительная вода, кружась в водоворотах, переплетаясь струями, мерно шумела. Если напрячься, можно было различить стрекотание кузнечиков и зудение каких-то насекомых. Лето входило в силу, скоро уже и саратан должен захватить в свои владения горы, небо, всю эту благодатную землю...

Хижина Нурмана-бобо — приземистая, без веранды, с дверью, обращенной в сторону гор,— выглядела издалека маленькой и одинокой. Она и в самом деле была маленькой и нехитрой — просто четыре стены, накрытые ветхой камышовой крышей. В задней стене вырезано окошко, зарешеченное камышом. Если потянуть эту циновку за веревочку, то камышинки раздвигаются — и в хижине становится светлее. Такое же окошко Каракоз видела в доме бабушки Чинни, у которой всех сыновей перерезали басмачи...

Дверь хижины вдруг отворилась, и оттуда вышел старик, одетый в легкий выцветший, почти белый халат. В руках его был кувшин. Издали этот человек казался старцем из какой-нибудь древней легенды. Он спустился к реке, набрал в кувшин воды и присел на траву. Только тогда заметил приближавшуюся фигурку девушки. Заслонившись от солнца ладонью, старик долго, пристально глядел на Каракоз. Потом снял чалму, заново перевязал ею голову и поднялся, приглаживая рукой длинную белую, серебристую бороду.

— Ассалом алейкум, Нурман-бобо! — Голос Каракоз дрожал от робости. Она всегда очень волновалась, когда говорила со стариком: ей чудилось, что он не обычный человек, а видение, дух из старой сказки.

— Ваалейкум ассалом, дитя мое. Рано ты вышла в дорогу... Как поживает Энакиз?

— Слава аллаху, хорошо, дедушка... Вот мама послала вам.— И она протянула старику узелок, собранный Энакиз.

Старик неторопливо взял подарок, сказал с достоинством:

— Аллах благословит твою мать, доченька, добрая она женщина. Пусть забота, обращенная ко мне, вернется к ней самой от добрых людей. Пусть увидит счастливыми своих детей.— Он пристально посмотрел

на Каракоз.— Я слышал, на днях была твоя помолвка, это правда, дитя мое?

— Правда, дедушка,— смущенно ответила Каракоз.

— Вы и раньше были неразлучны с сыном Эгамназара. Видно, сама судьба уготовила вас друг другу. Что ж, он хороший парень, голова на месте, дай аллах вам счастливо состариться.— Он легко нагнулся за кувшином и, подняв его, сказал: — Возьми узелок, доченька, и иди в дом. Чай поставь, попьем мы с тобой чаю. А захочешь сделать куртаву[1] — найдешь в нише курт... Я скоро приду, только совершу омовение...

Каракоз взяла из рук Нурмана-бобо узелок и наполненный кувшин и пошла к хижине. Прямо у двери стояла могучая, но совершенно высохшая арча. Эта мертвая арча, причудливо переплетая ветви, казалось, застыла в зимнем зловещем сне. Вот и весна кончилась и лето наступило, а заколдованная арча все не проснется, все не сбросит чары злых духов. Сказочное дерево, она чем-то была похожа на самого старика.

В единственной комнате Нурмана-бобо царил строгий, десятилетиями не нарушаемый порядок. Весь домик пропах душистым ароматом арчи, ее сухие ветки были в каждом углу, выглядывали из высоких, изящно выгнутых глиняных кувшинов, висели под потолком. В многочисленных нишах лежали камни самых диковинных форм, странные, замысловатые коренья, стояла посуда: деревянная и глиняная, кувшинчики, выдолбленные из тыквы, самых разных размеров и форм — маленькие, большие, продолговатые и круглые.

Возле хижины под навесом был очаг. Каракоз вынесла из дома медный кувшин для кипячения воды, поставила его на очаг и разожгла огонь. Ветки арчи загорелись, обдавая все вокруг жарким душистым дыханием. Девушка вспомнила, что старик попросил сделать куртаву, и вошла в дом за куртом. Она снимала с ниш многочисленные тыквенные кувшинчики и искала в них шарики курта. Один такой кувшинчик оказался тяжелым, девушка сунула в него руку, но, наткнувшись на что-то мягкое, холодное и скользкое, в испуге отдернула ее. И сейчас же из горла кувшина, покачиваясь, поднялась белесая головка змеи. Постояла миг на стройном туловище и опять нырнула в кув-

---

[1] Куртава — растертый в воде курт.

шин. Взвизгнув, Каракоз выскочила из дома. Отбежала в сторону и посмотрела вниз, на реку — не идет ли старик? Как страшно в его сказочном доме! Пусть разбирается сам со своими змеями... Но Нурман-бобо не показывался. Девушка постояла у двери еще немного, потом собралась с духом и осторожно прокралась в дом, к нишам в стене против двери. К счастью, курт сразу же обнаружился в одном из маленьких глиняных кувшинов, и, взяв несколько белых шариков, Каракоз выбежала из дома.

Налив воды в медную мисочку, она мяла курт и думала о своем. Почему, например, ей обязательно нужно переходить в дом Гаибназара? Неужели нельзя жить всем вместе? Получается, что ее мама остается одна-одинешенька. Не так, конечно, как Нурман-бобо, но все-таки...

Она заварила чай в стареньком чайнике, носик которого был припаян, и поставила его рядом с миской куртавы. А вскоре подошел и сам Нурман-бобо.

— Умница, доченька,— похвалил он расторопность Каракоз.— Вынеси из дома коврик, мы расстелим его в тени клена и будем пить чай,— продолжал он, вытирая мокрое лицо рукавом халата.— У человека, сидящего в тени клена, улучшается здоровье и настроение.

— Но, дедушка... я боюсь: там змея! — призналась Каракоз.

Старик рассмеялся.

— Ах, ты увидела мою красавицу! Не бойся, она никого не трогает. Это ручная змея, ночами она ложится поверх моей курпачи, а днем, чтобы люди не пугались, я кладу ее в тыквенный кувшинчик... Только не рассказывай никому, смотри!

Он, посмеиваясь, покачивал головой, вздергивая седые кустистые брови, и был похож на древнего мудрого волшебника, к которому тянется все живое — деревья, звери, люди...

Они сидели на расстеленном в тени клена коврике и ели куртаву с мягкими лепешками, испеченными Энакиз.

— Очень вкусно, дитя мое,— проговорил старик, подбирая кусочком лепешки остатки куртавы в глиняной миске.— Дай аллах, чтобы жизнь твоя была благополучной и щедрой к тебе. Мне, признаться, редко удается поесть свежих лепешек. Чаще я кормлюсь высушенными корнями. Но много есть их нельзя —

опухнешь. Тогда аллах посылает мне гостинцы от добрых людей, вот от твоей матери, например...— Он задумчиво посмотрел вверх, на буйно зеленеющий бок горы с рыжими проплешинами камней, и закончил: — А вообще в этих щедрых горах сын человека не умрет с голоду.

— Дедушка, а вам не скучно одному? — осторожно спросила Каракоз, осмелев оттого, что Нурман-бобо был сегодня разговорчивей, чем всегда.— Спустились бы в кишлак, люди бы вам дом построили...

Старик помолчал, его голубые глаза, необычные для здешних мест, рассеянно глядели на дальние гряды гор.

— Раньше как-то не думал об этом,— произнес он наконец.— Ну а сейчас уже поздно, поздно... Привык, да и... не могу оставить Ойкор в одиночестве.

И хотя девушка видела, что старик явно не желает продолжать этот разговор, она все-таки спросила:

— А как же случилось, что вы живете один на Ойкоре, дедушка?

— Не спрашивай, дитя мое,— вздохнул старик.— Незачем вспоминать об этом. Живу здесь оттого, что я горец, тут, в горах, мне спокойней, привычней... Сейчас жизнь стала лучше,— продолжал он.— Раньше горы были местом разграблений, а теперь их охраняет власть. Я слышал, что для животных и птиц будет завезено зерно, корм. Чудеса! Разве такое могло когда-нибудь присниться нам? — Он покачал головой, удивляясь.— Накормить людей, дать пищу птицам и животным!.. Честь и слава человеку по имени Ленин.

— Нозик-мома говорила, что вас изгнал русский царь. Это правда, дедушка? — робко проговорила Каракоз.

— Не изгнал, не смог! Кто посмел бы изгнать меня с родной земли? Белая собака... Он пустил за мной целую свору своих псов, но разве я попаду им в руки в родных горах, где знаю каждый камень? — Старик разволновался, руки его все время теребили бороду, и она растрепалась.— Умный человек на своей земле никогда не попадет в руки врагов. Меня охранял на своей груди Ойкор!

Голос Нурмана-бобо дрогнул, глаза заблестели влагой. Волнение старика передалось девушке. Каракоз понимала, что лучше не тревожить его расспросами сейчас, но в то же время что-то заставляло ее задавать

все новые и новые вопросы — и не из праздного любопытства, а потому, что она любила вот эти горы, легенды, рожденные среди этих камней, свой народ, жизнь которого тысячелетиями протекала здесь, на этой земле.

— В чем же была ваша вина? — спросила она.

— Какая вина! — воскликнул старик.— Что худого я мог сделать? Только праведное дело! Поняла! Только праведное дело! — Нурман-бобо в сердцах махнул рукой, сурово взглянул на оробевшую Каракоз.— Чувствую — не успокоишься, пока все не расскажу! — Он отряхнул с халата хлебные крошки, сплел свои сухие, будто выточенные из орехового дерева, пальцы и начал: — Когда человек, которого ты называешь царем, прислал своих людей в Самарканд, он, чтобы добыть топливо для поездов, издал указ вырубить тысячелетнюю арчу в горах Бахмала, Заамина и Фариша. Узнав об этом, восстал весь народ. Сама понимаешь — какие горы без арчи? Разве не будут подобны они человеку без сердца? Людей, восставших на Бахмале, возглавил я. И ребенку ясно: выруби арчу в горах — высохнет вода. Реки обмелеют, наступит засуха. Людям придется бросить свои земли и уйти в другие края. Во многих местах так и получилось... Словом, никто из кишлаков не вышел на рубку... Почти никто. Тех двух негодяев, которые вызвались добровольно на это злодейство, мы вначале призывали одуматься, уговаривали. Когда же поняли, что уговоры напрасны, повесили предателей на арчах... Белый царь, убедившись, что местное население не выйдет на рубку, прислал войско. Царские солдаты вырубали арчу и сплавляли ее по рекам... Видишь Сирлисай? Прежде это была полноводная, широкая река, а теперь... Арчу вырубили, снизился уровень воды, родники сейчас по пальцам можно пересчитать. Раньше заросли арчи доходили до вашего дома, теперь она осталась только на склонах гор, ближе к вершинам... И все равно мы оказывали сопротивление солдатам! Все мои родные были убиты, но я и тогда не смирился... Говорят, белый царь обещал за мою голову много золота...— задумчиво произнес он.— Как видишь, она и по сей день сидит на моих плечах, довольно крепко сидит. Человек, причинивший зло природе, не проживет на свете долго, дитя мое... Ты же знаешь, что случилось с белым царем,— его и самого срубили, как арчу!

По смугло-коричневому лицу старика катилась маленькая слезинка. Сбежала по глубокому желобку морщины на щеке и застряла над верхней губой. Каракоз опустила голову. Она не могла смотреть в эти голубые глаза, столько видевшие на своем веку, вобравшие в себя ледниковый свет самых дальних вершин Ойкора. Глубоко вздохнув, Нурман-бобо вытер слезу рукавом выцветшего ветхого халата. А Каракоз завидовала ему. Несмотря на горькую и печальную судьбу, несмотря на все его одиночество, она завидовала его чистой, прекрасной жизни, слившейся с жизнью любимых гор.

Никогда и ни за что она бы не посмела просить Нурмана-бобо рассказать самое главное в его жизни — историю о Покизе. Ту страшную, гордую, леденящую кровь легенду, которую с детства они знали от бабушки Нозик...

Солнце поднялось уже довольно высоко над Ойкором. Своим яростным, испепеляющим сиянием оно выбелило небо, накалило неистовым жаром горы.

Каракоз вспомнила, зачем пришла сюда, засуетилась, начала собирать миски, пиалы, а потом спустилась к саю — вымыть посуду. Встал и Нурман-бобо.

— Если не испугаешься, дитя мое, поднимись на вершину, откуда упал Карши. Говорят, там видимо-невидимо хворосту. Люди редко поднимаются туда, с тех пор как погиб бедняга Карши. А ты иди, не бойся. Я отсюда буду смотреть в твою сторону. Если станет страшно — погляди вниз на мою хижину... Когда будешь возвращаться, обязательно сообщи мне. Я засыпаю только тогда, когда с гор возвращаются все, кто утром туда поднялся. А если кто-то припоздает, я всю ночь не сплю... Иди, доченька...

Уже отойдя шагов на сто, Каракоз обернулась и помахала рукой Нурману-бобо. Он стоял все так же, глядя ей вслед из-под руки, высокий, статный горец, уже не человек даже, а живая легенда... Старик долго смотрел на тонкую фигурку девушки, потом пробормотал еле слышно, одними сухими, иссеченными морщинами губами:

— Иди... дай аллах тебе состариться с твоим избранником...

Часа через два, когда Каракоз добралась до вершины, она поглядела вниз на хижину Нурмана-бобо. Отсюда, с огромной высоты, неказистый домик стари-

ка казался величиной с грецкий орех. И Каракоз подумала, что, может быть, совсем недалеко отсюда, в ледниках, лежит под тонким слоем льда прекрасная возлюбленная, и слышит каждое обращенное к ней слово, и чуть улыбается прелестными губами...

...Покиза — так звали ее, красивую девушку, в которую был влюблен юный Нурман. Глубокими черными ночами тайно спускался с гор, чтобы увидеться с любимой. Она выходила к старой плакучей иве на берег сая и там ждала его, вздрагивая от шелеста листвы, от крика кеклика. Ее возлюбленный появлялся всегда бесшумно и неожиданно — гибкий, высокий, сильный. Он нежно обнимал ее, и казалось, это обнимает сама ночь — властно и горячо...

Но родители девушки боялись отдать дочь человеку, за голову которого царь обещал столько золота. Дни бежали за днями, а Нурман и Покиза продолжали встречаться тайно, ночами, под старой плакучей ивой с мощным стволом и печальными ветвями.

Слух о любви Нурмана и Покизы облетел скоро все окрестные селения и дошел до губернатора. Царские солдаты схватили Покизу, связали ее и притащили к подножию гор. Они повесили связанную девушку вниз головой на арче и по очереди стали сечь ее. Покиза молчала. Ни единого стона не вырвалось из ее груди. Она молила аллаха только об одном: чтобы не оказалось поблизости Нурмана, чтобы не был он свидетелем ее страданий. Но Нурман видел все. Он скрывался за огромными валунами на одной из вершин Ойкора и видел связанную Покизу, ее прекрасные, длинные, густые волосы, свисающие до зеленой травы. Видел он, что солдат много и в руках у них ружья, а за спиной Нурмана затаилось только четверо преданных ему джигитов с луками и стрелами. И все-таки он не выдержал. С шумом посыпались камни с горы, и перед солдатами на громадном сером валуне предстал разъяренный Нурман. Завязалась ожесточенная перестрелка. Но джигиты родились в горах, были детьми этих вершин, этих камней, этих высоких зарослей арчи, а солдаты были чужими. И немало их погибло в схватке, а оставшиеся бросились бежать.

А Покиза... Покиза висела на арче, касаясь травы густыми черными волосами, и в груди ее торчала стре-

ла — гордо оперенная, длинная, смертельно, звеняще разящая. Когда обезумевший от горя Нурман вынул ее из груди любимой, он увидел, что это была его стрела...

Бешеный крик разнесся по всему Ойкору. Такого крика не слышали еще эти камни.

Джигиты Нурмана отволокли трупы царских солдат на Красный Камень — Кизилташ, к медвежьим пещерам. Они решили, что люди, надругавшиеся над природой, должны стать кормом для детей ее.

А Нурман, подхватив на руки свою Покизу, ушел вверх, к далеким вечным ледникам. Говорят, он не похоронил любимую, а долго прятал в одной из пещер в ледниках, куда не ступала нога человека. Потом, выдолбив в леднике могилу, положил в нее Покизу. Тело ее сохранилось и доныне. Говорят, когда подтаивают снега, через тонкий, как стекло, лед видна спящая Покиза...

Никто не заговаривал об этом с Нурманом. С людьми, которые спрашивали о Покизе, он переставал даже здороваться. Многие годы он не смотрел в сторону женщин, не говорил с ними, но к старости помягчел, стал более приветливым, да и то сказать — сколько лет прошло! Лет семьдесят, должно быть...

На вершине, с которой упал Карши, действительно оказалось много хворосту. Каракоз быстро набрала большую вязанку. Когда она спустилась вниз, к подножию Майликутана, вечер уже скрыл горы за сумрачной завесой. Хижина Нурмана-бобо, маленькая, сиротливая, казалась в наступающих сумерках особенно одинокой.

— Вернулась, доченька? — крикнул ей старик. Он, наклонясь над очагом, заваривал чай в старом медном чайнике.— Молодец, проворная. Многие, кто поднялся сегодня в горы, еще не вернулись. Передай привет матери!

Его голос несколько раз повторило эхо, и вновь перед глазами Каракоз возникла спящая в вечных ледниках Покиза. Кто знает, может, эхо донесло голос старика и до его возлюбленной. Каракоз стало страшно, она, не в силах ответить, лишь кивнула Нурману-бобо и быстро пошла дальше. Вязанку дров она несла на голове, чуть придерживая ее руками.

Темнело с каждой минутой все больше, все гуще и синей. Вокруг стояла тишина, и слышно было лишь журчание сая и шлепанье старых калош на ногах девушки.

Впрочем, здесь, как и всюду в горах, звенел свой чарующий голос — звук гор. Стоило только напрячь слух, и можно было различить сотни голосов, перекликающихся, повторенных несчетное количество раз эхом. Этот волшебный голос создают все обитатели гор, даже их растительность. И по мере того как удаляешься, уходишь отсюда, кажется, что звук этот, этот звенящий, дрожащий голос мчится тебе вослед, окликает тебя.

Где-то крикнула куропатка, и сразу ей отозвался голос друга. И вновь — только журчание сая...

Вдруг раздался шум сыплющихся под ногами камней. Каракоз вздрогнула, руки ее от страха ослабели, и вязанка хвороста соскользнула с головы, упала и рассыпалась.

«Волки!» — мелькнуло в голове Каракоз. И мгновенно вспомнилось, что волки боятся огня. Она судорожно выхватила коробок спичек из кармашка жилетика, чиркнула одной и бросила ее на землю, где густо лежали прошлогодние листья.

Листья вспыхнули ярко, мгновенно. И сразу в стороне послышался ехидный смешок. В наступившей уже темноте Каракоз не сразу узнала Камариддина, сына дяди Самандара. Обнажив редкие, мелкие, пожелтевшие от постоянного курения зубы, он ухмылялся. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Каракоз — неприязненно и настороженно, Камариддин — с мольбой, страстью и ненавистью.

Наконец Каракоз отвела глаза и с ожесточением стала затаптывать огонь. Камариддин поспешно подбежал, суетливо бросился помогать ей. Так же молча, в сердцах позабыв, что хотела сказать, Каракоз принялась собирать рассыпавшиеся дрова.

— Каракоз! — глухо проговорил Камариддин, пытаясь взять вязанку из ее рук.— Подожди минутку!

— Мне некогда! — отрывисто, не глядя на него, ответила девушка.

— Минуту! Только одну минуту... Выслушай меня, разве я не человек? Выслушай лишь раз, но до конца, а потом поступай как знаешь...

Столько мольбы было в его дрогнувшем голосе, что Каракоз, поборов неприязнь к этому человеку, страх перед ним, быстро ответила:

— Ну, давай скорей. Уже темно. Мама, наверное, волнуется.

И тогда он заговорил горячо и торопливо, сбиваясь, начиная объяснение опять: то неприятно посмеиваясь — было в этом смешке что-то от сдерживаемых рыданий,— то угрожая.

— Я не могу больше молчать, Каракоз. Я люблю тебя. Давно уже люблю и не знаю, что мне с этим делать. Для меня ты — вся жизнь, а ты и говорить со мной не желаешь, отворачиваешься, когда встречаешь. Неужели я не имею права на любовь? Что я, выродок? Что я, хуже этого Гаибназара?! Пожалей меня, любимая! Ты должна быть моей, Каракоз! И я верю, это будет. Ну скажи, ободри меня, я ведь умру без тебя, Каракоз!

Он вдруг рухнул на колени, грузно, как подрубленный, и неожиданно проворно подполз к девушке, схватил за подол платья.

— Перестань! — в отчаянии крикнула Каракоз, пытаясь вырвать из рук его подол.— Встань сейчас же, не валяйся!

— Не встану! Пока не скажешь, что любишь. Скажешь?.. Послушай, Каракоз, но ведь любишь, да? Любишь? Просто не могла сказать раньше?

— Пусти!! — Она наконец выхватила платье из его цепких рук и отбежала в сторону. Камариддин медленно поднялся, бессильно опустив руки. Лица его в темноте не было видно, слышалось только тяжелое, прерывистое дыхание.

— Смотри, Каракоз...— тихо, угрожающе проговорил он.— Подумай как следует... С огнем играешь...

— Оставь меня в покое! — раздельно, внятно, чтобы ее слова сразу дошли до Камариддина, произнесла Каракоз.— Мало досаждала нам ваша семейка? Думаешь, не знаем, кто виноват, что Гаибназара сняли с должности учетчика? Думаешь, секрет, кто обо мне грязные сплетни по кишлаку распускает?

— Постой, Каракоз!

— Не ходи за мной! Тебе не видать меня, как своего затылка! У меня есть жених, которого я люблю! И скоро наша свадьба!

— Свадьба?..— зловеще повторил Камариддин, под-

ходя к ней.— Смотри-ка, как все у вас рассчитано... Как ты уверена в своем счастье... И тебе плевать на меня, да?.. Смотри, какая ты смелая... Ты ведь совсем не боишься меня, правда, детка? Ты просто топчешь ногами меня, мою любовь! — Он железными тисками схватил ее руки, зашипел прямо в лицо: — А если я изменю твои планы, а?! Если твоя свадьба совершится сейчас, вот на этой траве?!

Он крепко обнял яростно сопротивлявшуюся девушку и, дав ей подножку, повалил на землю. Молча, ожесточенно они боролись в кромешной тьме. Изловчившись, Каракоз сильно укусила Камариддина в плечо. Он вскрикнул, схватился за укушенное место. Тогда, взяв подвернувшийся под руку острый камень, Каракоз с силой, какой никогда в себе не знала, со всего размаху стала бить его куда придется — по лицу, по голове, в грудь. Видимо, она сразу повредила ему глаз, потому что Камариддин, одной рукой прикрыв лицо, другой только беспомощно отбивался.

Бросив камень, забыв о рассыпанной вязанке, Каракоз кинулась в сторону кишлака. Добежав до тока, она заметила две фигуры, спешащие навстречу. Это были Гаибназар и Энакиз. Каракоз замедлила шаг, вытерла слезы, быстро, судорожно перевязала платок на голове. Мать, едва увидев Каракоз, радостно вскрикнула:

— Вай, девочка моя, что ж ты так припозднилась? Я все глаза проглядела, душа весь день не на месте. Вот Гаибназар предложил выйти тебе навстречу.— Она обняла дочь, прижала к груди ее голову.— Господи, что ты так вспотела, такая разгоряченная!

— Волки... волки напугали...— с трудом выговорила девушка.— Я бросилась... бежать... все дрова растеряла.

— Аллах с ними, с дровами! — взволнованно сказал Гаибназар.— Ты могла погибнуть. Где ты собирала ветки? На Майликутане?

— Нет, я ходила на вершину, откуда упал Карши,— ответила она, отворачивая лицо.

— Ты с ума сошла! — воскликнула испуганно мать.— Одна, без попутчиков! И зря ходила. Гаибназар принес сегодня дров достаточно.

Ни мать, ни Гаибназар не видели в темноте ее смертельно бледного лица, расширенных от ужаса зрачков. Молча шла Каракоз рядом с ними, и сердце ее постепенно успокаивалось, билось ровнее, дыхание становилось спокойнее. Мать шагала чуть впереди, не

умолкая ни на минуту, Гаибназар с Каракоз отставали на шаг-другой, парень крепко держал любимую за руку, словно боясь, что она исчезнет, растворится в темноте.

— Выйдешь попозже? — спросил он шепотом, нагнувшись к ней.

— Завтра,— помедлив, ответила девушка.

— Когда?

— Как взойдет луна...

Он еще крепче сжал ладонь Каракоз и провел ею по своему лицу.

— Никогда больше не ходи в горы одна. Хорошо?

Она молча кивнула.

— Что ты сейчас будешь делать?

— Спать лягу...— сказала Каракоз.

— Устала?

Так же молча она кивнула. Только сейчас, когда Каракоз начала отходить от испуга, она почувствовала, как подгибаются от слабости колени, как кружится голова, страх от сознания того, что могло случиться, холодит грудь и тошнота подкатывается к горлу.

— А я так редко вижу тебя во сне,— продолжал Гаибназар.— Правду, наверное, говорят, что любимых во сне не видят...

Они поравнялись с домом Каракоз. Девушка отворила калитку, вошла во двор и, обернувшись, вяло махнула рукой любимому. Гаибназар смотрел ей вслед. И даже когда за Каракоз закрылась дверь дома, он стоял еще некоторое время, рассеянно глядя вверх, на скользящую в ветоши туч луну, на острые силуэты тополей вдали.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

День сегодня тянулся необыкновенно медленно. И солнце тащилось в зенит, как уставший дехканин на старом ишаке, потом бесконечно долго торчало там, на середине неба, и, наконец, стало сползать, словно не желая оставлять насиженного места.

У Гаибназара голова шла кругом: ведь они с Каракоз не договорились о месте свидания.

«Да не город же это! — успокаивал он себя.— Не потеряемся как-нибудь... Буду следить за калиткой. Как выйдет — я за ней...»

Уже с полудня, оставив дела, не слушая ворчания матери, он сидел у заднего окошка и наблюдал за домом Каракоз.

Отсюда видна была их кухня, кусок двора и старая, сбитая из двух ветхих досок калитка. Гайбназар и прежде любил сидеть здесь, посматривая на Каракоз. По воскресеньям на кухне она мыла голову. И в окне появлялась ее склоненная голова с густыми, напоминающими ветви плакучей ивы волосами. Вымыв голову, скрутив жгутом мокрые волосы, она выпрямлялась, и тогда в окне показывались ее белые хрупкие плечи. Ради этого момента Гайбназар готов был сидеть у окна часами.

Каракоз и сегодня мыла голову. Должно быть, к предстоящему свиданию. Потом она накинула платок и вышла из кухни.

Ожидая восхода луны, Гайбназар смотрел на Ойкор, на небо, усыпанное бесчисленными огоньками холодных звезд, и переживал, что над горами спустилась тьма туч и луна может совсем не выйти сегодня...

...За всю ее жизнь Каракоз впервые назначили свидание. И это было ново, неожиданно и ужасно волновало. Прежде они с Гайбназаром всюду были вместе. Вместе ходили за дровами, вместе пригоняли стадо с пастбищ. Но тогда все было иначе. Тогда не придавалось значения, если кто-то опаздывал. А теперь... Ведь в доме Каракоз нет часов. Что же делать? Бывало, в дни поста Энакиз посылала дочь в дом учителя Абдураджаба — узнать, можно ли принимать пищу. А как быть теперь? Сидеть у окна и сторожить, когда вынырнет из-за туч новорожденный месяц?

Пришла с базара мать и принесла новость: вчера Камариддин, сын Самандара, был избит чабанами. Неизвестными чабанами, пришлыми, должно быть.

— Носит его черт-те где...— проговорила Энакиз, в душе жалея незадачливого племянника.

— Сам виноват,— хмуро пробормотала Каракоз, не сводя глаз с вершины Ойкора.

Часа через полтора тучи начали расползаться, небо из буро-черного стало бархатно-лиловым, вершины Ойкора посветлели, мягко засветились. И наконец, словно горделивая бровь красавицы, взошел над ледниками узкий серп молодого месяца, окутанный серебряной дымкой.

— Мама... я схожу к Яманкулу-бобо. Обещала его жене показать занавеску, которую начала шить...— сказала она уже из прихожей, стараясь не выдать волнения.

— Долго не сиди,— вслед ей бросила мать,— приходи скорее.

Каракоз выскользнула за калитку и неслышными шагами двинулась вдоль забора. И почти сразу открылась калитка соседнего двора — и худощавая высокая юношеская фигура так же торопливо и бесшумно поспешила за Каракоз. И никто на свете, кроме них двоих, не слышал, как оглушительно, на весь мир, горячими толчками бьются два сердца.

Минут через десять они уже добрались до холма Русского. Это и вправду был небольшой холм, где раньше, много лет назад, жил русский лесничий. Хмурый, неразговорчивый человек, трудившийся с утра до вечера, сразу полюбился здешним людям тем, что запретил стрелять в горах дичь и уничтожать растительность. Когда царь приказал вырубить арчу на склонах гор, русский лесничий, как и Нурман-бобо, воспротивился преступному указу. Он ходил по кишлакам, разговаривал с дехканами, убеждал их не являться на рубку. Узнав об этом, губернатор края арестовал лесничего и отправил его в Сибирь. Дом лесничего заколотили, сад, выращенный им с такой любовью, заглушили сорняки, люди из страха перед властями боялись приближаться к холму Русского. Здесь до сих пор сохранился пруд перед заброшенным домом, и в нем на все голоса вопили скандальные лягушки. Два старых карагача над прудом, посаженных еще русским лесничим, тоскливо перешептывались друг с другом под свежим ветерком, прилетевшим с гор, и казалось, они вспоминают что-то давно ушедшее, может, те времена, когда и они, деревья, и человек, который посадил их, были молоды и не думали о старости, о смерти, о человеческой несправедливости.

Каракоз с Гаибназаром долго сидели молча под старыми карагачами.

— Отчего у тебя глаза такие чернущие? — наконец спросил он, заглядывая ей в лицо и влюбленно улыбаясь.

Она усмехнулась, выдернула травинку из земли и прикусила ее зубами.

— Когда мама носила меня, один дехканин на базаре не угостил ее дыней, хотя она долго стояла перед ним и в горле у нее пересохло. Оттого глаза такие черные, как жажда.

— Какой скупой человек, неужели и кусочка не дал?

— А тебе плохо оттого, что не дал? — лукаво потупившись, спросила она.

— Старик, должно быть, в тот момент обо мне позаботился,— сказал Гайбназар, и они рассмеялись оба.

— А вот ты ответь: почему у тебя ухо проколото, как у девушки? — спросила Каракоз.

— Я в детстве был плаксой. А ты же знаешь эту примету. Мама отнесла меня к бабушке Нозик, и та иголкой проколола мне одно ухо.

— Поэтому сейчас ты никогда и не прослезишься...

— Наверное, в детстве я выполнил план по плачу.

И опять они улыбнулись. Думая днем о свидании, представляя, что скажут друг другу, когда останутся наедине, оба совсем не предполагали, что будут вот так легко болтать о вещах, совсем для них несущественных. Над головой шумели кроны двух стариков карагачей, как будто осуждая их за пустяковый разговор.

— А я вчера с Нурманом-бобо разговаривала,— вдруг сказала Каракоз задумчиво.

— О чем вы говорили?

— Он рассказывал о том, как его преследовал белый царь.

— Любит тебя старик! Редко он об этом рассказывает. Может, и о Покизе рассказал?

— Нет...— Она даже плечами передернула, как от прохлады.— Я побоялась спрашивать.

— А я спросил однажды, в детстве.

— Правда?!

— Да.

— И что он сказал? — Девушка смотрела на Гайбназара широко открытыми от страха и любопытства глазами.

— Ничего не сказал. Поглядел так гневно, словно я враг какой-нибудь, поднялся и ушел в дом не попрощавшись...

— Гайбджан... А вот если... Если б ты тогда, много лет назад, оказался на его месте... Что бы ты сделал?— серьезно спросила она.

Гаибназар задумался, долго смотрел на бледно-голубые под светом вершины гор и наконец проговорил:

— Да ну, Каракоз, с чего тебе это пришло в голову? — И, обняв ее за плечи, притянул к себе, погладил по волосам.— У нас все иначе будет. Да и в другое время живем...— Он вдруг усмехнулся, вспомнил о чем-то и сказал:— Ты знаешь, говорят, Камариддина избили чабаны.

— Знаю,— коротко ответила она.

— Глаз чуть не вытек, синяки на лице, на голове шишки.

— Я знаю.

— А главное, неизвестно, кто это сделал.

— Известно,— хмуро обронила Каракоз.

— Да нет, он сам не знает, кто это!

— Это я...— спокойно сказала она.

Гаибназар вытаращил глаза и несколько мгновений как немой смотрел на девушку.

— Брось,— наконец проговорил он.— Как ты сумела?

— Очень просто,— неохотно ответила Каракоз.— Злая была очень. Побила, и все. Он преградил мне дорогу и... в общем, мерзавец.

— И ты молчала до сих пор?! — крикнул он и, вскочив на ноги, в волнении заходил вокруг деревьев.— Негодяй! Ну ладно, пусть живет до завтра! Я ему покажу...

— Перестань,— возразила Каракоз.— Ты хочешь, чтобы весь кишлак говорил об этом? И так разговоров хоть отбавляй... И мама узнает... И потом, достаточно я его поколотила. Если бы ты видел! Я так разозлилась, так испугалась!

Гаибназар, все еще возмущенный и воинственно настроенный, пожал плечами.

— Девушка побила!.. Герой, ничего не скажешь. Вот уж правду говорят: от подлеца ожидай любого поступка... Времена не те, а то б я ему показал... Он свою голову с подбитым глазом за спиной в мешке таскал бы...

Каракоз, обняв колени, смотрела на горы и замечала каждый новый огонек — вот третий зажегся, вот еще один, еще... Это светились костры чабанов. И чем выше поднимался месяц, тем в больший мрак погружались горы и тем ярче горели крохотные огоньки костров.

— Отчего Нурман-бобо так долго не хоронил Покизу? — медленно спросила она, не отрывая взгляда от далеких костров, словно спрашивая не сидящего рядом с ней Гаибназара, а эти одинокие, разбросанные по горам огоньки.

— Говорят, пока не прочтешь заупокойной молитвы над телом умершего, он продолжает все слышать,— тихо ответил Гаибназар.— Нурман-бобо не мог себе представить, что тело его любимой будет зарыто в землю. Храня ее в ледниках, он рассказывал ей все, что было у него на душе. Ведь ему казалось, будто Покиза слышит его... И до сих пор не прочел над ней заупокойной молитвы. Верит, что однажды она проснется от тяжкого сна...

— Как все это прекрасно, правда, Гаибджан? Наверное, это и есть настоящая любовь?

— Наверное...

— Знаешь, а я завидую Покизе. Лучше прожить короткую жизнь и остаться вечно юной и прекрасной в памяти любимого, в памяти народа, чем состариться в этом кишлаке, думать о дровах, о мучной похлебке, видеть физиономии Камариддина и Самандара и умереть горбатой морщинистой старухой... Вот что бы я хотела: уйти в ледники, отыскать там ледяную постель спящей Покизы и крикнуть ей: «Здравствуй, Покиза!» Она обрадуется. Ты же сказал, что она все слышит.

— Не говори так, не надо! — воскликнул Гаибназар и схватил ее за руку.— Даже не по себе как-то стало... Хватит думать о Покизе, а то она приснится. У тебя будет совсем другая судьба.

Ветер доносил сюда запахи горных трав. Сзади мрачно и печально высился заколоченный дом Русского. В прогнивших досках его ступеней цвиркали сверчки.

— Эта наша встреча никогда больше не повторится, да, Гаибджан?

— Почему ты так говоришь, любимая? Мы всегда будем вместе! — взволнованно возразил он.

— Но через год в это время я уже буду на год старше.

Он засмеялся ласково.

— Ты не постареешь, Каракоз.

— Почему?

— Не знаю. Просто никогда не постареешь...

На Ойкоре погас последний костер, и снега на вер-

шинах заблестели, будто слюда, под желтым призрачным светом месяца.

— Пора,— сказала Каракоз, как зачарованная, не отрывая взгляда от чернеющей на склоне горы тополиной рощи.— Костры погасли....

В кишлаке вяло, нехотя перекликались по дворам собаки. Перед калиткой Гаибназар удержал девушку за руку.

— Каракоз... А ты так и не ответила на мои стихи... Помнишь?

Она смутилась, пожала плечами.

— Я не умею сочинять стихов, Гаибджан...— Но, увидев его расстроенное лицо, улыбнулась: — Напишу... Попробую...

Калитка открылась со скрипучим стоном и захлопнулась. Минуту они стояли, молча глядя друг на друга, по разные стороны изгороди. Потом Каракоз пошла в дом.

Провожая ее глазами, Гаибназар отчего-то вспомнил слова бабушки Нозик о том, что человек рождается заново через семь или четырнадцать поколений. Каракоз очень верила в эту легенду, как и во все, что говорила когда-то бабушка Нозик. И сейчас Гаибназару очень захотелось, чтобы это было правдой, чтобы когда-нибудь, через много десятилетий, юная Каракоз так же молча смотрела на него из-за изгороди, а он, такой же молодой и сильный, глядел ей вслед и любил бы ее, любил, любил, как жизнь свою...

Лукавый желтый месяц все дальше уплывал вверх, словно оттолкнувшись от вершин самых высоких гор, и Ойкор казался прозрачным и хрупким в его нереальном, сказочном свете....

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Пришел наконец и день свадьбы. С самого утра, по обычаю, Каракоз сидела в доме Яманкула-бобо в задней крохотной комнатке без окон и ждала, когда придут за ней, за невестой. Сейчас она жалела, что Гаибназар живет так близко — за забором; значит, за ней не приедут, как за другими невестами, на белой лошади. Придется идти пешком, а это не так красиво, как могло быть... Впрочем, больше всего на свете она сейчас хотела, чтобы день свадьбы пролетел поскорее. Обряды, связанные с ними хлопоты действовали на

Каракоз удручающе. Время от времени в комнатку вбегала раскрасневшаяся, возбужденная Гуландом и сообщала новости:

— Пришла тетя Мастон, ничего не принесла, сидит надувшись. А до нее приходил пьяный Камариддин, всех обругал, опрокинул на себя миску с мукой... Ой, потеха! Мужчины выволокли его на улицу: морда белая, вся в муке, рот как черная дыра!..

И выскакивала опять — за новостями. В комнатке было сумрачно, прохладно, жужжала одинокая печальная муха. Сердце Каракоз билось неровно, горячо, и радостно было и горько отчего-то. Все время вспоминался отец.

«Вот и настал день моей свадьбы, отец,— думала Каракоз. И, как всегда, ее воображение мгновенно рисовало черты дорогого лица, и лицо это оживало, улыбалось ей.— Выхожу я за Гаибназара, сына нашей соседки Ташбуви Несчастливицы. Помните, я рассказывала вам о нем. Я люблю его больше всех на свете, отец! Но мне так жалко маму...»

Потом несколько женщин зашли в дом к Яманкулу-бобо, напоили Каракоз «свадебной водой» и с песнями, знакомыми ей с детства, повели ее в дом к жениху...

Никогда еще Каракоз столько не плакала. То ли не думала прежде, что жизнь ее изменится, не ощущала это так остро. И мать, когда уводили Каракоз, плакала в голос, причитала:

— О-ой, не дожил отец до твоей свадьбы!.. Не видит он сейчас свою взрослую дочь...

А может быть, так всегда бывает, если радость смешивается с печалью,— человек плачет, не в силах остановить себя...

Каракоз слышала, как во дворе весело перебрасываются шутками, задирают друг друга ребята. То и дело раздавался отчаянный визг, хохот, крики.

— Вот негодники, разве так ведут себя те, кто приходит за выкупом! — возмутилась одна из старух.

— А что случилось? — спросила ее другая.

— Да вот подруги невесты просили выкуп у жениха. Дали им овцу и семьдесят рублей. А они кричат: «Маленький выкуп!» Да и насыпали на головы жениха и его друзей нас [1]. Всем в глаза попал.

---

[1] Нас — особый вид табака.

Каракоз, низко опустив голову под свадебной белой паранджой, слышала эти разговоры как сквозь сон и вяло думала: «Попал ли нас в глаза Гаибназару?..» Она сидела за занавеской из красного ситца и тихо плакала.

Потом их стало двое. За занавеской появился Гаибназар, хмурясь и потирая покрасневшие от табака глаза. Он взял в обе руки голову Каракоз и прижал ее заплаканное лицо к своей груди, успокаивая, как обиженного ребенка...

...Через четыре дня после свадьбы Гаибназар уже вышел косить.

Ночью он проснулся от резкого испуганного вскрика. Это кричала Каракоз. Она лежала рядом, запутавшись в густых черных волосах, и металась во сне. Лицо ее было бледно, веки подрагивали, горячие губы шептали что-то бессвязное. Гаибназар тихо убрал пряди волос с ее лба, легонько подул на вздрагивающие веки, в который раз залюбовался маленькой родинкой под губой. Каракоз притихла. Тогда он подтянул одеяло, окутывая ее плечи, и прикрыл глаза. Через несколько минут он уже засыпал, но новый крик жены, отчаянный и жалобный, заставил его сесть на постели.

— Покиза, сестра, помоги! — стонала Каракоз.— Спаси, освободи, Покиза!

— Проснись, Каракоз! Что ты, проснись! — И даже когда она уже открыла глаза, он все еще гладил ее щеки, лоб, приговаривая обеспокоенно: — Ну, что ты, что ты?..

— Испугалась...— тяжело дыша, пробормотала Каракоз.

— Чего испугалась, родная?

— Страшный сон увидела...

— Это такое время, предрассветное, помнишь, бабушка Нозик говорила — снятся всякие ужасы... Забудь свой сон...

— Мне никогда еще не было так страшно... Горели вечные ледники, понимаешь, не таяли, а горели, и вокруг все, весь снег был черным как сажа. И вдруг я увидела Покизу. Она сидела верхом на коне и сама была черной, будто обугленной... Я хотела крикнуть, но голос пропал. Я почувствовала, что сама занялась пламенем, и бросилась к Покизе, умоляла, чтоб она

спасла меня, но она повернула коня и поскакала прочь...

— Тысячу раз я тебе говорил: не вспоминай так часто Покизу! — расстроенно воскликнул он.— Да и кто знает, есть ли она вообще, а ты все твердишь о ней, как заколдованная.... Так недолго и с ума сойти...

— Только бы не случилось чего...— проронила Каракоз, все еще не приходя в себя.

Гаибназар поднялся и, достав из ниши пиалу и глиняный кувшин, налил из него немного воды.

— Выпей,— сказал он, подавая Каракоз пиалу. В серых рассветных сумерках его обнаженные плечи и грудь казались медными.— Не думай больше об этом,— повторил он, лег рядом и крепко обнял ее.

Каракоз лежала неподвижно, в темноте белела ее закинутая за голову рука. Она молчала; видно, продолжала думать о приснившейся ей Покизе.

— Ну очнись, очнись...— прошептал Гаибназар, гладя ее лицо и прохладное упругое плечо...— Не думай...

До рассвета они так и не уснули. Чтобы забыть страшный сон, тихо проговорили до самого утра.

Утро пришло свежим и прекрасным. Не умолкая журчала вода в сае. Неизвестно, о чем бормотал резвый берущий начало в горах ручей. Может быть, вот об этом: «Послушайте, я принес вам всю красоту Ойкора — тайный шепот плакучих ив, зазывное пение кекликов, печальные стоны газелей, гулкое эхо гор и камней! Спешите, кто ранним утром говорит горной реке «здравствуй», для того день будет счастливым».

Утром, как обычно, Гаибназар ушел на жатву. Казалось, оба они забыли страшный сон. И, наверное, не вспоминали бы вовсе, если бы...

В полдень на взмыленной лошади прискакал Маткабил. Багровое лицо его было потно, искажено странной гримасой. Жнецы, едва увидели его на дороге из кишлака, побросали работу и с тревогой стали вглядываться в приближающегося всадника. Маткабил осадил коня прямо перед бригадиром Сулайманом-ака и сказал хрипло, тяжело:

— Война!

Люди застыли с серпами в руках. Все продолжали смотреть на Маткабила, словно он мог добавить что-то утешающее, объяснить, ободрить. А он вытер рукавом рубахи пот с пылающего лица и крикнул, приподнявшись в седле:

— Люди, война-а-а!!

И тогда, разом все поняв, зашумели, запричитали жнецы. Тихо плакал Дустмурад-бобо; у него старший сын был в армии...

После этой ужасной вести никто уже не взялся за работу. Все, подавленные, растерянные, возвратились в кишлак.

Каракоз ждала Гайбназара у калитки. И, завидев его издалека, бросилась к мужу, припала к рубашке, пахнувшей полевой травой. Гайбназар с любовью обнял ее.

— Что делать? — спросила она, взглянув на него заплаканными глазами. Он не ответил, нахмурился, прижимая к груди ее голову. — Не забыл, как ты в детстве мечтал стать красным солдатом? — укоризненно напомнила она.— Видно, ангел войны услышал это однажды и сказал: «аминь»...

— Господь с тобой, Каракоз, разве дело во мне? Горе пришло ко всем людям. Теперь солдатами станут многие...

— И ты уйдешь?! — вскрикнула она.— Тогда и меня возьми с собой! Я не останусь одна. Те, кто пялит на меня глаза, как волки, разорвут меня!

— Успокойся, Каракоз, что ты... Сейчас не такое время, чтобы думать только о себе. Помнишь, в школе сиротам раздавали одежду и нам с тобой выдали пальто, ботинки. Ты была совсем маленькой и спросила меня: «Кто прислал все это?» Я ответил: «Дедушка Государство»,— и все смеялись. А ботинки тогда пришлись очень кстати, ведь мои совсем изорвались, но я все равно берег их, нес в руках, а сам бежал в школу босиком, по снегу. И когда ноги сильно замерзали, я грел их в родниках у обочины дороги. Тебе было жаль меня, ты бежала следом и плакала. Потом мама отнесла те ботинки мастеру Тиловкобилу-бобо, но он не взялся починить их. В тот день, возвращаясь из школы, мы встретили нищего, и я отдал старые ботинки ему. Он даже заплакал от умиления, и все без конца благословлял нас, и крикнул вслед: «Позовете меня на вашу свадьбу!» И нам было это ужасно смешно... А теперь, когда пришла такая беда, если каждый из нас не подумает о государстве, не встанет на его защиту, дети вообще не смогут ходить в школу и вся жизнь перевернется, Каракоз.



Каракоз плакала безутешно, горько, уткнувшись лицом в его выцветшую голубую рубашку.

— Повяжи платок,— мягко сказал ей Гаибназар.— Вытри глаза. Как ты побледнела! Наверное, ничего сегодня не ела. Пойдем в дом...

Ташбуви не плакала — сухими тоскливыми глазами она глядела на сына, как будто хотела наглядеться впрок на всю жизнь.

Они молча обедали.

— Многие сейчас уйдут добровольцами,— прервал молчание Гаибназар.

— Смотря кто...— хмуро возразила мать.— Найдутся и такие, кто через Ойкор уйдет в сторону Пенджикента... Говорят, уже сегодня несколько человек, не заходя домой, прямо с поля ушли в горы...

— Болтовня! — раздраженно заметил сын.— Кумушки сочинили.

— Кумушки?! — воскликнула Ташбуви.— Так вот, представь себе, что Камариддин исчез сразу, как только узнал о войне. Уж этот шкурой чувствует опасность. Все быстро понял и удрал не мешкая...

— Тот — другое дело. Из той собаки лишь предатель и мог получиться.

— А Юсуф-Дум каков? Говорят, собирается отправить сына в Душанбе учиться. Хорошенькое время выбрал для учебы! Других парней на фронт отправляет, а своего припрятать хочет.

Каракоз не вмешивалась в разговор Гаибназара с матерью. Ей не было дела сейчас ни до кого на свете. Мысль, что Гаибназар может скоро покинуть ее, терзала Каракоз и наполняла душу невыносимой тоской и тревогой.

— На днях в кишлак приезжает представитель военного комиссариата. Мы с ребятами договорились: уйдем все вместе,— произнес Гаибназар, не глядя на мать и жену.

— На днях! Так скоро?!— Каракоз смотрела на него с мольбой и отчаянием.

— Да.— Он низко опустил голову, почти машинально продолжая есть остывший суп.

Пришла Энакиз, обняла зятя, поплакала.

— Что делать, что делать? — приговаривала она горестно, целуя его в глаза, в лоб.

Ташбуви принесла для Энакиз пиалу с супом, поставила на дастархан перед сватьей. Но та есть не стала.

Так и сидели они молча, лишь изредка перебрасываясь печальными словами, вздыхая тяжело, посматривая тайком на Гаибназара. А он чувствовал себя виноватым, что оставляет троих дорогих ему людей, но иначе поступить не мог — не думал об иной участи, как только о той, чтобы в эти первые ужасные дни и до самого конца — своего или войны — быть вместе со всеми, сражаться, стоять насмерть.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Наутро третьего июля по радио говорил Сталин. Возле длинного одноэтажного здания школы под репродуктором толпились люди и, напряженно подняв головы, жадно слушали. Они верили в этот голос и ждали новостей, которые могли бы обнадежить, внушить веру в благополучный конец огромного несчастья.

В центре толпы, окруженный со всех сторон, прямо под репродуктором стоял Исмат-Арбакеш[1] — он понимал по-русски — и, яростно жестикулируя кулачищами, беспорядочно и горячо переводил:

— «Товарищи! Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои...»

Беда пришла безмерная, все это чувствовали.

Каракоз с Гаибназаром стояли тут же. Он сжимал ее руку так сильно, что ей впору было вскрикнуть от боли, но Гаибназар не замечал этого и все продолжал судорожно стискивать руку Каракоз, словно боясь, что жену отнимут...

Женщины плакали. Слишком много сыновей, мужей, братьев должны были уйти на войну.

Через два дня в кишлак приехал представитель военного комиссариата. Узнав об этом, парни разыскивали его по всему кишлаку.

— Где же он? Где остановился?

Наконец кто-то сказал: у Юсуфа. Все возмутились.

— Не нашлось другого дома?

— Где справедливость? Представитель военного комиссариата в гостях у человека, который с первого дня войны отослал сына подальше?

— Чего ты шумишь, откуда постороннему человеку знать Юсуфа и его грязные делишки?..

— Куда определили, там и остановился.

---

[1] Арбакеш — возница. Здесь: кличка.

— Неправда! Представитель государства должен принимать нас в официальной обстановке!

— Правильно говоришь!

Наконец, пошумев, отправились все к дому Юсуфа. У резных широких ворот остановились, и приятель Гаибназара Джура, подняв с земли камень, сильно постучал им в ворота. Несколько минут спустя приоткрылась калитка: и в ней появилась бритая блестящая голова Юсуфа-Дума. Он помаргивал заплывшими лисьими глазками.

— Заходите, джигиты, заходите. Мы ждали вас,— суетливо твердил он, всем видом показывая, что готов принять гостей.

— А что, пошлете учиться в Душанбе? — громко спросил Джура.

Юсуф побагровел, ответил, скосив глазки:

— Пошлем, если поедете...

— Не поедем. Пусть трусы учатся... как от фронта увиливать. А у нас дело поважнее.

— Хватит, ребята,— вмешался Гаибназар, успокаивая товарищей, и повернулся к Юсуфу:— Человек из военного комиссариата у вас?

— Здесь он, здесь, проходите.

— Вызовите его сюда.

— Вай, джигиты, зачем человека от дастархана поднимать? Заходите в дом, так будет лучше!

— Вам говорят: позовите! — крикнул Джура, протискиваясь к Юсуфу.— Что за человек этот представитель! В такое время посиживает, чаи распивает!

Поняв настроение юношей, хозяин молча, шаркая большими калошами, побрел в дом. И вскоре оттуда, сопровождаемый Юсуфом, вышел худощавый, небольшого роста, смуглый человек с волевым лицом, на котором круто выпирали скулы, подбородок, височные кости. Одет он был в офицерскую форму.

— Здравствуйте, ребята,— негромко и просто сказал он.— Извините, заставил вас ждать. Ну, куда пойдем? Ведите.

И все молча отправились к холму Русского. Впереди шел офицер, следом парни. Юсуф-Дум семенил сзади. Неожиданно его взгляд встретился с взглядом Гаибназара. И Юсуф отчего-то растерялся и, неловко улыбнувшись, спросил:

— Слышал, ты женился, Гаибназар... Хотел зайти поздравить, да все никак не соберусь...

— Появились дела поважнее, Юсуф-ака,— сдержанно ответил Гаибназар и больше уже не отвечал ни на суетливое поддакивание Юсуфа, ни на его причитания о «проклятом фашисте».

Поднявшись на холм, офицер сел на теплую землю, густо поросшую травой, и открыл старую, потертую кожаную папку.

— По очереди, ребята. Фамилия, имя...

Он записывал не торопясь, своими жестами и словами сообщая спокойную уверенность парням из кишлака. Потом выдал повестки и, попрощавшись с каждым за руку, сказал:

— Итак, в будущий понедельник всем в военный комиссариат. К отправке подготовиться как следует. Побольше набирайте теплой одежды.

В доме Ташбуви готовились к отправке Гаибназара. Выстиранная руками Каракоз одежда висела во дворе на веревке и вздымалась от порывов теплого летнего ветра. Ташбуви толкла в ступе толокно, стараясь стоять спиной к детям, чтобы не видно было быстрых слез, катящихся по лицу прямо в ступу. С самого утра приходили соседи, приносили каждый что мог: кто несколько шариков курта, кто немного кураги.

Во дворе Энакиз вдоль арыка весной Каракоз посадила тыкву. Одну, самую спелую, Энакиз срезала и сделала с нею самсу, приговаривая, пока она пеклась:

— На счастье, на здоровье, чтоб все хорошо кончилось.

С невысокого, согнувшегося от тяжести плодов дерева она сорвала несколько груш — первых в этом году.

— Пусть попробует, прежде чем уедет.

Вечерело... Возвращалось с гор стадо овец. Но ребятишки уже не приветствовали его радостными выкриками — все было тихо. Да и время текло необычайно медленно. Гаибназару, сидящему на своем крыльце, казались маленькими сейчас и дом, и дворик с арыком, даже Ойкор будто стал меньше. «Но он сможет остановить врага»,— подумал Гаибназар, с любовью глядя на знакомые с детства очертания вершин, на тополиную рощу, темнеющую вдали мрачной пятерней, словно когда-то очень давно великан оперся рукой о склон горы — и след остался...

Неслышно подошла Каракоз, вытирая о передник мокрые после стирки руки. Он оглянулся, взял ее ладонь и прижал к своей щеке.

— Пойдем,— сказал он, поднимаясь.

— Куда? — удивилась она.

— В Дуланазар... В последний раз пойдем... Хочу запомнить родные места, какие они сегодня, в последний вечер, с тобой...

Когда они подходили к Дуланазару, из-за гор медленно и величественно выплыла луна.

— Есть еще время до полнолуния, а? — спросил Гаибназар, кивая на луну.

— Да,— тихо ответила Каракоз.— Хоть бы этот год пролетел скорее. Проклятый год змеи. Всегда что-нибудь случается в год змеи. Мне кажется, и луна сделалась другой — холодной и чужой. И пятен как будто стало на ней больше.

— И ей тяжело, моя родная. Нелегко, наверное, освещать эти безрадостные вечера.

— И все-таки она счастливей меня! Она никого не отправляет на войну...

Он молча притянул Каракоз к себе, обнял за плечи.

— Как ты думаешь,— спросила она,— если перейти Мажнунтолсай и Дуланазар и взойти на вершину Барсакелмес, далеко оттуда до ледников, где лежит Покиза?

— Почему ты опять вспомнила Покизу?

— Если мы ее не вспомним, то кто же?..

— Но сегодня не надо вспоминать! — возразил он, хмурясь.

— Я так люблю эти места, Гаибджан, особенно Мажнунтолсай — как увижу, сердце сжимается. Здесь каждая ива похожа на одинокую девушку. А может, раньше они и были девушками, вышли погулять, разбрелись по лугу, и вдруг волшебные чары превратили их в плакучие ивы...

— Вечно ты сочиняешь небылицы... Вчера мы с ребятами ходили к Нурману-бобо, получили его благословение. Старик опечален этой войной и уверен, что она будет долгой: приметы есть. Говорит: «Вернетесь — меня уже не застанете в живых...» Мне так жалко его стало.

— Гаибджан, неужели война будет долгой?

— Что ты, любимая, я скоро вернусь.— Он увидел, как в ее глазах, в ее черных глазах, которые он так любил, блеснули слезы. Тогда Гаибназар взял в ладони ее лицо, повернул к себе:— Не мучай меня так, Каракоз!

Она заговорила горячо, сбивчиво:

— Что мне делать, ну скажи, что мне делать?! Я не могу представить себе жизни без тебя! Хоть месяц, хоть неделю! Мы никогда еще не расставались.

— А сейчас пришло время расстаться. Но ты будь мужественной, будь терпеливой. Теперь вся работа ляжет на плечи женщин...— Он вспомнил хитрую ухмылку Юсуфа-Дума, его повадки и глухо добавил:— Остерегайся старых волков кишлака.

...Густые сумерки мягко, бесшумно обволокли притихшие горы. Свечными огоньками затеплились над черными вершинами звезды. Огромный старый боярышник в двух шагах от Каракоз затаился, словно черный медведь, караулящий добычу.

— Ой, боярышник! Вот здорово, сейчас нарву ягодок! — Она бросилась к кусту, нагнула верхние тонкие ветки.

— Зачем тебе?

— Секрет.

— Нет, правда, зачем?

— Нарву ягодок, нанижу на нитку, а ты пришьешь их под мышку, с изнанки гимнастерки. Это бережет от беды и ран — так еще бабушка Нозик говорила.

— Ты веришь этому?

— Бабушка Нозик говорила всегда только сущую правду. Знаешь, я вспоминаю ее чуть ли не каждый день. И очень тоскую, что нет ее в живых.

— Пять лет уже...— задумчиво произнес Гаибназар.— Да, лучшего человека я не знал. Она все умела, помнишь? Знала названия всех трав и умела лечить все болезни.

— А как она давала советы! Выскажешь ей, что на душе, и сразу легче становится...

Гаибназар потянулся к кусту — помочь Каракоз.

— Нет, не трогай! — воскликнула она.— Только я должна это сделать.

Она сосредоточенно искала что-то в ветках боярышника, пригибала их низко, обламывала.

Лежа на спине, Гаибназар внимательно и влюбленно смотрел на ее загадочные, мягкие, полные древней женской тайны движения. При свете луны белело ее лицо, мелькали двумя тихими голубками руки, и сердце Гаибназара наполнялось неведомой ему до сих пор нежной тоскливой страстью, жадной, огненной силой желания. Каракоз рассовывала ветки по карманам жилета, про-

водила ими по глазам, бровям, сосредоточенно, трогательным шепотом читала молитву.

Гаибназар рывком сел на траву, обнял колени, сильно, мучительно хрустнул пальцами и негромко позвал:

— Каракоз!

Она оглянулась.

— Я собираю тебе ягоды. Вот, в твою тюбетейку.

— Иди ко мне...— проговорил он.

— Сейчас, соберу полную...

— Иди же...— тихо и страстно повторил он. И Каракоз вздрогнула от этого голоса и бросилась к нему, опустившись рядом на колени.

— Что? — дрожащим шепотом спросила она.— Чего тебе?

Он молча сильно обнял ее, увлекая за собой на траву, и тюбетейка выпала из ее рук, красные ягоды боярышника рассыпались, затерялись в густой пахучей траве...

Тихо, монотонно шумел листвой Дуланазар. Неподвижная медная луна играла маленькими камешками в сае. Вода бормотала что-то, сердилась, унося с собой камешки в дальние дали, а они не хотели покидать любимый сай, таинственные игры с луной и цеплялись друг за друга, пытаясь остановиться. С ближнего утеса донесся горький надрывный крик кеклика, гремя камнями, куда-то быстро пробежала газель...

Природа была опьянена любовью. Все сущее было только страсть.

На рассвете они вернулись в кишлак...

Запыленный грузовик с поднятыми бортами стоял возле школы. Шофер — русский парнишка с юным усталым лицом, ввалившимися глазами — время от времени покрикивал по-узбекски:

— Давайте, давайте, ребята! Пора...

Но отчего-то не ехал, все не ехал, с тоской оглядывая толпу провожающих. Плач, причитания, стоны слышались со всех сторон. Провожать ребят пришли близкие и дальние родственники, и соседи, и просто знакомые — словом, перед школой собрался весь кишлак. В этой сутолоке, в слезах, в беспорядочном повторении прощальных слов Гаибназар никак не мог проститься

с Каракоз по-настоящему. Все ему казалось, что главное-то он не сказал, что-то забыл и уже не вспомнит.

— Береги нож отца,— в который раз говорила Ташбуви.— Не потеряй, смотри! Вещь погибшего за веру спасает от несчастья.— И снова и снова целовала сына, не отпуская его от себя.

— Давайте, ребята! — взмолился шофер.

Стали поспешно напоследок обниматься. Гаибназар наконец обнял Каракоз, прижался лицом к ее лицу. На губах его остались ее слезинки.

— Я тебе отвечу на стихи,— быстро, горячо бормотала она,— обязательно отвечу, завтра же! Ты напишешь?

— Я обязательно напишу, сразу же, как приедем! Каждый день буду писать, ты слышишь?

Грузовик заурчал, качнулся, подал назад и стал медленно разворачиваться.

— До свидания, мама! — крикнул Гаибназар, стоя в грузовике среди других парней, отчаянно машущих руками, что-то кричащих.— Каракоз оставляю на ва-ас! Прощайте, Энакиз-хола!

— Будь здоров, мальчик мой! Возвращайся с победой!

Он смотрел на высокую фигуру матери, на ее скуластое, темное от загара лицо, на маленькую, сутулую уже Энакиз-холу с непокрытой седой головой, на тонкую беззащитную Каракоз, стараясь все запомнить.

Когда грузовик отъехал уже метров на сто, Каракоз вдруг выбежала на дорогу и удивительно быстро помчалась вслед за машиной.

— Гаибджа-ан! — умоляла она, протягивая к грузовику руки.— Вернись, Гаибджан!

Шофер высунул рыжую голову из кабины, сморщился страдальчески, закрутил головой и прибавил газу.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

На третий день после отъезда Гаибназара Каракоз вышла на жатву.

— Вай, нехорошо, не прошло еще и сорокадневья[1] после твоего замужества! — говорила Ташбуви.— Нехорошо, что люди скажут...

[1] Здесь то же, что медовый месяц.

— Сейчас все выходят на жатву,— возражала Каракоз,— и старики и дети. В бригаде Гаибназара жнецов не хватает. Вот я и буду вместо него.

Бригадой теперь руководила Зухра-опа, женщина энергичная, властная, умевшая и поспорить, и с мужиками сцепиться. С этой женщиной считались все — от председателя до табельщика. Тихонь она не любила, посмеивалась над ними и всячески задевала. Зухра-опа трудилась не зная усталости с утра до поздней ночи и от других требовала того же. Не считая нескольких стариков, на полях работали одни женщины. Но обмолотом пшеницы и отправкой ее в район занимались мужчины, не призванные на фронт по каким-либо причинам.

Еще не окончилась жатва, как на поля уже высыпали сборщики колосьев. Напуганные голодом, который пророчили старики, они не оставляли на земле ни зернышка. Чабаны ворчали: на сжатых полях теперь невозможно было пасти скот. Приходилось угонять его подальше в горы.

Дни пролетали быстро, проходили недели, а конца войне не было видно. Письма от Гаибназара шли, правда, аккуратно, и Каракоз отвечала сразу, в тот же день, подолгу сидя возле керосиновой лампы, мусоля карандаш.

Она ждала ребенка. И это странным образом успокаивало ее, вносило мир и равновесие в ее исстрадавшуюся душу. Ей казалось, что, пока она носит его ребенка, с Гаибназаром ничего не может, не должно случиться.

Обе матери через день ходили на базар продавать кислое молоко. На вырученные копейки покупались драгоценные полкилограмма пшеницы. И это было очень кстати, потому что кончались запасы зерна, оставшиеся после ухода Гаибназара на фронт. Энакиз и Ташбуви, как сговорившись, подсовывали лучший кусок Каракоз. А когда она сердилась, уговаривали:

— Ты сейчас двоих кормишь.

Зима пришла холодная, с ветрами, с гололедом. Такой зимы не было в их краях лет пятьдесят. Старики качали головами, говорили про какие-то приметы. Ойкор стоял снежный, суровый, неприступно-холодный.

В эту зиму, как в детстве, Каракоз подолгу сидела у окна. Но теперь это было окно Гаибназара. Из этого окна он всегда смотрел на нее, когда она мыла голову.

К этому подоконнику прикасались его руки. Часто, оставаясь одна, Каракоз наклонялась и трогала губами побелевшие от времени доски. Вот только окошко было повыше, чем в доме Каракоз. Если не подложишь тюфяк потолще, то и на улицу не поглядишь. Хорошо было в доме у мамы: подбородок приходился как раз на край подоконника. Смотришь, смотришь, бывало, на улицу и не заметишь, как уснешь. А отцовская могила видна и отсюда. Чудно́ получается — день и ночь отцовская могила перед глазами, стоит только в окно взглянуть, а вот проведать отца, посидеть около его могилы — это случается только раз в год, на курбанхаит[1]. Обычно они с матерью подходят чинно, понурясь, торжественно и молча стоят над холмом, под которым лежит отец. Потом садятся, и мать принимается рассказывать разные разности, вспоминать времена, когда отец еще был жив. Рассказывает и плачет. И Каракоз вначале поплачет, а потом сидит тихонько, подбородок в колени уткнув. Энакиз обнимает ее и говорит нараспев, печально, подняв лицо к небу: «Аллах, дай Каракоз долгой жизни...» В первые годы после смерти отца Энакиз все никак не могла успокоиться. Ничего не помогало. А потом старуха гадалка научила взять с могилы щепотку земли, размешать в воде и выпить. Говорят, это успокаивает. Земля холодная, со временем и страдающее сердце охладевает, забывается... Тяжелее всего страдания живых...

...В эти зимние месяцы Каракоз спала плохо, во сне металась, плакала, сны все были странные, отрывистые. Она просыпалась и сразу забывала их. Но тот сон о Покизе и горящих ледниках помнила, все не выходили из головы обугленная Покиза на белом коне, черный как сажа снег, далекие, объятые пламенем ледники.

Она много плакала, и ее старались не оставлять одну. И свекровь и мать чувствовали состояние Каракоз. Почти каждый день она перебирала вещи Гаибназара, подолгу держа в руках ту рубаху, в которой он был в последний день, на Дуланазаре. Ребенок в животе толкался, будто устраивался поудобнее, и с каждым днем, прислушиваясь к его ласковой, несмышленой еще, нездешней жизни, она любила его все сильнее и еще больше думала о Гаибназаре.

---

[1] Курбанхаит — мусульманский праздник жертвоприношения.

В эти дни почему-то вспоминалось детство, и с высоты нынешнего сурового времени оно казалось тихим, отрадным и трогательным.

Иногда она повторяла про себя «Верблюда» — их песенку-считалку, которую придумал Гаибназар. Между вершинами Кизилташ и Учкул высилась гора, похожая на улегшегося верблюда. Давным-давно расшалившимся детям бабушка Нозик грозила: «Разгневаются вершины гор, задует ветер, разыграется буран. Встанет Верблюд во весь огромный рост и зашагает. Всех затопчет!»

Когда, случалось, поднимался буран, они хором просили Верблюда:

Верблюд! Вели успокоиться ветрам,
Пусть не воют так страшно и дико.
Ляг преградой на их пути.
И покой придет к человеку.

И часто ветер затихал... Где же те прекрасные времена, вернутся ли?..

Каракоз мучилась вторые сутки. Люди говорят: «Солнце не должно вставать над головой роженицы дважды». Но, видно, права была Ташбуви, когда сетовала, что нет Гаибназара возле жены в такой день. Старухи толкуют: ребенок не хочет появляться на свет без отца. Не помогла и скатерть, дважды обнесенная вокруг головы роженицы[1]. Каракоз металась, молча стискивая руками легкое покрывало.

К вечеру схватки стали невыносимы. В минуты, когда отпускала тело мучительная острая боль, Каракоз приподнималась на локте, просила пить и, случалось, не успев поднести ко рту чашку, роняла ее, пронзенная парализующей судорогой в пояснице.

— Кричи, доченька...— плакала растрепанная, осунувшаяся за эти двое суток Энакиз.— Зачем ты молчишь?

Тускло горела старая керосиновая лампа, возле нее мельтешила мошкара. Желтые блики падали на потный лоб Каракоз, освещая спутанные черные волосы.

В один из мучительных приступов боли во дворе вдруг раздался голос почтальона. Он звал Каракоз. Ташбуви, разгоряченная, в калошах на босу ногу, выскочила во двор и, выхватив из рук почтальона солдатское

[1] По мусульманскому поверью, это облегчает роды.

письмо, побежала в дом. Старик остался стоять во дворе обескураженный.

— Каракоз, доченька, письмо! Письмо от Гаибназара! Открой глаза, посмотри, его почерком написано письмо!

Она одной рукой пыталась приподнять отяжелевшую голову Каракоз, а другой поднесла конверт к ее глазам. Но Каракоз вдруг, с неожиданной силой оттолкнув ее руку, выгнулась, мучительно напрягая спину, и закричала впервые за двое суток — пронзительно и страшно.

Ее дикий крик вылетел во двор, и старик почтальон, словно очнувшись, уважительно, с состраданием покачал лысой головой, улыбнулся в редкие седые усы и присел на крыльцо.

Отец шестерых дочерей и девяти сыновей, он знал, что вслед за этим криком должен последовать другой — крик новой жизни. И он последовал — жадный, требовательный писк новорожденного ребенка. Потом наступила хлопотливая тишина, нарушаемая лишь быстрым шарканьем калош по деревянному полу комнаты и отрывистыми негромкими возгласами. Минут десять спустя дверь открылась, и из дома вышла пошатываясь измученная Ташбуви. Она опустилась на крыльцо рядом с почтальоном и сказала тихо и счастливо:

— Мальчик... Сын...

На ветке старого абрикоса с ней радостно соглашался удод.

На следующий вечер Каракоз уже писала ответ мужу.

«Здравствуй, Гаибджан! Он родился, наш мальчик... Чтобы ты вернулся скорее, а он бегал всегда и всюду за тобой, держась за твой палец, я назвала его Отакузи[1]. Пока он смешной и ничего не понимает. Смотрит, моргает. Я спрашиваю его: «Где твой отец?» Он молчит. Обе бабушки уверяют, что он похож на тебя... Возвращайся до того времени, как он начнет говорить. Иначе что я отвечу, когда он спросит про тебя? В кишлаке у нас голод. Люди едят даже молодую траву и пухнут от этого. Много умерло зимой. У Дустмурада-бобо умер средний сын Шавкат. Да и сам старик еле ходит. Когда встречает меня, обязательно останавливает, спрашивает о тебе. Недавно его жена приходила, хотела одолжить немного кислого молока. Но мама несла все молоко на

---

[1] Ота — отец, кузи — ягненок. Буквально: ягненок при своем отце.

базар. Я отыскала спрятанные матерью четыре кусочка курта и отдала бедняге. Она благодарила меня до самой двери — все пятится и повторяет: «Дай аллах здоровья, дай аллах вам сына, здорового, красивого, да чтоб Гаибджан вернулся живым-здоровым». Но мама, возвратившись с базара, выбранила меня: «Хватило бы и двух штук, сейчас не время для гостинцев». Потом подумала и сказала. «Ладно, приближаются роды, хорошее дело сделала. Аллах даст, все обойдется хорошо». Видишь, все так и вышло... Мы, к счастью, не голодаем. Матери прядут, каждый день носят на базар кислое молоко. Скоро жатва начнется. Говорят, всем женщинам опять придется выйти в поле. Мама говорит: «Подождешь, пока окрепнет ребенок, успеешь наработаться». Привет тебе от обеих бабушек, от маленького Отакузи. Когда ты приедешь?.. Гаибджан, когда ты вернешься ко мне?..»

После рождения Отакузи от Гаибназара перестали приходить письма. Тяжело, тоскливо тянулись дни. Каракоз прятала свой печальный взгляд, стараясь, чтоб не заметили ее тягостного настроения мать и свекровь, подолгу возилась с маленьким сыном. Каждое утро она бежала к школе — слушать новости с фронта, как будто спокойный, уверенный голос в репродукторе мог сказать ей что-то о Гаибджане. Ночью она не смыкала глаз. И тогда на ум ей приходил тот сон о Покизе и горящих ледниках. Всеми силами она старалась успокоить себя, уверяла, что Гаибджан здоров и просто по какой-то серьезной причине не может прислать весточку.

А однажды тайком сходила к старухе гадалке в соседний кишлак. Старуха умела заговаривать воду. Она поколдовала над большой пиалой, побормотала что-то однообразно и монотонно, наконец подняла голову.

— Жив ваш муж, жив. Вижу целые зерна пшеницы. Вернется. А что не пишет — так, может, ранен или в окружении...

Обрадованная Каракоз сунула в руки гадалки узелок с кукурузной лепешкой и тремя шариками курта и, возвращаясь домой, всю дорогу напевала еле слышно: «Вернется, вернется, вернется!..»

Поля желтели, сбрасывая свой зеленый халат. Таяли снега на вершинах Ойкора.

...За день до начала жатвы, утром к ним пожаловал сам Юсуф-Дум. Позади, опираясь на палку, ковылял Элмурат, который стал ныне видным человеком в киш-

лаке,— он заведовал распределением трудодней и за последние месяцы так притерся к Юсуфу-Думу, что всюду ходил за ним по пятам.

— Ташбуви-опа, сами понимаете, какое время сейчас,— проговорил Юсуф, широко улыбаясь, и за его плечом сразу расцвела так же широко и приветливо улыбка Элмурата.— Вся работа сейчас на женщинах и стариках. Все обессилели. Так вот, пришел предупредить вас: пусть на жатву выходит ваша невестка. Негоже дома прятаться, когда все в поле...

— Но у нее грудной ребенок, Юсуфджан-ака! — взмолилась Ташбуви.— Пусть окрепнет немного!

— На жатве все женщины и у всех дети,— непреклонно и наставительно возразил Юсуф-Дум, а Элмурат подхватил:

— Ничего, на току детский сад организуем.

— Какой детский сад, дорогой! Он совсем крошка. Разве так поступают люди...

— Смотрите, Ташбуви, вас предупредили... Люди разные бывают. Кто неприятностей боится, а кого они и не тревожат, хе-хе, даже развлекают!

Юсуф-Дум переглянулся с Элмуратом и шагнул к двери. Тот поспешно заковылял следом...

Через день Каракоз вышла на жатву. Теперь на рассвете уходила на поле, едва успев покормить Отакузи, поздно вечером возвращалась — еле живая, с разламывающейся от усталости поясницей. Грудь болела и набухала от прибывающего молока, часто ее било в ознобе или вдруг жаром обдавало лицо и плечи, а ребенок недоедал, ему не хватало молока, сцеженного наспех на рассвете.

Но хуже всего было то, что писем от Гаибназара все не приходило. Просыпаясь глубокой ночью, словно от толчка, Каракоз уже не могла уснуть и тихо плакала, стараясь не разбудить ребенка, теплым родным комочком лежащего рядом.

Большинство работающих на поле были девушки-невесты и молодые женщины. Разговоры и шутки не смолкали ни на минуту. Пожилые арбакеши и рабочие на току поддевали женщин бесстыдными замечаниями, те ахали, возмущались, и часто за всех отвечала разбитная, языкастая Зухра-опа. Вокруг нее собиралось еще несколько таких же, как она, мужеподобных энергичных женщин, ничего не боявшихся, никого не стыдившихся. Подоткнув подолы платьев, они работали, не ща-

дя себя, ни в чем не уступая мужчинам, переругиваясь с ними задорно и нахально.

Эти острые на язык женщины посмеивались над Каракоз. Она никогда не прислушивалась к их разговорам, не смеялась на бесстыдные шутки, занятая своими горестными мыслями. Когда выпадали редкие свободные минуты, она садилась поодаль от всех, такая же задумчивая и молчаливая, не отвечая на колкие замечания.

Снопы, связанные бригадой, в которой работала Каракоз, отвозил к току рыжеволосый кудрявый мальчик по имени Хужа, с худощавым безусым лицом, на котором неизменно лучилась доверчивая, доброжелательная улыбка. Женщины баловали вниманием этого красивого мальчика, и он смущался, густо краснел, не отвечая на задиристые вопросы. С первых дней работы на поле Каракоз ловила на себе его восторженный преданный взгляд, но сразу отводила глаза, хмуря брови. Как только выпадало свободное время, он бросался помогать Каракоз вязать снопы, все так же ласково улыбаясь ей.

— Ты погляди, как Хужа вьется вокруг нашей молчальницы!

— Э-э, не говори, недаром молвят: кто молчит, тот себе на уме!

Женщины перемигивались, громко смеялись, но и во взглядах, и в обрывках их фраз проскальзывала откровенная зависть.

— Не подходи больше, — хмурясь, негромко сказала Каракоз Хуже.— Видишь, смеются люди. Сама справлюсь.

— Так они ж шутят! — с мольбой возразил он. Но перечить ей не стал, отошел к своей арбе и оттуда молча грустно смотрел, как работает Каракоз.

Этот мальчик своей доброжелательностью, открытым нравом, желанием помочь и угодить напоминал ей Гаибназара, и она отворачивалась, сжимая зубы, сдерживая подступающий к горлу комок слез.

Далеко-далеко к горизонту уходили желтые поля спелой пшеницы...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Когда она услышала эти страшные слова, ей показалось, что рухнул с невообразимым шумом Ойкор. А это просто заколотилось бешено ее сердце и в глазах потемнели разом небо, желтые поля, зеленые склоны

гор. От неожиданности она даже не заметила, кто принес эту ужасную новость. Так и стояла на поле одна-одинешенька: все жнецы разбрелись после работы. Да и то правда — время тяжелое, у каждого свое горе. Но это... Вырвать бы язык тому, кто сказал: «Гаибназар перешел к немцам, вы слышали?» Страшная весть ходит среди женщин, передается от одной к другой. Кто это сказал, кто? Зухра-опа? Мастон? Кто?! «Вы слышали, Гаибназар перешел к немцам...»

Как дошло это до забытого аллахом горного селения, за тысячи, тысячи километров от линии фронта?

Неправда! Не может быть! Ведь люди знают, что за человек Гаибназар! Он и немцам показал, кто он есть! Да, да, показал!

Господи, что будет, когда узнает мама...

С этого дня люди стали сторониться Каракоз. Только Гуландом, дочь Яманкула-бобо, заговаривала с ней по-прежнему просто и дружелюбно да часто подходил Хужа, помогал вязать снопы.

Казались вечностью длинные тягостные дни. Каракоз совсем замкнулась в себе, стала молчаливей, чем прежде, и работала много, ожесточенно.

В один из таких дней она вернулась с работы пораньше. С утра ей чудилось, что дома случилось неладное, заболел сын. И, сжав свой участок раньше срока, она отпросилась у учетчика. Домой почти бежала, не поднимая головы на встречных людей, глядя себе под ноги.

Но предчувствие обмануло ее: дома все было по-прежнему. Во дворе под старым карагачом на деревянной сури раскинулся в сладком дневном сне Отакузи. В маленьком кулачке он крепко сжимал зеленый стручок гороха. Рядом с ним задремала Энакиз.

Каракоз неслышно подошла к сури, загляделась на лицо сына с нахмуренными во сне, черными, как у отца, бровями, маленьким пухлым ртом. «Только бы ты был здоров, только бы ты был здоров...» — повторяла она про себя. Энакиз бормотала что-то в дремоте. Каракоз привыкла к этому с детства. Мать и прежде разговаривала во сне, кого-то хвалила, кого-то ругала. Она стала такой беспокойной после смерти отца...

Энакиз проснулась, когда Каракоз, отойдя к арыку, умывала лицо бегущей прохладной водой.

— Что так рано сегодня, дочка? — воскликнула она, заправляя под косынку выбившиеся пряди волос.

— Отпросилась у учетчика. Показалось, что Отакузи заболел. Он вялый утром был... Я побыстрей все сделала и ушла.

— Не истязай так себя работой — надорвешься,— сказала мать.— Не забывай, что у тебя грудной ребенок.

— Ну что вы, мама, как можно не работать в такие дни! — возразила ей Каракоз.— Саранча пожирает зерно, нужно как можно скорее закончить жатву. Говорят, в России ужасный голод.

— Это все тянутся несчастья прошлого года, года змеи. Ты помнишь, и в прошлом году саранча напала на поля?

Каракоз поднялась, вытирая платком мокрое лицо.

— Идет кто-то...— проговорила она, прислушиваясь к шагам за калиткой.— Наверное, мама с базара возвращается.

Калитка распахнулась, и Каракоз с матерью застыли от неожиданности: во двор неспешно и важно, как к себе домой, вошел Самандар Холодный. Он прикрыл за собой калитку и развел руками, как бы собираясь обнять сестру и племянницу.

— Здравствуйте! — Он улыбался, всем своим видом давая понять, что не происходит ничего особенного — к одной пришел брат, к другой — дядя. Все породственному, по-хорошему.— Как поживаете, мои дорогие?

Энакиз засуетилась, бросилась встряхивать шкуры на деревянной сури и расстилать их снова.

— Проходи, братец, проходи... Слава аллаху, ничего поживаем, ничего...

— Как живешь, Каракоз? Почему никогда не зайдешь к нам? — продолжал расспрашивать Самандар, удобно усаживаясь на сури.— Родственников забывать — грех.

— Зайдет, братец, зайдет,— торопливо заговорила Энакиз.— К кому же ей еще ходить, как не к родному дяде. Как здоровье твое, дорогой, Мастоной не болеет?

— Слава аллаху, ходим потихоньку,— усмехнувшись, ответил Самандар.— Тянемся понемногу... Хотя, конечно, тяжело приходится, как и всем.

Каракоз, взяв на руки Отакузи, молча отошла к крыльцу и села там, не скрывая неприязненного чувства к дяде.

Он, искоса взглянув на племянницу, продолжал:

— Вот пришел проведать, все-таки родная кровь, надо, думаю, заглянуть...

— Дай аллах здоровья тебе, братец. Конечно, близкие люди не должны забывать друг друга...

Воцарилась тягостная пауза. Энакиз теребила концы платка, не зная, что еще сказать брату. Каракоз упорно молчала.

— Похоже, эта война затянется...— начал Самандар осторожно.

— Да! — подхватила торопливо Энакиз.— Такое горе!

— Еще и Гаибназар, проказник, что-то там натворил. Мог бы с умом все сделать. Поговорить там с каким-нибудь доктором, какую-нибудь бумагу-справку достать, как это люди делают... Вернулся бы, как участника войны мы б его здесь почестями не обделили...— Он обращался к сестре и не видел, как, побелев, прижимая крепко сына, медленно поднималась с крыльца Каракоз.— ...Сделали бы отвечающим за урожай, и все остались бы довольны...

Казалось, он говорил с удовольствием, и даже растерянность и слезы в глазах сестры будто доставляли ему огромную радость.

— Что ты сказал?!

Самандар оглянулся — перед ним стояла бледная, еле сдерживающая ярость Каракоз.

— Ты, подлец, пришел поздравить нас с этой страшной вестью? Убирайся! Эти слухи распускаешь ты и тебе подобные!

Самандар вскочил, попятился к калитке, с возмущением размахивая руками:

— А ты молчи! Жена изменника! Я виноват, видите ли, перед ними, что пришел проведать! Да подыхайте себе, как собаки! Еще и вас расстреляют из-за этого пса-предателя!

Отакузи на руках Каракоз заплакал громко, жалобно. Она молча сунула мальчика оторопевшей Энакиз и, подбежав к сараю, схватила тяжелые вилы. Увидев это, Самандар, испуганный, бросился к калитке.

— Опомнись, Каракоз! — пронзительно крикнула Энакиз.

Но Каракоз, с необыкновенной легкостью подняв вилы, ринулась на Самандара.

— Гаибназар — предатель?! Это твой сын, которого ты упрятал за Ойкор, предатель! Убирайся отсюда, под-

лец! Я убью тебя! — кричала она, уже не владея собой.

Самандар, громко ругаясь, убегал вдоль забора прочь от дома сестры.

Каракоз с силой воткнула вилы в землю и зарыдала. Ей вторила жалкая, насмерть перепуганная Энакиз. Эту картину и застала вернувшаяся с базара Ташбуви. Молча, угрюмо выслушав всю нехитрую историю, она решительно проговорила:

— Довольно. Завтра поеду в район.

— Зачем? — спросила Энакиз.

— В военкомат поеду. Там все знают, должны знать. Пусть они скажут мне, что мой сын — предатель.

Ранним утром она вышла из дому и на попутном грузовике уехала в район.

...Возвратилась она под вечер, когда смеркалось. Тот же колхозный грузовик притормозил на дороге у поворота, где часа два неподвижно, как солдат на посту, ждала свою свекровь Каракоз. Машина еще не остановилась, а Ташбуви уже кричала прямо из кузова:

— Неправда! Все неправда! Клевета! — И, выбравшись из грузовика, горячо продолжала рассказывать невестке: — В военкомате сказали: «Мамаша, нам такое сообщение не поступало. Спите спокойно, мамаша».— Она засмеялась.— Рыжий такой военный, веселый! — И повторила, копируя военного: — «Мамашя, мамашя!» Проклятые, не оставляют в покое ни живых, ни мертвых, ни тех, кто далеко, ни тех, кто близко... Милостивый аллах! Пусть мой сын вернется живым и невредимым, он покажет вам! Губы в кровь разбила бы негодяям, кто распустил этот слух!

И долго еще Ташбуви грозила кулаком неизвестно кому и снова начинала рассказывать плачущей Каракоз все сначала, с того момента, как открыла она дверь в помещение военкомата.

А сверху, с роскошного темно-синего бархата неба, смотрела безразлично медно-желтая луна и видела две женские фигуры, бредущие по пыльной дороге в кишлак: одну — высокую, костистую и крепкую, другую — трогательно тонкую и беззащитную.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Труд был спасением. Только работа отвлекала Каракоз от назойливых мрачных мыслей. Она жала, вязала снопы, сама относила их на ток, снова жала, снова

вязала. Ничто не убивало так, как страшные картины гибели Гаибназара, являвшиеся в ее воображении непрошено и ярко, убеждая больше, чем любая действительность. Она отгоняла ужасные мысли и принималась за работу еще ожесточеннее.

Время от времени приходилось спускаться к саю. На берегах его, густо заросших высокой травой, в изобилии росла дикая мята, которой перевязывали снопы. Как-то, нарвав пучок мяты, она поднималась от реки и вдруг услышала крик Хужи — взволнованный, радостный:

— Каракоз-опа-а-а! Каракоз-опа-а-а! — Через секунду он показался наверху, размахивая руками.— Каракоз-опа, вам письмо-о!

Каракоз оступилась, упала, больно ударившись о камень, тут же вскочила и, прижимая к груди пучок мяты, припустилась бежать что было сил. Рыжий Хужа бежал рядом с ней, возбужденно рассказывая:

— Почтальон сказал, что даст только вам в руки, лично! Я говорю ему: «Дайте мне, я ее братишка!» Не согласился... Это от него, наверное, от Гаибназара-ака! Да здравствует Гаибджан, герой нашего кишлака-а-а!

На поле жнецы окружили старика почтальона тесной толпой. Все ждали новость — горестную или радостную, важно, что это была новость с фронта. Задыхающаяся Каракоз бежала к почтальону, расталкивая людей, ничего не видя вокруг.

— Вот я, вот я, отдайте! — бормотала она пересохшими губами.

— Это заказное письмо, распишись вот здесь,— сказал старик почтальон, протягивая Каракоз какую-то бумагу и смачивая слюной толстый красный карандаш. Каракоз, невидящим взглядом уставясь в бумагу, дрожащей рукой расписалась там, куда ткнул пальцем старик. Потом схватила письмо и, прижав его к груди, бросилась в сторону.

— Каракоз, подожди! Может, не от Гаибджана письмо, может, по-русски написано! — наперебой закричали ей жнецы.— Открой конверт.

Она остановилась, опасливо огляделась вокруг, словно кто-то мог отнять у нее письмо, и судорожно рванула край конверта.

— По-русски написано...— беспомощно проговорила она.

— Постойте, я мигом за Исматом-Арбакешем сбегаю! — вскинулся Хужа.— Он здесь, на соседний ток снопы повез! Сейчас!

Каракоз кивнула, посмотрела на подпись: «Майор Русов». А в голове у нее стучало: «Не похоронка, не похоронка, а письмо. Значит, жив. Жив!»

Подошел Исмат-Арбакеш, решительно, по-хозяйски взял письмо из рук Каракоз и стал громко читать, воодушевленно ставя в конце каждого предложения восклицательные знаки:

— «Уважаемая сестренка Каракоз! Я пишу вам из госпиталя, в котором лечится ваш Гаибназар! — Исмат-Арбакеш гордо взглянул на собравшихся жнецов, откашлялся и продолжал читать: — Чувствую, что вы с нетерпением ждете от мужа письмо, переживаете, думаете о нем день и ночь. Мы обязательно победим. Потому что в нашей армии сражаются такие бойцы, как ваш Гаибназар. Он был тяжело ранен, но сегодня уже открывает глаза и все смотрит в окно госпиталя. Наверное, соскучился по вашему жаркому солнцу. Я показал ему жестами, что напишу это письмо, он кивнул: «Да». Не отчаивайтесь, верьте в победу, она придет обязательно. Гаибназар вернется, но пока вы должны работать за него! Только общими усилиями мы одолеем проклятого фашиста! С уважением, командир роты майор Русов».

Исмат-Арбакеш торжествующе глядел на сотрясающуюся в беззвучном плаче Каракоз. Все молчали, наконец кто-то громко и отчаянно захлопал в ладони. Это был Хужа. И все сразу шумно заговорили, стали поздравлять Каракоз.

— Товарищи! — энергично рассекая воздух сжатым загорелым кулаком, воскликнул Исмат-Арбакеш.— Вы слышали все, что написал командир! На эти слова отмалчиваться нельзя! Только общими усилиями мы одолеем фашиста! Я предлагаю выполнить сегодня двойную норму работы! Что скажете?

— Правильно говорит!

— Приналяжем, одолеем!

— За работу, друзья!

Спрятав драгоценное письмо в карман жилета, счастливая, окрыленная, Каракоз не замечала ничего вокруг. Только взмахи серпа и колосья пшеницы. Зашло солнце, потемнели склоны Ойкора, на Коккутане зажегся костер чабана. Луна окрасила желтое пшенич-

ное поле в цвет тусклой латуни. Люди все не уходили с поля, и казалось, что их работе не будет конца.

Ветер гнал волны пшеницы до самых склонов Ойкора, это было похоже на морские валы, разбивающиеся о прибрежные скалы. Над полем стоял скрип арб, разноголосый говор жнецов, шум близкой воды, и где-то недалеко протяжно и скучно выл волк. В ответ в кишлаке заливались воинственным лаем псы.

Наконец, уже в густеющей темноте женщины сдали серпы старшему на току, бросились к кувшинам с водой, споря, кому первому умываться. Идущую с поля Каракоз догнала веселая Гуландом и ласково обняла за плечи. Каракоз, словно очнувшись, взглянула на нее и, улыбаясь, предложила:

— Пойдем через Дуланазар?

— Что вы, медведи нападут! — испуганно сказала Гуландом.

— Откуда медведи на Дуланазаре! Они только на Кизилташе встречаются.

— Да ну, боюсь...

— Чего боишься? Смотри, луна светлая, прозрачная, вечер такой теплый.

— Все равно боязно. Вон Хужа! Если он пойдет с нами, тогда, пожалуй... На Дуланазаре, бывает, и дурные чабаны встречаются.

— Ну, крикни ему...

— Хужа-а! Эй, паинька! Пойдешь с нами через Дуланазар?

Хужу не надо было звать дважды. Радостно улыбаясь, он со всех ног помчался к Каракоз.

Когда они спускались к Дулансаю, в лица их влажно и успокаивающе задышала прохлада горной реки, струистые воды которой осторожно и властно увлекали за собой длинные ветви плакучих ив.

— Здравствуйте-е, го-о-о-оры-ы! Он жи-и-ив! Он вернется!

Прогрохотало эхо в горах, покатилось вверх по ущельям, в свободное темное небо, перекликнулось несколько раз само с собой и смолкло.

Гуландом и Хужа с восторженным удивлением смотрели на Каракоз. Сейчас она казалась им сказочной и сильной, как эти древние горы, и они преданно ждали ее повелений.

По узенькой спирали тропинки, держась за ветви арчи, они добрались до реки. Каракоз припала к зна-

комому боярышнику, прижала пересохшие губы к его бугристому стволу...

— Спасибо тебе, родной, уберег его от смерти,— бормотала она.— Дай аллах тебе быть всегда цветущим! Вот вернется он живым и здоровым, мы придем к тебе вдвоем и повесим на твои ветки венки из мяты...

Гуландом и Хужа молча переглядывались, следя за ее действиями. Вдруг Каракоз вскочила, нагнулась к реке, набрала в пригоршню воды и метнулась к боярышнику.

— Вот так... вот так...— приговаривала она, поливая водой землю вокруг ствола. И Хужа тут же, сняв с головы тюбетейку, бросился ей на помощь. Потом, водрузив на голову тяжелую промокшую тюбетейку, стал камнем прорывать от реки арычок в сторону боярышника.

— Искупаемся, а? Каракоз-опа? — задорно воскликнула Гуландом и, смеясь, велела парню: — Иди купайся ниже, только не удери совсем.

Хужа смущенно отвернулся и побрел вниз по берегу реки.

Гуландом разделась и — угловатая, с выпирающими ребрами и ключицами,— взвизгнув, разом села в воду по самую шею. Она ухватилась за свисающие ветви ивы и крикнула:

— Каракоз-опа! Сюда! — И махнула длинной худой рукой.

Ледяная вода жгла разгоряченное тело, сильно увлекала течением вниз, так что приходилось цепляться за ветви. Через несколько минут Каракоз выбралась на берег и, чувствуя спиной и плечами теплое дыхание нагретого за день воздуха, оделась. Гуландом все еще плескалась в темноте длинной белой рыбой. Метрах в двадцати от них ниже по течению лежал на спине Хужа, пытаясь удержаться в воде.

— Э-эй, бесстыдник! — крикнула ему Гуландом и бросила в него камешком.— Вставай, чего разлегся на мелкоте?

Хужа вяло перевернулся на живот и приподнял голову.

— Не приставай! — откликнулся он.

Тогда в него полетела целая пригоршня мелких речных камней.

— Вставай, бессовестный! Смотрите-ка, лежит, не стыдится!

— Не бросай камни, сказано тебе! Прежде не стеснялась купаться с ребятами, а сейчас очень стыдливая стала!

...Каракоз сидела на берегу, перебирая мокрые пряди длинных волос, слушала веселую перебранку Хужи с Гуландом и думала о том, что вот такими же были и они с Гаибназаром — кажется, вчера все это было, а вот уже не повторится, не догнать, не вернуть...

Потом они возвращались в кишлак мимо мельницы. Сверху на мельницу с каменных вершин падала вода, и она была похожа на шалаш, присыпанный снегом. И далеко вокруг не было слышно ничего, кроме мерного шума падающей воды. Чуть ниже мельницы протекал сай, который и делил кишлак на две почти равные части. На воде этого бурного сая работали еще четыре мельницы в соседних кишлаках. В жаркие летние дни, в горячую пору ухода за посевами, из-за воды то и дело разгораются споры. Тогда в колхозе избирают мираба — полновластного общественного хозяина воды, который и распределяет ее всем поровну.

Каракоз улыбнулась, вспомнив, как до вечера, бывало, носился Гаибназар, потный, усталый, в штанах, закатанных до колен. Подводил воду к полям. Для этого он бегал за мирабом целую неделю, выпрашивал воду для двух хозяйств — своего и Каракоз.

Уже подходя к кишлаку, она увидела на холме Русского одинокую фигуру матери, встречающей ее, и сразу стало совестно, что заставила долго ждать, не поспешила домой с радостной вестью. И Каракоз бросилась к матери, обняла ее.

— Мамочка, письмо от командира! Наш Гаибджан в госпитале, жив, но тяжело ранен. Лечится.

— Знаем, доченька, знаем... Арбакеш Исмат заходил, рассказывал. Только все давно домой вернулись, а тебя нет и нет. Забеспокоились мы с Ташбуви. Дай, думаю, встречу...

— А мы с Гуландом через Дуланазар пошли, вот и получилось дольше...

Она, радостно возбужденная, пересказывала матери содержание письма, а та все плакала, и благословляла неизвестного ей русского майора, и гладила дочь по голове, любуясь ее юным прекрасным лицом.

Костры чабанов на склонах Ойкора бросали красноватые мрачные отблески, и при внезапном взгляде могло показаться, что горы объяты пламенем.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Жатва заканчивалась, а рабочих рук все не хватало. Председатель колхоза заходил в каждый дом, убеждал невесток, дочерей выйти на работу, помочь.

Маленького Отакузи пришлось отдать в спешно организованные ясли. И Ташбуви, и Энакиз работали теперь в поле вместе с Каракоз.

Прошло несколько недель, как получили письмо от майора Русова, а от самого Гаибназара вестей все не было. И вновь в голову Каракоз приходили беспокойные страшные мысли, и она представляла себе Гаибназара, умирающего от ран на госпитальной койке. Вдруг он умер, а майор выписался и поэтому не может написать ей? Или просто не хочет убить ее этой страшной вестью... Который день почтальон проходил мимо дома Каракоз...

Часто на поле за работой женщины затевали разговоры, от которых испуганно замирало сердце. Особенно старалась Мастон: наверное, не забыла еще то оскорбление, какое нанесли ее сыну.

— Такое время сейчас,— заговаривала она с какой-нибудь жницей, работающей рядом. Да так громко, чтобы слышала Каракоз.— Не знаешь — жив человек или погиб уже. Может, ты еще жена, а может, уже вдова...

— Не говори, Мастоной,— подхватывала другая,— сколько их будет после войны, вдов!

— Это ведь как бывает,— продолжала Мастон, не глядя в сторону Каракоз.— Умрет человек от ран где-нибудь в тыловом госпитале, а им и дела мало. То ли отпишут бумажку, то ли не отпишут. А может, и отпишут, да она в пути затеряется. Их теперь много, этих бумажек, по почте ходит...

— Мно-ого,— со вздохом вторила другая.

Вдобавок ко всему заболел Отакузи. Два дня он метался, не мог уснуть, плакал. Ночью Каракоз вскакивала от его хриплого плача, с ужасом щупала детский лобик — горячий, сухой. Но фельдшер уехал по делам в район и вернуться должен был дня через три, не раньше. Целыми днями Каракоз заваривала ребенку травы, поила его молоком с медом — ничего не помогало.

На четвертый день, завернув Отакузи в старенькое одеяло, Каракоз и Ташбуви повезли его в районную

больницу. Мальчик уже не плакал. Только отекшие губы его подергивались и слабо шевелились пальчики.

К полудню они добрались до больницы. Хмурый — огромная глыба в белом халате — доктор, осмотрев ребенка, повернулся к бледной, измученной Каракоз:

— Вы имеете образование?

— Да... Закончила семилетку...

Он насупился, задвигал желваками на небритых щеках.

— Учились, все понимаете, почему же раньше не принесли ребенка? Или не предполагали, что это опасно?

— Доктор...— сдавленно выговорила она.

— К мулле, к знахарке небось носили? А к фельдшеру не удосужились?

Каракоз хотела сказать, что фельдшера в кишлаке не было, но не сказала ничего, только прижала к лицу одеяльце и затряслась в рыданиях.

Возле Отакузи суетилась молоденькая медсестра — совсем девочка, похожая на Гуландом.

— Доктор... он поправится? — подняла на врача умоляющие глаза Каракоз.

Тот ничего на это не ответил, только осторожно накрыл ребенка одеяльцем.

— Останьтесь с мальчиком здесь,— сказал он.— Будем делать все возможное, но ничего обнадеживающего я не могу вам обещать...

...Через два дня на старом сельском кладбище возле одинокой отцовской могилы появилась еще одна — маленькая могилка...

Жить в этом доме стало невыносимо. Безжалостные души Отакузи и Гаибназара днем и ночью мучили Каракоз, а причитания Ташбуви разбивали ее сердце.

— Твой приход обернулся несчастьем для моего дома! — стонала Ташбуви, не в силах скрыть отчаяния и страдания.— Не сохранил господь ребенка моего сына... Правду говорят, что единственная дочь бывает несчастливой...

Не выдержав ее причитаний, вида пустой детской качалки, Каракоз ушла в дом к матери. Страшно было смотреть на Энакиз. За какую-нибудь неделю она постарела, казалось, на десять лет — глаза ввалились, плечи совсем сгорбились, руки подрагивали. Но больше всего ее убивало странное состояние дочери. Каракоз не плакала — безучастно смотрела на все вокруг блуж-

дающим равнодушным взглядом. Часто среди ночи она вдруг вставала и быстро одевалась, точно собиралась идти куда-то далеко.

Мать, простоволосая, перепуганная, ласковым дрожащим голосом уговаривала ее, просила, объясняла, а потом насильно укладывала Каракоз в постель. После смерти Отакузи она не заговаривала ни с кем, даже с матерью. Так прошло недели две, пока наконец соседские женщины не увели Каракоз на жатву.

«Среди людей горе призабудется,— подумала Энакиз, с тревогой глядя вслед дочери.— Может, полегче ей станет...»

Заканчивалась жатва на полях Заркамара. На участках, очищенных от соломы, кишлачные ребятишки уже собирали колосья. Август стойким жаром обжигал склоны гор, расстилающиеся далеко вокруг поля, покрывал загаром лица и руки жнецов.

Каракоз хотела одиночества. Она работала словно в полусне, сторонясь женщин, лишь изредка коротко отвечала на сочувственные вопросы Гуландом. Рядом с ней все время крутился Хужа, стараясь хоть чем-то помочь Каракоз. И это видели женщины, обездоленные войной, обойденные мужской лаской, многие вдовы, невесты, потерявшие женихов. И негромко переговаривались между собой, бросая в сторону Хужи и Каракоз недобрые взгляды.

Время от времени надо было идти к саю, набирать воду в большой, с высоким узким горлом глиняный кувшин. Каждый ходил за водой по очереди. На этот раз, когда пришла очередь Каракоз, Хужа отвозил на ток снопы, и, довольная тем, что немного побудет одна, Каракоз подхватила кувшин и побрела к саю.

Когда спускаешься с поля к реке, голову дурманит запах мяты. Здесь прохладно, несмотря на жаркий полдень, и если поднять голову, то и небо, и плывущие по нему невесомые облачка кажутся тоже прохладными, спокойными...

Каракоз присела на краешек валуна на берегу сая и задумалась. Впервые со дня смерти сына она осталась одна. И как же ей захотелось плакать, плакать долго и горько, может, тогда в ее груди хоть немного полегчало бы... Но слез не было, а на сердце словно давил камень, становясь с каждым днем все тяжелее и тяжелее.

Она наклонилась к реке и, зачерпнув воды, быстро умыла лицо, выпрямилась. Потом наполнила кувшин водой и нехотя двинулась в гору. Сверху от чьих-то шагов посыпались камешки, и она вскинула голову. Это быстро, торопясь, вниз спускался Хужа.

— Каракоз-опа! — Он тяжело дышал и с укором глядел на нее.— Зачем вы сами за водой пошли? Я бы мог сбегать. Дайте кувшин.

— Не надо, Хужаджан,— с трудом проговорила она.— Не надо ходить за мной... Мне так тяжело... Оставь меня в покое...— Голос ее задрожал, горло словно сжал кто-то цепкой рукой. Каракоз выронила кувшин, он покатился вниз, к реке. Она рухнула на землю и зарыдала громко, отчаянно, будто прорвалась наконец в груди рана, и из горла неудержимо, как кровь, хлынули рыдания: — О аллах, о аллах, зачем я осталась жить?! Прости меня, Гаибджан, прости, если ты жив, не сберегла я нашего Отакузи... Вернешься ли ты сам? Когда же ты вернешься, Гаибджан, скажи?! Нет у меня больше сил, нет сил жить, неужели нет тебя уже на свете?!

— Каракоз-опа... Каракоз-опа... Успокойтесь... Ради аллаха, успокойтесь...— беспомощно бормотал Хужа дрожащими губами, стоя над бьющейся в рыданиях Каракоз и не зная, чем помочь ей. Наконец, наклонившись, Хужа обхватил Каракоз, стараясь приподнять ее.— Каракоз-опа, встаньте, не надо убиваться так страшно... Земля холодная, простудитесь...

В это время наверху показалась одна из женщин. Это была Мастон. Странно улыбаясь, она глядела вниз.

Слезы Каракоз застыли на лице ледяными каплями. И все тело обдало холодом.

Молча она карабкалась наверх. За ней, растерянный, потрясенный, держа за ручку пустой кувшин, поднимался Хужа. Не отрывая глаз от земли, Каракоз шла к работающим.

— Не слишком ли молодого нашла, а? — ядовито улыбаясь, громко сказала Мастон.

— Что же ей делать, с мужем-то всего две недели и пожила! — вступила в разговор другая, словно Каракоз не существовало рядом.

— А она и сама не знает, на каком свете находится,— добавила Мастон,— вдова не вдова, а что-то вроде этого... Не пишет он ей... Вот она и гуляет... Ишь, даже воду забыли в кувшин набрать, бесстыжие!



Эти слова все звучали в ее ушах, когда, не помня себя, она добежала до Мажнунтолсая. На небе сгущались тучи, мрачные черные покрывала,— собиралась первая за лето гроза. Сердце Каракоз бешено колотилось, и в голове не осталось ни одной мысли, кроме той, которая гнала ее все дальше и дальше — к далеким ледникам, вверх, вверх, навсегда...

А вот и боярышник... Вот он... Она прижала пылающее лицо к его корявому стволу. Остановилась на мгновение. Не спас, не уберег... Гайбназара нет в живых, а ее имя бесчестят... Чтобы оправдаться, есть только один путь. И она его знает...

Ствол боярышника поцарапал ей в кровь лицо и руки. Она взбиралась на вершину Учкул, оставляя капли крови на ветках арчи, за которые цеплялась, на камнях. Не чувствуя усталости, она поднималась все выше и выше, и с каждым метром ей казалось, что позади она оставляет горе и позор и становится легкой и счастливой навеки.

Где-то внизу, в горах, мрачных от тяжких теней, которые волочили за собой тучи, звучал испуганный зов:

— Каракоз-опа-а-а! Где вы-и?!

Эхо разносило и множило этот зов, перемешанный с плачем, и Каракоз испугалась, что ее найдут, настигнут. Кто это? Это он, Хужа! Голос слышался с Кизилташа. Что он делает там, глупый мальчик, его же медведи разорвут!

Она уже была близка к снежной вершине Учкул. Отсюда с каменной террасы виднелась пещера медведей на Кизилташе. И там, столпившись у края пропасти, стадо медведей сбрасывало вниз камни. Падающие камни тревожили другие, и вот уже за грохотом не стало слышно голоса Хужи. Ломая на лету молодые деревья, камни падали в сай. Наконец медведи стали медленно спускаться вниз...

Каракоз закричала, и крик ее смешался с глухим рокотом грозы. Пошатываясь, озаренная яростным блеском молний, она пошла в сторону ледников.

Прощайте, горы! Когда все люди на земле станут любить друг друга, когда исчезнут войны, горе и несправедливость, разбудите нас от вечного сна! И мы со словами «Здравствуйте, горы!» родимся заново — юными и счастливыми. Мы заживем другой, прекрасной жизнью, когда исчезнет вражда между людьми! Она взобралась на вершину ледника — частые злые

молнии озаряли горы, и казалось, что ледники объяты пламенем. Страшный свет плясал на снегу при вспышке молний. Загремел оглушительно гром, содрогнулись горы, с вершины сдвинулась с шумом снежная лавина.

Объятая ужасом, Каракоз вдруг поняла, что сотворила, и рванулась назад, к жизни. Изо всех сил ухватилась за ветку арчи, торчащую из наста...

Снежный обвал сровнял все...

Небывалый ливень обрушился на селения и продолжался несколько дней. С гор прошел сель, разрушая русла рек, выкорчевывая деревья. Снежные шапки на вершинах уменьшились, осели... И хоть осень еще не пришла, Дуланазар щедро осыпал листья. Вековые ледники печально таяли...

Сложенная о ней песня начинается так:

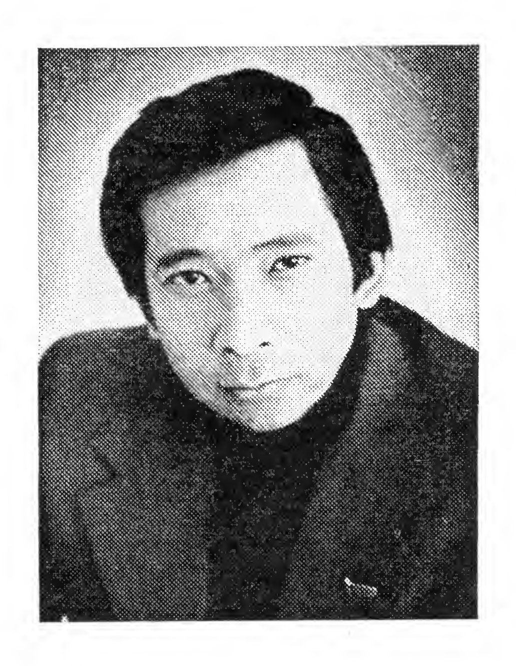
Твой след мы искали в горах,
В ущельях выкрикивали имя...
А ты не нашлась, Каракоз,
Не отозвалась, Каракоз,
Ветры пропели, что ты на Ойкоре,
Сказали: успейте, пока жива...
А мы не успели, Каракоз,
Мы не спасли тебя, Каракоз,
Ты покинула нас, как Покиза,
Вечно свободная, вечно юная...

Каракоз пришло письмо от Гаибназара. Пишет, что вылечился, снова воюет, надеется скоро вернуться и укоряет: так и не ответила Каракоз на его давние стихи. Или забыла их?..

Чернее черного твои глаза,
Мучают мое сердце.
Пушистые твои ресницы
Не скроют этих глаз...

...А может, и вправду, прожив эту жизнь на земле, через семь или четырнадцать поколений мы родимся заново, и встретимся, и будем счастливы?.. Кто знает... Так говорила бабушка Нозик, а она, как известно, говорила всегда только сущую правду.

Перевод *Дины РУБИНОЙ*



Во второй половине 60-х годов в периодической печати республики стали появляться первые фантастические рассказы прозаика Тахира МАЛИКА. Именно в эти годы некоторые молодые писатели стали вводить элементы фантастики в узбекскую литературу.

Примечательной чертой произведений Т. Малика является то, что он опирается на материалы точных наук и истории. Среди его героев—и великие Улугбек и Авиценна, и простой врач. Т. Малик пытается связать прошлое с будущим. Путешествуя в прошлое, он видит те ошибки, которые нельзя допустить в будущем. Обращаясь к будущему, писатель думает о сегодняшнем дне.

ТАХИР МАЛИК

ПОСЛЫ МЛЕЧНОГО ПУТИ

Пришли три брата к развилке трех дорог. Видят: на камне письмена высечены. Прочли их братья, и каждый выбрал себе путь. Старший пошел той дорогой, про которую написано было: «Пойдешь и вернешься», средний отправился в ту сторону, откуда «то ли вернешься, то ли нет», а младшему досталась дорога, по которой «пойдешь — не вернешься». Кенджа-батыр шел долго, встречал высохшие колодцы и не мог утолить жажду, котомка его опустела, и нечем было заглушить голод. Путник похудел, ослаб, но назад не повернул. Наконец он увидел строения какого-то города. Казалось, ворота и высокие стены пылали. Кенджа-батыр вошел в город и от удивления остолбенел. Здесь не оказалось ни единой живой души, ни травки, ни деревца — все было из сияющего, как золото, камня.

(Из узбекской народной сказки)

ПРОЛОГ

Их усадьбы примыкали одна к другой, изгородь заменял ряд вишневых деревьев. Когда опускалась ночь и их домашние засыпали, стройная, как кипарис, девушка и богатырского сложения юноша устремлялись к этим вишням. Но сегодня парень что-то запаздывал. Девушка сидела долго, прислушиваясь к шелесту листьев. Дрожат ли они на ветру или же ведут разговор на неведомом языке? «Все говорят по-своему. И животные объясняются между собой. Только люди не понимают их языка...»

Послышались шаги, и мысли девушки прервались. Она привыкла узнавать парня и в темноте...

Присели у края неширокого арыка. Долго молчали. Наконец юноша вздохнул и произнес:

— Вы, наверное, уже слышали новость?

— Да,— ответила девушка.— Но я не совсем поняла причину этого решения.

— Мы — брат, отец и я — столько труда вкладываем в изготовление украшений, а лавры достаются баю. Оказывается, он преподносил наши изделия падишаху, выдавая их за собственные. Бай не способен ни на что, но его осыпают милостями, дарят ему златотканые одежды. А наших стенаний никто не слышит. Вот и решили мы переехать в другое место.

— А обо мне вы не подумали?

— Я жду подходящей минуты, чтобы сказать отцу. Но... согласятся ли ваши? Я не надеюсь на это...

— Не знаю.

Они вновь замолчали. Вода в арыке еле слышно журчала.

Обняв колени, девушка подняла голову к небу:

— Звездочка падает,— сдавленно произнесла она.

— Кто-то отдает богу душу,— отозвался парень.

— Смотрите, смотрите, она все не гаснет!

Влюбленные пристально следили за летящей звездой.

— Видно, большой человек умирает,— промолвил парень,— тяжело расстается с душой.

Звезда становилась все ярче, стал заметен светящийся хвост, оставляемый ею, он делался с каждым мгновением шире. Некоторое время юноша и его подруга продолжали наблюдать за звездой. Наконец девушка передернула плечами и, освободившись от объятий, поднялась. Сказала: «Мне страшно. Надо идти в дом».

Тем временем в ночи раздались встревоженные голоса — жители города высыпали во дворы. Собаки подняли бешеный лай. Вскоре повсюду запылали костры, послышались слова молитв, причитания женщин.

А звезда все увеличивалась в размерах, и скоро на нее невозможно стало смотреть. Началась паника: «Солнце падает на землю!» «Аллах прогневался на нас!» Но вот ослепительный свет разом залил всю округу. И следом за ним раздался невыносимый грохот. Земля дрогнула, как бы расколотая ударом. Вековые деревья ломались, словно сухой тростник. Но в следующий миг все кругом замерло, облитое мертвенным золотистым сиянием. Смолкли вопли, грохот. Небо постепенно темнело, прорезались звезды. В их призрачном свете слабо мерцало все, что еще минуту назад двигалось, жило,— словно лес бронзовых изваяний, застыли на площадях толпы людей, металлическим блеском отсвечивали деревья и травы...

Утреннее солнце поднялось из-за окоема, залив всю окрестность потоком огня — оно озарило тысячи недвижных фигур, сама земля мертвого города, его руины, также покрывшиеся золотистым налетом, нестерпимо сияли. Только один предмет во всей округе выделялся в этом море солнечного огня — темное яйцевидное сооружение с выступавшими в нижней части его тонкими отростками, похожими на лапки кузнечика.

К полудню на боковой поверхности «яйца» обозначилось прямоугольное отверстие, и вскоре из него один за другим появились двое. Они были очень похожи на людей, однако намного выше и крупнее обычного человека. Полупрозрачные колпаки у них на головах излучали ослепительный свет. Сделав несколько шагов, тот, кто шел первым, остановился и заговорил:

— Кив, кажется, мы ошиблись в расчетах. Грунт на месте посадки должен быть не столь твердым, а примерно таким, как у нас на Унете.

— Да,— оглядываясь вокруг, ответил второй,— и цвет местности совсем другой, чем он казался из космоса. Почему все кругом желтое? Когда мы вели наблюдение с Унета, эта планета излучала тускло-голубой свет. Может быть, таково воздействие атмосферы? Если вся поверхность суши желтая, то предположение Рэка окажется правильным. В таком случае приемлемую для унетян планету придется искать возле других звезд.

Они зашагали быстрее. В радиусе нескольких десятков метров от места приземления «яйца» не осталось и следа растительности. Поваленные деревья стали попадаться пришельцам на значительном удалении от корабля. Кив остановился возле гигантской чинары, отливавшей желтым металлическим блеском.

— Ниг, взгляни, тебе это ничего не напоминает? — обратился он к спутнику.

Ниг приблизился к чинаре, постучал по ее стволу длинной тонкой трубкой с утолщением на конце.

— Странная форма. Если бы это не был минерал, я бы сказал, что он напоминает мне... Посмотри кругом, да ведь таких камней очень много!

Они пробирались среди руин. Увидев человеческую фигуру с воздетыми к небесам руками, Кив резко остановился, словно споткнувшись.



— Ведь это наше изображение в металле!— воскликнул он.

Ниг с трубкой в руке приблизился к изваянию. Прикоснувшись инструментом к одному из тонких пальцев статуи, он осторожно отделил его и, положив себе на ладонь, провел по нему серебристым обручем. Палец раскрошился, словно глиняный.

— Мы не ошиблись, Кив. Здесь была жизнь. Это памятники умершей цивилизации — обитатели планеты, возможно, хотели сохранить для будущего свой облик...

— Что ж, может быть, в твоих словах есть доля правды. А если жизнь не угасла?.. Не приземлились ли мы в месте, где жители этой земли чтут предков? Ведь у нас на Унете существовал в древности обычай увековечивать памятными знаками такие места.

— Во всяком случае, надо прихватить с собой несколько таких изваяний...

Получив донесение о том, что на город опустилась «пылающая звезда», султан повелел нескольким ученым мужам и служителям аллаха отправиться на место бедствия и затем представить дивану[1] подробный отчет об увиденном. Облеченные доверием властителя немедленно двинулись в путь.

На третьи сутки путники стали замечать, что земля приобрела желтоватый оттенок и делается все более твердой — она начала звенеть под ударами копыт.

— Эти края, видно, прокляты богом, и не прогневим ли мы его, если поедем дальше,— заметил один из мулл.

— Но мы не имеем права вернуться, не узнав, что творится на месте падения звезды,— ответил седобородый старец в снежно-белой чалме.

Когда добрались до окраины погибшего города, была уже ночь. В свете луны золотом отсвечивали дувалы, неподвижные кроны тополей. Когда посланцы увидели несколько окаменевших фигур, их охватил страх. Некоторые предлагали немедля повернуть коней и скакать прочь от города. Однако, посоветовавшись, решили все же дождаться дня, чтобы исполнить повеление властелина и увидеть все собственны-

[1] Диван — совет высших сановников при султане.

ми глазами. Пристанищем для них стал обезлюдевший дом, стены и убранство которого также отсвечивали желтым.

Четверо расположились на ночлег в доме, остальные — во дворе.

В полночь все кругом осветилось, и едва уснувшие чутким сном путники пробудились. Выглянув наружу, они увидели приближающихся к дому двоих неизвестных огромного роста, над головами которых распространялось сияние. Едва незнакомцы подошли к дувалу и тень от него перестала скрывать тех, кто остался во дворе, как все они окаменели, покрывшись золотистым налетом.

Оставшиеся в доме распластались по полу и беззвучно шептали слова молитв до тех пор, пока свет, озарявший окрестность, мало-помалу не погас. Когда россыпь звезд вновь стала видна на небосводе, один из мулл выглянул во двор и, увидев окаменевшие фигуры своих товарищей, сдавленно вскрикнул:

— Они превратились в золото!

До самого утра уцелевшие посланцы султана читали молитвы и заклинания, а с восходом бросились седлать коней. Но и лошади превратились в неподвижные изваяния, нестерпимо блестевшие в лучах восходящего солнца. Теперь им, оставшимся в живых, предстоял мучительный путь пешком по каменистой пустыне.

На шестой день погонщики купеческого каравана, следовавшего в столицу, подобрали одного из тех, кто по велению султана отправился в погибший город. После того как сердобольные караванщики напоили его, звездочет Рахматулла, назвав себя, попросил доставить его ко двору повелителя правоверных и впал в забытье.

Придворные лекари привели звездочета в чувство, и он предстал пред очи султана, его визирей и высшего духовенства.

— Почему только ты один выбрался из этого города? — спросил хозяин дворца.

— О властелин, все мои сотоварищи остались там: одни обратились в золотые изваяния, а другие умерли в желтой пустыне.

— Он не в своем уме, повелитель,— заметил один

из чиновников.— Жаркое солнце расплавило ему мозги.

— Помолчи,— остановил его султан.

Выслушав подробный рассказ Рахматуллы, он задумчиво сказал:

— В его речах нет следов безумия — он говорит складно и толково... А что думает по поводу услышанного нами великий муфтий?

Служитель аллаха приподнялся с подушек и, приложив к груди руку, ответствовал:

— Я думаю, о надежда ислама, что звездочет говорит правду... Видно, аллах в назидание нам обрушил на грешный город свой гнев. А те двое великанов, источавших свет... может быть, это святой Хызр и святой Хусам?

После обсуждения событий, последовавших за падением звезды, султан разослал во все концы страны указ, в котором извещалось: всевышний покарал нечестивцев, обратив их в камень. Доступ в проклятое место отныне воспрещался. Но сразу же поползли слухи о том, что в погибшем городе все: дома, люди, сама земля — превратилось в золото. Некоторые смельчаки стали проникать в проклятый аллахом край, но те немногие, кто возвращался, вскоре умирали от недуга. И суеверный страх перед Неведомым отбивал у других охоту отправиться за «золотом святого Хызра». Горячие ветры заносили город песком и пылью, принесенной с полей Ферганы...

Шли годы, под ударами кочевников рушились государства, жизнь возрождалась на новых местах, и падение звезды постепенно забылось, остались в памяти иных поколений лишь смутные легенды, предания о святом Хызре.

Возвращаясь с похорон доцента Бекмирзаева, некоторые вполголоса говорили: «Сам себя загубил. И раскопки эти — они же бессмысленны». Уже на следующий день после его смерти институтским начальством была высказана мысль о том, что пора прекратить работы, проводившиеся Бекмирзаевым в Язъяване. Это встревожило Даврана Хасанова, который под руководством Бекмирзаева участвовал в раскопках. Поэтому сразу же после похорон он выехал в Язъяван, чтобы привести в порядок документацию экспе-

диции и подготовить аргументы в пользу продолжения археологических изысканий.

И когда спустя полмесяца из центра поступило указание прекратить работы, Давран написал докладную, в которой приводил расчеты покойного учителя, свои умозаключения и просил разрешения продолжить раскопки. Еще через неделю в лагерь экспедиции прибыл однокурсник Даврана Нияз Мансуров — щеголь, словно сошедший со страницы журнала мод, с тонкими, словно выщипанные брови, усиками. Увидев его издали, Давран ощутил досаду: вместо того чтобы прислать знающего специалиста, институт командировал этого пройдоху. То, что совершенно чуждый научных интересов парень благодаря большим связям чувствовал себя спокойно на этом поприще, вызывало неприязнь не только у Даврана, но и у многих археологов. Давран учился вместе с ним пять лет, бывал с ним на практике, но ни разу не видел, чтобы он участвовал в работах или проявил хоть какой-то интерес к находкам. И тем не менее Нияз получил диплом об окончании вуза. А вот теперь именно его направили на месте решить судьбу раскопок в Язъяване.

Нияз принадлежал к породе хамелеонов. Если в течение дня он встретится с десятью разными людьми, то десять раз переменит свое поведение. Как бы ни относился он к вам, он всегда изобразит на лице величайшую радость от встречи с вами. Вот и теперь, увидев Даврана, Нияз зашагал к нему навстречу с распростертыми объятиями. Похлопав его по плечу, как лучшего друга, он сообщил, что приехал выяснить создавшееся положение в качестве официального представителя. Давран хмуро ответил на приветствия и предложил немедленно начать ознакомление с проделанной работой. Нияз с кислой миной кивнул и отправился вслед за Давраном по пыльной дорожке. Он ступал очень осторожно, словно боясь наступить на змею. Когда они поднялись на каменистый бугорок, Нияз, вместо того чтобы слушать объяснения коллеги, принялся отряхивать запыленные штанины.

— Куда ты меня тащишь?! — возмутился он, когда Давран направился было к лабиринту раскопок. — Я и отсюда вижу, что вы, словно суслики, копаетесь в земле. Ты покажи мне найденные вещи.

— Разве ты не видел их в институте?

— Да видел какие-то пять-шесть черепков,— с иронией ответил Нияз.

— При раскопках Афрасиаба[1] сначала тоже были найдены глиняные черепки,— парировал Давран.

Ничего не ответив, Нияз достал из нагрудного кармана сигару и откусил кончик ее. Долго отплевывался от табака, затем прикурил и с важностью стал осматривать панораму раскопок.

— Говоришь, Афрасиаб? — он, видно, не привык еще к сигарам или нечаянно слишком глубоко затянулся, во всяком случае, начавший его душить кашель не дал ему договорить до конца.

— Да и Помпеи — там тоже начиналось с черепков,— вновь с усмешкой произнес Давран.

Нияз откашлялся, потушил сигару о каблук, положил ее в футляр и сунул в карман.

— Времена Помпеи и Афрасиаба прошли, дружище. На твою и мою долю не выпадут такие грандиозные открытия. Поэтому, как говорится, по одежке протягивай ножки. Какой смысл мучить себя и людей, тратить колоссальные средства ради того, чтобы откопать захудалый кишлак?

— Конечно, можно никуда не ездить и строчить диссертации на материале прежних раскопок. Я слышал, что некоторые так и делают...

Нияз понял намек и, нахмурив брови, резко сказал:

— Ученый совет пришел к выводу, что в твоих сообщениях нет стоящей информации.

— А может быть, некоторые всезнающие товарищи ввели в заблуждение членов ученого совета относительно содержания моей докладной?

Теперь Давран намекал на «руку» Нияза — его родственника, занимавшего руководящий пост в институте.

— Я приехал сюда не по желанию отдельных товарищей.

— Если бы и ученый совет придерживался твоей позиции, то не было бы никакой надобности в твоем приезде. Направили бы категоричный приказ о прекращении работ, и все.

---

[1] Афрасиаб — городище близ Самарканда, где в I тысячелетии до н. э. находилось крупное городское поселение.

— Возможно... Однако я приехал не с дурными намерениями. Поговорим без колкостей. Ты меня не любишь, мне это хорошо известно. Я тоже приехал не затем, чтобы повидать тебя... Лучше, когда мужчины разговаривают в открытую. Никто из нас ничего не должен друг другу. Мы не оспариваем с тобой одно кресло. Я собираю урожай со своего поля, а ты — со своего. Ты подумал, что было бы, если бы приехал не я, твой однокашник, а другой?..

— Другой, по крайней мере, со всей серьезностью отнесся бы к нашей главной находке — кисти руки, выполненной из неизвестного материала.

— Да мало ли как мог сюда попасть обломок индийского культового изваяния.

— Но манера совсем не похожа на манеру скульпторов, создававших индуистские и буддийские статуи.

— Но ты уже перерыл сотни тонн грунта, а других подобных находок пока нет.

— А эта найдена всего за три дня до смерти Бекмирзаева. С тех пор работы велись черепашьими темпами... Надо по-настоящему раскопать Язъяван.

Нияз досадливо поморщился и стал озираться по сторонам — спор явно наскучил ему.

— Послушай, Давран, я устал с дороги. Подумаем об отдыхе. И давай не будем напрасно ломать копья. По возвращении я скажу, что не пришел к определенному мнению. Предложу вызвать тебя. Приедешь и будешь сам сражаться за эту яму.

Они повернули назад. Давран понял, что Нияз и на сей раз хочет выйти сухим из воды. С одной стороны, он вроде бы и заступается за Даврана. На самом же деле он не хочет связывать себя никакими обязательствами. Нияз прекрасно знал, что для прекращения работ нет ни одной веской причины, что разговор об этом шел только в узком кругу. Но ему прекрасно известно, что многие годы один из руководителей института, дядя Нияза, был на ножах с доцентом Бекмирзаевым, вследствие чего каждое начинание покойного наталкивалось на препятствия. Работы, начатые Бекмирзаевым в Язъяване, судя по первым же находкам, сулили успех. Об этом также ведомо Ниязу. Поэтому, считает он, надо действовать осторожно, не рубить сплеча. А лучше — держаться подальше от «поля боя». Если он станет на сторону родича, а работы

в Язъяване внезапно приведут к блестящим результатам, то пострадает не дядя, а он сам станет козлом отпущения. Но ему невыгодно быть и на стороне Даврана. При любом исходе он наживет себе врага. Самое разумное — придерживаться нейтралитета.

— Можешь уделить мне один день? — спросил Нияз, когда они подошли к палаткам лагеря.

— А что?

— Срок командировки — неделя. Я слышал, здесь есть хорошие места для отдыха.

Давран давно уже соскучился по родным, но события последнего времени не позволяли и думать о поездке к ним. Неожиданное предложение Нияза пришлось как нельзя кстати. «Да, не худо бы немного развеяться»,— решил он и сказал:

— Ладно, завтра придумаем что-нибудь.

На землю спустились сумерки. Рабочие экспедиции уселись вокруг костра. Вода в закопченном до черноты чайнике быстро закипела и выплескивалась из-под крышки, грозя потушить огонь. Обугленные ветки шипели, густой пар поднимался над костром, но хворост быстро вновь воспламенялся, и жаркие языки пламени снова принимались лизать чайник. Наконец Давран железным крюком подцепил его за ручку и поставил на траву. Бросил в кипяток пригоршню заварки, немного погодя налил чай в пиалу, вылил его опять в чайник, повторил эту операцию дважды — чтобы напиток заварился покрепче. Собираясь вечерами возле костра, заводили веселую болтовню, песни, однако сегодня разговор не клеился. Даже чай не допили до конца. Всем была неприятна заносчивость гостя, его начальственный тон.

Нияз отправился спать в палатку. Давран поставил свою раскладушку на свежем воздухе. Бросил на нее шерстяное одеяло и лег на спину, заложив под голову руки. Спать не хотелось. Смотрел в небо, усеянное звездами. «Какой-то поэт сравнил звездное небо с хлопковым полем. На первый взгляд, красивое сравнение. Но если бы он хоть раз почувствовал теплоту хлопка, то не стал бы сравнивать с ним холодные звезды. Этот стихотворец, видно, похож на Нияза. С виду такой же, как все люди, но сердце у него... только для того, наверное, чтобы разгонять кровь по телу. Энтузиазм, сомнения, печаль ему абсолютно чужды. Он предлагает помочь мне по-своему. И приходится

соглашаться. Иначе работа останется неоконченной. Как часто человек ради успеха дела идет против своих желаний, убеждений! Испокон веку так. Неужели это будет продолжаться вечно? Не может быть! Когда-нибудь должен же быть конец. Люди перестанут мириться с такими, как Нияз, до конца пойдут за свои убеждения... Но почему же ты сам поступаешь не так? Не хватает смелости? Нет, пожалуй, смелости мне не занимать. Просто я одинок. Это только до поры до времени вокруг меня единомышленники. Но когда начнется схватка, многие, очень многие отойдут в сторону, выйдут из игры. Вот и Асад Бекмирзаевич — помощников и учеников было много. А когда встал вопрос об отправке письма в академию по поводу конфликта между Бекмирзаевым и его противниками в институте, один сказал: «Я недавно женился в третий раз, опозорят меня», другой произнес: «Я член ученого совета, подписать не могу», а третий колебался: «Я никак не разберусь, кто же прав». В итоге все на словах остались верны поговорке «Не будь ни началом, ни концом палки». И Асад Бекмирзаевич один предстал перед президентом академии. Сообщенные им факты подтвердились, в институте произошли изменения. И тем не менее ему на всю жизнь пришили ярлык смутьяна. В жизни, оказывается, очень много запутанных клубков... Асад Бекмирзаевич боролся за правду. А лаврами был увенчан родич этого Нияза. Говорят же: на прополке нет, на уборке нет, а на хирмане [1] тут как тут. Нияз, пожалуй, добьется большего, чем его дядя. Еще недавно он воротил нос, едва заговаривали про археологию. Десяти самым лучшим лекциям он предпочитал один плов, приготовленный с друзьями в чайхане. А теперь приехал поучать меня. Он может решить судьбу целой экспедиции. Шумят: расходуются большие средства. Правильно, мы не должны бросать их на ветер. Но нельзя же все измерять деньгами! Что, если здесь у нас под ногами лежит ключ к загадкам истории нашего народа. Нет, Ниязу, видно, никогда не понять этого... Звезда падает. Черкнув по небу длинным светящимся хвостом, погасла. В старину сказали бы: «Умер кто-то». А теперь для нас все понятно и буднично...»

— Мулла Давран-бек, вы еще не спите?

---

[1] Хирман — ток, гумно.

Услышав знакомый голос, Давран отвлекся от своих размышлений. Поднялся с раскладушки.

— Лежите, отдыхайте. Видно, звезды считали или поджидали святого Хызра?

— Почти угадали,— улыбнулся Давран и указал место рядом с собой.— Садитесь, Игитали-ака.

Однако ночной гость не воспользовался приглашением, а примостился на корточках возле ствола акации. Высыпав из склянки на ладонь немного насвая[1], бросил его под язык. В экспедиции этот человек недавно, по его рассказам, ушел из колхоза после ссоры с очковтирателем раисом[2]. Дом его был недалеко от места раскопок, поэтому он не ночевал в лагере, а приходил на работу утром и уходил вечером. Но случалось, что он засиживался за оживленной беседой и оставался в палатке вместе с другими рабочими. Пятидесятилетнего Игитали-аку уважали все участники экспедиции — в основном, молодые парни — он же относился к ним, как к родным сыновьям.

— По мусульманскому календарю сегодня двадцать седьмая ночь месяца рамазана. Раньше все ждали с наступлением темноты появления святого Хызра,— проговорил Игитали-ака, отряхивая с ладони остатки наса. — Я тоже ждал. И отец мой ждал. Наверное, и дед ждал. Однако никто из нас не видел Хызра. Говорили, если появится Хызр, то кругом становится светло, как днем, и любая вещь, к которой прикоснешься, превратится в золото. В давние времена одна женщина из нашего кишлака увидела святого и с испуга схватила своего ребенка, чтобы защитить его. В тот же миг малыш превратился в золотую статую. Погоревала она, погоревала, а потом нужда заставила ее отпилить один палец у изваяния и продать ювелиру. Ровно через год, в ту же ночь, Хызр явился вновь. Теперь женщина ждала его и, едва увидела святого, схватилась за статую ребенка. Малыш ожил, но в том месте, где был отпилен палец, полилась кровь. В детстве я не раз слышал эту легенду и верил в нее. Теперь-то никого не удивишь такими рассказами, ответят — сказки.

Кончив говорить, Игитали-ака выплюнул насвай, вытер рукавом халата губы.

---

[1] Насвай — жевательная смесь из золы и табака.

[2] Раис — председатель.

— Мы ведь неграмотные были, вот и верили всему.

— Это хорошо, что верили, Игитали-ака,— сказал Давран. — Есть такие, которые сами ни во что не верят и другим морочат голову. Мой учитель Асад Бекмирзаевич тоже знал эту легенду. Именно предание о святом Хызре, появлявшемся здесь, заставило его начать раскопки в Язъяване. Так что, как видите, и ученые иногда верят в сказки.

— Пять пальцев не одинаковы... Недавно вы ходили по раскопкам с одним щеголем. Прошел слух, что будем сворачивать работы.

— Это пока неизвестно.

— Вам-то все равно. Не здесь, так в другом месте будете продолжать свою работу. А мне куда деваться? Придется вернуться, причем вернуться «с повинной» в колхоз. Переехать в город или в другое место не смогу — прикипела душа к родным местам.

— Нет, Игитали-ака, для меня не безразлично, где копать. Если хотите, я не меньше вашего патриот Язъявана. Верю, что здесь, у нас под ногами, скрыты волнующие тайны ушедших веков.

— Удачи тебе, дорогой. Ты достойный ученик покойного Асаджана — он тоже до бесконечности мог говорить о Язъяване.

— Спасибо за теплые слова, Игитали-ака. Не знаю только, дадут ли мне докопаться до этих тайн... Вот и приходится ловчить, избегать открытого столкновения с противниками Асада Бекмирзаевича. Завтра везу щеголя на прогулку. Вернусь, буду думать, как спасать дело учителя.

— Куда вы хотите поехать?

— На Сырдарью.

— В таком случае, прихватите меня с собой. Я заядлый рыбак. Добуду рыбы на уху.

Давран молча кивнул, Игитали-ака поднялся, протянул руку для рукопожатия. После его ухода археолог долго не мог уснуть. Взгляд его был устремлен в черную бездну, усыпанную звездами. Оставаясь один на один с этим небом, Давран всегда впадал в какое-то оцепенение. Вот и теперь, неподвижно глядя на яркую звезду, сиявшую хрустальным блеском, Давран дал свободу своим мыслям. Вдруг в ушах зазвенело. Раздался резкий, раздражающий свист. Он сменился звуком, напоминавшим скрип двери. Звезды на небосклоне закрыла какая-то тень — будто кто-то навис

над археологом. Сердце Даврана забилось чаще. «Я брежу»,— подумал он, попытался встать, но не смог. Неведомая сила давила на тело, не давала пошевелиться. «Плохой сон снится, надо проснуться»,— пронеслось в голове. Но ведь он не спал — глаза были открыты, и видел он то же звездное небо с темной тенью в зените. Вдруг тень стала отчетливее, приобрела очертания человеческой фигуры. Вокруг головы неизвестного вспыхнул яркий нимб. Но в следующий миг видение исчезло. Давран ощутил странную легкость и вскочил с раскладушки, осмотрелся, настороженно вслушиваясь. Вокруг было тихо, только слабо шелестели тополя. Да из палатки доносился легкий храп Нияза. Огонь в костре угас, лишь мелкие угольки светились в темноте. Давран немного прошелся и вновь лег на постель. Его быстро начала одолевать дремота, и до самого утра он спал без сновидений...

Собираясь в дорогу, путешественник мечтает об открытиях, о прекрасных молодых планетах. Если его надежды не сбываются, то и путь домой ему не в радость. А если к тому же с твоим полетом связаны надежды миллионов — тогда неудача миссии причиняет подлинные страдания.

Когда Ниг взял обратный курс на свою родную планету Унет, он чувствовал себя именно таким горе-путешественником. Внезапная, необъяснимая смерть Кива спутала все их планы. Пришлось свернуть программу исследований и ограничиться лишь осмотром маленького участка планеты. Положив тело Кива в вакуумную камеру, Ниг уже не отважился отходить далеко от корабля. Взяв образцы минералов, пробы грунта на разных глубинах, он выбрал из множества изваяний два и поместил их в контейнер с прочими находками. Даже это было нарушением инструкции, обязывающей прекратить экспедицию в случае смерти одного из членов экипажа. Но нельзя же было вернуться с пустыми руками.

Пока звездолет набирал ускорение, Ниг следил за работой систем жизнеобеспечения. Когда датчики возвестили о том, что достигнута необходимая скорость, космонавт проверил работу автоматов-навигаторов и вошел в камеру сна.

Пробудился Ниг от какого-то толчка. Когда он освободился от ремней и поднялся с ложа, то едва мог двигать руками и ногами — они словно налились свинцом, все тело ломило. Ниг прислонился к стене, обхватив ладонями голову. Вдруг быстро открылась дверь и показалось чье-то лицо. Ниг не успел рассмотреть его, потому что дверь бесшумно закрылась с такой же быстротой. Ниг бросился в ярко освещенный коридор. Никого. Он направился к вакуумной камере. Заглянул внутрь через перископ: труп был на месте. В тот же миг за спиной космонавта послышались крадущиеся шаги. Кто-то проскользнул в кабину управления. Противный зуд пробежал по телу, кожа покрылась фиолетовыми пятнами. «Волнуюсь»,— мелькнуло в сознании Нига. Он снял с предохранителя аннигилятор и направился в кабину. Но здесь тоже никого не было. Космонавт обессиленно повалился на сиденье пилота. С минуту прислушивался к гудению приборов. И снова окаменел от страха — кто-то сзади положил руку ему на плечо, прошелестело чужое дыхание. Ниг резко обернулся, выставив вперед аннигилятор. И снова никого не увидел. Он сходил еще раз к вакуумной камере, убедился, что труп Кива на месте, осмотрел все закоулки корабля и вернулся в кабину.

«Что это? Галлюцинации? Нервы сдали, не могу взять себя в руки? Опять кто-то ходит. Шаги. Шаги Несуществующего. Почему я боюсь? Разве Несуществующий страшен? Ведь он есть только в моем воображении?.. Но откуда он взялся? Почему я позволил ему занять место в моем сознании? Еще не пройдена и половина пути. Я единственный на корабле. Только я один. Больше никого нет. И шагов нет. Я один. Я один...»

Ниг подключился к аппарату психотерапии. Когда нервы несколько успокоились, он вновь вошел в камеру сна. И снова проснулся от непонятной тяжести. Все тело ломило. С трудом поднялся, прошел в кабину управления. Ровное гудение приборов. Никого. Ниг опустился в кресло и впал в забытье. Ему привиделся Фид. Серьезный взгляд, редкая растительность на лбу, толстые фиолетовые губы скорбно выпячены. И голос — грубый, скрипучий.

— Мы проиграли, Ниг. И приговор должны вынести сами.

— Приговор? Зачем?

— Новые порядки требуют от нас безошибочной работы.

— Такие порядки могут установить только невежды.

— Судьба ученых всегда находилась в руках невежд.

— Я не понимаю, чего вы добиваетесь.

— Мы должны вынести приговор.

— Какой приговор?

— Как ты смотришь на самоаннигиляцию?

— Такая дикая мысль никогда не приходила мне в голову.

— Подумай!

— Это безумие, Фид!

— Подумай... Это — самый верный путь...

Ниг вскочил с кресла. Протер глаза. Опять галлюцинации? Надо сосредоточиться и выгнать из головы все нелепые мысли. Но успокоение не приходило, Ниг машинально принялся барабанить по стене — привычка, оставшаяся от времен обучения в центре космоплавания. Но движения были необычно затруднены, тяжесть не покидала его. Ниг перевел взгляд с приборов на стену и чуть не вскрикнул — на руках у него было не по три, а по пять пальцев. Столько же, сколько у каменных изваяний на Эрл! Космонавт, шатаясь, поднялся и вышел из кабины. Снова посмотрел на руки. Нет, пальцев не пять, а, как всегда, три. Значит, опять галлюцинации. «Проклятые памятники! Вся эта чушь лезет в голову из-за них!» Он бросился в грузовой отсек. Стал лихорадочно вскрывать запоры герметического контейнера с образцами, взятыми на Эрл. Но вовремя одумался и остановился. «Опять грубейшее нарушение инструкции. Если случайно допущу микроорганизмы планеты в атмосферу корабля, они попадут и на Унет. Это может вызвать катастрофу... Надо привести себя в порядок...»

Ниг надолго включил агрегат психотерапии, а затем сразу же направился в камеру сна, закрепил себя на ложе ремнями и мгновенно уснул. Механический сторож разбудил его перед самой посадкой на Унет.

Услышав о том, что Ниг вернулся, Фид не смог усидеть дома. Но и пойти к старому другу долго не решался. В неудаче экспедиции он винил только себя:

ведь это он двадцать два года назад заявил, что на одной из планет, обращающихся вокруг отдаленной звезды Тэт, должны быть условия для жизни, и она сможет принять переселенцев с Унета.

К тому времени его родная планета сделалась гигантским кладбищем жизни. Стремительно вымирали последние виды растений и животных, естественная среда обитания сделалась небезопасной и для унетян, породивших эту всепожирающую цивилизацию. И за такой исход развития были ответственны администраторы и менеджеры. Ведь ученые заранее предсказали наступление такого момента, когда ситуация выйдет из-под контроля, и били тревогу, предупреждая об опасности. Однако население Унета, ослепленное успехами техники, не обратило внимания на предостережения и восприняло их как предположения скептиков. Расцвет цивилизации продолжался. «Уму непостижимо» — это определение стало обиходным для всех и каждого. Скорость — уму непостижимая. Мощность — уму непостижимая. Погоня за самым-самым привела к загрязнению окружающей среды в уму непостижимой степени. Однако это явление признали только тогда, когда оно сделалось очевидным. И все-таки унетяне не нашли в себе сил самоограничения, а когда на планете не осталось свободной земли и поверхность ее полностью перешла в услужение менеджеров, наступил кризис. То, что сначала объявлялось победой разума над законами природы, обернулось поражением. Экономика, нацеленная на расширенное воспроизводство, начала рушиться. Благосостояние населения Унета пошатнулось. Вот тогда-то и бросились в космос за спасением. Долгие годы поисков ничего не принесли — ученым не удавалось обнаружить планету, пригодную для заселения. И тут явился Фид со своими расчетами. Планету, открытую им, назвали Эрл, что значит «Надежда». Надежда на продолжение жизни. Ибо впереди унетян ждала пустота. Голая земля. Без единого живого существа, без единого зеленого кустика. И только осевшие, полуразвалившиеся здания, громоздящиеся повсюду, останутся свидетельством жизни, что когда-то была на Унете... Таким видели завтрашний день планеты ее обитатели. С тем большим воодушевлением принялись за подготовку экспедиции на Эрл. Судя по данным Фида, состав атмосферы был там почти идентичен составу атмосферы Уне-

та. К тому же спектроскопические исследования показали, что на далекой планете есть вода.

Если бы кто-нибудь из ученых сотню лет назад объявил, что на одной из далеких планет может существовать жизнь, он наверняка не был бы вознесен на такие высоты славы, как Фид. Его открытие заняло бы место среди обычных ежедневных новостей. Но теперь, когда жизнь Унета висела на волоске, а исследования ученого привели к таким обнадеживающим результатам, в сердце каждого унетянина зажегся огонь надежды. Именно поэтому Фиду повсюду воздавались почести.

Для полетов автоматов, для контрольных проверок не было времени. Поэтому перед выдающимися исследователями Нигом и Кивом была поставлена задача: долететь до Эрл, опуститься на ее поверхность, изучить возможную среду обитания на месте, при встрече с разумными существами установить контакт. Чтобы обезопасить экспедицию от поражения неведомыми микроорганизмами, была разработана аппаратура, обеспечивавшая кораблю и его экипажу большую зону защитного излучения. И вот теперь корабль вернулся. Надежда рухнула.

Ниг живой, но с симптомами психического расстройства, рассказывает о преследовавших его галлюцинациях. Кив погиб неизвестно от чего, несмотря на все меры предосторожности, принятые космонавигаторами. Главный итог экспедиции — условия на Эрл опасны для жизни унетян. Этого достаточно, чтобы перечеркнуть судьбу Фида.

Сердце его сжалось. Душе захотелось безлюдья, широкого простора. Просторы... Где они есть? Теперь это просто метафора. Мы привыкли к узким ущельям между зданиями, только вот душа не может привыкнуть, атавистическая тяга к воле все живет в ней.

Сейчас все спят, подключившись к своим любимым программам проектора сновидений. Только Фид не может уснуть. Вот уже несколько дней он мучается от невозможности забыться — импульсы проектора искажаются, и вместо приятных сновидений он видит кошмары. И никому не поведаешь о своем горе. Есть ли кто-нибудь, кто разделил бы с ним его печаль?!

На цыпочках, чтобы не разбудить соседей по палате, Фид вышел в коридор, проехал в капсуле подъемника до первого этажа и попал в сквер. Было душно.

Он и сам не знал, куда идет. Но что-то вело его все дальше и дальше, и он шагал по каменным плитам, устилавшим улицы спящего округа Вау 35/12.

Под утро он добрался до рощи. В пору Покорения Природы (так именовалось это время велеречивыми администраторами) унетяне оставили от каждого леса такие вот рощицы, как память о дикой растительности, некогда покрывавшей планету. И теперь Фид искал успокоения на этом клочке побежденной природы.

Тесен мир. Нет ни пяди свободной земли. «Но где-то должен быть простор, который может дать утешение душе,— думал ученый.— Пусть даже не будет света. Ощущение простора необходимо человеку! Без этого невозможно... Неужели я брежу? Глупец... Это сказывается бессонница. Я мечтаю о мираже...»

Глаза его воспалились, в горле пересохло. Ему казалось, что стеклянные громады зданий, переливающиеся под первыми лучами солнца, наступают на крохотную рощицу и вот-вот сомкнутся...

Фид вошел под сень деревьев. Сначала он шагал по вытоптанной глинистой тропинке, затем ступил на покрытую нежной травой сырую землю. Машинально, сам того не замечая, Фид срывал листья с деревьев, щипал травку и задумчиво жевал зелень. Тишина. Пока все кругом спит, кажется, что он на самом деле забрел в настоящий бескрайний лес, какие существовали когда-то. Для полной иллюзии недостает только птичьих голосов... Их изображения и имена сохранились лишь в пособиях по истории Унета. Да можно еще послушать их пение в фонотеках. Беззащитные птицы стали первыми жертвами резких изменений в атмосфере. Фид с тоской поднял голову и стал глядеть на кроны деревьев. Увидеть бы хоть раз в жизни живую птицу... Говорят все-таки, что отдельные особи-мутанты уцелели, кто-то видел помет, следы. Нет, скорей всего очередная сенсация...

Поднялся легкий ветерок, и Фид вдруг ощутил знакомый запах — затхлый и приторный запах Приюта. Ему ли было не знать его: ведь он долго возглавлял Комиссию по водворению провинившихся ученых. Он часто бывал в Приюте — содержавшиеся здесь лишались возможности заниматься наукой за тот ущерб, который они нанесли обществу своими ошибочными гипотезами или проектами... Трижды в день их подключают к источнику физиологического раствора.

Иного питания не положено. Одинаковые балахоны. Гладко выбритые лбы — знак отверженности. Теперь Фиду предстоит занять лежак в Приюте — вот цена его ошибки в расчетах... Но откуда здесь этот запах? Он встревоженно озирается, но ничего не видит, кроме корявых стволов и листвы. Сделав несколько шагов, останавливается: пара горящих глаз воззрилась на него из сплетения ветвей. Фид сразу узнает этот взгляд: «Ты, Пим?!» Грузное тело обрушивается на землю, и узник Приюта, путаясь в полах нелепого балахона, бежит прочь. «Стой, Пим! Я не собираюсь причинить тебе зла!» — кричит Фид и бросается вслед за беглецом. Он скоро настигает своего бывшегу коллегу — питание в Приюте явно не способствует упражнениям в беге. Пим в испуге закрывает бритый лоб руками, кожа его покрывается фиолетовыми пятнами. «Как ты попал сюда?» — спрашивает Фид. Молчание. Оба долго смотрят друг другу в глаза. Внезапно Фид соображает: это пахнет балахон Пима, который пропитался невыносимым духом Приюта.

Фид вспоминает: он ведь первым потребовал, чтобы Пима отправили в Приют. Нет, он не сожалеет о своем тогдашнем решении. Пим давным-давно должен был быть направлен в заключение. По его вине высохло большое озеро. Когда стало известно, что уровень воды в нем из года в год падает, перед унетянами возникла дилемма: сохранить озеро, невзирая на большие расходы по его спасению, или отказаться от вмешательства, предоставить водоем собственной несчастной судьбе. Выгоды первого решения проблемы не покрывали бы и половины расходов. Конечно, и во втором случае было не избежать убытков. Однако предполагаемая прибыль от освоения дна высохшего озера в будущем должна была превзойти их. Пим встал на защиту второго решения. Он представил убедительные расчеты, обещавшие прибыль, и рекомендовал не дожидаться естественного высыхания озера, а «помочь» ему. Приступили к осушению, и через короткое время по дну стало можно ходить. Поначалу выгоды были немалые — появилась новая территория для застройки. Пиму вручили награду, его имя то и дело мелькало в речах администраторов. И только по прошествии многих лет унетяне убедились, что осушением озера был нанесен непоправимый ущерб природе, резко изменился климат большого района, пострадала

экономика. Общие потери оказались в итоге огромны. И тогда комиссия постановила: Пим лишается всех знаков признания и заключается в Приют.

Давно уже Фид не встречал его и теперь с каким-то странным чувством разглядывал Пима — скоро и ему предстоит занять место по соседству с ним. И тогда — бритый лоб, такой же балахон, тот же невыносимый приторный запах...

Фид резко отворачивается и идет прочь. «Что делает здесь в этот предутренний час несчастный Пим? Сбежал? Нет, просто выбрался ненадолго подышать среди листвы — ведь Приют неподалеку... Да и куда ему бежать?» Фид углубился в рощу. Открылась небольшая поляна, и он остановился. Посередине торчал из травы большой валун. Ученый вспомнил это место. Раньше из-под валуна бил родник. Но теперь сухо. На сломанных ветвях, на зеленых кустах не видать насекомых. Наверное, ушли на поиски новых мест, где есть вода... На душе было тревожно. Фид вздохнул. Сжав голову руками, присел на валун. Куда теперь идти? Приближалось время первого приема пищи. Он боится опоздать к раздаче? Не хочет умереть с голоду и будет спокойно дожидаться, пока его отправят в Приют?

Ученый повернул обратно. Выйдя из рощи, он увидел знакомую фигуру у входа в свой дом. Сердце Фида учащенно забилось, но он продолжал спокойно шагать, словно ничего не случилось. Когда взгляды их встретились, он сказал только:

— Прошло двадцать два года, Ниг...

— Фид! — Ниг обнял постаревшего друга.

— Я действительно ошибся? — сдавленным голосом спросил Фид.

— Сейчас трудно сказать наверняка.

— На днях соберется Комиссия по водворению...

— Я написал письмо Высшему собранию с просьбой не спешить с решением.

— Спасибо, Ниг. Однако до сих пор не был прощен ни один из ученых, допустивших ошибку.

— Именно поэтому мы и оказались на краю гибели. Ошибавшиеся ученые попадали в Приют и лишались возможности вести исследования, а не ошибающиеся жили в свое удовольствие и довели нашу бедную планету... Неужели так трудно понять эту простую истину!

— Напрасно ты кипятишься,— понизив голос, заметил Фид.— Эта задача не из тех, которые мы можем обсуждать. На это есть Высшее собрание.

— А из кого оно состоит? Именно из тех дельцов, которые обходятся без ошибок. Ты знаешь, что означает «работа без ошибок»? Не ошибаются только те, кто не работает.

— Ниг, ты пришел сказать только об этом?

— И об этом тоже.

— Ты, наверное, сдал отчет о полете?

— Да, конечно. Я не утверждаю категорично, что на Эрл нет жизни. Я прихватил с собой памятники.

— Памятники?

— Да. Очень похожие на нас. Только несколько меньших размеров.

— А химический состав атмосферы, наличие воды?

— Ваши предположения подтвердились, но...

— Что «но»?! — невольно воскликнул Фид.

— Результаты спектроскопических исследований, которые мы провели на орбите спутника Эрл, были близки к вашим расчетам. Однако наблюдения на поверхности планеты дали весьма отличные от них результаты... У меня есть по этому поводу соображения.

— Слушаю тебя.

— Возможно, на Эрл когда-то была жизнь. Но, вероятно, тамошняя цивилизация пришла к своей гибели — как это происходит у нас. Возможно, жители Эрл нашли убежище на других планетах. А в память о себе оставили изваяния... Что, если население Эрл — предки унетян?

— Не фантазируй.

— Во всяком случае, я ищу разгадку памятников...

— Они встретились случайно? Или вы заметили их с орбиты?

— Можно сказать, случайно. Однако их было очень много. Даже деревья среди них есть.

— Если бы мы покидали Унет, какую память о себе оставили бы мы?

— Я не думал об этом.

— Ты должен был подумать... Кива будут погребать с почестями?

— Нет, об этом речи еще не было. Медикам пока не удается установить причину смерти. Попробуют, видимо, оживить его...

— Ты привез с собой целый ворох загадок. Хватит ли нам времени, чтобы разгадать их?

Не дожидаясь приглашения, Нияз открыл переднюю дверцу машины, смахнул с сиденья пыль. Усевшись, он бросил портфель назад и уставился на дорогу. Игитали-ака подумал: «Э-э, да парень-то из тех, что любят заноситься». Вопросительно посмотрел на Даврана. Но тот, словно ничего не заметил, открыл заднюю дверцу и сел рядом с портфелем «начальника».

— Трогаемся, Игитали-ака?

Машина двинулась по ухабистому проселку. Клубы пыли взлетали из-под колес, наполняли кабину. Нияз поспешно поднял боковое стекло. Затем достал из кармана носовой платок, сложил его несколько раз и набросил на шею. Игитали-ака наблюдал за движениями гостя. Нет, не нравился ему Нияз: то ли выражением лица, то ли не к месту франтоватым видом. И все-таки он ничем не выдавал своих чувств — встретить гостя следует как подобает, независимо от того, мил он тебе или нет. Понятие об этом Игитали-ака впитал с молоком матери. Но поделать ничего не может — не по нутру ему этот парень. Видно, поэтому он все не может найти повода, чтобы начать разговор. Да и Давран что-то молчит. Может, не выспался: сидит с закрытыми глазами...

Когда машина выбралась на большую дорогу, Нияз опустил боковое стекло. Подставил лицо ветру.

— Какой воздух, словно каймак [1]! — сказал он.

Игитали-ака слегка улыбнулся и кивнул головой.

— Машина ваша собственная?

— Да, собственная.

— Вы изрядно потрепали ее.

— Дорогу вы сами видели, благо еще машина терпит.

— Сколько вы за нее заплатили? Продайте ее, пока она совсем не развалилась.

— Зачем?

— Как зачем? Купите новую.

Разговор начал Нияз. Долг хозяина обязывал Игитали-аку поддержать беседу. Поэтому Игитали-ака, не

[1] Каймак — сливки.

глядя на гостя, сквозь зубы сказал: «Не-ет, я не могу ее продать».

— Как это — «не могу продать»? Да она у вас уже прошла восемьдесят тысяч, раскрутите назад вот эту штуковину, доведите показания спидометра до двадцати тысяч, смажьте, подтяните кое-где, протрите, и все дела. Пригоните в город и продадите по меньшей мере за шесть тысяч — ручаюсь за это.

— Если захочу продать — покупатель и здесь найдется. Только, дорогой гость, я не умею ловчить. Да и главное — эту машину мне дали в награду. Она мне дороже любых денег.

— В награду?!

— Да.

— Где вы работали прежде?

— А где может работать житель кишлака — хлопок выращивал.

— Вы были механизатором?

— Когда возникала необходимость, был и механизатором.

— Да-а, бросить такую работу!.. Я слышал, они огребают кучу денег...

Давран прервал Нияза, слегка толкнув его в плечо. Нияз обернулся:

— Проснулся?

— Сейчас будем проезжать барханы.

Однако Нияз молча кивнул и продолжал:

— Я слышал, что некоторые живут в свое удовольствие до самой осени, а на поле выходят с началом уборки урожая. Соберут пятьсот или шестьсот тонн хлопка, загребут денег на машину и опять отдыхают до следующего сезона. Это верно?

Игитали-ака взглянул на Нияза.

— Возможно, есть и такие.

— Вы не обижайтесь, я не хочу сказать, что вы из таких.

— Ба-а, дорогой гость, даже и не подумаю. Продолжайте, не стесняйтесь.

— Выходит, вы неплохо работали, если вас наградили машиной. А ордена у вас есть?

— Есть.

— Сколько?

— Стоит ли их пересчитывать?

— Да я так, ради интереса... Во всяком случае, меня удивляет, почему вы в экспедиции.

— Врачи посоветовали, чтобы я сменил профессию... Смотрите, только что мы ехали по цветущей долине, и уже начинается пустыня.— Игитали-ака явно хотел перевести разговор на другую тему.

Деревья вдоль дороги поредели. А скоро за окнами машины поплыли песчаные барханы. Даврану казалось, что эти пески погребли под барханами древние тайны. Пески в Кызылкумах или Каракумах никого не удивляют. Однако встреча с небольшим клочком пустыни прямо в центре цветущей долины наполняет душу какой-то тревогой. Во всяком случае, так бывает с Давраном, когда он проезжает этой дорогой. «Что это? Каприз природы? Скорей всего, в древние времена вся Фергана выглядела так и лишь благодаря настойчивости народа превратилась в цветущий сад. Может быть, наши деды и прадеды, сражавшиеся с песком, оставили в качестве напоминания грядущим поколениям этот кусочек пустыни, нечто вроде естественного музея?..»

— Кажется, в песках что-то посажено? — спросил Нияз.

— Здесь посажены деревья саксаула,— ответил Игитали-ака.

— Саксаула? Это еще зачем? Ведь эти места хотели осваивать?

— Пески занимают площадь около десяти тысяч гектаров. Что можно было — освоили. Навезли на песчаный слой земли, сверху набросали слой плодородной почвы и сейчас сеют хлопчатник. А саксаул сажают для того, чтобы барханы не ползли на посевы. Каждый год заново принимаются за посадки.

— Что, не принимаются?

— Приниматься-то принимаются, но едва росток пробьется наружу, как сюда пригоняют скотину. Сколько скандалов было из-за этого. И штраф платили. Но положение остается прежним. Если к саксаулу не притрагиваться в течение двух лет, потом горя знать не будешь — прибыль пойдет горой.

— Игитали-ака, вот вы дехканин,— сказал Давран.— Со временем от песков не останется и следа — пустыню осваивают. Но как вы считаете — правильно ли это будет?

— Не в характере нашего народа сидеть сложа руки. Стоит узбеку увидеть клочок свободной земли, он

тут же что-нибудь посадит. Вот и на месте пустыни он разобьет сады.

— Но правильно ли это будет?

— А чего тут неправильно?

— Полное уничтожение пустынь окажет вредное влияние на климат.

— Польза или вред — для меня это темный лес. Вы люди ученые, а мне откуда знать? Мое дело работать,— он на минуту задумался, затем произнес: — Конечно, климат тоже меняется. Не потому ли так часто люди стали умирать внезапно. Раньше подобных случаев было мало. А теперь о них слышишь чуть ли не каждый день. В кишлаках, правда, не так много, больше в городе. Интересно, в чем же причина?

— Причина проста: давление крови...— важно сказал Нияз, разминая сигарету.

Но Игитали-ака так и не услышал объяснения причин внезапных смертей. Нияз быстро перевел разговор на новую тему: о страшном урагане, пронесшемся над Америкой. Давран усмехнулся — он знал, что Нияз любит щегольнуть своей мнимой образованностью. И то, что сей «ученый муж» не сумел дать ответа на вопрос дехканина, лишний раз свидетельствовало о его невежестве. Хотя причины ишемических заболеваний давно известны любому образованному человеку. Быстрые темпы развития, загрязнение окружающей среды, городской шум, постоянные стрессы, чрезмерное уменьшение физических нагрузок — материалы о печальных последствиях всего этого не сходят в последнее время с газетных полос и страниц журналов. Наверное, Нияз не дочитал до конца ни одну статью. Если ему поручить ликвидацию пустынь, он справится с этим в течение нескольких лет. А о последствиях и думать не будет. Как говорится, вместе с тюбетейкой принесет голову. Но если начальство прикажет ему расширить границы пустыни, то, глядишь, всю долину превратит в безжизненный край. Мы огорчаемся, встретив бездарных дельцов от науки. Думаем, ломаем голову, как они сумели устроиться среди настоящих ученых, почему умные наставники открыли перед ними двери институтов и академий. Проследите карьеру Нияза. Можно с уверенностью предсказать и его светлое будущее. Он никогда не попадет в опалу. А сможем ли мы дать ответ, если на старости лет нам зададут во-

прос: «Почему руководит археологией такой безграмотный человек, как Нияз Мансуров?»

Остановились в райцентре возле книжного магазина. Директор, невысокий, плотный мужчина, обнял Даврана, как родного брата, остальных приветствовал крепким рукопожатием. Давран представил его: «Камалходжа. Вместе учились в школе, женился здесь и остался в этом районе». Узнав, что гости собрались на рыбалку, Камалходжа попросил немного подождать, сел в свой «Запорожец» и куда-то уехал. Вернулся он через полчаса. К багажнику на крыше машины были привязаны рыболовные снасти. Вместе с директором магазина приехал высокий худой парень. Это был Закирали — самый заядлый рыбак в округе. Камалходжа представил приятеля гостям.

— А родился он в год верблюда [1],— добавил он шутливо.

— Не удивляйтесь, гости дорогие,— сказал Закирали, парируя шутку друга,— с тех пор как книжным магазином стала заведовать «корова», цикл летосчисления увеличился на один год.

Все от души рассмеялись. Затем забрались в машину Камалходжи и отправились к реке. Пока ехали, не смолкали шутки, смех.

На песчаном берегу Закирали сразу же расположил рыболовные снасти и внимательно осмотрел их. При этом он ворчал, что их не стоит доверять даже признанным «королям» рыбной ловли, и выругался в чей-то адрес. Тем временем Камалходжа открыл багажник и вытащил две старенькие курпачи [2], сумку с продуктами и выпивкой.

Нияз некоторое время наблюдал за рыболовами, затем разделся, аккуратно сложил одежду, убрал ее на сиденье машины и лег на расстеленную курпачу. Его, видно, разморило на солнце — через минуту он уже спал, приоткрыв рот. Давран скатал вторую курпачу наподобие подушки и, подсунув ее под голову коллеге, пошел к реке. Игитали-ака принялся разводить костер. Мутная вода текла словно нехотя, лениво поглаживая

[1] Двенадцатилетний цикл летосчисления на мусульманском Востоке, каждый год которого носит название животного (мышь, корова, тигр, заяц, рыба, змея, лошадь, баран, обезьяна, курица, собака, свинья). (Год верблюда — выдумка Камалходжи.) *(Примечание переводчика.)*

[2] Курпача — узкое стеганое одеяло.

песок на берегу. Раньше даже в самую жару уровень ее поднимался до того места, где сейчас стоит машина. А теперь река заметно обмелела. Легко можно доплыть до острова. Но люди редко забираются туда. Мальчишки боятся злого духа, якобы живущего на острове, тех, кто повзрослее, отпугивает вероятность встречи со змеей или кабаном. До родного кишлака Даврана отсюда можно доехать за два часа. Когда он был маленьким, отец несколько раз брал его с собой сюда. Мужчины веселились, ловили рыбу. А Давран усаживался на берегу и разглядывал таинственный остров. Ему казалось, что сказочные чудовища прячутся в буйных зарослях, нависших над водой.

Остров все такой же. Глядишь и не налюбуешься. Он разделил реку надвое, и оба рукава соединяются только верст через десять. Царство дикой природы. Густые заросли шиповника, сизолистого тополя, дикой джиды. Ветви деревьев и кустов склонялись к самой воде, мокрая листва блестела под солнцем.

Все вокруг — во власти тишины. Глядя на этот пейзаж, Давран забыл о своем намерении искупаться. Его раздумья прервал шум мотора. Кто-то плыл по самой середине потока. Но вот лодка повернула в его сторону и через минуту мягко ткнулась в песчаный берег. На песок прыгнул юноша в брюках с закатанными до колен штанинами, в тюбетейке, надвинутой на самые брови.

— Думал, нарушители порядка, а тут, оказывается, свои,— сказал он с улыбкой.— Похоже, здесь где-то Закирали-ака. Не узнаете меня? Я племянник Камалходжи-аки. Мы виделись с вами в прошлом году. Тогда я тоже работал в магазине.

Давран узнал парня, но никак не мог вспомнить его имя.

— Теперь мне поручено охранять эти места,— сказал юноша.— Хотите, прокачу вас до острова?

Давран кивнул и влез в лодку. Племянник Камалходжи оттолкнул лодку от берега, завел мотор.

— Посмотрим на диких коз? — спросил словоохотливый парень.— Вообще-то это обыкновенные домашние козы. Они как-то умудрились перебраться через реку прошлым летом, когда стояла засуха и воды было мало. А потом уже не смогли пройти назад и одичали. Как только завидят человека, убегают. Вон, смотрите, побегут, если подплывем ближе,— сказал

он, когда до острова оставалось несколько десятков метров.

Давран бросил быстрый взгляд в указанную парнем сторону. Среди зарослей неподвижно стояли три белых козы и настороженно смотрели на лодку. Как только подплыли ближе, они, словно по команде, повернулись и бросились в глубь острова.

— Видите, совсем одичали,— с этими словами племянник Камалходжи повернул лодку и прибавил обороты двигателя.

— Что теперь с ними будет? — прокричал Давран, чтобы собеседник услышал его сквозь рев мотора.

— Когда уровень воды в реке опустится, пойдем в кишлак и объявим, чтобы хозяева забрали их. Иначе пристрелят.

— Кто?

— Да общество охотников. Говорят, что эти места превратят в заповедник. Поэтому пасти домашний скот здесь нельзя. Оказывается, в древние времена здесь водились дикие животные: от джейранов до тигров. Теперь, говорят, их вновь завезут сюда и будут охранять.

Лодка шла теперь совсем рядом с берегом острова. Давран не отрывал глаз от зарослей. За каждым кустом ему чудились козы. «Убежали, испугавшись человека... И это домашние животные, прожившие с ним тысячелетия. Что же говорить о диких зверях. Наш предок охотился, чтобы не умереть с голода. А мы убиваем просто так, ради интереса. При раскопках мы обнаруживаем следы неизвестных животных, отпечатки неведомых растений. Какие из них исчезли с лица земли по вине человека? Неужели природа могла породить своего палача?.. Хорошо, что сейчас начали оберегать сохранившихся редких животных. Но ведь нельзя уже вернуться назад, к той близости с природой, которая была естественна для доисторического человека... И все же интересно, что произойдет, если человечество вдруг перестанет стремиться к прогрессу цивилизации и хоть на некоторое время вернется к первобытному образу жизни? Смогли бы мы найти в себе силы, чтобы исправить допущенные и предотвратить новые возможные ошибки? Искоренить обман, злость, корысть, чинопочитание, эгоизм... И мало ли еще всяких недугов, о существовании которых мы даже не предполагаем, но которые станут видны,

если встать на какую-то неожиданную позицию, взглянуть на человека как бы отстраненно. Что, если он лучше виден... вот из-за этих кустов...»

Давран усмехнулся своим мыслям — так недолго и коз признать за носителей особой морали. «Коза sapiens — как вам это нравится?!»

— Эге-ге-е! — сидевший на корме племянник Камалходжи поднялся и замахал рукой. Давран теперь только заметил у противоположного берега ловивших рыбу друзей, те в ответ тоже кричали и размахивали руками. Подплыли к ним, помогли собрать улов — дюжину крупных сазанов и усачей. Закирали ловко сложил улов в сумку. Подмигнул Камалходже: «Не арестует нас твой племянник?» Все дружно расхохотались.

Нияза разбудили, когда уха была готова. Он долго не мог прийти в себя, так как спал на солнцепеке и теперь чувствовал тяжесть в голове. С неохотой встал, поплелся к реке умываться. Пропустили по маленькой, и Нияз ожил. Взяв в руку кусок рыбы, он принялся разглагольствовать, остальные же сидели, не притрагиваясь к еде. Давран хорошо знал обычаи местных жителей: здесь считалось неприличным есть, когда говорит гость. Поэтому он часто прерывал рассказы Нияза.

Когда стало смеркаться, собрали рыболовные снасти, сложили в багажник остатки улова и припасов. Камалходжа повез гостей к себе домой.

Под высокими подпорками виноградных лоз на дастархане уже было приготовлено угощение. Жена Какалходжи застенчиво поздоровалась с гостями и отправилась в кухню. Хозяин пригласил всех усаживаться.

Давран видел, что Нияз не намерен уезжать, и спросил его:

— Какие у тебя планы?

— Мне все равно,— пожав плечами, ответил Нияз.— Я человек командированный...

— Мы с Игитали-акой после ужина собираемся ехать назад. Ты с нами?

— Да оставь ты свои раскопки: был, видел, с меня хватит. Поверь, я поддержу тебя. Работа у тебя пойдет. Я, пожалуй, отсюда поеду домой.

— Я вас никуда не отпущу! У Даврана одна работа на уме. А человек не машина, ему нужен отдых,—

вмешался в их разговор Камалходжа. Услышав это, Нияз повеселел.

— Это речь настоящего джигита. Научите таким словам своего друга,— сказал он.

Но сколько ни упрашивал Камалходжа, Давран стоял на своем. После ужина, выпив пару пиалушек чая, отправились в путь, поручив Нияза заботам Камалходжи.

Отъехав от гостеприимного дома, заговорили о завтрашних делах. Обоим было неловко даже упоминать о Ниязе, оставшемся гостить у малознакомых людей. Наконец Игитали-ака, вздохнув, спросил:

— Судя по словам этого вашего сослуживца, он может прекратить все работы. Это правда?

— Правда,— кивнул Давран.

— Но он говорит — поддержу, может, все будет в порядке.

— А вот в этом я сомневаюсь. Если он заявит, что работы следует остановить,— их несомненно остановят. Но если скажет, что надо продолжать раскопки,— их все равно могут прекратить. Он ведь просто марионетка. А нитки от нее в руках сильного и влиятельного человека.

— Я слышал, Асаджан тоже спорил из-за этого места. Чем же не понравилась ваша работа тому сильному человеку?

— У них была личная вражда.

— У нас в кишлаке на смех поднимут, если сказать такое. Все уверены, что ученые — самые умные, честные люди. А вражда — это удел всяких неучей, бездельников, невежд.

Давран улыбнулся. Он и сам был такого же мнения, когда учился в школе. Да и на первых курсах института преподаватели с ученой степенью казались ему чуть ли не святыми. Когда до него стали доходить всякие сплетни о преподавателях, он поначалу просто отказывался их слушать. Но с годами он убеждался в том, что ученые не так уж отличаются от простых смертных, что и в их среде можно встретить недоброжелательность, подлость. Немало здоровья унесли у Асада Бекмирзаевича его постоянные стычки с руководством института, с теми, кто завидовал его научным успехам...

Видя задумчивость спутника, Игитали-ака не стал докучать ему разговорами. Когда машина въехала на

неосвещенную улицу кишлака, он предложил: «Переночуйте у меня, а утром сын отвезет нас на работу». Но Давран не согласился и попросил высадить его возле шоссе.

— Хочется пройтись, подумать. Не беспокойтесь, Игитали-ака, до лагеря здесь всего три километра.

На уговоры подвезти его он наотрез отказался. Когда машина развернулась и фары перестали освещать дорогу, вся окрестность, казалось, потонула в непроглядной ночи. Но постепенно Давран привык к темноте и стал различать причудливые очертания деревьев, телеграфные столбы и строения кишлака. Он постоял, вслушиваясь в ночь, потом зашагал по пыльному проселку в сторону раскопок.

До палатки оставалось каких-то сто метров, когда ясно различимый звук заставил Даврана остановиться. Сначала это был свист. И потом снова повторился этот звук, напоминающий скрип двери. Перед глазами археолога все поплыло, и он, неожиданно для себя, сел на обочине дороги. Окрестность осветилась — человеческая фигура огромного роста, окруженная сиянием, двинулась к Даврану...

Во время своего путешествия на Эрл Ниг часто думал о том, как он встретится с родными после полета, как сложатся их взаимоотношения в дальнейшем. Оставшиеся на Унете значительно постареют, жизненного опыта у них будет намного больше, чем у космонавигаторов, да и мировоззрение их в чем-то изменится. Неудивительно, если друг, с которым он делился всеми своими помыслами, станет чужим, а единомышленник — идейным противником. Ведь за это время на родной планете пройдет бездна времени...

По окончании карантина он получил разрешение общаться с унетянами, и на него обрушилось столько новостей, столько разноречивых мнений, что он невольно стал ощущать себя каким-то чужаком среди своих. Даже с женой не получалось разговора по душам. Дети — сын и дочь — тоже отдалились от него: они росли, не зная отца. И при первой же встрече с Нигом они не удержались от обвинений в адрес старшего поколения, затеявшего безуспешное путешествие на Эрл. Нимало не смущаясь, они говорили о собственном отце, как об одном из тех, кто нанес вред об-

ществу: провал экспедиции на далекую планету лишал унетян последней надежды. Нигу и в голову не приходило, что ему придется выслушать такое от собственных детей. Поэтому, узнав, что Фида собираются поместить в Приют, он не возмутился и даже не удивился. С тех пор как они с Кивом отправились в поиски, к ученым начали относиться еще хуже — на них сваливали все беды угасающей цивилизации.

Жена сильно постарела. Ходит с трудом. По всему видно, что старуха доживает последние месяцы. И рядом с ней — Ниг, молодой, полный энергии, прежнего своего энтузиазма. Он готов снова ринуться в космические бездны, искать в бесконечных пространствах Вселенной Надежду для унетян.

Иногда он чувствовал себя потерянным, никчемным. Прежде стремление вернуться на Унет, к жене и детям, придавало ему силы. И вот он вернулся. Но все кругом кажутся ему чужими. Даже к детям он испытывает какое-то холодное любопытство. А ведь они похожи на него. Точно таким же стройным был он в молодости. Длинные стройные ноги, короткие руки, крупная продолговатая голова... И все-таки Ниг часто задумывался о детях. Его беспокоило то, что они не обзавелись до сих пор семьями.

— Я думал, меня встретят и внуки,— сказал он однажды, когда сын и дочь собирались спать и выбирали для себя программу сновидений.

— Вы бесконечно отстали от жизни,— ответил первенец тоном, покоробившим Нига.— Уже много лет как действует постановление, запрещающее иметь детей.

— Вот как? — опешил отец.

— С тех пор как репутация ученых-естественников упала в глазах общества, для нас на первом месте стоит философия. Администраторы тоже прислушиваются к современным мыслителям. Особенно распространены идеи Мала — он говорит, что биологическое продолжение рода абсурдно, и не видит смысла в создании семьи. Сначала его последователи женились или выходили замуж, отдавая дань традиции. А теперь и в этом не стало необходимости. После декрета о запрещении деторождения были повсюду созданы Дворцы любви. Все мы живем в последние времена цивилизации, так пусть ее закат будет пышным и прекрасным — так говорим мы, последнее поколение Унета.

— Это философия эгоиста и невежды,— воскликнул Ниг.— Жить для наслаждения, не имея никаких обязательств перед прошлым и будущим! Вы нарушаете великий закон жизни — она никогда не может прерваться сама по себе. Только насилие или катастрофа могут остановить ее. Подлые идейки Мала — кредо врага жизни... Посмотри, как прекрасен, как богат еще красками доставшийся нам от предков мир! Да, мы преуспели в разрушении нашей колыбели, но жизнь не замерла в ней. Наше солнце по-прежнему щедро шлет свои лучи всякому живому существу, зеленые валы океана все так же, как и при наших прадедах, бьются о каменные груди утесов... И наша великая культура — теперь она подобна увядающей ветви, но брызните на нее животворной влагой новых, оптимистических идей, и она вновь зазеленеет...

Жена Нига, схватившись за грудь, закашлялась. Сын быстро захлопнул окно, опустил штору.

— Видите? Попробуйте-ка продолжать жизнь на этой раскаленной сковородке, если у вас не будет кондиционера... По-вашему, я должен этого желать своим детям. А дальше будет хуже. Нет, я не хочу, чтобы они задохнулись во имя утверждения вашей оптимистической философии. Что они увидят, появившись на свет? Сколько проживут? Сколько лет мы протянем сами? Оставлять потомство, когда над планетой витает тень смерти,— преступление. Мы — новое поколение — наконец-то поняли это. И предпочли красивый, полный достоинства закат безобразной смерти от удушья.

— Вы просто духовно деградировали. Каким еще словом можно назвать отказ от борьбы?

— «Бороться»!.. Какую это борьбу вы имеете в виду? Оставляете нам в наследство умирающую планету и поучаете: боритесь, дерзайте. Вы хищнически обирали океаны и сушу, во всю мочь трубя о наступающем золотом веке. Мы честнее вас: зная, что не сможем оставить долговечного наследства своим потомкам, не хотим иметь детей. Так почему же вы объявляете наши взгляды философией невежд? Простите меня, но вы оторвались от жизни. Многое изменилось за время вашего отсутствия. Примите это во внимание и не затевайте бессмысленные споры. Как сын я должен предупредить вас об этом. На оптимизм больше нет спроса.

Действительно, многое изменилось. Умом понимая это, Ниг никак не мог принять сердцем новые порядки. Он тосковал по прошлому, по той цельности, которая встречалась еще среди людей его времени. Поэтому он и пришел к Фиду.

В словах старого друга звучала горечь, боль, видно, много ее накопилось у него в душе. Нет, не все унетяне простились с надеждой. Хотя говорить об этом небезопасно, есть еще те, кто верит в будущее планеты, готов бороться за продолжение жизни. Философия пессимизма — не новость, она всегда пыталась мешать развитию общества. Но она перешла в наступление в самый тяжелый момент, в тот момент, когда, напротив, необходимо было собрать все силы для поисков выхода из тупика.

— Многие из тех, кто пытался противостоять заразе «закатничества», попали в Приют. Другие не выдержали борьбы — Мим, например.

— Я слышал. Но не стоит сожалеть о нем,— жестко сказал Ниг.

— Почему?

— Он убил сам себя. Он совершил предательство.

— Кого же он предал?

— Сначала себя, потом общество, науку. Я не умею сожалеть о трусах.

— Ты чрезмерно требователен.... Ты отсутствовал долгое время. Очень многое изменилось.

— Это я уже слышал.

— Мим был из числа самых талантливых ученых. Он стал безразличен ко всему, когда твердо убедился в том, что руководство Унета не верит в будущее и планета обречена на гибель. Поэтому он даже запретил лечиться своим заболевшим детям. Болезнь и унесла сначала их, а потом жену.

— Значит, эта философия находит сторонников и среди нас... Тем более не стоит горевать о Миме.

— Таких стало большинство; они забыли, что пессимизм приближает катастрофу и мы должны остерегаться его, как инфекции. Ученый обязан воспользоваться даже самым последним шансом. От смерти никто не убежит. Но надо быть готовым встретиться с ней лицом к лицу...

— А вот мой отпрыск предпочел бы, чтобы она застала его в момент, когда он нацепил на себя шлем проектора сновидений,— горько произнес Ниг.

После этой беседы Ниг в течение нескольких дней не выходил из библиотеки, знакомился с последними научными публикациями. Большинство разработок преследовало цели, продиктованные философией Великого Заката: сделать быт последнего поколения унетян как можно комфортабельнее и разнообразнее, не допустить дальнейшего падения уровня жизни из-за предельного истощения ресурсов планеты. Но Нигу попались и другие работы. Авторы их были по-настоящему встревожены торжеством последователей Мала и хотели спасти цивилизацию Унета. В одной из кассет он нашел прозрачную аллегорию, намек на положение, сложившееся в последнее время. Автор говорил, что тащить орудие в гору тяжело. Однако его невозможно остановить, если оно вырвется из рук. Оно будет сокрушать все на своем пути. Не так уж давно весь ученый мир был озабочен тем, чтобы втащить орудие на самую вершину и салютовать оттуда по поводу полной победы над природой. Выстрел произведен, победу отпраздновали. Но уже вскоре началась паника, словно орудие и в самом деле покатилось вниз... Автор не делал никаких выводов, но они напрашивались сами собой: необходимо действовать, философия пессимизма ведет цивилизацию к самоубийству.

Врачи, обследовавшие Нига, были встревожены его рассказом о галлюцинациях во время полета к Унету. Навигатору посоветовали отдохнуть на берегу моря. Ниг не противился рекомендации. В последние годы он постоянно прибегал к излюбленному средству: глядя на морские волны, бегущие по экрану, и слушая их шум, он обретал душевное спокойствие...

Гигантские здания высились на побережье. Ниг бродил по песку, вглядываясь в сизую дымку над горизонтом — солнце вот-вот должно было показаться над волнами,— и вспоминал свои поездки к океану вместе с родителями. Давно это было — восемьдесят раз с тех пор таяли льды полюсов, восемьдесят раз приходили дожди и ураганы, бушующие каждую зиму. Теперь все кругом другое. Океанские воды ныне, в сущности, мертвые воды. Мало того, что в морских глубинах замерла жизнь. Мощные насосы день и ночь качают воду в подземные резервуары. Потом она проходит через десятки фильтров, магнитных полей, которые высасывают из нее железо, соль, золото. В море

возвращается «пустая» жидкость. И с каждым годом все меньше металлов извлекают из океана огромные заводы, выстроенные по его побережьям. Все более тусклым, мрачным становится цвет валов, разбивающихся у подножия небоскребов Унета.

Ниг долго стоял на берегу. Прикрыв глаза, вспоминал видеозаписи, которые смотрел на звездолете. Там море казалось красивее. Он поежился от холода. Заложив руки за спину, стал прохаживаться у самой кромки воды. «Если бы сейчас удалось вернуть океану все взятые у него химические элементы, смогли бы мы вновь возродить жизнь в его глубинах?.. Да, мы должны это сделать. Если ресурсов больше нет на Унете, мы отыщем их на соседних планетах. Пусть не удастся найти новое жизненное пространство, можно еще возродить наш старый мир...»

Тем временем исследователи приступили в лабораториях Центра космоплавания к осмотру образцов, доставленных с Эрл. Когда очередь дошла до изваяний и их подвергли систематическому анализу, произошла сенсация: эти окаменелости были органического происхождения! Более тщательное изучение позволило установить набор хромосом и сделать вывод о биологическом родстве обитателей Эрл и унетян.

Поэтому когда на очередном заседании Комиссии по водворению слушалось дело Фида, Ниг заявил о том, что ученый не ошибался в расчетах — на далекой планете действительно существовала жизнь. И, возможно, она погибла совсем незадолго до прибытия экспедиции с Унета. «Что, если Кив сделался жертвой того самого грозного явления, из-за которого население Эрл обратилось в камень?» После долгих прений решение о водворении Фида было отложено до тех пор, пока не будет обследован труп погибшего навигатора.

Фид немедленно получил назначение в лабораторию, занимавшуюся исследованием окаменелостей. Он энергично взялся за дело. И уже через несколько дней руководимая им группа ученых добилась интересных результатов. Старый друг связался с Нигом и пригласил его зайти в лабораторию.

— Кажется, мы допустили одну весьма серьезную ошибку,— сказал Фид, едва тот появился в его новых владениях.

— А, значит, ты все еще надеешься выявить виновника неудачи экспедиции и засадить его в Приют? — саркастически заметил Ниг.

— Да, боюсь, что кому-то придется иметь дело с Комиссией. Но теперь речь не об этом. Сейчас мы постараемся определить, где была допущена ошибка,— сказал Фид и, обняв Нига за плечи, повел его в соседнее помещение.

Как только руководитель и его гость вошли, один из сотрудников доложил, что к опыту все готово. Фид вместе с Нигом приблизились к стойке с образцами и реактивами.

— Эта эмульсия — основа жизни на Эрл. Смесь, содержащая двадцать разновидностей аминокислот. Мы превратим ее в камень.

— Зачем?

— Возникло одно предположение. Кажется, мы перестраховались и оберегали вас больше, чем это было необходимо. Не погубили ли обитателей планеты «Р-лучи», которые предназначались для защиты вас и корабля от биосферы Эрл?

— На нас ведь они не повлияли?

— Во-первых, вы были защищены от излучения, а во-вторых, учти разницу в строении своей клетки и клетки обитателя Эрл. У тебя — двадцать семь аминокислот, у него — двадцать... Готовы? — обратился он к коллегам.

— Готовы.

— Начнем.

Предположение Фида подтвердилось — после облучения эмульсия превратилась в камень.

Ниг был подавлен. Ему стало не хватать воздуха, и он шагнул к выходу.

— Куда ты! — Фид бросился за другом.

— Столько жертв, столько трудов! — сдавленно произнес Ниг.— И все надежды погибли из-за какой-то мелочи...

— Это Лон виноват! — грозно проговорил Фид.— Его «Р-лучам» мы обязаны крахом экспедиции. Ну ничего, он ответит нам за это.

— Постой,— с горькой усмешкой сказал Ниг.— Еще недавно ты сам чуть было не угодил в Приют. А теперь хочешь стать палачом другого ученого только потому, что он оказался менее удачлив, чем ты?

Нам всем надо объединяться для спасения Унета, а не грызть друг другу глотки.

Когда Ниг вышел из Центра, был уже вечер, однако дневной зной еще не спал. Огромные куполообразные здания лабораторий тоже дышали жаром. Застоявшийся воздух сух, нигде нет спасения. Скорее домой, в комнату с наглухо закрытыми окнами, со слабо жужжащим кондиционером. «Надо снова лететь на Эрл! Правда, теперь экспедицию организовать сложнее — ресурсы Унета на пределе, да и общественное мнение относится к рекомендациям ученых уже не с тем вниманием...»

Когда Ниг пришел домой, семья ужинала. Расспросив жену о самочувствии, он сел возле своего столика, нажал комбинацию кнопок раздатчика и взял из открывшегося окошечка пакеты и тубы с провизией.

— Видно, работы много? — бросил первенец.— Что-то поздно вы стали приходить.

— Дел хватает.

— Есть новости?

— Есть!.. Мы были правы, готовя экспедицию на Эрл — там должна быть жизнь.

— Вот как?

— Да. И проблема переселения по-прежнему на повестке дня. Только для этого нужна решительная, готовая к борьбе молодежь. Ей продолжать цивилизацию Унета на новой планете.

— Интересно, где вы собираетесь искать эту романтическую молодежь? — саркастически заметил сын.— Вот уж сколько лет не рождаются дети на этой проклятой планете.

— Не кляни так землю, на которой живешь.

— И очень сожалею об этом. Вам не удастся увлечь нас на авантюры — не та теперь молодежь. Она хочет жить для себя, а не для каких-то грядущих поколений. Тем более, что их и не будет больше. А выкрикивать лозунги да читать наставления легко... Вы и вам подобные привыкли поучать всех вокруг. А что вышло? Вы погубили планету. Ее погубил ваш прогресс!

— Не мы стояли у истоков прогресса. И остановить его не в наших силах. А тот, кому пришла бы в голову такая идея, был бы просто жалок. Но если тебе нравится, пожалуйста, борись против прогресса.

— Если нравится... У меня нет воли к такой борьбе. Я ни на что не способен, кроме как сидеть и ждать Конца.

— Такие, как ты, пессимисты, и становятся на пути тех, кто борется за предотвращение катастрофы.

— Возможно, мы приближаем ее?

— Да. Можно сказать и так. Но время еще не потеряно. Надо отказаться от зловредной философии Мала, приняться за работу. Вырастить поколение, которое пронесет наследие нашей цивилизации через космические бездны и построит Новый Унет. До катастрофы еще далеко. Если мы будем бороться, даже твои дети не станут ее свидетелями. Конец приближают пассивность, бездеятельность, паникерство.

— Вы сами не уверены в своих словах.

Ниг понял, что продолжать разговор с сыном бесполезно. Возможно ли найти единомышленников в среде этих юнцов, подумал астронавигатор.

Через несколько дней после этого разговора Высшее собрание выслушало отчет медиков, исследовавших причины смерти Кива. По мнению врачей, участник экспедиции погиб из-за мощного воздействия на его мозг какого-то неведомого излучения. Однако влияние генератора «Р-лучей» исключалось, так как никаких следов повреждений в защитной оболочке космонавта не обнаружили. Руководитель лаборатории реанимации считал, что надо попытаться оживить Кива, хотя шансы на удачу были не так уж велики. Высшее собрание одобрило это предложение.

Ниг был приглашен в качестве консультанта. Психологи полагали, что обстановка, в которой будет происходить оживление, должна быть максимально приближена к той, что окружала Кива в момент гибели. Снимки и видеозаписи помогли создать макет местности — здесь были деревья, дувалы, даже арык с водой. Ниг показал место, где располагались окаменелости, привезенные им на корабле, — именно рядом с ними Кив рухнул замертво.

Когда все было готово, над макетом возвели купол, под ним предполагалось воссоздать атмосферу Эрл. Умершего навигатора поместили на ложе, оборудованное датчиками, подвели к различным частям тела провода, закрепили присоски вибраторов, над головой

установили шлем — импульсный преобразователь. В первые часы операции оживления под куполом был создан вакуум. Только тогда, когда с помощью вибраторов и инфракрасного облучения температура тела была доведена до нормальной, насосы начали подавать газообразную смесь азота, кислорода и углекислого газа. Теперь нужно было ждать несколько дней, пока можно будет начать воздействовать на сознание Кива посредством импульсного преобразователя.

Ниг страшно волновался все это время, и врач, наблюдавший за состоянием его психики, снова потребовал, чтобы он отправился отдохнуть к морю. «Вернетесь к моменту оживления и войдете в камеру. А пока постарайтесь забыть об операции».

Но ему не пришлось присутствовать в лаборатории в этот ответственный день. Неожиданная простуда — Ниг сильно переохладился во время подводной прогулки — надолго приковала его к постели. Когда же смог познакомиться с бюллетенем, посвященным операции, был потрясен: реанимация удалась, но тяжелое психическое расстройство потребовало срочного помещения Кива в клинику.

Когда Ниг получил наконец разрешение врача вернуться к своим занятиям, он немедленно отправился в лабораторию и попросил отчет о завершающем этапе операции. Но руководитель предложил гостю подождать, пока материалы будут доставлены из Центра лингвистики. В ответ на его недоумение объяснил:

— Дело в том, что Кив после своего пробуждения заговорил на неведомом языке. Его слова были, разумеется, записаны, и теперь лингвисты ищут ключ к пониманию произнесенного им. Они утверждают, что им потребуется для этого не так уж много времени... Как бы то ни было, в конце концов мы будем иметь подробный отчет с переводом...

— Можно ли мне до тех пор увидеть Кива?

— Попробуйте поговорить с психиатрами. Но сомневаюсь, что они допустят вас к нему.

Это предсказание сбылось — в клинике сообщили, что Кив находится в одиночной палате и к нему пока никто не входит — всякая встреча с унетянином сопровождается у него странной реакцией: больной бросается в угол, забивается под лежак и, закрыв голову руками, кричит на неизвестном науке языке.

Ниг ежедневно справлялся в лаборатории, не получен ли отчет, и все-таки для него было неожиданностью, когда однажды утром прожужжал зуммер почтопровода и из щели на приемный желоб шлепнулся пакет с красным символом Центра лингвистики — крестом, заключенным в круг. Ниг вскрыл его и, отложив в сторону пачку снимков, скрепленных скобкой, стал читать отчет. Пропустив подробные объяснения методологии операции, едва пробежав глазами описание всех ее этапов, с особым вниманием стал вчитываться в описание момента пробуждения Кива.

«Девятый день. Пятый час. Вторая доля.

Импульсный преобразователь переведен на энергетический режим П.

Показания датчиков: усиление деятельности всех органов; отдельные участки мозга отзываются на импульсы преобразователя.

Девятый день. Пятый час. Третья доля.

Импульсный преобразователь функционирует в режиме М.

Показания датчиков: полное включение коры головного мозга.

Тело Кива приподнимается на стенде.

Система самоотключения электроники срабатывает — происходит отсоединение датчиков и проводов.

Кив встает, делает несколько шагов, осматривается.

Фонограмма: **Аллах**[1] милосердный, пять дней я тащился по пустыне, предвкушая отдых в кругу семьи. И что вижу: мой город поразила золотая немочь! Вот добрался до родного дома — и тут мертвое молчание. Да еще эти два **шайтана**[2] со светящимися головами бродят по моему саду... Куда они провалились? Может, они привиделись мне? За что наказываешь, о всемогущий?

[1], [2] Выделены слова, не поддающиеся переводу. (Примечание Центра лингвистики.)

Кив подходит к окаменелостям. Хватается за ту из них, которая, по всей вероятности, была существом женского пола.

Фонограмма: **Вай-вай,** и ты, Махбуба, красавица моя, нашла свой конец в этом проклятом месте... А это кто еще? Хаким? А, так вот зачем ты ходила в сад по ночам — ты миловалась с этим паршивым сыном ювелира! Горе мне, позор на мою седую голову...

Кив бьет себя руками по голове.

Фонограмма: ...Как я посмотрю в глаза баю?.. Э-э, что я мелю, старый **хрыч...** Где ты теперь будешь искать бая?

Руководитель операции опасается, что Кив может нанести себе повреждение — его мозг едва пробудился от небытия. Принимается решение войти в камеру и вывести Кива в приготовленную палату.

Когда трое сотрудников появляются в поле зрения Кива, он бросается от них и прячется за макетом глиняной стены. Речь его прерывиста, он возбужден в высшей степени.

Фонограмма: Опять шайтаны! О, аллах, за что наказываешь меня?.. Только что их было двое, теперь откуда-то свалился третий... А-а-а, не подходите ко мне, служители бездны...

Кив неподвижно лежит возле макета. Сотрудники немедленно закрепляют на его теле датчики, чтобы определить, что с пациентом. Диагноз: глубокий шок.

Когда после соответствующего воздействия на сознание Кива психостимуляторов он приходит в себя, специалист констатирует полное нарушение функций психики. Параноидальное стремление скрыться от окружающих. При попытке установить с ним контакт впадает в транс. Крики: «Шайтан! Не мучь меня, владыка ада!»

Ниг отложил отчет. «Вот это сюрприз! Что же стряслось с беднягой? Впечатление такое, словно заговорило одно из наших изваяний...»

Астронавигатор вышел из дома и отправился в рощу, чтобы в одиночестве хорошенько обдумать происшедшее. «Что это за шайтаны, хотел бы я знать... Он явно имел в виду унетян. Но тогда какие двое шайтанов являлись ему перед смертью? Ведь он поминает их сразу после оживления. На Эрл он мог видеть только меня и СЕБЯ... Вот так штука — выходит, Кив видел меня и себя со стороны. Глазами кого-то третьего... Полная неразбериха!»

Ниг вышел на поляну и присел на знакомый валун. Долго перебирал в уме всевозможные объяснения изложенного в отчете, но правдоподобного истолкования всего этого не находил. Он собрался было идти за советом к Фиду, как вдруг его осенило. «А почему Кив бросился к этим окаменелостям? Он явно узнал их. Значит... Значит, Кив — это не Кив, а обитатель

Эрл... Опять неразбериха. Единственное, что может прийти в голову... Произошел «обмен сознания» между Кивом и каким-то эрлянином. Надо пойти еще раз внимательно прочесть отчет».

Он вернулся домой и принялся снова изучать фонограммы. «Так. Он говорит о пяти днях. К моменту смерти Кива корабль пробыл на Эрл по планетарному времени трое суток. Значит, эрлянин — если мое предположение об «обмене» верно — во время нашего приземления находился в трех днях пути от города. Синхронно с посадочными двигателями включился генератор «Р-лучей». Зона его воздействия как раз должна покрыть весь городок и захватить его окрестности на три-четыре вира. Таким образом, приятель наших изваяний не попал под облучение и невредимым добрался к своей цели. Вот тут-то и появились мы с Кивом. Наши генераторы вырабатывали несравнимо меньшую дозу «Р-радиации» — даже простое укрытие могло спасти от нее... Точно, вспоминаю. Неподалеку от взятых мной окаменелостей торчала третья — меня еще удивила нелепая поза изваяния. Может быть, с ним и «поменялся» Кив в момент своей смерти?»

Ниг решил рассказать об этих умозаключениях Фиду. Пока он добирался до лаборатории, которой руководил друг, он еще больше утвердился в своем мнении. Ниг связал с катастрофой, происшедшей на Эрл, те галлюцинации, что преследовали его во время возвращения на Унет. Не хватало только нескольких звеньев, чтобы гипотеза выглядела стройно и доказательно.

Выслушав Нига, Фид заявил:

— Знаешь, мне тоже что-то подобное приходило в голову. По-видимому, действительно произошел своего рода съём информации. В момент облучения эрлянина возник чрезвычайно эффективный канал телепатической связи. И память воспринимающего энергетический заряд выстрелила в этот канал весь объем накопленных сведений. Можно уподобить этот процесс, хотя механизм его еще неясен, стиранию магнитозаписи под воздействием случайно возникшего поля или аварийному сбросу информации из ячеек электронного мозга... Для того чтобы понять происшедшее, необходимо как следует изучить природу «Р-лучей». Наша ошибка состояла в том, что мы вооружили вас ими, плохо исследовав эффекты облучения.

— Все то, что ты говоришь, выглядит правдоподобно. А что скажешь по поводу моих галлюцинаций? Что же — мертвый Ниг бомбардировал меня этой заимствованной памятью?.. Мне, признаться, источником видений представлялись окаменелости...

— Да, вопрос не прост. К сожалению, мы ничего не можем сказать о формах существования биоэнергетики жителей Эрл. Обладают ли они, подобно нам, телепатическими способностями? Могут ли создавать ноосферические поля? Может быть, под воздействием «Р-облучения» их сознание мутирует и приобретает новые возможности?

— Но не может же существовать сознание вне его биологического носителя, независимо от него.

— После гибели всей биоструктуры оно, естественно, функционировать не может. Но если биоструктура — в данном случае труп Кива — законсервирована? Я допускаю, что отдельные эманации, прорывы психополя могут существовать... Все, что я говорю, лишь самая общая, ни к чему не обязывающая гипотеза. Я просто ищу вслух подходы к решению проблемы.

— Ну хорошо. А куда делась личность Кива? Неужели она целиком была вытеснена памятью эрлянина, загнана в подсознание?

— Не знаю, это предстоит выяснить. Могу даже предположить, что его психика стала психикой того разумного существа, которое наградило его своим сознанием.

— Ты хочешь сказать, что каменная статуя, оставшаяся на Эрл, теперь мыслит категориями Кива? — усмехнулся Ниг.— Это уж совсем ни на что не похоже.

— Не доводи мою мысль до абсурда. Ничего подобного я измышлять не собираюсь. Хочу сказать только, что за какой-то миг до смерти эрлянина и Кива памяти того и другого устремились навстречу по каналу телепатической связи. Вот и все. А разрушиться сознание Кива, оставшееся на Эрл, может точно так же, как эманировало сознание его контрагента во время полета к Унету. Ведь биоструктура не погибла — она законсервировалась, окаменела благодаря «Р-облучению»...

— Так по-твоему выходит, что...

— Ничего по-моему не выходит,— раздраженно прервал Фид.— Еще раз повторяю: я размышляю вслух...

Давран развернул телеграмму и прочел:

«Работы временно прекратить, просьба прибыть очередное заседание ученого совета. Мансуров».

— Что там? — встревоженно спросил Игитали-ака, выбравшись из раскопа.— Вы так нахмурились — не случилось ли чего с родными?

— Нет. Это касается наших изысканий,— Давран протянул ему телеграмму.

— Да-а, новости,— промолвил Игитали-ака, пробежав глазами текст.— Это подпись Нияза?

— Нет, его дяди. Он занимает пост заместителя директора института.

— Значит, племянничек что-то наплел про Язъяван.

— Не думаю. Скорее, дядюшка сам что-то замыслил. Так или иначе — придется ехать.

— А нам ждать вашего возвращения и сидеть сложа руки?

— Ну нет. После вчерашней находки будет преступлением потерять хотя бы день. Я каждый вечер буду звонить в правление колхоза, часов этак в восемь. Приходите туда в это время и докладывайте мне о результатах раскопок. Оставляю вас вместо себя руководить экспедицией.

— А статую повезете с собой?

— Обязательно. Распорядитесь, чтобы рабочие сколотили крепкий ящик. Кого-нибудь пошлите на хлопковый завод — надо достать побольше ваты, чтобы обложить изваяние — не дай бог, повредим при перевозке... А теперь, Игитали-ака, я пошел собираться.

Вечером в вагоне поезда Давран стал набрасывать конспект речи, с которой собирался выступить перед ученым советом. «Сообщение о находке надо будет сделать в самом начале, чтобы не дать этому демагогу Мансурову и его подголоскам настроить коллег против меня. А потом предложу свою гипотезу относительно происхождения статуи и того скульптурного изображения руки, которое мы обнаружили еще при Бекмирзаеве».

На следующее утро, проследив за выгрузкой ящика с язъяванской находкой на товарном дворе стан-

ции, Давран вышел на улицу, поймал такси и отправился в институт. Необходимо было уточнить время предстоящего заседания, разузнать, что готовят противники Асада Бекмирзаевича. Даже после его смерти они не могли успокоиться — Язъяван был для них как бельмо на глазу. «Эх, если бы в институте царила подлинно товарищеская атмосфера,— думал Давран.— Можно было бы с полной откровенностью поделиться сомнениями, рассказать о «святой ночи», о призраках, являвшихся мне возле раскопок». Археолог никому еще не говорил, что ему довелось наблюдать «святого Хызра». Когда видение повторилось дважды, он решил: «Выходит, предание не так уж фантастично. Ясно, что многое — плод воображения, но реальная основа легенды существует. Святую ночь, впрочем, тоже приплели впоследствии — видимо, двадцать седьмое число рамазана связывалось в старину с каким-то религиозным событием. Надо будет выяснить это... Мне, во всяком случае, повезло больше других — две «святые ночи» подряд». Но потом ему пришло в голову, что галлюцинации посещали не только его. «Как объяснить такую текучесть среди рабочих экспедиции? Четверо уволилось при Асаде Бекмирзаевиче, на днях — еще двое. И все при этом держали себя как-то странно, сбивчиво объясняли мотивы ухода...»

В мраморном вестибюле института было прохладно. Шум уличного движения едва проникал сюда и не мешал дремать вахтеру. Давран дотронулся до его плеча. Старик встрепенулся, открыл глаза и удивленно воскликнул:

— Давран Махмудович! Сколько лет, сколько зим! Видно, все время пропадаете в экспедициях — вон как загорели.

— Да, Ахмад Гафурович, копаемся, как кроты... Что новенького здесь?

— Пусто. Полевой сезон — почти все в отъезде. Вот только завтра соберутся на ученый совет. Вы, никак, тоже с этой целью прибыли?

— Когда собираются?

— В двенадцать, как обычно.

Давран хотел было повернуться и выйти на улицу, как вдруг услышал знакомый голос:

— Товарищ Хасанов!

Он поднял голову и на самом верху марша парадной мраморной лесницы увидел дядю Нияза. Тот ши-

роко улыбался и как-то заговорщически махал ему рукой.

— А ну поднимайтесь, дорогой, сюда. По вас все так соскучились.

Давран через силу улыбнулся и взбежал по ступенькам. Пожал протянутую ему руку.

— Пойдемте потолкуем ко мне в кабинет,— сказал Мансуров, мягко взяв аспиранта за локоть.

Когда они уселись в кожаные кресла возле шахматного столика, заместитель директора института заговорил, все так же улыбаясь:

— Милый Давран, позвольте мне, как старшему, называть вас по имени. Вы, конечно, знаете, что я очень уважал покойного коллегу Бекмирзаева. Это был человек редкостно одаренный. И я был просто счастлив, что дело моего друга хотите продолжить вы, талантливый молодой ученый. Однако...

Давран внутренне напрягся. «Вот оно, из-за чего меня вызвали...»

— Вы прекрасно знаете, что работа института подчинена определенному плану. В соответствии с ним выделяются и средства, и, хотя работы в Язъяване не планировались на ближайшие годы, я поддержал Асада Бекмирзаевича, уговорил товарищей, от которых зависела судьба экспедиции... Но теперь мне самому приходится поднимать вопрос о временном прекращении раскопок. Повторяю — временном...

— Но позвольте, уважаемый Эмин Мансурович...— попытался прервать его Давран.

— Не позволю, дорогой Давран. Выслушайте сначала меня. Завтра речь пойдет о нуждах экспедиции в Пскенте. Работы там ведутся большие, с размахом. Результаты, правда, еще не очень значительны. Но все зависит от энергии руководителя. Вот этим-то качеством прежний начальник партии и не отличался,— Мансуров сделал многозначительную паузу и торжественно продолжал: — Я намерен предложить на его место вас, дорогой Давран...

«Неужели он думает, что я так глуп и меня легко соблазнить должностью начальника крупной экспедиции? Дело нечисто. Он явно хотел бы убрать меня из Язъявана, а через некоторое время возобновить там работы под началом своего человека. Он наверняка понимает: раскопки, начатые Асадом Бекмирзаевичем, перспективны — и хочет, чтобы лавры достались ему...

Старый лис хорошо знает, что у Бекмирзаева был настоящий нюх археолога: где бы он ни начинал копать, попадались крупные находки. Теперь он решил перехватить славу открытия покойного...»

— Но ведь в Язъяване обнаружены интересные вещи. Например, кисть руки, принадлежавшая какому-то изваянию...

— Это ничего не значит. Давайте лучше думать о том, чтобы как следует провести раскопки в Пскенте.

— Нет, я буду просить завтра о выделении средств для продолжения работ в Язъяване,— твердо сказал Давран.

— Что ж, вольному воля,— сухо заметил Мансуров и поднялся с кресла, давая этим понять, что разговор окончен.

«Посмотрим, как ты запоешь, когда я выложу главный свой козырь»,— усмехнулся аспирант, покидая кабинет.

После того как было доказано, что на далекой планете существует жизнь, Высшее собрание несколько раз обсуждало доклады ученых, предлагавших возобновить программу исследования Эрл, которая оказалась похороненной после неудачного полета первой экспедиции.

К удивлению Нига,— а он был уверен, что предложения специалистов одобрят при первом же голосовании,— в высшем законодательном органе Унета нашлось очень много убежденных противников «космической авантюры» — так они называли идею переселения на другие планеты. Их не интересовали никакие выкладки Фида и его сотрудников. «Цикл развития нашей цивилизации завершен, и искусственные попытки продлить ее жизнь в иных мирах продлят только агонию культуры, давно изжившей себя»,— говорили члены Высшего собрания, исповедовавшие философию Великого Заката. «Чем будут жить переселенцы?! — демагогически восклицал один из вождей этой партии — стихотворец Пан.— Они будут питаться крохами с барского стола нашей многовековой литературы, будут подражать высшим достижениям искусства Унета. То, что многие поколения выработали ценой долгой борьбы, сложилось в стройное нерасчленимое здание, вершиной которого стало миросозерцание Мала. Попробуйте прилепить к нему что-нибудь сверх

того — это будет уродливое зрелище, оскорбляющее душу истинного сына нашей старой планеты, ее великой культуры». «Вы просто жалкий эстет! — в запале выкрикнул Ниг.— Речь идет о спасении самой жизни, а не о тех красивостях, которыми переполнены ваши сочинения. Вы певец смерти! Услаждайте подобными баснями ваших истеричных поклонников, а эту высокую трибуну освободите для людей дела!» Многие одобрительно зашумели. Но несколько юнцов истошно завизжали: «Пусть говорит великий Пан! Не зажимайте рот депутату!»

Так что, когда собрание все-таки проголосовало за продолжение космических изысканий, Ниг и его друзья чувствовали себя измученными — за эти дни пришлось немало понервничать, каждый выступал по нескольку раз. Однако теперь им было не до отдыха. Уже назавтра после решающего заседания Фид и Ниг отправились на предприятия, изготовлявшие прежде агрегаты космических кораблей и необходимую аппаратуру.

Результаты первой инспекционной поездки оказались плачевными. Оборудование и станки, необходимые для создания звездолетов, в большинстве либо безнадежно устарели, либо были демонтированы. Кадры, нужные для успеха программы, распыленные по самым различным производствам, также не совсем отвечали уровню требований Комитета по колонизации (так именовали новое научное объединение). Правда, техническая документация и архивы, относящиеся к подготовке первой экспедиции, были в целости и сохранности,— теперь все это свезли в обшарпанный двадцатиэтажный офис, доставшийся Комитету в наследство от упраздненной Лиги Чадолюбия. Много лет здание простояло необитаемым, и теперь сотрудникам Фида предстояло привести запущенные кабинеты в порядок.

Электронный мозг, некогда обслуживавший полет к Эрл, также перевезли на новое место. Образцы пород, окаменелости, пробы атмосферного воздуха с Эрл разместились в лабораториях Комитета. Постепенно налаживалась работа многочисленных отделов, занимавшихся вопросами жизнеобеспечения космонавигаторов, разработкой разговорника — предполагалось, что на этот раз посланцы Унета смогут вступить в контакт с жителями планеты. Параллельно продол-

жались попытки восстановить здоровье Кива — если бы ученым удалось заставить нормально функционировать сознание обитателя Эрл, многие проблемы общения с инопланетной цивилизацией были бы решены еще до полета. Больному отвели звуконепроницаемые апартаменты на верхнем этаже; мощные аппараты психотерапии день и ночь создавали в помещении «поле спокойствия».

Постепенно втянувшись в работу, Ниг посвежел; его больше не беспокоили последствия стресса, перенесенного на корабле. Размеренный образ жизни, рациональное питание, ежедневные получасовые посещения «камеры горного воздуха» — все это позволяло ему надеяться, что его и на этот раз включат в состав экспедиции. Время, казалось, работало на него и его друзей...

Однажды ночью Ниг пробудился от страшного грохота. Он сорвал с головы шлем проектора сновидений и сел на ложе. За окном едва забрезжил рассвет, все четыре спутника Унета сияли над угловатыми силуэтами небоскребов. Сам не зная зачем, Ниг стал одеваться. В спальню заглянул сын. Лицо его было встревожено.

— Что случилось, отец? Судя по всему, это был какой-то взрыв. Причем, если не ошибаюсь, в той стороне, где находится ваш Комитет.

— Сейчас отправлюсь туда и все разузнаю,— бросил Ниг.

Но он не успел даже договорить — возле подъемника послышались шаги, негромкие голоса.

— Ниг, по постановлению Чрезвычайного совета Высшего собрания мы должны доставить вас в Приют,— входя в комнату, проговорил молодой чиновник в желтой форменной шапочке. За его спиной теснились еще несколько служителей в таких же головных уборах.

— Я не понимаю вас... И почему среди ночи...

— Выполняйте постановление! — чиновник протянул Нигу металлическую карточку, удостоверяющую его полномочия.

В Приюте, когда туда прибыл Ниг, было не повернуться — повсюду, на полу, на лежаках, на скамьях вдоль стен, сидели только что доставленные сюда сотрудники Комитета по колонизации. Увидев Фида, астронавт протиснулся к нему.

— В чем дело? Ты что-нибудь понимаешь?..

Вместо ответа Фид указал другу на окно.

— Посмотри туда. Видишь зарево? Это горят руины Комитета. Они взорвали его.

— Кто они?!

— В полночь Пан и его приспешники захватили Высшее собрание, а затем объявили, что этот шут, этот виршеплет назначается диктатором. Потом уничтожили Комитет, а всех нас, как угрожающих безопасности Унета, свезли сюда...

— Надо бороться,— сдавленно произнес Ниг.

— Борись, если можешь,— горько вздохнул Фид.

Давран не предупредил о своем приезде, поэтому на станции его никто не встречал. Солнце только поднялось из-за окоема, длинные тени деревьев лежали на дороге, по которой шел молодой археолог. До раскопок было километров восемь, но Давран не стал ждать попутную машину — решил прогуляться по утреннему холодку. В руке у него болтался старый портфель — в одном из его отделений холостяцкий набор: полотенце, мыльница, зубная щетка, бритва. В другом — тоненькая папка с тесемками, в ней лежали всего три машинописных листка. Ясно, что с подобным багажом путь до лагеря экспедиции показался не в тягость аспиранту.

Давран свернул с обсаженного тополями шоссе на дорогу, ведущую в сторону раскопок. Когда до стоянки экспедиции осталось уже недалеко, он заметил впереди себя знакомую коренастую фигуру. Игитали-ака шагал совсем неподалеку от палаток. Молодой человек остановился и, сложив ладони у рта, крикнул:

— Э-э-э, товарищ начальник!

Игитали-ака повернулся и приветственно замахал рукой. Потом направился навстречу Даврану.

— Полная победа! — радостно воскликнул археолог, когда их разделяли каких-то двадцать метров. На ходу расстегнув портфель, он выхватил из него папку, дернул тесемку и достал верхний листок.

Забыв даже поздороваться, Игитали-ака схватил бумагу и прочел то место, на которое указал Давран:

...По докладу тов. Хасанова ученый совет постановляет: максимально расширить размах работ в Язъява-

не, сохранив общее руководство раскопками за тов. Хасановым...

— Я прихлопнул их одним ударом,— улыбаясь, объявил археолог.— Когда рабочие разбили ящик и все увидели статую, Мансуров тут же собрал свои бумаги и сел на место. Немедленно решили выделить дополнительные средства...

— А почему вы не звонили, дорогой Давран Махмудович? Оба вечера я приходил в правление, как условились — в восемь...

— Совсем закрутился, Игитали-ака. А что, есть новости?

— Сейчас увидите,— лаконично ответил тот.

Через несколько минут они поднялись на холм, где производились раскопки. Давран глянул вниз и зажмурился: в лучах восходящего солнца золотым огнем горели крыши нескольких домов, на раскопанной улице поднимался целый лес золотых статуй...

Авторизованный перевод *Сергея ПЛЕХАНОВА*



Герои повестей и романов Эмина УСМАНА привлекают внимание своей гражданской активностью. Они непримиримы в борьбе с несправедливостью, мещанством, эгоизмом. Это личности многообразные, духовно богатые.

Э. Усман стремится к точному отражению жизни современного села, ее реальных и насущных проблем. Конфликты в произведениях писателя связаны с тем, что в них действуют герои с неординарными характерами.

Э. Усман является автором книг «Думаю о тебе», «Белая песня», «Золотая коробочка» и других.

ЭМИН УСМАН

ЗОЛОТАЯ КОРОБОЧКА

Камал вышел из конторы, еще не до конца понимая, что произошло. Медленно спустился с крыльца и встал, соображая, куда теперь идти, что делать. Наивные мечты и планы рухнули. Выход указала сама председательша — он уедет в Маханкуль, в пустыню. Работы хватит. Чего-чего, а работа будет всегда. Он все равно поехал бы туда, даже если бы председательша и не выгнала его из кабинета.

Солнце уже стояло высоко, под его лучами яркой молодой зеленью вспыхивали вылупившиеся из почек клейкие листья. Окружающая красота, способная расшевелить и самую зачерствелую душу, сейчас не тронула Камала, он механически достал из кармана рубашки сигареты и только собрался чиркнуть спичкой, как перед ним словно из-под земли вырос старик.

— Дай тангу! — На землистом худом лице старика застыла блаженная улыбка, воспаленные красные глаза дико блестели.

Длинная борода опускалась на грудь, едва прикрытую изношенным грязным халатом, на ногах у него были пыльные калоши, на голове потертая тюбетейка.

— Хлеба хочу! — старик похлопал себя по животу.— Дай тангу!

Камал пошарил в кармане брюк и выгреб мелочь. Старик сжал деньги в костлявом кулаке и хихикнул. Камалу показалось, что старик этот вовсе не сумасшедший, что в странной улыбке и блуждающих глазах его живет что-то похожее на затаенную обиду или насмешку.

— Я знаю, ты хороший. Тебя любит всевышний. И я тоже.— Старик схватил Камала за руку и потянул через дорогу в сторону магазина.— Пойдем, я куплю тебе сладких лепешек!

Сам не зная почему, Камал пошел за стариком, тянувшим его за руку, в сухих костлявых пальцах таилась неожиданная цепкая сила. Так вместе они и во-

шли в магазин, где толстый молодой продавец шлепал мухобойкой мух на витрине.

Продавец обернулся на вошедших через плечо, бросил мухобойку под прилавок и, вытирая руки полой халата, встал к весам на свое привычное место.

— Подай всевышнему! — сказал старик и протянул через прилавок руку. Продавец поморщился, но не шелохнулся, только перевел взгляд на Камала.— Подай!— громче сказал старик и указал сухим желтым пальцем на потолок магазина, где сидели мухи.

Продавец явно сердился. Круглое, по-детски полное лицо его дернулось и чуть побледнело, конечно, он быстро выставил бы за дверь сумасшедшего старика, но мешало присутствие Камала, поэтому он взял из картонной коробки несколько кусочков печенья и бросил на прилавок.

— Откуда только берутся попрошайки в наше время? — пробурчал продавец и снова посмотрел на Камала.

Но старик не взял печенье, лежавшее на прилавке, он разжал свой костлявый кулак и рядом с печеньем высыпал мелочь.

— Теперь дай на деньги! Эти ты дал всевышнему, а я тоже хочу сладких лепешек.

Сдерживая раздражение, продавец смотрел то на монеты, то на старика, требовательно протянувшего руку, то на Камала. Камал дымил сигаретой и делал вид, что все происходящее его совершенно не касается. Продавец поколебался, взглядом пересчитал деньги и смахнул их с прилавка в ящик. Когда продавец взвесил печенье, беззубый рот старика растянулся в жалкой улыбке. Забыв о Камале, что-то ворча, он взял печенье и вышел из магазина. Камал вышел за стариком.

— Это всевышнему,— бормотал старик, рассматривая обломки печенья, подобранные с прилавка.— Это на деньги,— он бросил взгляд на кулек с печеньем в другой руке. Он увидел Камала, стоявшего неподалеку, и показал печенье: «Это всевышнему, это на деньги».

Камал понимающе покачал головой.

— Плохой, плохой человек,— старик показал в сторону магазина,— совсем плохой.

Старик спустился к арыку и, наклонившись над мутной, медленно текущей водой, бросил туда печенье, зажатое в ладони: «Всевышнему!».

Камал, наблюдая за ним, постоял в раздумье. Ему было жалко этого несчастного, который сидел в тени на берегу арыка и жадно ел печенье. Это был безобидный ненормальный старик, и никто о нем ничего толком не знал. Камал даже не знал его имени. Старик бродил по кишлаку, забредал в дом, который приходился ему по душе, стоя съедал то, что ему подавали, и уходил. Объявился старик очень давно, еще в годы войны, и все не покидал здешних мест. Неизвестно было, откуда он приходит внезапно и куда так же внезапно и незаметно для людей уходит. Между тем старик быстро расправился с печеньем, нагнулся, попил из арыка, черпая воду пригоршнями, потом огладил бороду мокрыми руками и засмеялся.

— Вкусные лепешки. Сладкие. Хорошо.— Он удобнее уселся на зеленой траве под легким пологом сквозящей тени тутовника, подогнул под себя ноги и кивнул Камалу.— Иди. Сказку расскажу. Садись.

Камал сел рядом со стариком в тени тутовника, на берегу переполненного мутной водой арыка. Весна нынче выдалась дождливой, потому все еще не взошли хлопковые посевы, потому был полон мутной, медленно текущей водой арык и была так ярка зелень мягкой молодой травы, на которой сидел сумасшедший в белых штанах, грязном халате и старой потертой тюбетейке.

— Там, в самой середине пустыни, где адский зной, есть целый город. В нем живут джинны. Видел джиннов? Вот такие,— сумасшедший приставил пальцы к вискам, выкатил глаза и высунул бледный язык.— У них вот такие рога и вот такие хвосты. Встретишь— умрешь от страха. В этом городе джинны стерегут золотую коробочку.— Старик потянулся к Камалу и шепнул на ухо.— Она очень похожа на коробочку нашего хлопка, только из золота. Понял?

— Понял,— серьезно, в тон старику, ответил Камал.

Старик замолчал и закивал головой. Камал подумал, что старик забыл про сказку.

— Ну, так что за коробочка, которую стерегут джинны?

Старик засмеялся.

— Неужели ты и этого не знаешь? Даже этого не знает, дурачок! — старик сухим пальцем ткнул Камала в лоб.— Тот, кто отнимет у джиннов золотую коробочку, станет самым сильным, понял? Нет, ничего ты

не понял. Ну я тебе скажу. Ее обязательно надо отнять у джиннов. Один парень, очень похожий на тебя, ходил туда и отнял у них коробочку. Но потом она снова исчезла. Знаешь почему? Золотую коробочку нельзя сохранить там, где люди обманывают, таят друг на друга зло. Я думаю, она опять у джиннов. Видно, мне придется самому ее добывать.— Старик тревожно оглянулся, как бы кто не подслушал его тайну, и встал.— Если найду — отдам тебе, ладно? — прошептал старик, наклонившись к Камалу, потом, втянув шею, сгорбившись, пробрался под тутовниками и зашагал куда-то по улице.

Камал смотрел вслед старику, эта сказка вконец испортила настроение. Странно, почему сумасшедший рассказал сказку именно сегодня, именно ему? Пообещал волшебную золотую коробочку. Камал опять вспомнил разговор с председательшей. Что ж, она просто карьеристка, а у него теперь нет иного выхода, и он поедет работать в пустыню.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вчера, вернувшись с полей второй бригады, Камал был удивлен взволнованным рассказом жены. Она сказала, что в кишлаке все обсуждают странную новость: председательша велела засеять хлопком территорию детского сада и пришкольный участок. Сама приехала и смотрела, как выполняли ее распоряжение.

— Не верите? Можете пойти и сами посмотреть,— сердилась Нигора, поливая на руки мужу.— У вашей апы голодные глаза. Может быть, теперь она подавится!

— Услышала и теперь повторяешь чужие глупости,— Камал не придал значения словам жены.

— Тавба, тавба! — Нигора возмущенно схватилась за воротник своего просторного платья.— Говорю вам, идите да посмотрите!

Камал прилег, подложив под бок ватную подушку, и улыбнулся жене.

— Да там земли-то! Не о чем говорить! Ты хоть знаешь, сколько соток возле детсада и школы?

— Не знаю. Я не землемер! — обиженно ответила Нигора.— Спросите об этом у своей апы!

— Ну и хватит об этом,— Камал махнул рукой.— Неси чай.

Не впервые заметил Камал, как изменилась и постарела Нигора. От палящего солнца и обжигающего ветра ссохлось и почернело ее маленькое лицо. В глазах накопились заботы и усталость. Кроме мужа и семьи, она ничем не интересуется, и уж наряды ее давно не занимают, ходит, как замухрышка, в чем попало. Упрекнуть, что она не следит за собой,— ее обидеть, а самой Нигоре это не приходит в голову. Вот уж тридцать лет, как минула война, по-другому живут люди, другие потребности. Все хотят хорошо одеваться, а Нигора, кажется, и не замечает этих перемен.

Подавая жене пустую пиалу, Камал внимательно глянул на ее руки. Да, она не виновата, и он никогда не скажет ей, но по ночам ему кажется, что не руки жены обвивают его шею, а шершавые крепкие стебли все того же хлопчатника, которому отдана большая часть их жизни.

Работа, работа, от темна до темна она не знает покоя, а теперь еще наступает пора шелкопряда. Нигора каждый год выкармливает гусениц, и нынче она получит за это отрез атласа или несколько метров плюша, которые выдают в виде премии. Но из этого атласа она не сошьет себе платье. Ведь у нее трое сыновей, а значит — впереди три свадьбы, и о них надо загодя думать. Так что отрез будет отложен на будущее, он еще пригодится. Камал, конечно, понимает ее материнские заботы о детях, о семье и хозяйстве, но следовало бы подумать и о себе. Конечно, не пудриться или краситься, как некоторые кокетки. Но во всяком случае... По правде говоря, Камал и сам не знает, какой он хотел бы видеть свою жену. Но не такой. Хотя живут они, как все, зарабатывает он средне, не больше и не меньше других. Так что же ему нужно? Чем он недоволен? Что ему не нравится? Ее мешковатое платье?! Грубые шершавые руки? Трудолюбие? А если бы она была из тех, избалованных, что прохлаждаются дома и готовы есть, когда им подадут, и умереть, если побьют? Нигора выросла в работе. Кости ее окрепли в труде. Она умеет делать все, может, не смыкая ночами глаз, ухаживать за шелкопрядом, собирать хлопок, возделывать поле. Она хочет везде поспеть, старается помочь мужу, ведь он у них один.

Нигора заметила пристальный, необычный взгляд мужа, с беспокойством осмотрела себя, провела пальцем по лбу и вокруг глаз, где заплелась паутина мор-

щин, по рано увядшим щекам, глянула на руки. Под ногтями черно. Нигора спрятала руки. Наверное, муж заметил. «Ох и капризный...».

— Вы чего это? — нерешительно спросила Нигора. Она почувствовала, Камал что-то недоговаривает, что-то таит от нее.

— Ничего. Просто так,— Камал потянулся за пиалой и отхлебнул чаю.

— С утра высадила четыре грядки помидоров,— облегченно вздохнула Нигора. Ей хотелось обрадовать и успокоить озабоченного мужа.— Обмазала глиной коровий хлев.

— Не мешало бы после работы переодеться. Неужели у тебя больше ничего нет, кроме этого сатинового мешка? — мягко сказал Камал.

Нигора вскочила как ужаленная.

— Я не могу фасонить, как ваша милейшая апа! — Она сердито взмахнула широким красным подолом платья и ушла в другую комнату.

Камал вздохнул и поставил пиалу на дастархан. С тех пор как Малика стала председателем, ее начали называть апой. И Камал, хоть они и были одноклассниками, тоже, вместе с другими, стал называть ее так, и Малика не возражала. На это намекает Нигора, когда подчеркивает: «ваша апа», «ваша милейшая апа». Наверное, и эта история с участками детского сада и школы — тоже результат женского стремления подчеркнуть свою нелюбовь к председательше. Завтра надо будет посмотреть, хотя, разумеется, чепуха.

Камал не заметил, как глаза его сомкнулись, и он задремал, полулежа за неубранным дастарханом.

Детский сад был построен по лучшему типовому проекту, и под него отвели лучший участок, с одной стороны — яблоневый сад, с другой — клеверное поле, рядом полноводный арык, а две старые чинары не только украшали всю картину, но и придавали ей цветущий торжественный вид.

Старик сторож поливал и подметал двор, когда Камал вошел в ворота детского сада. Сторож почтительно пожал руку агронома обеими руками и затем провел ладонью по своей острой бородке.

— Добро пожаловать, мулло Камалджан! — В гла-

зах сторожа Камал прочел немой вопрос. Действительно, зачем занесло агронома в детский сад.

— Шел мимо. Решил заглянуть...

— Очень приятно! — старик указал на веранду.— Вот и хорошо! Проходите сюда. Сейчас принесу чай. Гоняю этот несчастный электрочайник, несколько раз закипал. Но ведь одному, знаете, неинтересно даже чай пить, мулло Камалджан.

Но Камал не слушал почтительную речь старика, в глаза сразу бросились свежевспаханные борозды.

— Отец, здесь, конечно, будут цветы?

Сторож медленно подошел к Камалу и, пряча глаза и поглаживая бороду, как бы оправдываясь, сказал:

— Вчера посеяли хлопчатник, мулло Камалджан. Апа дала такой приказ. Наша заведующая очень огорчается.

Значит, Нигора сказала правду. Такого Камал еще не слыхал. Хлопок на участке детского сада! Сказать кому — не поверят. Высевать хлопчатник во дворе детского сада, когда у колхоза столько земли... Это идея какого-то профана! Но апа, зачем она поддерживает такое очковтирательство?

— В прошлом году я привез из города семена таких цветов! — прервал мысли Камала старик.— Если бы вы знали, как они цветут! Думал в эту весну высадить, и вот... Очень жаль! Дети должны расти среди цветов.

— Тут какое-то недоразумение, отец.

Камалу показалось вдруг, что старик сейчас лукаво улыбнется и скажет: «Не переживай, сынок, я пошутил». Однако старик стоял рядом и с сожалением кивал головой.

— Я тоже думаю, что тут что-то не так, мулло Камалджан. Хлопок должен расти в поле.

Из детского сада Камал прямиком отправился к школе. Но уже издалека он увидел, что знакомые клумбы с розами по обе стороны длинной дорожки перепаханы и на них проведены хлопковые борозды. Действительно, и здесь хлопчатник! Что ж, видно, апа хочет показать себя рачительной хозяйкой: у нее не пустует ни один квадратный метр земли, всюду хлопчатник. Ведь стране нужен хлопок! И мы делом отвечаем на потребности страны, хлопком засеяны все площади, даже участок школы и детсада. Можно с

гордостью доложить. Мысли вихрем летели в голове Камала. Он не очень ясно представлял, к кому идти, что сказать, но надо было что-то делать. Он еще не знал, что надо делать, а ноги сами понесли его в контору. Не обращая внимания на машины, с шумом проносившиеся мимо, обдававшие его горячим пыльным вихрем, он стремительно и широко шагал вдоль арыка, крепко ставя ноги в брезентовых сапогах, раскачиваясь, как борец, размахивая мускулистыми, крепкими, как канат, руками. В голове у него не укладывалось только что увиденное, он не мог еще решить, чего здесь больше — перестаравшейся глупости или ловкого очковтирательства.

Когда Камал ворвался в контору, Малика, стоя в приемной перед зеркалом, в котором она отражалась во весь рост, поправляла волосы, собранные на затылке в большой красивый узел. Камал на мгновение застыл на пороге.

— Вы и к жене врываетесь так же бесцеремонно?— в голосе председательши прозвучал игривый оттенок. Она чувствовала себя неотразимой.

Камал не мог оторвать взгляд от женщины, стоявшей у зеркала: поднятые к голове руки, высокая грудь, словно вырвавшаяся из красного хан-атласа, в пухлых алых губах две шпильки, которыми она собиралась заколоть тяжелый скользкий узел волос.

— Можно было постучать, прежде чем войти, хотя бы кашлянуть для приличия...— Малика с улыбкой повернулась к Камалу, ей доставляло удовольствие его замешательство.

— Я думал, вы в кабинете, апа,— вконец смутился Камал. На лице ни одной морщинки. Нигора на четыре года младше, а в сравнении с ней — сушеный урюк. Если бы она тоже следила за собой,— думал Камал, наблюдая за движениями большого красивого тела Малики. Нет, Камал не мог бы вообразить свою жену перед зеркалом с пудреницей в руках. В саду с помидорами, возле ящика с гусеницами шелкопряда, на сборе хлопка под палящим солнцем, но не перед зеркалом в роскошном платье из хан-атласа.

— Ну что ж, прошу, заходите,— Малика первой вошла в кабинет и прошла к своему мягкому вращающемуся креслу за письменным столом.— Что-то вы растерялись, одноклассник. Неужели я такая красивая сегодня, что даже деловые мужчины теряются?

Но Камал уже пришел в себя, и шутливо-покровительственный тон Малики уже не мог сбить его с тех мыслей, с которыми он шел в контору. Он посмотрел председательше в улыбающиеся глаза и тоже ответил шуткой:

— Кто скажет, что вы некрасивая, станет немым как рыба, апа.

Малика мягким движением откинулась на спинку кресла и ласково улыбнулась:

— Скромник, тихоня, а с женщиной за словом в карман не лезете, а? — Малика дала понять, что пора переходить к делу от милых комплиментов, вполне, конечно, уместных между молодыми мужчиной и женщиной, бывшими одноклассниками, не первый день знающими друг друга.— Я к вашим услугам, товарищ агроном. Вы съездили в Маханкуль?

— Вчера вернулся.

— Посевную закончили? — уже совсем серьезно спросила Малика.

Камал отрицательно покачал головой.

— В чем дело?

— Завтра закончат. Обещали.

— Завтра, завтра. Я вижу, что вообще у нас плохо движутся дела в Маханкуле. Надо послать туда человека, который сумел бы организовать, поднять людей. Что вы на это скажете?

Камал не хотел говорить о Маханкуле. Если уж на то пошло, его мнение об этом известно. Не то что еще посылать, следовало бы вообще вернуть оттуда всех людей. Маханкуль трогать нельзя. Если нужно осваивать новые земли — на много лет вперед хватит для этого Кызылкумов. Тысячи гектаров лежат. А Маханкуль — необыкновенный лес в пустыне, заросли саксаула, тамариска, кандима. Бесценный дар природы. Его надо беречь. Но нет смысла снова начинать этот разговор. Обо всем этом много говорилось в прошлом году, когда Малика решила начать наступление на Маханкуль. Председательша и слушать ничего не хотела. По всей стране развернулась целинная страда, и колхоз, чтобы не отставать, за один год освоил более ста гектаров земли в Маханкуле. Молодежь по всей стране двинулась поднимать целинные и залежные земли, разрабатывались новаторские проекты по возведению в глубинах пустынь новых сел и городов. Конечно, Малика не могла остаться в стороне, она тоже

хотела проявить инициативу, хотела быть на виду, хотела, чтобы ее заметили. Маханкуль — наиболее легкий путь к славе и почету, неважно, что погибнет в погоне за рапортом ценнейший уголок земли. Камал не нашел с председательшей общего языка, и она, конечно, помнит все, что он тогда говорил, и знает, что он остался и сейчас при своем мнении.

Малика понимала, что ее слова придутся агроному не по душе, да и ей не хотелось портить приятное настроение, впереди был рабочий день, ей хотелось одного — чтобы строптивый агроном побыстрее выложил все, что у него накопилось, и ушел.

— У вас есть еще вопросы ко мне? — с нетерпением спросила Малика.— Вы же с чем-то пришли.

— Один вопрос есть. В общем, я хочу спросить. Такое дело...

Малика почувствовала, что у агронома к ней какой-то неприятный разговор. Вечно он что-то выискивает, чем-то недоволен. С чем же пришел приставать сегодня? Малика потянула рукав платья и взглянула на часы, давая понять, что временем она не располагает.

Камал внимательно проследил за ее движением и вдруг подумал: и ведь еще два-три года назад у председательши были совсем другие руки, иногда даже черные от мазута,— ведь она сама чинила трактор, пахала и полола вместе со всей бригадой. Да и характер у нее был не такой — прямолинейный, решительный. Или это только казалось? Такой она еще оставалась какое-то время после избрания председателем. Но теперь, когда колхоз в числе первых, когда Малика получила орден, она заметно изменилась. Неужели почет, уважение вскружили ей голову? Она уже не думает о тех, кому в первую очередь обязана своим положением? Откуда этот гонор, высокомерие? Наверное, она всегда таила в себе эти качества, а в благоприятных условиях они развились, дали свои плоды.

Малика смотрела на Камала, и его давнишняя манера говорить не спеша, долго думать над своими словами раздражала ее. Они вместе учились в школе, потом на заочном отделении сельхозинститута, и Малике, как ей казалось теперь, и тогда уже не нравился излишне медлительный характер Камала. Тоже мне, джигит называется. Слова джигита должны жаром обдавать, из-под сапог искры лететь! А этот мямля, тя-

нет, тянет, не решается сказать прямо все, что думает! Размазня!

— Вы приказали посеять во дворе детского сада и школы хлопок?

Вот оно что, с облегчением вздохнула Малика, вот отчего у него такой насупленный вид.

— Ну приказала! — улыбка, придававшая очарование ее лицу, превратилась в гримасу. Малика холодно взглянула на Камала и, не меняя тона, по слогам повторила.— Да, я приказала посеять хлопок на школьном участке. А что?

— Зачем?

Малика изобразила удивление, ее тонко выщипанная черная бровь поползла вверх, она всплеснула руками.

— О боже! Что ж тут такого... Подумаешь, чадолюбие в нем проснулось! Всемирная трагедия! Да не все ли равно детям, что там растет — хлопок или бесполезные цветы! И вообще, с каких это пор, дорогой одноклассник, я обязана отчитываться перед вами в своих действиях?

Слово «одноклассник» Малика произнесла с выражением, в данный момент это прозвучало как насмешка.

Камал выпрямился. Перед ним сидела женщина, которую он впервые видел, чужая, непонятная, далекая. Не та хорошенькая девочка, с которой он учился в школе, не та девушка, с которой учился в институте, от той хрупкой скромницы ничего не осталось. Совсем ничего. Вот как время меняет человека. Камал просто не находил нужных слов, чтобы выразить нахлынувшие на него чувства.

— Зачем вы себя так мучаете, апа!?

Камал сказал это так искренне, таким дружеским тоном, что разгоравшийся в душе Малики гнев будто залили водой. Малика резко встала, подошла к окну, попробовала пальцами землю в горшке с цветами, взяла с сейфа графин с водой, полила цветы и повернулась к Камалу.

— Ну, хорошо. Что вы хотите сказать? Почему вы на меня так смотрите? Ничего особенного не случилось!

В ее раздраженном, но сдержанном тоне Камал ясно угадал точный расчет. Нет, не получится разговор. Она стала нетерпимой. Она не хочет слышать возра-

жений, не терпит людей, которые могли бы ей возражать.

— Не надо было высевать хлопок во дворе детского сада! — спокойно и твердо сказал Камал.

— Вам должно быть известно требование партии и правительства. Мы не позволим пустовать ни клочку пригодной земли.

Малика поставила графин на сейф, вернулась к столу и села в кресло.

— Это не значит, что под хлопок можно занять участок детского сада. И зачем призывать партию и правительство в соучастники своего преступления!

Малика даже растерялась от этих слов Камала. Такой тихоня, молчун, мямля, и на тебе, пожалуйста! Как высказался!

— Ну, зачем так сурово,— усмехнулась Малика.— Преступление! Детсад принадлежит колхозу, надо — посадим цветы, надо будет посадить дерево — посадим дерево, сейчас стране нужен хлопок — посеяли хлопок. Это наша земля, колхозная. Вот мы ею и распорядились. Еще вопросы есть?

Камал кивал головой, его огромные кулаки лежали на коленях. Эта женщина совсем недавно была веселой, жизнерадостной девушкой. Он даже вспомнил, что она сама любила цветы, особенно базилику. Вокруг нее всегда витал легкий аромат этого цветка. Она носила базилику в портфеле, на парте у нее часто лежала веточка базилики, распространяя по всему классу свой тонкий чудесный запах. И вот теперь она смотрит зло и ведет хитрую речь, неужели так недавно она сама любила цветы? Как она очерствела. До Камала донеслись слова Малики:

— ...да и стоит ли из-за каждого пустяка бросаться такими словами, как преступление! Это глупо...

— Вы считаете, что поступили по совести?

— Не надо высокопарных слов,— устало, чуть смягчившись, сказала Малика.— Посмотрела бы я на вас на моем месте. Это производственная необходимость. С нас требуют, мы выискиваем резервы. На мне ответственность за план, за весь колхоз. С меня требуют сводок, отчета за каждый клочок земли, за каждый грамм хлопка...

— На вашем месте я выглядел бы не лучше. Даже, наверное, хуже! — Камал упрямо качнул большой головой.— Но обкрадывать детей — последнее дело!

Малика вздрогнула и резко хлопнула ладонью по столу, ее полные красивые губы задрожали.

— Прошу не забываться! — она взвизгнула так, что, наверное, голос ее слышно было на улице.

Камал прижал правую руку к груди:

— Извините, апа! Я не хотел вас обидеть, извините...

— Я обкрадываю детей? Это называется — не хотел обидеть! — Малика была вне себя от гнева.— За что вы меня ненавидите? Вечно вы что-то находите, чтобы испортить человеку настроение.

Камал недоуменно улыбнулся. Ему непонятно было возмущение Малики, ведь он просто назвал вещи своими именами.

— Вы за что-то решили мстить мне? — Малика вскинула голову с тяжелым лоснящимся узлом волос и отвернулась к окну.

— Нет, нет,— протестующе взмахнул руками Камал.— Вы же прекрасно знаете, я это говорю только потому, что мне жалко ребятишек.

— А по-моему, с ними все в порядке!

— Неужели наши дети ничего, кроме хлопка, не будут видеть, апа? Подумайте! Детство без цветов! Много ли даст этот жалкий клочок земли? Еще не поздно все исправить, распорядитесь, чтобы снова посадили цветы! Неужели урожай с пришкольного участка повлияет на колхозный план? Ведь таким путем нам не удастся осла превратить в верблюда!

Но Малика уже не вслушивалась в слова Камала. Она, председатель, должна выслушивать нравоучения от агронома? Почему? Кто он такой? Кто здесь должен командовать? Не слишком ли много он берет на себя? Неужели он думает, что председатель послушно будет плестись за ним и следовать его указаниям? Сует свой нос всюду. Нет, Малика не забыла и не забудет, что в прошлом году, когда решено было начать наступление на Маханкуль, именно Камал устроил настоящий скандал и даже пожаловался на нее секретарю райкома. Но там ему поприжали хвост, секретарь райкома встал на сторону председателя. Того урока, видимо, хватило ненадолго, опять принялся за старое.

— Послушайте моего совета, апа, люди уважают вас, дорожите этим авторитетом, не допускайте, чтобы на вас пала тень!

— Знаете, товарищ агроном,— откинув голову, Малика пренебрежительно глянула на Камала,— мне кажется, вы слишком щедры на советы. Поберегите, самому могут пригодиться!

Брови Камала сдвинулись у переносицы. Сняв с головы тюбетейку, он резко хлопнул ею о ладонь, затем расправил, снова надел на голову и поднялся.

Малика, насмешливо улыбаясь, не отрывала от него глаз. Очевидно, ее радовала победа над этим крупным сильным мужчиной, беспомощно топтавшимся у ее стола. А Камал чувствовал, что напрасно ввязался в ненужный спор, ведь он не спорить приходил. Он не сумел объяснить председательше одну, очень важную, истину. Он хотел сказать, что из-за нескольких килограммов хлопка дети могут стать беднее, что в цветах красота мира, что красота так же необходима, так же дорога, как хлопок, может, и дороже! Ну сколько в конечном счете можно собрать с пришкольного участка? Пятьдесят килограммов, от силы сто, с детсадом. Маленькая кучка рядом с пирамидами хлопка, производимого колхозом, ничего она не даст, да и председательшу не вознесет к небесам. Конечно, всем хорошо, когда колхоз выполняет план: достаток в доме дехканина превращается в богатство. Но неужели для этого засадить хлопком пришкольный участок, лишить детей красоты? Пусть лучше план сгорит! Камал хотел сказать, что в мире нет ничего дороже человека, особенно ребенка! Но ведь у нее нет детей, она неправильно поймет, обидится... Может быть, он и сказал бы все это, но зазвонил телефон.

Малика сердито подняла трубку.

— Слушаю вас? — лицо ее изменилось, расплылось в улыбке.— Да, это я, Халил-ака. Заканчиваем. Можно считать, отсеялись. Да. Осталось два-три дня работы в Маханкуле. Нет-нет... Два-три дня, а не неделя. Обязательно закончим. Мы не подведем, Халил-ака. Вчера вернулся оттуда один из членов правления. Да, мы посылали проконтролировать.— Малика подняла глаза на Камала, и теперь она улыбалась не только телефону, но и ему. Видимо, ей в голову пришла какая-то очень хорошая мысль. Она слушала, терпеливо переводя дыхание и согласно кивая головой.— Халил-ака, тут есть такое мнение. Мы подумали. Чтобы на Маханкуле поставить дело по-настоящему, мы хотим откомандировать туда одного из членов правления, опытного

товарища. У нас там бригадир очень еще молодой человек, из механизаторов. Он не справляется. Вот мы и решили. Малика прикрыла трубку белой мягкой ладонью и заговорщицки подмигнула Камалу.— Камалджана. Вы его знаете. Молодой агроном, очень любит те места. Да, да, тот самый. Ему и карты в руки. Подумали и решили, пусть сам возглавит и превратит, как говорится, в цветущий сад. Да, правление решило. Хорошо, если бы и вы присоединились, поддержали. Конечно, внутриколхозное дело, вы правы, Халил-ака. До свидания, Халил-ака, всего хорошего...

Малика положила трубку и откинулась в кресле. Она даже не скрывала своей радости. Удивительно, как ей в голову пришла такая мысль? Тысячу лет думай, каверзней наказания не придумаешь.

— Разве неверно, Камалджан? С вами дела в Маханкуле пойдут быстрей! — Малика сделала серьезное лицо, но глаза ее смеялись.

Камал молча глядел на нее. Малика прочитала в его взгляде отвращение, но сделала вид, что не заметила. Так-то вот, весело подумала она, помучается в степи — в следующий раз не будет лезть на рожон. А за Маханкуль мы спросим его на правлении. Будет знать, кому советовать, умник выискался...

— Ну что ж. Вас понял.

Камал сказал это спокойно, без иронии. Да и Маханкуль его в сущности не пугал. Второй год идет работа, и ему часто приходилось бывать там. Но ведь Маханкуль — это прежде всего тамарисковые заросли. Лес в пустыне. Умно́ ли пустить Маханкуль под хлопок? На этих местах можно создать большое животноводческое хозяйство. Заросли занимают тысячи гектаров. От Маханкуля до Заравшана и дальше, вплоть до Амударьи. Важнейшая кормовая база, а вопрос с кормами возникает каждый год. Чуть затягивается зима, и недостаток кормов оборачивается огромными убытками. Заколдованный круг — ведь убытки животноводства пожирают полученную от хлопка прибыль. Чтобы увеличить прибыль — распахиваем пустынные леса и таким образом еще больше сокращаем кормовую базу. Одно цепляется за другое. Конечно, главная задача — хлопок, но нужны овощи, фрукты, мясо, молоко... Все, получается, главное. Да и лесники не тратили бы миллионы на создание искусственных лесных массивов. Но к этим предложениям Камала не прислу-

шались ни председатель, ни секретарь райкома. И теперь, в довершение всего, самого же Камала Малика и посылает уничтожать этот дар природы. Она знает, куда больней ударить. Прямо в душу. И отказаться невозможно. Допустим, он откажется, так на его место пошлют другого, а тот, чего доброго, ради показателей, пустой славы, карьеры — наломает еще больше дров. Нет уж, если по иронии судьбы предстоит ломать дрова, то и это дело надо делать все-таки с умом,— усмехнулся про себя Камал.— Попытаюсь сохранить хотя бы то, что можно сохранить.

— О чем задумались, Камалджан? — ласково сказала Малика.— Ваш оклад за вами остается, хотя, сами понимаете, там вы будете числиться бригадиром.

— Отличный способ — варить человека в его собственном соку,— с улыбкой сказал Камал.

— Не поняла ваш намек? Что вы хотите этим сказать?

— Хочу сказать — напрасно вы собираетесь проучить меня, посылая на Маханкуль. Я все равно останусь при своем мнении.

— Ах, вот как? — в ее глазах мелькнули искры гнева, губы дрогнули, щеки побледнели.— Советую учесть наперед, мнение одного, двух, трех человек, подобных вам, ничего не сможет изменить. Вы осознаете, чему вы пытаетесь противостоять? Против вас темп времени, требования эпохи...

— Не надо передергивать. Я тоже за темп времени, но и за то, чтобы беречь природу! Ведь это важнейшее требование времени!

— Все еще не осмыслили лозунг, не понимаете, что не природа покоряет человека, а человек — природу. С этим, надеюсь, вы не осмелитесь спорить?

— Неужели мы так и будем повторять одно и то же, как попугаи? Ведь надо думать, думать! Хотя, конечно, так удобнее. Апа, ведь вы понимаете, что человек тоже частица природы?

— Понимаю, Камалджан. А вы знаете, что стране нужен хлопок?

— Нужен! Но не любой ценой. Тот, кто насилует природу, уродует землю, потеряет и то, что имеет. Лицо его будет в грязи!

— Ну, мы посмотрим, кто что потеряет и чье лицо будет в грязи. Очень уж вы заботитесь о других, теперь пора подумать о своих делах!

— И все-таки я остаюсь при своем мнении. Мы неправильно осваиваем Маханкуль.— Камал помолчал, махнул рукой.— Видно, придется обращаться в более высокие инстанции.

— Что ж, давайте, давайте. Я, признаться, думала, что эта встряска вас образумит.

— Говорят в народе, познавший поражение еще сильнее рвется в драку. Может, секретарь обкома поддержит меня или разъяснит ошибки, если заблуждаюсь.

— Подумайте,— Малика ядовито улыбнулась.— Но помните, я вас предупреждала. В случае неудачи — не сносить вам головы.

— Договорились,— сказал Камал, вставая.— Когда я должен выехать в степь?

— Завтра.

Малика тоже поднялась, обошла стол, на ее лице сияла торжествующая улыбка.

— Желаю успехов, одноклассник! — она протянула Камалу руку, явно наслаждаясь своей победой.

Камал посмотрел на ее мягкую белую руку, и его широкая грубая ладонь застыла в воздухе. Нет, он не пожмет ручку председательши. Камал повернулся и шагнул к дверям, потом, обернувшись, бросил:

— А деньги, конечно, нужны. Спасибо, что оклад сохранили.

Дверь за Камалом закрылась, а Малика так и осталась стоять с протянутой рукой. Она еще не попадала в такое глупое положение. Что он о себе мнит? Всего-навсего агроном, а теперь и вообще бригадир! Она обессиленно опустилась на стул. Ах, какой гордый, подумать только! Не захотел пожать руку председателя! Ну, поживи в дикой пустыне, где только ящерицы да суслики! Ноги твоей в кишлаке не будет, нос не посмеешь показать! Да стоит пожаловаться Халилу-ака, он ему покажет, как подчиненный должен разговаривать с председателем! Разучится спорить!

Удивительно, на что способен человек в минуту гнева. Из-за пустяка, из-за одного резкого слова, готов обрушить на голову провинившегося все несчастья мира! О, сейчас Малику охватило жаркое пламя настоящей ненависти. Она жаждала и не знала, как отомстить Камалу за свое ущемленное самолюбие. Ей было мало того, что она самовольно сняла его с должно-

сти, отправила в дикую пустыню бригадирствовать! Ведь уже после этой крутой расправы, когда он почувствовал ее председательский гнев, Камал позволил себе совершенно непростительную выходку! Отверг протянутую руку! А ведь многие в колхозе только ловят ее взгляд и даже не помышляют пожать руку. Хам! Ничего, кроме пустыни, не достоин. Да и чего, в самом деле, ждать от человека, запряженного, как лошадь, в ежедневную работу двенадцать месяцев в году? Ничего, кроме грубости и невежества!

Если бы Малика в своем раздражении на строптивого агронома хоть на минуточку задумалась: а так ли права она сама? Так ли уж безгрешна? Может быть, поделом не встретила ее протянутая рука пожатия Камала? А может быть, она подспудно все это понимала и оттого-то дала обиде и горечи ослепить и оглушить себя?

Малика не могла успокоиться. Она ухватилась за стул и до боли в пальцах сжала руки, только так удалось ей побороть охватившую тело нервную дрожь.

Перед окном цвел, как пышное облако, абрикос. По одному, по два падали лепестки-снежинки. Нет, скорей лепестки были похожи на белых бабочек... Казалось, весь мир притих и считает падающие на землю лепестки абрикоса. Это было? Конечно, это было, где-то в восьмом классе. Малика вспомнила тот случай так явственно, как будто все это случилось вчера.

Было самое начало лета, когда зеленый урюк в самом соку и называется доучча. В восьмом или в девятом? В восьмом классе. Ну, отмочил тогда Камал. Толстый Тухтамурад принес в класс много этого кислого лакомства и угощал всех, давая по две-три урючины, а Малике протянул и высыпал в карман целую горсть. Малика улыбнулась его щедрости и еще не успела сказать «спасибо», как появился насупленный Камал. Все произошло молниеносно, вдруг, ни с того ни с сего; раз-раз — и вот уж на пол посыпался зеленый урюк, прыгая и раскатываясь под парты, а у Тухтамурада всплыл под глазом здоровенный фонарь и начал расти. Камала таскали к завучу, к директору. Ему здорово попало, но он так и не сказал никому, за что побил своего одноклассника. В классе, конечно, знали, знала и Малика. Камал ревновал. Он даже хотел пересесть за ее парту, но она не разрешила. Девушке

льстило, что он все время ходит по пятам и угрюмо следит за ней из-под своих густых, сросшихся бровей горящими глазами. Он всегда был неразговорчивым и оттого казался нахмуренным и неуклюжим. Другие мальчишки бесились, дурачились, веселились, а Камал редко улыбался. Она всегда помнила, что за ней следят его горящие глаза из-под нахмуренных бровей.

На следующий день Камал принес в школу целый мешочек зеленого урюка. Он подошел прямо к парте Малики и поставил перед ней весь мешочек. В классе притихли.

— Что тут, Камал?

— Доучча,— гордо сказал Камал.

— Мне не надо,— Малика с брезгливой гримаской отодвинула мешок.— Напрасно трудился.

Конечно, Камал этого не мог ожидать, он был уверен, что его смелый поступок понравится Малике, ведь он выкрал из колхозного сада самые крупные доуччи. Даже для приличия не развязала мешок, не взглянула, а у Тухтамурада вчера взяла.

— Не надо?

— Нет! — Малика беспечно покачала головой.

Все в классе это видели. Камал был самым сильным, его побаивались, и вот он у всех на глазах получил по носу. Камал схватил мешок, шагнул к окну, и вот уже мешок летит из раскрытого окна вниз. От удара об асфальт мешок разъехался по швам, и самые крупные, самые изумрудные, самые вкусные доуччи колхозного сада валяются на пыльном асфальте. За это Камал опять попал к директору. Он часто туда попадал.

Малика задумалась, глядя в окно на отцветающие абрикосы. Какие красивые цветы, даже теперь, когда они осыпаются, можно подумать, что это кочующая стая белых мотыльков, летавших над садом всю весну и теперь отдыхающих на упругой, буйно-зеленой вдоль арыка траве. Некоторые лепестки упали на асфальт и почернели, другие попадали в мутную воду медленного арыка, и течением их прибило к берегу, сбило в грязные кучи, перемешало с прочим сором и илом у берега. «Опавший цветок сразу теряет все очарование,— подумала Малика.— Так и человек, хоть он и долговечней эфемерного цветка, с возрастом становится грубым, сварливым, а то и невыносимым, как этот Камал. В самом деле, то ему не нравится, это не так,

считает себя умнее всех! Смотри, какой гуманист выискался! А то никто, кроме него, не знает, что возле детского сада нужно сажать цветы, а не растить хлопок!» Она пошла на это сознательно. Пусть немного, каких-нибудь пятьдесят килограммов, но и они пригодятся осенью, хоть маленький, а все же довесок к плану! Ведь не для себя же она старается, в конце концов! Уж кто-кто, а агроном должен бы это понимать. Осенью не с кого-нибудь, а с нее потребуют план по хлопку, будет не до гуманных поступков. План любой ценой! Может, он до сих пор не примирился с тем, что Малика стала председателем, может, сам мечтал об этом месте? Хотя куда ему. Тихоня, молчун. Нет, на этой должности нужен человек, умеющий видеть дальше своего носа. В колхозе часто бывают люди, обратят внимание, что хлопок подступил к самым домам, хлопок даже возле детского сада, возле школы, кругом,— значит, что? Значит, председатель использовал даже самые пустячные резервы, все поставил на службу главной задаче дня! В конце концов — это политика. Легко ему строить из себя гуманиста, всех обвинять. Малика вспомнила давнюю историю. Как-то еще в десятом классе они компанией поехали в райцентр в кино. После фильма тот же несчастный жирный Тухтамурад хотел понести ее портфель, но вмешался Камал. «Нечего, пусть сама несет,— пробурчал он, отталкивая Тухтамурада.— Если с этих пор начнет свою ношу взваливать на других, глядишь, и сама сядет кому-нибудь на шею». Ну нет, Камал, Малика всего добилась сама и, слава аллаху, никому еще не была в тягость. В ней достаточно энергии, инициативы, наверное, потому получалось так, что все время она поднималась на одну ступеньку впереди Камала. Камал пошел в помощники поливальщика, она — на курсы механизаторов. Стала звеньевой, сразу начала учиться на бригадира. А Камал так и проходил в поливальщиках, только уже после окончания института получил место агронома. Потом Малику выбрали председателем ревизионной комиссии, она там неплохо поработала, показала себя. Теперь она председатель колхоза. А могло быть кое-что еще. В конце года нужно было рекомендовать на Героя Труда одного человека. Малика, недолго думая, без ложной скромности решила выдвинуть свою кандидатуру, однако дело сорвалось, в райкоме ее не поддер-

жали, предложили рекомендовать бригадира передовой бригады. Неизвестно, как на ее месте повел бы себя другой председатель, а она отвезла документы этого человека. Камал о таких вещах понятия не имеет, где ему. Теперь та звезда на скромном пиджаке бригадира, а вполне могла бы украшать грудь молодой председательши. Малика сумела бы ее носить, люди кланялись бы даже ее тени. Но... не все сразу...

Малика отвернулась от окна, оглядела свой кабинет. Стулья вдоль стен покрыты белыми чехлами. Шелковые занавески до самого пола. На полу дорогой красивый ковер в лиловых цветах. Чувствуется тонкий женский вкус хозяйки кабинета. Обстановка должна радовать глаз и вызывать уважение. Что тут было раньше? Какая-то дешевая мебель, дрянные половики. Теперь есть прихожая, где приехавший с поля человек может отряхнуться, почистить обувь, передохнуть, прежде чем переступить порог председательского кабинета. В этом свой смысл, ведь за это короткое время человек, если был в разгоряченном или обиженном состоянии, может умерить свой пыл, успокоиться, тогда и разговор примет иное течение, а не то что с ходу, с пылу, с жару. Малика и вообще работу колхоза старается поставить на спокойные рельсы, чтобы дела шли размеренно, последовательно. И многого достигла. В колхозе нет такой отрасли, где не выполнялся бы план. Доход дехканина с каждым днем растет. Разве Камал не знает этого? Сразу, как Малика стала председателем, колхоз выстроил двухэтажную школу, детский сад, заасфальтировал улицы! Почему Камал видит только недостатки, а то, что теперь в непогоду дети не вязнут в грязи — этого не замечает? Кто посмеет сказать, что она не заботится о жизни колхозников, не улучшает быт? В конце концов и то, что она велела засеять хлопком участки детского сада и школы,— тоже забота о людях! Стоит ли из-за этого рвать на себе волосы и поднимать крик? Ах, дети видят только хлопок! Высокопарные книжные слова! Надо быть реалистом, поэтому она велела вместо цветников возле школы, детсада и даже возле чайханы посадить хлопок. Она хочет и добьется того, чтобы получить хлопка больше, чем соседние колхозы, чтобы заслуженно быть в центре внимания. А то — хоть и совсем близко, но все-таки прошла мимо нее звезда Героя...

Удача — редкая гостья, и кто ее поймает, должен держать крепко. Упустишь по мягкотелости — снова не поймаешь. Тут надо больше полагаться на разум, чувства часто подводят человека.

В дверь нерешительно постучали, и не успела Малика пройти к креслу за стол, где она любила встречать пришедших, дверь отворилась и показалась старушечья голова.

— Я к вам, Малика-хон.

— Заходите.

Старуха вошла, но в нерешительности остановилась, глядя на председательшу, не двигавшуюся ей навстречу. Старуха, конечно, не могла начать разговор, пока они не обнялись, как это заведено по обычаю, ведь без этого нельзя, как нельзя садиться за дастархан неумытым.

— Сначала поздороваемся,— наконец решилась старуха.— Или председательши так не здороваются, анайлай? — Старуха заметила, конечно, что председательша очень уж неохотно протянула к ней руки, но с подчеркнутым чувством погладила полные плечи молодой женщины.— Вы уж меня простите.

Малика натянуто улыбнулась, а старуха, чтобы сгладить заминку, сразу заторопилась со своим делом.

— Смотрю на вас, Малика-хон, не нарадуюсь, ведь вы выросли у нас на глазах! Очень я жалею, что не засватала вас, когда просил меня об этом сын. Разве можно было подумать, что вы станете такой красавицей, анайлай. Вы просто расцвели, Малика-хон! Тьфу, тьфу, чтобы не сглазить...

Пока старуха рассыпалась в любезностях, которые в иную минуту, несомненно, были бы приятны для уха, Малика прошла к столу, села в свое кресло, взяла карандаш и стала нетерпеливо катать его по столу, ожидая, пока старуха перейдет к делу.

— Послушайте, Малика-хон,— старуха наклонилась над столом, взмахнула широкими рукавами. — Этот ваш партком, он чем-нибудь думает?

Малика вгляделась в лицо старухи: кожа, как скомканная бумага, ни одного зуба во рту, рот запал, и от этого подбородок резко выступил вперед. Неужели и я когда-нибудь стану такой ведьмой? Малика улыбнулась и спросила, ласково усаживая старуху на стул:

— Что вам сделал плохого этот несчастный?

— Мне-то он ничего плохого не сделал,— сказала старуха, почувствовав, видимо, что без особых причин обвиняет парторга. — А какой-то пустяк и не может решить, а? Ведь он мужчина, ему должно быть стыдно!

Старуха прикрыла руками беззубый рот и искоса внимательно взглянула на председательшу. Девушка красивая, видная — и без мужа. Разве это жизнь — сидит тут, в кабинете! Ей бы детишек полон дом, чтобы дергали за подол. Нет, одиночество не удел женщины, это удел всевышнего.

— Это смотря какой пустяк, может быть, и я не в силах его решить?

— Да что вы? — удивилась старуха. — Кто же еще может, ведь вы самая главная здесь?!

Искреннее удивление старухи, ее вера во всемогущество председательши тронули Малику, она улыбнулась и откинулась в кресле.

— Вот ведь в чем дело. Нынче мы никак не сможем ухаживать за шелкопрядом, вы уж нам в этом году не выдавайте, очень вас попрошу.

Удовольствие, сиявшее на лице председательши, мгновенно исчезло, Малика поджала губы и механически пробежала глазами по бумаге под стеклом. Старуха пришла с разговором не из приятных.

— А что случилось у вас в семье?

— Может быть, вам неизвестно, но за долгие годы ожидания аллах, по милости своей, дал нам утешение на старости лет,— старуха счастливо улыбнулась, прикрываясь широким рукавом. — Невестка разрешилась мальчиком. Еще даже сорока дней не прошло. Вы ведь знаете, ребенок и десятерым свяжет руки. Если мы возьмем шелковицу — невестке не справиться. Боюсь, не заболела бы, и за листьями надо ходить, и гусениц кормить, и за ребенком смотреть...

— А что, разве ваш сын не может сходить за листьями? Она пусть занимается ребенком, он будет снабжать гусениц листьями. — Малика перешла на строгий тон. — Кстати, о кормах в этом году особенно не надо будет беспокоиться. Создали две бригады, они будут развозить листья тутовника по домам.

— Все равно, женщине с первенцем будет тяжело, неужели вы не понимаете, Малика-хон. Обойдитесь нынче без нас, будем живы — в следующем году выполним двойную норму. — Старуха взмахнула широ-

кими рукавами. — Малика-хон, милая, не откажите нам.

— Не уговаривайте, не могу. — Малика сказала это твердо и поднялась из-за стола, давая понять, что разговор окончен. — Это как раз такая просьба, которую не могу выполнить и я. Шелкопряда нам выделили из расчета на число жителей. Куда же я его дену, если вы откажетесь, потом кто-нибудь еще?

Малика, конечно, замечала, как действует на подчиненных этот ее жесткий непреклонный тон, но так было проще, удобнее, быстрее. Люди сразу понимали, что нет смысла тянуть дальше, что-то говорить, доказывать. Вот и старуха сразу замолчала и, немного помедлив и, видимо, собираясь с силами, поднялась и пошла к двери. Только в дверях она обернулась, окинула Малику каким-то удивленным взглядом, как будто говоря про себя: «Ах, какая беда, какая беда! У такой красивой девушки совсем нет души!»

Малика уже привыкла к таким взглядам, председателю надо уметь отказывать, это работа, и она научилась это делать. Малика дождалась, когда старуха вышла, и закрыла за ней дверь. Каждый хочет, чтобы его поняли, кто же будет понимать ее?

ГЛАВА ВТОРАЯ

Дома жена белила комнату, в которой обычно выкармливала шелкопряда. Камалу, только что видевшему Малику во всей ее расцветшей пышной красоте, Нигора показалась не только неряшливой, просто уродливой: подпоясанная какой-то веревкой, в стоптанных калошах на босу ногу, заляпанная известью... Молодо и живо сверкнули только глаза на закутанном в белую хлопчатобумажную косынку лице. У Камала не было желания даже говорить с ней, он повернулся и, не заходя в дом, тяжело присел во дворе под навесом, как человек, утомленный дальней дорогой.

С тех пор как они поженились, Нигора не помнила случая, чтобы они с Камалом разговаривали друг с другом, как должны говорить муж и жена. Камал рано уходил на работу, возвращался поздно, его не интересовала жизнь семьи, он не спрашивал, как жена управляется по дому, если выпадало свободное время, он проводил его, лежа на подушках с книгами. Даже ее причитания о том, что не пристало семейному

человеку заниматься такими несерьезными делами, не мешали ему, собравши вокруг себя своих троих сыновей, читать им какую-нибудь сказку, а стоило ему вырваться в город — можно было не сомневаться, он не забудет привезти увесистую связку книг. Зная нрав мужа, Нигора не ждала, что он объяснит ей и свой неожиданно ранний приход, и расстроенный вид.

Раньше ей даже нравилась молчаливость Камала, молчаливость была как бы продолжением его мужественности и надежности, подтверждением твердого характера. Ведь именно твердый характер — основное качество мужчины. Но теперь у нее едва хватало сил сдерживаться, порой ей казалось, что она вот-вот лопнет от досады,— в те минуты, когда он вот так нахмурится, переживает и молчит. Вот и сейчас у нее не хватило терпения молчать, она обмакнула кисть в ведро, сделала два длинных ровных мазка, пристально взглянула на мужа и опустила кисть в известь.

— Может, что-то случилось? — негромко спросила Нигора.

Камал не оглянулся, будто не слышал. Он вытащил из кармана сигареты, закурил и положил сигареты рядом.

— Завтра уезжаю в Маханкуль.

— Так вы вчера только вернулись?! И снова?

— Теперь буду работать там,— о переводе в бригадиры Камал дипломатично умолчал. Не все сразу.

Нигора с кистью в руках подошла к мужу, по полу протянулся похожий на веревку след.

Камал с тоской чувствовал приближающуюся сцену, но рано или поздно этого разговора не миновать.

— Куда это вы собрались ехать?

— Куда-куда, в пустыню,— Камал даже улыбнулся, как ни в чем не бывало.

— Неужели больше некого послать? Пусть туда едет ваша милая апа. У нее некому цепляться за подол!

— Что ты заладила с этой апой! — Камал раздраженно придавил сигарету и вдавил ее в землю.— Она не одна командует, это решение правления.

Нигора уронила кисть и, опустившись на корточки, заплакала, по-детски вытирая глаза рукавом платья.

— Разве они не понимают, что у вас семья, дети! О чем они думают?

Камал молча пережидал слезы жены. Женщине полезно плакать, от этого она становится мягче и сговорчивей. Конечно, Нигора не из плаксивых и для себя ничего не просит, да и сейчас она расстраивается из-за благополучия семьи. Сквозь всхлипывание и слезы до него донеслось:

— Тогда и нас забирайте в пустыню! Соберемся и поедем с вами! У всех отцы, а ваши как сироты.

— Ну, хватит! Замолчи! Я что, умирать уезжаю! Чего ты разревелась! — Камал хотел утешить жену, но получилось грубо.

Нигора сжалась в комочек, плечи сотрясали горькие безутешные рыданья. Наверное, она и сама не понимала, отчего так пугает ее отъезд мужа, ей казалось, что она остается совсем одна перед выраставшими с его отъездом трудностями, некому будет защитить ее и детей, а его грубый окрик подлил масла в огонь. Обычно Нигора молча сносила грубость мужа, так было заведено не ею. У мужчины жизнь проходит вне дома, и там у него заботы и неприятности, естественно, что домой он может прийти расстроенным, и в такие минуты можно и потерпеть, если он сорвет зло на жене. Но сейчас его грубость задела душу. Кто еще терпел так безмолвно? Разве так ведут себя другие женщины в кишлаке? Она не то что другие, не рвется в город за развлечениями, по магазинам, не требует золота и браслетов... За что? У нее нет даже парчового платья, а ведь иные даже в поле на работу выходят в шелках, разъезжают в машинах, то и дело мотаются в город, отдыхают... А что видела она? Все ее заботы только о детях, о семье. Разве она не ухаживает за Камалом, разве не старается во всем помогать ему? И вот теперь в благодарность за то, что она не жаловалась, не поднимала крик, довольствовалась тем, что у них есть, и не требовала большего, он оставляет ее и отправляется в дикую пустыню, а она остается здесь одна с детьми и хозяйством! Чтобы они ослепли там, в этом правлении!

Нигора вскочила, торопливо отерла рукавом слезы.

— Идите и откажитесь,— тихо попросила она,— я вас очень прошу!

В это время в калитку с боевыми криками, размахивая воображаемыми саблями, влетели босоногие сыновья. Двое старших были в рваных штанах, а младший и вовсе в одной рубашке. «Всадники» увидели от-

ца и поскакали к нему, понукая своих «коней». Глаза у Камала потеплели и на душе отлегло, когда он взглянул на выстроившееся перед ним воинство. Так они и стояли перед ним по росту и старшинству. Суван-батыр лев, а не джигит, он сразит в бою несметное воинство врага. Средний, Сиявуш-батыр, всем пожертвует ради справедливости на земле, даже собственной жизнью. А самый маленький, Султан-батыр, когда вырастет, будет великим правителем мира!

— Ваш отец хочет оставить нас и уехать в пустыню! — громко крикнула Нигора.

Дети переглянулись и, кажется, не очень поняли, что это значит. Старший — Суван почувствовал, что у родителей что-то происходит. Сиявуш не очень-то понял, что сказала мама, а маленькому и вообще было не до того, запинаясь о своего «боевого коня», он прямиком отправился к отцу на колени. Камал взял Султана на руки, а коня его привязал к столбу айвана, чтоб не убежал в пустыню. Старшие тоже облепили отца, и Суван спросил:

— Ата, вы опять уезжаете?

— А как ты думал. Работать надо?

— Надо,— вздохнул Суван.

— Ты почему так бегаешь, Султан? Совсем без штанов! — Камал обернулся к жене. — Одела бы ему штаны!

— Что с ним случится! Пусть бегает. Не девчонка же...

— Я сказал, надень ему штаны,— Камал повысил голос. — На кого они похожи? Неужели нельзя их вымыть, искупать? Ты куда смотришь?

— А вы что, первый раз увидели своих детей? — Нигора сверкнула глазами. — Пора бы, кажется, привыкнуть...

Через некоторе время Нигора вернулась из дома, неся ворох неглаженой детской одежды. Она вырвала Султана из рук мужа и стала натягивать на него штаны, ворча на старшего:

— Тебе бы только бегать, негодник! Сколько тебе говорить, чтобы приглядывал за ним! Как дам сейчас!

— Не замахивайся на ребенка, дура! Сама виновата. Дети грязные, бегают неизвестно где!

Камал вскочил и, казалось, сейчас ударит жену. Нигора сначала примолкла, но все-таки не удержалась:

— Конечно, я во всем виновата! На меня и надо кричать! Да что там смотреть, ударьте меня! Где это видано, отец бросает детей на произвол судьбы! Что ж, уезжайте себе в пустыню, куда хотите, оставляйте детей, жену! — Нигора спустила с колен малыша и, закрыв руками лицо, неслышно заплакала. Камал понял, что лучше всего уйти, чтобы избежать скандала. Он вышел на улицу, потоптался у калитки. Идти было некуда. Он отошел к тутовникам у арыка и сел на скамейку, чтобы покурить и успокоиться. Обернувшись на шум подъезжающей машины, Камал увидел зеленые «Жигули» главного агронома. Из машины вышел Нишан Асраров. При среднем росте Нишан производил впечатление гиганта — плотный, широкоплечий, что называется, поперек себя шире. Удивительно, как он умещался в маленькой машине. На широком мясистом лице главного агронома было тревожное недовольство. Тяжело покачиваясь, с трудом неся свое грузное тело, он подошел к Камалу, протянул большую пухлую руку и так же, не говоря ни слова, опустился на прогнувшуюся под ним скамейку.

— Что же мы тут будем сидеть? — Камал тронул главного агронома за рукав. — Пройдемте в дом.

Нишан отвел руку Камала и пошарил по карманам, сигареты остались в машине, идти за ними он поленился.

— Что происходит, брат, ничего не пойму! — Нишан достал большой клетчатый платок и вытер лицо и шею, сдвинул на затылок кепку с широким козырьком.— Пришел в контору, апа мне сообщает... Сначала не поверил, ерунда какая-то, а потом слышу, она перебирает кандидатуры на твое место? Может, ты объяснишь, что у вас случилось?

— А вы не знаете? Сами вынесли решение, теперь спрашиваете у меня.

— Кто выносил решение?

— Ну, не сам же я себя снял с должности. Правление решило.

— Тавба! — Нишан удивленно открыл рот, демонстрируя сразу три своих подбородка. — Вчера апа была на бюро райкома, вернулась поздно, да и правления не было, ни позавчера, ни вчера. Когда это она успела провести правление?

Камал ничего не ответил. Он пожал плечами и затянулся сигаретой, будто это его и не касалось.

— Если необходимо кого-то послать в Маханкуль, то ведь не тебя. У тебя здесь полно работы, это раз. Во-вторых, ты человек семейный. Ты ничего не мог сказать ей, а? Ну, чего молчишь?

— Она сказала, что это решение правления. Как же возражать, если решило большинство.

— Думаю, еще не поздно. Иди поговори. Объяснишь все, скажешь так и так.

Камал покачал головой и поморщился. Идти к Малике с поклоном, с повинной? Ну нет!

— Не могу, Нишан-ака.

— Гордость не позволяет, да? — вскипел Нишан. — Или что-то еще мешает? Что ты от меня скрываешь?

Нет, Камал не станет объяснять, что нет никаких оснований для намеков, никаких тайн между ним и Маликой не было, ничего, что могло бы стать сплетней на языках досужих людей. Да, когда-то он любил эту девушку, но это очень давно, где-то в далеко прошедших годах, в школе. Но где школа, где эта любовь? Сейчас он иногда сам не верит, что любил ее. Ничего в ней не осталось от бойкой веселой одноклассницы. Она быстро стала меняться, сразу после школы. Он вспомнил один случай. Тогда шла вторая обработка хлопчатника, в бригаде Малики вносили удобрения, и она сама сидела за рулем. Двое мужчин дробили затвердевшие, как камень, удобрения, чтобы наполнить воронки ее трактора... Камал прошел по бороздам, чтобы проверить количество вносимых удобрений. Ему издалека уже показалось, что все поле белеет, как после снега, а взяв горсть земли, он увидел, что удобрений и в самом деле больше, чем самой земли. Он остановил Малику, выруливавшую на следующее междурядье, и показал ей землю в ладони. «Ну и что? — она пожала плечами. — Чем больше,— тем лучше. Сильнее будет урожай, раньше вытянется хлопок». — «Много хорошего — тоже нехорошо, Малика. Разве ты не знаешь, земля болеет, если забивать ее удобрениями. Все хорошо в меру. Везде пишут, предупреждают, что только тридцать процентов от вносимых удобрений усваивается растениями, остается в почве, приносит пользу. Все остальное — идет во вред. И чем больше, тем бесплодней становится земля». Малика засмеялась, не дослушав его: «Ну, тогда ученые что-нибудь придумают. Если мне переживать за землю — то я окажусь в самом хвосте. Вы же знаете, мы

приняли большие обязательства, их надо выполнять. А еще я вам по секрету скажу, не суйте нос куда не надо, делайте свое дело, а я буду делать свое».

Этого Камал не мог ожидать. Нет, нельзя так относиться к земле, на которой ты вырос, которая кормит тебя. Еще в детстве, совсем маленькому, ему говорила мать: «Сынок, не бей землю, не ковыряй ее, грех, на том свете тесно будет». Это народная мудрость, ведь земля всему начало. По иронии судьбы Малика в тот год действительно получила невиданный урожай, и ее имя прогремело в республике. Она стала председателем ревизионной комиссии, а вскоре и председателем колхоза.

Видя ее стремительную карьеру, Камал не мог не вспомнить, как еще в школе она дорожила вниманием и властью. В десятом классе, в самый первый день, когда вся школа еще пахла непросохшей краской после ремонта, Малика поманила Камала к окну. «После уроков будет собрание»,— сказала Малика и нарисовала на стекле чертика смуглым тонким пальчиком.

«Ну и что?»

«Будут выбирать старосту класса».

«Ну и что?»

«В классе все тебя боятся,— кокетливо взглянула на него Малика,— кого ты назовешь, того и выберут».

«Ну и кого ты предлагаешь?»

«Назови меня...» — и Малика начала рисовать на пыльном стекле второго чертика.

«Брось ты,— разочарованно протянул Камал. — Зачем тебе нужен этот хомут! Вся эта канитель... Зачем это тебе?»

«Неужели ты не понимаешь? Буду старостой, все будут уважать, слушаться будут...»

Вот когда все это началось...

— Ну, что ты решил, чего молчишь? — прервал мысли Камала Нишан.

— Не мог я промолчать, Нишан-ака. Неужели так необходимо засевать хлопком двор детского сада. Там участок с ладонь!

— Подумаешь, беда! — усмехнулся Нишан. — Посеяли вокруг чайханы, вокруг полевых станов, там ведь тоже следовало сажать цветы, не правда ли? Ничего, обойдемся без цветов, зато получим дополнительный хлопок.

— Ну вот, и вы меня не понимаете! А может, это

я вас не понимаю? — Камал ударил кулаком по стволу тополя. — Или я с ума сошел, или с вами что-то не в порядке!

— Ты и ей так сказал, а? — Нишан с сожалением покачал головой. — Эх, чудной ты!

Камал внимательно посмотрел на этого седеющего человека, ему показалось, что он вообще первый раз видит его, он всегда казался таким сильным, могучим, а ведь в глазах его постоянно проглядывает страх, опасение за свое благополучие. Он равнодушен ко всему на свете, главное, чтобы его не трогали, а там делайте что хотите, он на все согласен. Главное — занимать должность, быть хоть на ступеньку, но выше остальных, ради этого он ни во что не будет вмешиваться, всем будет угождать, прежде всего вышестоящим. Ведь он человек, про которого с насмешкой говорят в народе: он даст лепешку даже укусившей его собаке.

— Ну что ж, наверное, один я не понимаю, что это сделано правильно! — сказал Камал.

— Да неужели тебе больше всех нужно? — Нишан в самом деле разозлился. — Тебе мало своих дел? Ну и тяни свою лямку, ведь тебя это не касается!

— Похожего нашел, а равного не встретил.

— Не кричи против ветра, все равно никто не услышит! Так тоже в народе говорят, мой младший брат,— тихо сказал Нишан и опустил свою большую седеющую голову.

Камал вдруг остро понял, что напрасно он упрекает этого человека, ненужный и бесполезный разговор, у каждого в жизни своя мера, каждый по-своему относится и к людям, и к миру.

— Отвезите меня завтра в Маханкуль? — Камал тронул Нишана за рукав. — Заодно посмотрите, как там идет дело.

Нишан кивнул головой.

Да, этого парня трудно понять. Его сняли с работы, гонят в пустыню, а он стоит на своем. Другой в такой ситуации подумал бы прежде о семье, о себе, а он беспокоится о пустяках. Во дворе детского сада, видите ли, посеяли хлопок! Ну а тебе какое дело? Разве от этого упадет небо на землю? Ничего с детьми не случится, так же будут носиться, сорванцы, и играть в свои игры. Лишь бы сытыми были. Стоит ли нажи-

вать врагов из-за ерунды. Надо крепко подумать, прежде чем лезть на рожон, поучать начальство. Смотрите, какой гуманист. Вези потихоньку свой воз, а в чужие дела не лезь. Теперь в пустыне будет глотать пыль, а жена с детьми останется одна. Нелегко ей придется.

Нишан грузно поднялся со скамейки и пошел к машине. Камал поймал себя на том, что с интересом наблюдает, как ловко этот непомерно толстый Нишан умещается в своем «жигуленке». Нишан, видимо, еще раздумывал, потом открыл дверцу, подозвал Камала рукой и заговорщицки подмигнул.

— Думаю, еще не поздно. Зайдем к апе? Не будь упрямым, зачем тебе торчать в этой дыре. Да и о семье надо подумать.

Камал вздохнул и покачал головой.

— Мне не о чем говорить с апой. — Камал подождал, пока Нишан завел мотор, помог ему захлопнуть дверь. — До свиданья, брат, будьте здоровы!

— Ну, ладно, раз так. Завтра без меня не уезжай, я подъеду,— сказал Нишан.

Машина тронулась с места. На улице уже сгустились сумерки. Нигора загнала детей спать и с тяжелым сердцем взялась собирать мужа в дорогу. Камал пробовал посидеть у телевизора, но ничего интересного не было, и он пошел в спальню, откуда доносились визг и крики сыновей, устраивавших перед сном обычную войну.

— Все, давайте спать,— с показной строгостью скомандовал Камал и погрозил пальцем в сторону двери,— а то позову мать.

Возня немедленно затихла, сыновья очень любили, когда укладывать их приходил отец.

— Ляжем, если расскажешь сказку,— блестя глазами от предстоящего удовольствия, сказал старший.

— Сказку, сказку! — обрадовался средний.

А младший, Султан, молча прильнул к отцу, крепко обхватив руками его шею, он еще не мог понять, чего ему больше хочется, услышать сказку или просто прижаться к отцу и заснуть возле него. Что может быть лучше, чем спать с папой в обнимку.

Камал считал, что сказка для детей должна быть не только интересной, но и доходчивой и обязательно поучительной. Он прилег рядом с затихшими детьми. И тут же вспомнил вчерашнего юродивого.

— Я вообще-то все сказки, какие помнил, рассказал. Разве что вот, есть еще одна. Пожалуй, я вам ее и расскажу. Вы, наверное, не знаете, что раньше тут не было садов и арыков, а была настоящая бескрайняя пустыня. С одной стороны пустыни жили люди, а с другой — дивы! У дивов была крепость, и там они хранили, знаете что? Золотую коробочку. Точь-в-точь, как хлопковая, но коробочка эта была не простая, а волшебная. Стоило взять ее в руки и пожелать чего-нибудь доброго — желание немедленно исполнялось. Много храбрецов приступало к крепости, чтобы отвоевать у дивов коробочку, но сложили они головы, так и не добившись своего. Дивы оказывались сильнее. Узнал об этом джигит Бахадур, решил попытать счастья. Вскочил на своего скакуна и отправился в путь. Долго он ехал по безбрежной пустыне, туда посмотрит — пески и пески, сюда посмотрит — никого не видать. Ехал он, ехал и доехал до высохшего источника, возле которого лежал умирающий от ран беркут. Поднял джигит птицу, напоил водой, смазал ее раны живительным бальзамом. Ожил беркут и заговорил человеческим голосом. «Спасибо тебе, джигит Бахадур, спас ты меня от смерти, сослужу и я тебе службу верную. Скажи мне, джигит Бахадур, что привело тебя в безжизненную пустыню?». Рассказал джигит беркуту, что решил он добыть золотую коробочку для людей. «Или голову сложу, или коробочку добуду». «Хорошее дело,— сказал беркут,— да сделать его непросто. Будешь ты ехать еще семь дней, семь ночей и доедешь до старой чинары, что растет среди песков. Оставишь ты меня на чинаре, коня у чинары, станешь на восход солнца и начнешь рыть подземный ход. Будешь рыть, ни больше ни меньше, ровно триста саженей и тридцать локтей и подроешься под самую крепость, где стоит железный сундук с золотой коробочкой. Там ты будешь ждать моего сигнала. Прокричу я три раза и выклюю глаз у главного дива, а все остальные бросятся ловить меня. Тут ты не должен дремать, выскакивай, хватай сундук и беги к чинаре да скачи во весь дух, не жалей коня. Но помни, не открывай сундук, пока не прискачешь в родной кишлак, а то ослепнешь». Так и сделал джигит Бахадур, как велел ему беркут, прорыл ход в крепость, схватил сундук, прискакал в свой кишлак и отдал коробочку людям. Долго люди того кишлака жили в счастии и благополучии.

Затаив дыхание слушали сыновья сказку отца, только маленький Султан смежил глазки и крепко заснул.

— А где теперь эта коробочка?— тихо спросил Суван.— Ты не знаешь?

— Нет, сынок,— вздохнул Камал.— Шли годы, и люди забыли о золотой коробочке.

— Может, ее опять утащили дивы?

— Завтра папа поедет в пустыню и найдет волшебную коробочку,— сказал Сиявуш и решительно нахмурил брови.— Вы ее нам покажете, папа?

Камала неожиданно тронула эта детская уверенность в могуществе отца. Что ж, если верит в силу добра, то со временем поверит и в правоту. Хорошо, хоть этот малыш верит в мою силу. Ведь если человек не может убедить других в своей правоте, откуда у него возьмется сила, ничего он не добьется. Чтобы прийти к намеченной цели — важнее всего найти единомышленников. Особенно нужны единомышленники, когда собьешься с пути, оступишься. Камал уже не раз спотыкался. Было дело, попытался объяснить положение с Маханкулем секретарю райкома, не вышло. То ли растолковать не сумел и секретарь не понял его, то ли тот чего-то остерегся. Может, не было бы этого изгнания в пустыню. Нет, Камал не отчаивался, что едет в Маханкуль, не жалел он и о должности. Напрасно Малика рассчитывает, что все затихнет и забудется. Рано считать себя побежденным.

Ночью Камалу приснился сон. Бежит он по бескрайней раскаленной пустыне. Палит солнце, лицо обжигает горячий ветер, но он должен бежать и бежать, бежит, не разрешая себе остановиться и передохнуть... И вдруг на бегу падает в бездонный темный колодец. Уже замирает сердце от долгого падения в темноте, как вдруг засветилось что-то впереди на дне колодца. Конечно, свет этот исходит от золотой коробочки! Крепко, обеими руками схватил Камал золотую коробочку и от счастья громко во весь голос рассмеялся...

От своего голоса Камал проснулся. Смеялся во сне, только в объятиях держал не сказочную коробочку, а крепко спавшую, сжавшуюся в уютный комочек жену. Прижавшись к нему, она казалась такой беззащитной, такой маленькой. В душе Камала боролись любовь и жалость. Большой рукой он погладил узкие

плечи, худенькое, увядшее тело жены. В окне вставал медленный рассвет. В сером предутреннем свете особенно бросалось в глаза, как постарело ее бледное усталое лицо. Совсем, казалось, недавно она была молода, свежа и полна жизни. Истомила работа, иссушил зной хлопкового поля. Конечно, Камал гордился, что у него старательная, трудолюбивая жена, плохо только, поправлял он себя в уме, что в заботах о семье и о работе Нигора совсем забывает себя. И в самом деле, когда ей заниматься собой? Камал заметил, что он как бы оправдывает перед кем-то свою жену и этот кто-то глубоко неправ в своем взгляде на Нигору. Была какая-то двусмысленность и нечестность в этих размышлениях, но он тем не менее разматывал и разматывал цепь навязчивых мыслей, будто составлял характеристику для какого-то невидимого отдела кадров. Одна управляется с хозяйством. Родила трех прекрасных здоровых сыновей! Что еще нужно? Нет, как ни поверни, а такая жена достойна самой горячей любви. Но разве любовь нуждается в каких-то рассуждениях, доказательствах... Чтобы преодолеть странное противоречие, Камал тихо прижал к себе доверчиво раскрывшуюся ему навстречу полусонную жену.

Ветер с дождем гнали зеленые «Жигули» по пустой мокрой дороге. Мерно мотались очистители, сгоняя воду, стекло затягивала тонкая жирная пленка. Серые тяжелые облака плотно обложили горизонт, небо провисло над бескрайними унылыми полями. Наверное, и погода сказывалась на настроении людей, ехавших в машине, до сих пор они не обменялись и десятком слов. Сидели нахмурившись, как после ссоры. В густых бровях Камала затаилась обида, а Нишан все глядел на дорогу, не замечая ни дождя, ни холодного ветра, уносившего брызги, фонтанами летевшие из-под колес, ни редких вздохов попутчика. Нишан по-своему глубоко переживал за Камала. Правда, его раздражала бессмысленность и бесполезность этих переживаний: сам он никогда не решится пойти наперекор председательше, и от этого порой ощущал что-то близкое к отчаянию. У нее поддержка секретаря райкома, да и никто из членов правления не поддержит выступление против нее. Камал попробовал, что из этого вышло? Ему же хуже. Если на то пошло,

у Нишана тоже нашлось бы что сказать. Это уж совсем плохо, если нечего сказать, значит, остался один шаг до могилы.

Свернули с грейдера на проселочную дорогу, и «Жигули» стали заваливаться в ямы и колдобины, заполненные дождевой водой по глубоким колеям грузовиков и тракторов. Скоро слева от дороги потянулся овраг, заросший по краям камышом, справа — голая степь с участками густой травы, кое-где чернели прошлогодняя полынь и горчак, там и тут застрявшие клубки перекати-поля.

Нишан чуть зазевался, машина пошла юзом по жирной скользкой колее и влетела в яму. Нишан приоткрыл дверь и глянул под передние и задние колеса, попробовал газануть, но колеса легко прокручивались, разбрасывая во все стороны жидкую грязь.

— Кажется, теперь она поедет на нас,— Нишан хотел выйти из машины.

— Вы сидите,— Камал придержал его за руку,— я попробую подтолкнуть.

Камал снял тюбетейку и, сложив, сунул ее в карман, холодный дождь мгновенно намочил волосы и струйками прокрался по шее под рубаху. Толкая сзади с раскачки, Камал навалился изо всех сил, ему удалось поймать момент и помочь «жигуленку» преодолеть какие-то двадцать-тридцать таких важных сантиметров жидкой грязи, но левое заднее колесо с маху ввалилось в следующую колдобину, и из-под машины веером взлетела волна холодной воды и грязи и обдала Камала с ног до головы, он едва успел зажмурить глаза. Так он и застыл на мгновение с черным, залепленным грязью лицом, потом стряхнул грязь с рук, отер лицо, разлепил глаза и побрел вниз, к овражку, где в камышах тускло темнела мутная вода. Спускаясь к воде, Камал держался за камыши, чтобы не поскользнуться. Вода, в которой он мыл лицо и руки, была соленой. В этот овраг стекает вода с больших поливных площадей, сюда приносит она все соли и всю химию, вымытую с тысяч гектаров хлопчатников, и вот этой водой мы собираемся орошать Маханкуль. Пресная почва и на этом участке постепенно превратится в солончаковую. Пройдет пять лет, и освоенные сегодня земли тоже придется промывать. Есть ли смысл, понимая это, портить драгоценную землю?

— Что, братец, здорово тебя окатило?— крикнул из машины Нишан.

— Бывает.

— Ну, давай в машину, недалеко осталось.

Тем временем дождь ослабел, моросил мелко, но настойчиво. Степь повеселела, казалось, что природа сделала большой влажный вдох. Торопилась расти, набирала силы изумрудная молодая трава, спешила впитать все соки разопревшей от дождя и тепла земли, каждый луч пробивавшегося кое-где через облака солнца. Камалу хотелось стоять и стоять так под этим моросящим дождем, слушать эту жизнь, вдыхать запах земли и чувствовать, как спадает с души вся тяжесть, вся ненужная напряженность и суетность. Древняя степь пробуждалась с очередной весной, в ее кажущемся покое не было безмятежности, всюду была видна извечная работа жизни. Камал хотел участвовать в этом великом деле, и казалось, степь понимает и принимает его сыновнее чувство любви и благодарности...

Видимо, Нишан по-своему истолковал молчаливую просветленную задумчивость Камала.

— Будь поспокойнее, братец, не лезь понапрасну на рожон,— сказал Нишан, не отрывая глаз от дороги и осторожно проводя машину между глубокими тракторными колеями.— Кому интересны твои соображения о Маханкуле. Никому это неинтересно. Думай о своих детях.

— Почему, Нишан-ака? Если стучаться, кто-нибудь откроет. Не все же поддались горячке освоения. Кто-нибудь да поймет.

— Послушай, какая тебе разница — распашут Маханкуль или нет?

Камал покачал головой и, удивляясь самому себе, в который раз начал доказывать.

— Маханкуль необыкновенно ценен редкими видами растений, они нужны науке, и прежде всего медицине. Второе — травостой этих территорий — основа животноводства целого района. Ну и вообще, не пора ли подумать о природе? Ведь мы от нее, если приглядеться повнимательнее, ох как зависим! Ведь не так давно в окрестностях нашего кишлака было полным-полно фазанов. Вы-то уж должны помнить! Теперь эта птица встречается только в заповеднике.

— В Каракульском я видел. Полно!— Глаза Нишана оживленно сверкнули.— Какие красавцы, черт побери! Петухи прямо переливаются всеми цветами радуги. Прав ты, глаза радуются, глядя на них.

— Они гибнут от ядохимикатов, которыми мы обрабатываем хлопковые поля, вот и уцелели только те, что держатся в заповеднике.

— Что же ты хочешь, кругом сплошной заповедник? И Маханкуль бы в заповедник, да?

— Если бы я мог, я бы обязательно превратил в заповедник Маханкуль. Ведь там есть такие птицы, такие травы, которые больше нигде в мире не встречаются. Это при том, что мы еще далеко не все знаем об этой земле. И вот, не зная, готовы уничтожить.

— Может быть, ты и прав, братец, но человек должен прежде всего заботиться о себе, а потом о каких-то травках и пташках.

Камал кивнул головой и замолчал. Нет смысла доказывать, если человек не хочет понять. Основной принцип Нишана — компромисс, он может проявить сочувствие, но по-настоящему его беспокоит только собственное благополучие.

По сторонам замелькали заросли тамариска с распускающимися лепестками, висевшие над землей легким сквозящим облаком. Впереди показался полевой стан.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В большом тазу, стоявшем посреди двора на солнце, Нигора купала младшего и так была увлечена этим, что и не заметила, как во двор вошла председательша. Султан тер глаза кулачком и тихонько скулил, Нигора крепко с мылом натирала ему спину и по привычке безостановочно ворчала.

— Ему что, отругал и уехал. Называется — дал указания! Попробовал бы сам. Пошел куда глаза глядят, куда ноги несут. Жена не накрашена, дети грязные! А у кого в этом проклятом кишлаке чистые дети? Собственные дети ему не милы...

Малика не стала слушать дальше ворчанье Нигоры, она ее достаточно хорошо знала. Раньше, до того как ее избрали председателем, она иногда бывала в этом доме, потом почему-то перестала сюда заходить. С этой постоянной текучкой совсем забросила подруг,

да подруг, собственно, и не стало, зато появилось много подчиненных.

— Правильно, правильно! Все мужчины такие!

Нигора сначала растерялась, увидев председательшу, с улыбкой идущую к ней. Малика протянула руки для объятия. Нигора быстро успела оглядеть празднично выглядевшую гостью. Волосы уложены по-городскому, на затылке повязаны розовой косынкой. Атласное с короткими рукавами платье. Глаза густо подведены, блестят здоровьем и молодостью. Лицо гладкое, холеное. Красивая, ничего не скажешь.

— Здравствуйте,— Нигора на минутку забыла о сыне, сидевшем в тазу. Женщины несколько замешкались, не зная, как поздороваться — то ли как принято по обычаю, то ли по-современному, за руку. Решать должна была Нигора, ведь Малика все-таки девушка, но председательша подавляла своей дородностью, красотой. Нигора смешалась.— Вот, купаю своих разбойников. Невозможно углядеть, тотчас перепачкаются с ног до головы.

Малика сама подошла к ней, положила руки ей на плечи, искренним голосом справилась о здоровье, а Нигора не могла ответить, руки у нее были в мыле, да и неожиданное проявление симпатии со стороны председательши ее все-таки смущало.

— Мойте их хорошенько, полощите! Я как раз за ними пришла. Они все-таки должны ходить в детский сад. Муж в пустыне, одной вам, конечно, трудно с ними, с тремя. Как вы думаете?

Нигора удивленно взглянула на нее, ей показалось, что в живых веселых глазах председательши играют подозрительные огоньки. Сначала отправила мужа в пустыню, сняла с должности, теперь к семье подбирается. Нет, Нигора не могла ждать ничего хорошего от прихода председательши. Малика сразу почувствовала настроение Нигоры, но она-то была к этому готова. Кому понравится, если вдруг изменится привычный ход жизни семьи, Малика и сама такая; стоит ее матери задержаться в гостях, тем более заночевать где-нибудь у родственников, она места себе не находит. А тут семья оказалась без хозяина, который глотает пыль в пустыне. Ну, Камал сам виноват, не будет приставать со своими возражениями.

— Не лежит у меня душа к этому детсаду,— нерешительно начала Нигора.— Уж лучше им быть дома.—



Нигора хорошо знала нрав председательши и старалась отговориться от неожиданного предложения настойчиво, но мягко, не задевая начальственного самолюбия.

— Вот и напрасно не лежит, подруженька,— Малика по-дружески коснулась плеча Нигоры.— Вон сколько их ходит в садик. Едят по часам, спят по часам, кругом чистота, благодать!

Слова председательши о чистоте, так некстати сказанные, походили на упрек после недавней ссоры с мужем, но Нигора смолчала. Думают, легко держать в чистоте трех сыновей. Это со стороны! Не успеешь перестирать, переодеть, а они уже возвращаются с улицы в пыли и в глине. Обуваться не хотят вообще. Но для матери, конечно, это не главное, были бы здоровы.

— Вот что, подруженька, дайте-ка мне чем-нибудь подвязаться.

Нигора сбегала в дом и принесла большое белое полотенце, Малика подвязалась им, как фартуком.

— Ой, зачем вы это,— Нигора схватила председательшу за полную сильную руку.— Да что вы, не беспокойтесь, я сама...

— Вы думаете, я не умею купать детей?

— Нет, но...

— В таком случае лейте...

Малышу сначала не очень понравилось, что за него взялась чужая тетя, он замолчал и надулся, но когда мягкие крепкие пальцы стали ловко мять его тельце, он успокоился и даже тихонько засмеялся.

— Еще лейте! Лейте!

Нигора лила воду на голову сына, а он топтался в тазу, отчаянно протирая глаза. Нигора зачерпнула еще кувшин и окатила все кругленькое налитое тело малыша.

— Ну вот, готово,— Малика сняла с себя полотенце, закутала в него ребенка и в каком-то инстинктивном порыве прижала к себе. Султан с довольным видом, моргая и щурясь, крепко обнял ее за шею. Малика с удивлением почувствовала, как в груди у нее шевельнулось сладкое материнское чувство к сыну человека, которого она только вчера сняла с должности и отправила в пустыню. Какие гадости он ей говорил, будто она чуть ли не хочет выколоть детям глаза этим несчастным хлопчатником, как какая-то

кровожадная колдунья. Да неужели можно пожелать плохого таким вот ребятишкам. Глупость какая. Камал любит сделать из мухи слона, все раздуть, поднять шум. Недаром в прошлом году получил взбучку от секретаря райкома. И все-таки не унялся. Не любит сворачивать со своей дорожки. Нигора, наверное, в душе обижается на нее, а ведь кому угодно может надоесть такой упрямец, как ее Камал. Упрямец и зазнайка. Именно его мнение обязательно должно восторжествовать и все изменить. Но для этого ему не хватает ни власти, ни веса. Зря упирается, недаром говорят, глупое упорство ломает хребет.

Движения красивого полного тела и ловких рук председательши вызывали в Нигоре восхищение и скрытую зависть. Лицо раскраснелось, и от этого Малика стала только красивее. Видно, аллах своих избранных одаривает сразу всем, с легкой горечью подумала Нигора, Малике он дал и красоту, и должность, и авторитет, а она, Нигора, не достигнув тридцати, уже похожа на старуху. Наверное, аллах сотворил их из разной глины.

— А где одежда вашего богатыря? — Малика явно любовалась Султаном.— Сейчас мы его приоденем.

Нигора взяла с веранды приготовленные штаны и рубашку сына. Тень неудовольствия мелькнула по лицу Малики, когда она взяла неглаженые вещи, но она явно сдержалась, чтобы не обидеть Нигору, повернула разговор в сторону.

— А где другие дети?

Нигора поняла, что председательша действительно задалась целью определить ее сыновей в детский сад. На минутку ей показалось даже, что детей хотят отнять.

— Им и дома хорошо. Не утруждайте себя, апа.

Конечно, такое робкое сопротивление не могло остановить Малику, она его отнесла к простому женскому упрямству.

— Неужели другие люди отдают своих детей в детсад потому, что у них дома плохо? Странно вы рассуждаете.— Малика незаметно для себя привыкла, что люди быстро соглашаются с ней и ей подчиняются.— Лучше сходите и разыщите сыновей.

Нигора не знала, как быть. Ее пугал этот председательский напор, с другой стороны, ей не хотелось и

раздражать Малику, в которой она чувствовала силу и опасность.

— Вы знаете, апа, я не могу одна, не посоветовавшись с их отцом. Он приедет и решит.

— Пусть считает это моим распоряжением,— ласково и заговорщицки улыбнулась Малика.— Мое слово все-таки что-то значит, не правда ли?

— Ваше слово — это ваше слово.— Нигора замолчала. Она хотела сказать: есть у тебя контора там ты председатель, там и командуй, а у себя дома мы уж сами как-нибудь разберемся, придумаем, как нам быть. Ее тянуло так и сказать напрямую, но она воздержалась.

Малика, конечно, и без слов поняла, что вертится на языке у Нигоры. Она сбавила тон и попыталась свести все на шутку.

— Бедные наши женщины, как они боятся своих мужей. Да и вас, я вижу, держат в ежовых рукавицах. Надо же, какой деспот.

Нигора взглянула с удивлением, она поняла вдруг, что Малика просто не знакома с этой обыденной, такой естественной для Нигоры стороной жизни. Если бы у нее были свои дети, муж, она не рассуждала бы так наивно.

— Да неужели вы его так боитесь?

— Нет, не боюсь,— Нигора покачала головой.— Разве в боязни дело? Ведь он отец моих детей, мой муж.

Эти слова объясняли все, в них были и преданность, и верность, и, наверное, любовь. Нигора и не сумела бы растолковать свою любовь другому человеку. С Камалом они, пожалуй, и не говорили о любви, да и сама она не задумывалась, любит ли она мужа, они были связаны невидимыми, но неразрывными узами. Нигора даже забыла то время, когда представляла себе жизнь без него. Теперь ей казалось, что это всегда так было: он ее муж, а она его жена. Это ведь так естественно! Такие же нити связывали ее с детьми. Разве задумывалась она когда-нибудь о том, любит ли она своих детей? Эти чувства жили в Нигоре и не требовали словесного выражения, не нуждались в объяснении.

— Вы преклоняетесь даже перед тенью своего мужа,— со смехом сказала Малика.— Наверное, из-за та-

ких жен, во всем потакающих мужьям, они порой необдуманно лезут на рожон. Не надо их баловать.

Это было сказано так весело и по-дружески, что Нигора тоже улыбнулась в ответ.

— Выйдете замуж, тогда и посмотрим, как вы будете баловать своего муженька.

Малике показалось, что она с разбегу налетела на стену. Ах ты, наседка! Подумаешь, мужняя жена! Как она со мной разговаривает, сверху вниз, чем хочет уязвить. Веселую улыбку как сдуло с полного красивого лица председательши.

— Ах, чтоб язык мой отсох... Не иначе, вы обиделись, апа? Не обижайтесь, я же просто так ляпнула.

В голосе Нигоры было столько искреннего сочувствия, что Малика мгновенно поняла, что эта бесхитростная женщина и не думала ее обидеть или уколоть, она по-своему, по-женски смотрит на мир и сказала спроста, от чистого сердца.

А Нигора прикусила язык и выбежала на улицу, потому что поблизости в хоре ребячьих голосов услышала голоса своих старших сыновей.

Малика машинально одергивала рубашку и штаны на маленьком Султане. Последнее время все чаще и чаще приходили ей в голову тревожные мысли: стремительно летит время, у людей кроме работы мужья и дети, а у нее все не складывается судьба. Да разве не имеет права простая женщина, вот такая, как Нигора, гордиться своей семьей, детьми, мужем, ведь эта радость достается немалым трудом, всей жизнью женщины.

В калитке появилась Нигора, одного из своих сыновей она волокла за руку, другого вела за ухо.

— Разбойники! Отец ради вас где-то жарится в пустыне! Я не знаю покоя! Как говорится, косы мои — помело, руки как кочерга... А они!

Без сомнения, дети не раз слышали эти причитания и знали их наизусть и Нигора разошлась скорее из-за наблюдавшей семейную сцену гостьи. Отпустив ухо старшего, Нигора ловко дала ему подзатыльник, на который Суван даже не обратил внимания, обрадовавшись свободе своего уха. Сиявуш тоже перестал вырываться из рук матери и теперь стоял посреди двора смирно, опустив голову. Нигора повернулась к Малике и развела руками, показывая на сыновей, дескать,

вот смотрите, добрые люди, на этих разбойников и хулиганов.

Малика пошла к калитке, Нигора ее догнала и тронула за рукав.

— Вы пошли, апа-джон! Не обижайтесь на меня, пожалуйста, это глупый язык.

— Пустяки, не обращайте внимания. Но, я думаю, мы решили, вы сегодня отведете детей в детсад. Я туда сейчас зайду.— Малика ушла.

Так получилось, что Нигора лишилась возможности возразить и записала в детсад своих сыновей.

Весь день Малика была не в духе, все у нее валилось из рук, из-за незначительной неточности в ведомости расходов на выкормку шелкопряда накричала на главного бухгалтера и даже порвала бумагу, вызвала секретаря парткома и, не добившись от него ничего путного, сделала ему выговор за то, что он запустил культуру быта, приказала при раздаче шелкопряда обойти кишлак, побывать в каждом доме, посмотреть, как живут колхозники. Секретарь и не подумал возражать, на каждое слово согласно кивал головой. Устроив всем разнос, Малика под конец разозлилась и на себя и, чтобы как-то успокоиться, решила объехать дальние поля. Ни на одном полевом стане она не задерживалась, ни с кем не переговорила и в сумерках вернулась домой, чувствуя себя такой усталой, будто весь день проработала в поле.

Тетя Махира по шагам дочери умела определять ее настроение, вот и сейчас она сразу увидела, что Малика устала и расстроена, и встретила ее молча. Измучилась девка! От жалости сжималось материнское сердце, но нечем было помочь. Мать-то знала, в чем дело, ни к чему это председательство, ведь заботы только сушат девичью душу, лучше бы замуж вышла, дело женщины — семья.

Дал бы аллах мужа да двух-трех ребятишек, все бы и наладилось. Дети — главное в жизни женщины, с ними не заметишь, как и жизнь пролетит. Тетя Махира с легкостью, которую трудно было предположить в ее большом грузном теле, неслышно сновала по дому, собирая на стол.

Для тети Махиры вся жизнь сосредоточилась в дочери, больше у нее никого не было. Судьба круто обо-

шлась с этой крепкой женщиной, но и самыми сильными ударами не смогла ее до конца сломить, потому что у нее всегда оставалось для кого жить. Родила она пятерых детей, и четырех ее сыновей уже подростками и юношами одного за другим сгубили какие-то пустячные болезни. Муж твердо сносил испытания судьбы, не подавал виду, но страшно горевал, а с последним сыном и сам ушел в могилу, не выдержало сердце. От семьи остались только мать и единственная дочь. Слава аллаху, Малика достигла такого положения, которое впору только счастливым и умным сыновьям, стоит во главе колхоза, ей доверяют люди, на нее полагаются, она решает их судьбы. Разве мать не понимает, она, конечно, все понимает. Но... тайная надежда старой матери — мечтает она увидеть свадьбу дочери. А ведь в последнее время не стали появляться и женихи. Последними были сваты от каких-то разведенных мужчин, от вдовцов с детьми, а как Малика стала председателем, не сватали и эти. Бессонными ночами мать не смыкает глаз, думает о дочери, хорошо бы, пока жива, самой вручить ее в надежные руки, может быть, даже понянчить внуков. Да не похоже, чтобы Малика очень хотела замуж — все у нее дела, рано уходит, поздно приходит, как ни спроси — все разговор о плане, об урожае. Весной она сеет, осенью убирает урожай, зимой для нее главное промывка полей. Конечно, сколько ни промывай эту землю, летом все равно сверху, как накипь, выступает белая соль. Можно только удивляться терпению народа, который выращивает хлопок на таких землях.

Малика тоже знала, что на сердце у матери, но привыкла и не обращала внимания, заранее предвидя все, что та может ей сказать. Мучили ее эти случайные, но прямо в душу запавшие слова Нигоры. «Выйдете замуж, а там посмотрим...». Мать легонько кашлянула, у нее такая привычка — когда она хочет начать разговор, обязательно тихонько кашлянет, будто спрашивает разрешения.

— Что вы, мама?

— Ничего, дочка. Вижу, неприятности у тебя на работе, такая ты усталая. Опять моталась до темноты.

— Поля объехала. Все в порядке, мама.— По глазам матери Малика видела, что мать хочет о чем-то поговорить. Или кто-то хочет через мать обделать свои личные дела, или опять все о том же.

— Я уже старая, доченька...

Так и есть, снова прежний, знакомый мотив. Малика уже устала от слез матери, от ее бесконечных увещеваний. Ей самой хотелось заплакать вместе с матерью или отчитать ее, чтобы она оставила свои бесполезные разговоры. Но ведь она ни в чем не виновата. Разве можно сердиться на мать, она искренне желает добра, разве это плохо — мечтать о внуках на старости лет?

— Может быть, у вас есть жених, мама? Давайте, сама пойду свататься,— Малика попыталась перевести все в шутку, но даже наигранной усмешки у нее не получилось.

— Тебе смешно, доченька, а у меня сердце кровью обливается,— тетя Махира тихонько заплакала, не обращая внимания на бегущие слезы.— Разве ты родилась на свет кукушкой куковать?

Ну, началось, вздохнула Малика, сейчас будет про горькую судьбинушку, про то, что ничего светлого в жизни не видела, просто мрак. Под конец мать начнет грозить, что придется ей покинуть свет с открытыми глазами. А потом проплачет до утра. Но что же делать? Да, время ушло, теперь нет и желания, нет и предложений, кто же осмелится ухаживать за председательшей?

— Неужели мне только и выпало на свете, смотреть на горе своих деточек? Неужели дал мне аллах детей, чтобы умножить мои несчастья? — тетя Махира повторяла много раз говоренные слова и мерно, горестно раскачивалась, не поднимая головы, будто слова эти вовсе не касались дочери.— И у меня, как у других людей, были светлые мечты. Видно, такая у меня судьба, что же поделаешь, бог дал — бог взял. Одна была надежда, что ты будешь бальзамом для моей души. Не хочешь ты подумать о родной матери! — тетя Махира укоризненно покачала головой и погрозила пальцем.— Разве я тебя только для колхоза родила?

Малика молчала; когда человек слышит изо дня в день одно и то же, чувства притупляются. Но сегодня было что-то особенное в горячих упреках и причитаниях матери.

— Видишь, даже не хочешь говорить со мной, а ведь ты уже не молоденькая. Неужели ты не думаешь о своей судьбе? Годы идут, ведь их не воротишь.

— Ну, ладно. Уговорили, завтра я повешу на дверях конторы объявление. Требуется хороший муж!

Это вас устроит? — Малика саркастически рассмеялась.

Как ни странно, тетю Махиру не очень задели насмешливые слова дочери, в другой раз она немедленно ответила бы на это причитанием и новыми слезами, а теперь обрадовалась, потому что разговор повернулся в нужную сторону.

— Не следует смеяться над старой матерью. Разве я говорю глупые вещи? Каждая мать хочет счастья своему дитяти. Зачем писать объявления, люди сами стучат в наш дом...

Эти слова и намеки матери можно было понять только однозначно — приходили свататься. В последнее время сваты обходили их дом. Вначале, когда Малика это заметила, она даже переживала, но потом смирилась и привыкла, как привыкла к тому, что парни перестали смотреть на нее с откровенной жадностью, что никто ее не поджидает, не вздыхает над ухом, не посылает для разведки родственников с предложениями. Когда она кончала школу, сваты шли чередой, ходили, когда Малика работала механизатором. Тогда она ставила непременное условие: сначала закончит институт и только после этого будет разговор о замужестве. Но не везло с институтом, два года подряд она проваливалась на последнем экзамене, и повезло ей лишь на третий год. Тогда она крепко взялась за учебу и совсем забросила мысли о замужестве. Ну а там начала бригадирствовать, забот прибавилось, в газете стало появляться ее имя, стала выступать на собраниях, сидеть в президиуме с уважаемыми людьми, наконец, ее выдвинули депутатом районного Совета. Подошел диплом, и ее избрали в ревизионную комиссию, а там и в председатели. Чем выше рос престиж, тем меньше кандидатов в женихи стучалось в калитку. Кое-кто теперь считал ее недосягаемой, кое-кого она просто оттолкнула своей деловитостью, решительностью в делах — куда как непросто с такой самостоятельной женой. Да, Малика незаметно, но быстро менялась, она стала держаться с уверенностью делового человека, говорить свысока, могла обрезать, отчитать, а то и просто обидеть. За работой перестала замечать, как бежит время, и не успевала подумать о себе. Ей казалось, что все тут можно наладить, стоит только этим заняться — сразу после уборочной или после посевной... Чем не невеста? Доста-

ток есть, положение есть. Она депутат. Несмотря на молодость, есть уже и ордена и медали. Неужели девушка должна только об одном думать и к одному стремиться — лишь бы замуж? Не так же все примитивно, не старые времена... Эта уверенность придавала ей силы, хотя в глубине сердца оставалось и все нарастало тревожное беспокойство, но на него она накладывала строгий запрет, забивала его работой и не обращала внимания.

Вглядевшись в лицо матери, Малика заметила, что под следами недавних слез пробивается улыбка, видимо, ей не терпелось сообщить Малике что-то приятное. Это волнение непроизвольно передалось и девушке. Интересно, кто же решился свататься к председательше?

— Кому нужна такая древняя старуха,— улыбнулась Малика, сделав вид, что принимает слова матери за шутку.

— Зачем ты так говоришь, доченька,— тетя Махира не на шутку рассердилась и замахала руками.— Ты еще девушка, как говорится, нераскрытый бутон.

Малика улыбнулась и, облокотившись на хантахту, отпила глоток чая из пиалы. Слова матери звучали немного смешно и чуть-чуть грустно.

— Ах, мама, вы просто не заметили, как бутон превратился в председательшу.

— Не смейся, дочка, хватит того, что ты столько лет просмеялась.

— Не тяните, мама. Я уже всех перебрала в уме, никак не соображу.

Малика под веселым тоном пыталась скрыть свой откровенный интерес. Да и есть ли в кишлаке человек, который был бы ей под пару. А вдруг это подчиненный, как тогда быть? Интересно, выходят ли замуж за подчиненных?

— Ты не слышала, в школу пришел новый учитель?

— Слышала.

— Говорят, очень хороший человек.

— Вот кто! А я про него и забыла.

— В Ташкенте в министерстве работал.

Вот оно что. Забавно. Месяца два назад звонил директор школы, просил выделить номер для нового учителя в колхозной гостинице. Малика отказала, потому что пустить учителя легко, а вот дождаться потом, чтобы

он освободил номер, будет трудно. С квартирой для учителя дело обстояло довольно безнадежно. А на следующий день учитель и сам явился в контору. Малика поливала цветы. Вошедший скромно кашлянул, Малика обернулась к нему. В дверях улыбался стройный парень в сером костюме, белой рубашке и ярком галстуке.

— Я, кажется, не вовремя?

— Отчего же не вовремя.

Малика не торопясь отнесла и поставила графин на сейф, достала из шкафчика полотенце и вытерла руки, а потом прошла к столу, предложив учителю стул.

— Никогда бы не угадал, с чего начинается рабочий день у председателя крупного колхоза. С поливания цветов.

— Да, по утрам я сначала поливаю цветы. Мама говорит, что у растений тоже есть душа и они любят, когда о них помнят и заботятся.

— У вас мудрая мама,— Кудрат вздохнул, лицо его осветила мягкая улыбка.— Правильно считают, что любовь к цветам — признак доброй души. Глядя на вас, я не могу с этим не согласиться.

Нехитрый этот комплимент пришелся Малике по душе, она тоже улыбнулась и внимательно вгляделась в парня. Симпатичный, с хорошим, открытым лицом, щеголеватый горожанин.

— Ну, что привело вас ко мне?

— Вы, наверное, догадались. Я насчет жилья. Директор посоветовал обратиться лично к вам.

— Да, помню, мы с вашим директором об этом переговорили. Знаете, что я вам посоветую? Все равно вам в гостинице будет скучно, да и не очень удобно. Вам жить не день, не два, правильно? Ну вот. Лучше не придумаешь, чем тетушка Нуржан. Правда, далековато от школы, но зато у нее вы будете как в родной семье. Тетушка Нуржан выдала последнюю дочь замуж и теперь не знает, что делать одной в своем большом доме. Вам у нее понравится. Если сошлетесь на меня, она не откажет.

Тогда они еще о чем-то поболтали, и учитель ушел, но вскоре напомнил о себе. Через некоторое время после этого знакомства в контору к Малике под вечер прибежала Карима, бывшая одноклассница, смешливая веселая девушка, про которую часто говорили, что у

нее ветер в голове. Карима долго крутила вокруг да около и когда уже вконец заинтриговала подругу, перешла к щекотливому делу.

— Малика,— она закатила глаза и причмокнула, будто сосала леденец,— ты даже не представляешь, какое счастье тебя ждет. Только смотри, не прозевай.

— Не иначе как жениха нашла,— усмехнулась Малика, зная ветреную натуру своей болтливой подружки.— Давай побыстрее, у меня еще дела. Видишь, сколько бумаг надо просмотреть. Выкладывай.

Но Карима и не думала так просто напрямую выкладывать.

— Под счастливой звездой, подруженька, ты родилась! — запела Карима, опять закатила глаза и всплеснула руками.

— Ну, ладно. Все! — строго сказала Малика, но не смогла не улыбнуться, глядя на огорченную Кариму.

— Ладно, так ладно. Значит, так. Помнишь, я тебе рассказывала, что к нам в школу приехал новый учитель. Симпатичный такой. Ну, ты его знаешь. Так вот, подруженька, ходил он все вокруг да около, все выспрашивал да выпытывал, и все про тебя! Почему не замужем, да как живет, да где бывает и то, и се. Он у тебя был в конторе, и так ты ему понравилась! Не веришь? Сразу влюбился. Уверен, говорит, что она прекрасный, душевный человек. Знаешь почему? Потому что любит цветы... Понимаешь? Хочет с тобой встретиться, да никак не решится подойти. Ну и теперь раздумывает, как удобнее подступиться. Наверное, сватов пошлет. Что ты скажешь на это?

Малика немного смутилась и сделала вид, что занята бумагами и совсем не слушает болтливую подругу.

— Ну, что молчишь? — Карима подтолкнула Малику.

— Так и разбежалась,— усмехнулась Малика и снова уткнулась в бумаги. Не могла она ничего сказать даже своей старой подружке. Так ничем и окончился тот разговор, посмеялись, поболтали и ни на чем разошлись.

Стало быть, Кудрат выбрал вариант со сватами, учел, что кишлак — это не Ташкент. Настойчивый джигит. Можно было бы позвонить директору, расспросить, как устроился учитель, решили ли вопрос с

жильем. Малика почувствовала волнение и улыбнулась. А что дальше? Ну позвонить, встретиться. Потом будет свидание, может быть, она сама придет к нему узнать, как складывается жизнь молодого учителя в ее колхозе. Ну а потом? Они куда-нибудь пойдут вместе... А на них будут глядеть. Скажут, вон учитель повел нашу апу... Начнутся разговоры в кишлаке...

Тетя Махира наклонилась к дочери и тронула ее за руку.

— Аллах обидел несчастного, не дал ему утешеньица...— Тетя Махира не хотела говорить о главном, но не могла не шепнуть дочери, не могла от нее скрыть. Очень уж важное дело, пусть сразу все узнает.— Был женат, разошелся. Что же жить, если детей не получается.

Малика вздрогнула и оторвалась от своих мечтаний, при трезвом взгляде все оказалось значительно прозаичнее. А она уже чуть ли не побежала звонить директору школы, уже на свидание собралась. Смешно. Желание увидеть Кудрата пропало. Что уж, так ей тяжело без мужа? Что в нем, в этом учителе? Улыбка приятная запомнилась? А он с этой улыбкой уже бросил одну женщину, не ужился, так же с улыбкой и другую бросит. Нет уж, лучше пусть поживет один.

— Что скажешь, дочка? — тетя Махира робко взглянула на дочь.— Через день-другой придут за ответом.

Малика ничего не ответила матери, оперлась на хантахту и встала. Чувствуя себя разбитой и утомленной, медленно вышла из дому. Ей хотелось остаться одной, чтобы не видеть огорченную мать, чтобы не отвечать на ее вопросы, на которые она не могла найти ответа, хотелось уйти в дальний любимый угол двора, чтобы там выплакаться, почувствовать живительную жалость к себе. Но и слез почему-то не было. Она уже давно забыла свои девичьи слезы, давно ей не случалось поплакать всласть, как плачут в счастливом, счастливом детстве.

Не впервые ее сватают, одни предлагают ей идти в мачехи к чужим осиротевшим без матери детям, другие хотят заменить ею сварливую или больную бездетную жену... А ведь она по-прежнему ждет настоящей любви. Неужели она недостойна простого человеческого счастья? А может быть, она сама что-то не-

правильно делает, не так поступает в жизни и потому счастье обходит ее стороной?

Малика прислонилась к деревянной стойке айвана и стала смотреть в непроглядное черное небо, на котором не видно было ни одной звезды. Наверное, опять начнется дождь, вечерний воздух напоен сыростью. Льет и льет. Сейчас бы перерыв, десяток теплых дней — и все было бы в порядке, взойдет хлопок... Если еще будет лить — все сгниет, придется все пересевать. Пропадет вся посевная. Еще день-два дождливых, и все пропало. Навалится сразу две заботы — пересев и шелковица, не хватит людей на заготовку листьев тутовника. Малика усмехнулась своим волнениям по поводу сватовства учителя. Вот погода постояла бы дней десять, ну, пусть не десять, пусть неделю, но жаркая, чтобы семена хлопка прогрелись в насыщенной влагой почве и дружно пошли бы в рост. Малика заметила, что одновременно, параллельно в ней живут и сплетаются две боли, две заботы, ее председательская тревога за хлопок, за урожай и страх за свою собственную судьбу, за уходящую молодость. Может, имей она семью, все было бы совсем по-другому.

В окне погас свет. Вот и опять она будет слышать, как ворочается на постели мать, встает, ложится, походив по дому, что-то шепчет про себя, наверное, молится аллаху, чтобы он вместо ордена и славы передового председателя ниспослал дочери немножко простого женского счастья. Странно, ведь мать совершенно уверена, что Малика во всем несчастна и обездолена. Мать не представляет себе, сколько радости дает эта тяжелая, ежедневно забирающая все силы без остатка, работа. Наверное, матери этого не понять. Может быть, дочь и мечтала жить именно так? Неужели без мужа женщина обречена остаться несчастной всю жизнь? Не может быть. Даже если это крайность, то вот другая крайность — Нигора, знает ли она, что такое счастье? Ведь она не выбирала, а взяла то, что ей дала жизнь. Малика не смогла представить себе Нигору председателем: в конторе, на правлении, в районе, в области... Как совместить, объединить эти полюса?

В темноте по деревьям пробежал ветер, раскачивая ветви. Запахло грозой. Листья дружно зашумели. Вдалеке, осветив тяжелое, в плотных облаках небо, блеснула молния. Яркий разряд, похожий на разветвлен-

ный корень дерева, ослепил глаза и погас. Через минуту долетел, раскатился над кишлаком оглушительный гром. Темнота сгустилась, ветер донес холодное дыхание приближающегося ливня. В водосточной трубе зашуршала и потекла вода. Малика озябла и сжалась, но в дом не пошла. В шуме дождя было что-то успокаивающее. В душе поднималась тихая светлая печаль, как будто уставшая от дневных забот душа раскрывалась и отдыхала. Странно устроен человек, редки минуты ясности, душевного покоя. Иногда, как это случилось у Малики теперь, они наступают после потрясений, когда приходит успокоение, смешанное с горечью пережитого. О, эти минуты целительного одиночества, которое освобождает от недобрых дум, злобы, зависти, раздражения, даже кровь в жилах течет спокойнее, видишь дальше и глубже, а тишина и звуки природы достигают, кажется, самого сердца, пробуждаются милые воспоминания, оживают забытые мечты, и человек кажется себе, да и на самом деле становится лучше и добрее.

Конечно, давно уже могла бы быть своя семья, ведь к ней много сватались. Малика всем отказывала. Ждала единственного, который просто признается в любви. Полюбит и скажет ей об этом. Напрасно ждала. Но ведь могла бы и сама кого-нибудь полюбить, ведь доведись ей — она полюбила бы навсегда, на всю жизнь. Часто она издалека следила за Камалом, и теперь можно признаться в этом, ждала, что в один прекрасный день он придет к ней со словами любви, признания. Но... чуда не произошло. Может, надо было самой сделать какие-то шаги навстречу любви, не ждать чуда... Нет, недаром терялась Малика в размышлениях о своей судьбе, видимо, она не понимала еще, что счастье — не вещица, упакованная в целлофан, не лежит на прилавке, ожидая покупателя. Чтобы помочь счастью, человек должен познать бессонные ночи и горечь разлуки, должен бороться и переживать, любовь не придет неслышным шагом, она должна ворваться в сердце, как вихрь, как смерч... Нет, не мечтай о любви, если твой взгляд не воспламеняет юношу, если ты своим призывом не в силах превратить его в Меджнуна безумного. А чтобы зажечь другого — ты должна гореть сама. Возможно, пойми Малика эту истину, не прошла бы в душевной слепоте мимо своего счастья.

Еще один огненный меч разрубил вязкую черноту облаков, во всю длину небосклона сверкнула молния. Докатился гром, и, пробив дно неба, сильнее полил дождь. Будто обиженные дети, печально столпились вокруг айвана освещенные светом, до листика вымокшие деревья. Они плакали, а Малика хотела бы выплакаться, но не могла, хотела бы пожаловаться, высказаться кому-нибудь, облегчить переполненное сердце, готовое вот-вот разорваться, но с кем говорить, кому жаловаться? Она чувствовала, что в последнее время, может, от председательства, она становится все более и более одинокой.

Скрипнула калитка, и Малика увидела в темноте белую фигуру человека. Бесшумно ступая по мокрой дорожке, человек прошел через дождь к айвану. Это был блаженный старик.

— Дай хлеба,— он протянул скрюченные пальцы. На ладони — несколько мокрых медяков.

По телу Малики пробежали мурашки. Она чуть не закричала, но и закричать не могла, у нее перехватило дыхание. Было что-то ужасное в этом старике, внезапно появившемся здесь в полночь, словно посланец и предвестник.

— Смотри, денег дали хорошие люди! — старик засмеялся, широко раскрыв черный рот.— Сколько хлеба могу купить на деньги! На деньги все дадут хлеба, для бога никто не дает! Хах-ха!

— Уходи! — наконец выкрикнула шепотом Малика.— Уходи отсюда! — Малика беспомощно махала руками, пытаясь прогнать старика, как какую-то страшную нелепую птицу, прилетевшую на свет айвана из темноты грозовой ночи.

Старик любовно пересчитал деньги на ладони, недоверчиво взглянул на Малику и, сжав деньги в горсти, спрятал за спину, как ребенок.

— А тебе не дам.— Старик отступил от Малики и снова повторил.— Не дам! Не думай, что заберешь. Не сможешь!

Старик снова стал пересчитывать деньги, временами взглядывая на Малику, как будто боялся, что она бросится на него и вырвет мокрые деньги.

— Уходи,— уже спокойнее стала уговаривать старика Малика.— Лучше уходи! Ну, чего ты пришел ночью, уходи, слышишь!

Блаженный засмеялся и, растопырив ладони, приставил их к голове и стал махать, как ушами. Видимо, ему нравилось пугать молодую женщину. Он приседал и кружился, размахивая руками, и тень от него металась по мокрым кустам. Он плясал! Что-то жуткое было в этой безумной пляске старика! Малика смотрела на него со страхом и отвращением. Но так же внезапно, как начал, старик перестал танцевать и, словно вспомнив, что он пришел сказать, подошел к айвану и уставился на председательшу. Она со страхом, молча смотрела на него, прячась за столбом айвана.

— У тебя в груди, знаешь, камень. Только слезы точат камень. Плачь, больше плачь...

Старик замолчал и, еще раз пересчитав деньги, растворился в темноте. Стукнула калитка. Колени у Малики ослабли, и только усилием воли она заставила себя удержаться на ногах. А дождь тем временем разошелся и лил все сильнее, сильнее, будто хотел за ночь омыть всю землю.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Камал плохо спал ночью, вставал, выходил из вагончика посмотреть на дождь. Казалось, что рассвет никогда не пробьется сквозь облака и завесу дождя, но к утру запасы воды на небе иссякли. Горизонт, слабо освещенный восходящим солнцем, не обещал ничего хорошего с востока, там громоздились облака, черные, как душа злодея, и медленно двигались, оставляя все-таки какую-то надежду на перемену. Зато воздух, пропитанный запахом буйно растущих трав, мокрой земли, был чист и прохладен. Вот уже десять дней Камал здесь, и все время дождь. Ни одного солнечного дня. Если не появится солнце и не прогреет землю — семена сгниют в борозде. Утро разгонит, растащит облака, а к вечеру они опять сгрудятся, опять заполнят все небо от горизонта до горизонта, начнет накрапывать, потом польет, польет... Земля промокла насквозь. Неужели придется пересевать?

Из тамбура выглянул молодой коренастый парень в стеганом халате.

— Идите чай пить, ака-мулло!

Камалу не хотелось возвращаться в духоту вагончика. Он махнул рукой.

— Пейте, я пройдусь.

Утопая в мягкой раскисшей земле, Камал дошел до канавы и по ней пошел краем поля. В канаве было много воды, и Камал механически подумал о том, что, рано или поздно, воду надо будет очищать, что очень дороги покамест очистные сооружения. Но строить их надо, иначе земля будет терять ценность год от года, не помогут никакие усилия, не спасет подъем целины. Еще год-два, и непаханой земли, вроде Маханкуля, просто не останется. Густая сильная трава доходила до колен. Камал оставлял широкий, ясно видимый след в этой рослой сочной траве по окраине поля. Хлопок не был виден на ворсистом ковре сорняков, пробившихся на пахоте, лишь кое-где жалкие слабые ростки хлопчатника пробивались среди сильных живучих степных трав. Камал свернул по борозде и, присев, поковырял влажную слабую землю, поискал хлопковое семя и не нашел. На палец попала пустая подгнившая кожура. Камал подрыл еще, еще — ни одного проросшего семени. Кое-где по одному, по два, бледные и слабые, всходили ростки хлопка. Посев заглох и погиб. Камал поднялся, сорвал у межи мокрой сочной травы, вымыл руки травой, вытер их о полу стеганого халата. Все ясно, придется пересевать, и ничего тут не поделаешь. Ждать бесполезно, даже переменись погода немедленно, уже ничему не помогут ни тепло, ни солнце. «И это произошло на песках,— думал Камал, возвращаясь в вагончик с твердым решением ехать в кишлак,— а что вокруг кишлака, на ближних и дальних полях? Здесь песок впитывает воду, а там-то, без песка, уже давно все погнило. Большие площади придется пересевать заново. Трудно придется дехканину, заработки упадут, а работать придется день и ночь, вдвое против обычного. Да еще на носу горячее время, не хватит рук заготавливать тутовые листья для шелкопряда. Как там справляется Нигора. Неужели мы так и не наладим четкую поставку листьев. Разве под силу слабой женщине рубить ветки тутовника».

На полевом стане пили чай и о чем-то оживленно разговаривали, и пока Камал оббивал грязь у порога и чистил щепкой сапоги, до него долетали оживленные голоса и смех парней. Увидев Камала, все замолчали. Камал подсел к столу и налил себе чай, Араш пододвинул ему банку с конфетами. Камал и сам чув-

ствовал, что он мешает и надоел ребятам из бригады. До него они жили по-своему, работали с прохладцей и тогда, когда считали нужным, веселились и дурачились, сколько влезет, играли в карты, как-то скрашивая этим скучную жизнь на отдаленном от кишлака полевом стане. Он не играл с ними в карты, не слушал и не рассказывал смешных, а порой и неприличных анекдотов — или лежал себе с книжкой на постели, или писал у маленького стола возле окна. Писаниной его никто не интересовался, а книгами тоже, даже не спросили ни разу, что он читает. Парни видели, что Камал бродит по зарослям тамариска, что-то измеряет и считает, составляет какие-то графики, над чем-то ломает голову и заносит свои размышления на бумагу. Конечно, парни понимали, что Камал отправлен в Маханкуль не за хорошие дела, из агрономов в бригадиры ни за что ни про что не понижают. Но Камал не походил и на страдающего изгнанника и, судя по тому, как он много работал, писал что-то более значительное, чем просто жалоба в высшие инстанции,— кто же для жалобы будет делать такие, в несколько страниц, расчеты?

— Надо ехать в кишлак,— сказал Камал и поставил пиалу. В глазах у парней промелькнула легкая зависть. Они бы тоже, если уж на то пошло, не прочь побывать дома.— Нужны семена. Будем все пересевать, всходов нет и не будет.

Камал задумчиво отломил еще кусок лепешки, пожевал, запил чаем.

— Араш, заправляй, брат, трактор, ты поедешь.

Конечно, можно было бы и подискутировать о том, кто поедет с Камалом в кишлак, при прежнем бригадире так, наверное, и получилось бы, и в вагончике произошла бы перебранка, но все знали, что Камал человек крутого нрава и с ним спорить не следует, запросто может испортить настроение.

Араш ловко вел трактор, выбирая более или менее ровные участки разбитой дороги, но все равно трактор то проваливался в яму, то его заносило в колею, и у Камала что-то постоянно обрывалось внутри от тряски. Тракторист заметил, что Камал хватается руками, улыбнулся.

— Привыкли к машинам, изнежились в комфорте, да, ака-мулло? — Араш улыбался во весь рот.— Измучаетесь, пока доберемся.

Камал промолчал, пропустив мимо ушей слова тракториста, но тому было скучно, и через некоторое время он снова приступил к разговору.

— Чего это вы, ака-мулло, все вдруг бросили и приехали в эту чертову дыру бригадирствовать? Плохо разве в кишлаке?

Камал слушал тракториста и усмехался про себя: вряд ли поймет его этот молодой веселый и глуповатый парень.

— Хочу научиться ездить на тракторе. Дай, думаю, поеду в Маханкуль, может, научат меня тамошние ребята на тракторе ездить.

— А вы шутник, ака-мулло.— Араш достал спички и погремел ими.— За такие слова с вас полагается сигарета.

Камал достал из кармана ватника пачку, взял себе сигарету и протянул Арашу.

— Давно куришь?

— Четвертый год,— сказал Араш.— В девятом классе начал. А в Маханкуле чего делать? Днем с работой как-то не замечаешь, как время летит, а вечером хоть волком вой, кажется, что так и пропадем мы в этой пустыне. Вот и отводим душу, смолим сигарету за сигаретой. Ну, конечно, нет-нет да поддадим по двести граммов, оно и повеселей. Иначе тут чокнешься.

— Что же не уезжаешь, зачем мучаешься? — улыбнулся Камал.

— Как это? Да апа сгноит, вы разве не знаете? Я бы сразу уехал и раздумывать бы не стал.

— Можно подумать, тебя насильно держат. На освоение пустыни мы планировали направить одних только добровольцев.

Араш ухмыльнулся и взглянул в глаза Камалу.

— Вы, наверное, тоже из добровольцев? Неужели вас так тянет в Маханкуль? Или сознательность заговорила?

— Если скажу «да» — ты ведь все равно не поверишь...

— Только не надо,— махнул рукой тракторист.— Слышали мы и про долг, и про обязательства, и все такое.

— Знаешь, что я тебе скажу? Человек не должен браться за дело, к которому у него не лежит душа. Напрасно будет мучиться сам и мучить других.

— Вы меня не поняли.

— Да ладно, чего попусту болтать,— оборвал его Камал.— Надо прямо говорить, есть недостатки — скажи о них.

Араш с беспокойством посмотрел на бригадира. Он завел разговор просто так, чтобы провести время в дороге, а тут человек сразу задевает серьезные струны.

— Если я выскажу все, чем я недоволен, мне язык быстро укоротят, разве вы не знаете, ака-мулло...

Камал взглянул на тракториста с любопытством. Совсем молоденький, крепкий, коренастый паренек, так ловко управляется с баранкой, а хочет казаться несчастней муравья. Откуда такая осторожность, еще из яйца не успел вылупиться, а уже дипломат, слово боится сказать.

— Какой ты напуганный! Когда только успел научиться осторожности? Эх, братец! Человек должен быть посмелее муравья. Не надо бояться иной раз высказать все, что у тебя на сердце! — Камал стукнул кулаком по колену. Похоже, что говорил он это не столько молодому трактористу, сколько в подтверждение своим собственным мыслям.— А там... не жалко и совсем онеметь.

«Все это, может быть, и хорошо,— подумал про себя Араш,— но в жизни так не бывает. Просто Камал-ака много читает, потому и говорит как по книжке. В жизни все по-другому. Уж я-то знаю».

Больше разговор не налаживался, а скоро показался впереди на дороге кишлак. Возле почты Камал велел остановиться, слез и пошел, разминая ноги, к почте отправить письмо, хотя вряд ли правильно было бы назвать исписанную мелким, убористым почерком Камала тетрадь письмом. Скорее, это была докладная, даже целый трактат, проект рационального освоения земель Маханкуля. В тетради по пунктам были изложены давно уже мучавшие Камала мысли о том, как и зачем необходимо сохранить в Маханкуле заросли тамариска, какие усилия нужно предпринять для очистки сточных вод, чтобы сохранить плодородие окрестных почв, превращающихся в солончаки. В подтверждение своих соображений Камал приводил факты и детальные расчеты. Камал обращал внимание руководства на то, что в иных районах республики для отгонного животноводства создаются искусственные зарос-

ли саксаула, тамариска, вкладываются большие средства, а одновременно с этим Маханкуль, где это все имеется от природы, необдуманно распахивается.

Камал крепко заклеил бандероль. В этой тетради была частица его души, и он посылал ее, чтобы найти отклик. Пока ему выписывали квитанцию, он на минуту задумался и снова убедился в том, что поступает правильно. Он многого ждал от этого шага. Хватит тянуть, это не только его личный принцип, это государственное дело, тут есть смысл идти на любой риск. Пусть его не поняли в районе, поймут в области, в республике, там виднее, не застилает глаза местничество.

В конторе никого, кроме Малики, не было. Камал в двух словах объяснил положение с хлопчатником. Председательша выслушала его молча, хмурилась и не поднимала головы. Камал сказал, что приехал за семенами, что надо пересевать весь клин, как только немного распогодится и подсохнет, трактора смогут выйти в поле. Приглядевшись внимательно к председательше, Камал заметил, что она тяжело переживает создавшуюся ситуацию. Напряжение как бы смыло с ее лица красоту, проступила злая обида на всех и вся, на погоду, на людей, на Камала. Слушая, Малика кивала головой и поглядывала на агронома с таким укором, будто это он виноват, что идет дождь, что сгнили семена, что нужны новые семена и горючее, что нужно снова пересевать хлопчатник почти на всех землях колхоза.

Малика оглядела усталую фигуру Камала: промокшая тюбетейка, грязная телогрейка и заляпанные сапоги, вздувшиеся на коленях брюки, под ногтями пальцев, обхвативших спинку стула,— земля.

— Мы решили помочь вашей семье, устроили детей в детсад.

Малика и сама не знала, почему вдруг вспомнила про детей Камала и детсад. Наверное, именно теперь ей хотелось показать ему свою объективность, подчеркнуть справедливость «ссылки».

Камал едва сдержался, чтобы не ответить грубостью. Похоже было, что Малика заботилась о его детях, как о сиротах, да и вообще, с какой стати председательша вмешивается в его семейные дела! Он оттолкнул стул и встал.

— Я вижу, вам это не понравилось,— сказала Малика.— Вашей жене было трудно, а теперь ей будет сподручнее справляться с хозяйством.

Если бы не залитые поля, где не взошел хлопок, Камал наговорил бы грубостей, но председательша выглядела такой пришибленной, как будто все эти дожди били по ее сердцу. Камал на минуту представил себя на ее месте, ведь он тоже ночей не спал, слыша этот монотонный шум дождя, он сам чувствовал, как погибают и не всходят семена в полях. Она несет всю ответственность за огромное хозяйство, где далеко не все зависит от воли человека, пусть он будет какой угодно предусмотрительный, дисциплинированный, опытный и волевой. А ответственность за урожай — это ответственность перед людьми за достаток в доме дехканина, за заработки, это ответственность перед районом и областью... Нет, наверняка не спится председательше. Камал даже пожалел Малику.

Глаза у Малики были потухшие, печальные. Видимо, нет у нее даже задушевной подруги, близкого человека, которому могла бы она доверить свои переживания. Разве женское это дело только требовать, распоряжаться, наказывать, всюду успеть, все предусмотреть... И нет человека, который поможет, разделит ее тревоги, возьмет на свои плечи часть ее ноши.

Камал долго и медленно думал обо всем этом, взявшись за ручку двери, уже на выходе из кабинета председательши, а когда додумал до конца, у него уже не было ни раздражения, ни гнева на нее, он повернул назад и подошел к ней, сидевшей за столом, наклонился и спросил:

— Вы устали, да?

— Все надоело,— она показала рукой под подбородком.

— Знаете что, поехали в степь, а? Махните на все рукой и поехали! В степи весна! Травы, цветы! Поехали, вам надо отдохнуть!

Малику до глубины души тронули эти неожиданные слова Камала. Вместо того чтобы таить на нее обиду за изгнание, понижение в должности, он ей предлагает весеннюю степь, зовет насладиться запахами цветущих трав, увидеть такую недолгую красоту степей... Она вдруг заново увидела этого, с детства знакомого человека: он сумел сохранить так много юношеской простоты и непосредственности! Малика

вдруг подумала, что случись чудо и время вернулось бы вспять, и они снова стали бы десятиклассниками, она, не раздумывая, крепко ухватилась бы за полу этого джигита и пошла за ним хоть на край света. Но увы, чуда не будет, ничего нельзя исправить. У каждого своя судьба.

— Спасибо, Камалджан,— Малика слабо улыбнулась.— Я очень благодарна вам.

Камал тоже понял, что ничего в жизни уже изменить нельзя. Он пристально взглянул на председательшу, медленно повернулся и вышел.

Нигора быстрыми взмахами ножа срезала с веток тутовые листья, собирала их на клеенку, а голый прут отбрасывала в сторону. Она не заметила подошедшего Камала, резала листья и откидывала прутья. Чувствовала она себя усталой, даже закрывались глаза, ей хотелось бросить работу и лечь спать. Камал смотрел на жену и угадывал в ее облике образ старушки; еще год, другой, и уже каждый, кто взглянет на Нигору, увидит старушку, и даже Камал забудет, что она была молодой быстроглазой девушкой с пунцовыми губами и круглыми руками.

Камал кашлянул, чтобы не напугать жену, и поднялся на айван. Нигора все-таки вздрогнула и выронила нож из рук.

— Ах, глухая я... Не заметила,— она торопливо сгребла листья в кучу, освобождая дорогу.— Как съездили, все благополучно?

Камал придвинул к себе низкий стул и сел рядом с ней.

— Пойду поставлю чай,— Нигора подхватилась и вскочила, готовая бежать.

— Подай-ка нож,— сказал Камал и взял с пола ветку с листьями.

— Не надо, я сама,— сказала Нигора.— Вы только вернулись. Я быстро, поставлю чай и все посрезаю.

Камал протянул руку, и Нигора подала ему нож.

— Как с листьями?

— Не хватает. Очень мало доставляют нынче. Сколько ни экономлю — не хватает. А вчера привезли увядшие, гусеницы и есть их не стали.

Нигора поставила чайник на газовую плиту и села на прежнее место. Камал наблюдал, как быстро и

сноровисто работают руки жены, и с грустью думал об этой ее безостановочной работе. Ведь Нигора, как всякая сельская женщина, все время в труде, тянет лямку с утра до позднего вечера и, кажется, ничего другого не представляет, она не жалуется на судьбу, довольствуется тем, что есть в ее жизни. Он вспомнил недавний разговор в конторе с Маликой и, чтобы отогнать от себя напрашивающееся сравнение, спросил:

— Как дети?

— Здоровы,— ответила Нигора, быстро взглянув на мужа. Внезапные вопросы мужа, его привычка сидеть молча и неожиданно спрашивать пугали ее, она всегда торопилась ответить сразу, как бы чувствуя себя постоянно в чем-то виноватой.— Ходят в сад. Апа, не слушая моих возражений, настояла...

— Ну и ладно,— Камал отбросил очищенную ветку.— Не будут болтаться по улицам кишлака.

Нигора облегченно вздохнула. Камал редко придирался к жене, более того, чаще ворчала она, а он отмалчивался. Нигора привыкла к задумчивости мужа, к его немногословию, из-за которого он казался порой угрюмым и даже злым. Нет, злым он не был, хотя и добрым его нельзя было бы назвать. Время от времени он и ругал и поколачивал жену. Вот и сейчас Нигора не удивилась бы, если бы он поднял на нее руку, и, наверное, с тихими слезами снесла бы побои, она считала себя виноватой за то, что отдала детей в сад без его ведома. И, стало быть, заслуживала наказания. Но, странное дело, ее больше насторожил тот факт, что муж не только равнодушно согласился, а даже одобрил ее поступок. Быстрый женский ум соединил два совпавших факта в единую логическую цепочку: не потому ли одобрил муж это нововведение, что тут замешана председательша? Может, они заранее договорились? От этой мысли Нигора даже подскочила и уставилась на Камала, пытаясь на его угрюмом лице прочитать подтверждение своим подозрениям. Ах ты, тихоня... Неужели? Небось закрутила ему голову эта сука? Засиделась в девках, никто не женится, вот и позарилась на этого мямлю. Нигору охватило огнем, ей уже казалось, что все так и есть, как подсказало ей разыгравшееся воображение. Она готова была вцепиться в лицо мужа ногтями, а он, как всегда, задумчиво, неторопливыми скупыми движениями продолжал сре-

зать листья и даже не глядел на жену. Нет, не похож он на человека, замыслившего недоброе.

— Ох, наверное, чай вскипел, а я сижу,— виновато всполошилась Нигора.

— Я с утра ничего не ел,— кивнул головой Камал.

— Какая я рассеянная,— ругала себя Нигора, вихрем пролетая то с чайником, то с пиалами, то с лепешками, то со сладостями.

— Хватит на сегодня листьев? — спросил Камал, отбрасывая последнюю веточку.

— Не хватит. Хорошо, если на две подачи хватит. Пока завтра привезут ветки — гусеницы будут голодать. Тут уж Нигора не удержалась, чтобы не ввернуть слово о ненавистной председательше.— Ваша апа, прежде чем призывать к повышенным обязательствам, подумала бы о том, как обеспечить кормами. Языком-то легко болтать. Мучает людей и горюшка ей мало. И ведь не стыдится фасонить. Противно смотреть.

Камал знал, что просто так объяснять жене что-либо почти бесполезно, она ничего не станет слушать, и если бы он попытался защитить сейчас Малику, это только подлило бы масла в огонь. Он протянул жене пустую пиалу и попытался мирно свести разговор на шутку.

— Давай и ты фасонь. Ты не хуже ее.

Но и эти примирительные слова, сказанные в шутку, задели Нигору, все-таки разговор свелся к тому, что она плохо одевается, не так, не умеет, не хочет. Нет, если бы Малика вела себя, как все женщины кишлака, муж не говорил бы ей таких обидных вещей. Нигора тоже могла бы часами красоваться у зеркала, да вот на ней еще дети, и огород, и гусеницы шелкопряда, и кухня, все! Муж деревца не посадил, помидорного куста, занят только делами колхоза! Да еще корова с теленком, за ними тоже надо ходить. Правда, чтобы облегчить ей жизнь, муж не раз грозился продать их, но тут Нигора вставала горой, не хотелось лишать детей свежего молока. А стряпать, а стирать, да мало ли дела в доме — с утра до темной ночи! Для одной женщины этого более чем достаточно. Да каждую весну — шелковица. Не успеешь разогнуться от огорода, осень подступает, а ведь осень — это такое время, когда весь народ от мала до велика занят сбором хлопка. Люди не видят, когда рассвет, когда закат, бесконечная работа, работа, работа! Где же тут

заниматься красотой, нарядами? Это не председательствовать, тут минуты нет свободной. Разве Нигора не хочет одеться, повеселиться? Конечно, хочет... Нет, она не могла промолчать!

— Кажется, я перестала нравиться,— сказала она ядовито.— Только и смотрите, что я не так одета...

— Ты сама начала об этом,— миролюбиво сказал Камал.

— Что ж, если не нравлюсь...— Нигора наклонила голову, и у нее задрожал мягкий подбородок.

Камал сердито выплеснул из пиалы остаток чая и, опершись на колени руками, качнулся и встал. Ногой он отодвинул низкий табурет, нагнулся и сгреб большую охапку очищенных веток. Роняя ветки по дороге, оставляя за собой причудливый извилистый след, он отнес их к тандыру в дальний конец двора. Потом, как ни в чем не бывало, вернулся к плачущей Нигоре и сказал:

— Дай мне топор и веревку.

Нигора вскочила с места, взглянула на непроницаемо спокойное лицо мужа и почти бегом бросилась в сарайчик. Оттуда она вынесла веревку, положила ее на айван и в поисках топора метнулась в кухню, под навес к тандыру, сбегала в сарайчик, а нашла топор под старой виноградной лозой. Видимо, туда его затащили дети, рядом валялись стоптанные туфли и набитый песком носок Султана. Подавая мужу веревку и топор, она уже не плакала и в глазах сквозь еще не высохшие слезы светилась радость. Камал тоже чуть заметно улыбнулся, взял топор и веревку и пошел на улицу. Он слышал, что Нигора шла за ним и проводила его до калитки, но не обернулся.

Сторож сидел под старой айвой и пил чай. Камал направился прямо к нему через тутовые посадки. Перед сторожем на земле был аккуратно расстелен широкий кушак, лежала обломанная лепешка, несколько кусков сахару, к толстому стволу айвы был прислонен термос. Сторож неприветливо взглянул на Камала, лениво поднялся с места и неохотно поздоровался. Сторож прекрасно понимал, зачем в столь поздний час мог прийти к тутовнику человек с топором и веревкой.

— Вот, пришел поболтать с вами, Фаттах-ака, чтобы вы не скучали,— весело сказал Камал, протягивая сторожу обе руки.

— Хорошо сделал,— сказал сторож сухо.— Раз пришел — садись.

Сторож разломил лепешку и положил перед Камалом, налил в пиалу чаю из термоса и, протягивая Камалу, взглянул недовольно и вопросительно.

Камал отхлебнул и поставил пиалу на кушак. Видно, не он первый пришел к тутовнику за ветвями, ничего хорошего нельзя было ожидать, но Камал решил все же попытаться уговорить сторожа. Может, удастся. Да и неудобно было бы вернуться домой с пустыми руками.

— Все-таки дожди кончились, а? — начал Камал издалека.— Скоро погода установится.

Сторож не поддержал ход Камала и, равнодушно кивнув головой, вытащил пузырек с насваем и постучал им по подошве сапога, чтобы отлепились от стенок пузырька крошки табака. Вытаскивая пробку, сторож хмуро взглянул на Камала и отвел глаза.

— В степи красота,— как ни в чем ни бывало сказал Камал, будто именно сообщить об этом пришел к сторожу, захватив с собой топор и веревку.— Все зеленое, все цветет, налюбоваться невозможно!

Сторож бросил под язык щепотку насвая и закрыл глаза от удовольствия, ему было все понятно, и он показывал своим видом, что Камалу не на что рассчитывать, сидел и покачивал головой.

— Приехал из Маханкуля — дома непорядок, жена расстроенная. Говорит, что план наверняка не выполнит. Нечем кормить гусениц, чтоб они пропали.— Камал озабоченно вздохнул.

Сторож выплюнул насвай, сполоснул рот чаем, медленно и аккуратно собрал хлеб, сахар и пиалу, а кушак свернул в узел и повесил на ветку айвы, будто его вовсе не касалось, о чем говорил Камал.

— Нет, думаю, надо пойти, попросить охапку веток. Жена просто не дает покоя, иначе стал бы я унижаться из-за листьев?

— Никак нельзя,— сторож сделал печальное лицо и взмахнул руками.

— Мне всего одну связку.

— Невозможно, братец.

— Одну связку, я думаю, можно унести?

— А я говорю — нельзя! — громче сказал сторож.— Сейчас каждая ветка на счету. Апа сама чуть не каждый день приходит, проверяет

— Что значит одна связка веток? — настаивал Камал.

— Не надо, братец, не мучай себя и меня. Я сказал нельзя — значит, нельзя.

— Я вас очень прошу, пожалуйста, Фаттах-ака...

— Э, какой ты упорный парень! — оборвал его сторож.— Сказано нельзя, значит, нельзя — и точка! Уходи!

— Придется грабить,— весело сказал Камал и поднялся.— Считайте, что на колхозный сад напали воры,— Камал подошел к молодому раскидистому дереву, оттянул ветку и ударил топором, положил под ноги, оттянул вторую, ссек и положил рядом с первой.

Сторож возмущенно наблюдал за Камалом, но когда увидел, что тот аккуратно ссекает ветки и не обращает на него внимания, вскочил, подбежал к Камалу и схватил за плечо.

— Да ты что делаешь?

Камал не ответил, стряхнул с плеча его руку и перешел к соседнему дереву.

Сторож вспомнил про свое оружие — старое ржавое ружье с перетянутым изолентой ложем, побежал за ним, взвел курок и скомандовал: «Брось топор! Буду стрелять!»

Сторож был настроен решительно, поднял ружье и направил его на Камала. Черная дыра ствола качалась прямо перед глазами. А если оно еще и заряжено? Топор выскользнул из рук.

— Ну-ка, шагай! — сторож мотнул ружьем в сторону кишлака.— Апа с тобой поговорит...

«Старик сдуру и отконвоирует в контору на глазах у всего кишлака, с него станется. Как преступника какого-то. Из-за вязанки тутовых веток опозорит перед всем народом,— думал Камал.— Глупость какая-то получается — вязанка веток дороже человека. Нет, этого не может быть. Просто не хотел, чтобы жена мучилась. Доставляли бы вовремя листья. Завтра не будет выполнен план — поздно будет искать виновного, кому докажешь, что из-за нехватки кормов. Опять будет стрелочник виноват. В самом деле, стою под ружьем. Чепуха какая-то...»

Камал хотел все это растолковать сторожу и шаг-

нул было к нему, но споткнулся и чуть не упал вперед, а сторож решил, видимо, что Камал хочет на него наброситься, закричал: «Стой, стрелять буду!» Раздался выстрел, с перепугу сторож нажал курок.

— Не подходи! — закричал сторож, от выстрела окончательно перепугавшись.

— Ах ты, гад! В каком это законе сказано, что за вязанку веток можно стрелять в человека? — Камал метнулся к сторожу.

— Вай-вай-вай! Помогите! — сторож попытался ударить Камала ружьем и чуть было не дотянулся, но промазал.

Камал увернулся, выхватил ружье и отбросил в сторону. Сначала он не знал, что сделать с этим глупым стариком, а потом схватил его за руки и поволок к дереву.

— Пусти, пусти! — упирался старик.— Лучше отпусти, говорят тебе!

Камал был вне себя от гнева и, не обращая внимания на вопли старика, по рукам и ногам связал его и примотал к дереву, а затем, как человек, хорошо управившийся с нужным делом, успокоился и пошел к дереву, где оставил топор.

— Эй, послушай, развяжи меня! По-хорошему тебе говорят,— сторож пытался высвободить руки и ноги, проявляя молодую гибкость и верткость.

Камал, не отвечая, резал ветки и складывал их в две аккуратные кучи.

— Узнает апа, тебе же хуже будет,— грозил старик.

Камал спокойно занимался своим делом, будто работал в собственном саду. Сторож устал кричать и только тихо, но злобно хрипел.

— Ты, парень, не надейся на свою силу. Тебя за это по головке не погладят. Смотри, хвост тебе оттяпают! Попомнишь меня!

Камал сложил ветки в две одинаковые кучи, связал их и перебросил одну за спину, другую на грудь, и, даже не взглянув на проклинавшего его сторожа, поднял топор и отправился домой.

— Эй, ты уходишь? — вскинулся старик. Ему явно не хотелось остаться на ночь привязанным к айве.— Неужели ты меня не развяжешь, негодяй?

Но Камал неумолимо удалялся в сторону кишлака, где зажглись уже редкие огни.

— Братец, дорогой! Развяжи! Черт с тобой, нарезал веток — забирай! Эй, стой! Стой, тебе говорят! Негодяй, лучше развяжи!

На тутовник быстро опускалась ночная мгла. Камал остановился и прислушался. Вроде бы еще кричит... На минуту ему стало жалко старика, но вспомнил, как полоснул огонь, вспомнил, как перед глазами ходила черная дыра ствола, и решил: пусть подумает, не будет в следующий раз пускать в ход ружье. Он еще раз прислушался — вроде бы кричит, но это только казалось, ведь он уже был возле своего дома.

Нигора, увидев мужа с двумя вязанками тутовых веток, обрадовалась, помогла их снять и развязать. Она не спрашивала, как и где он их раздобыл.

— Слава аллаху, слава аллаху,— повторяла Нигора, разделив каждую вязанку на две части.— Просто не знала, что делать до завтра. Хоть эту ночь буду спать спокойно.

Но радость жены не успокоила Камала, ведь ей и в голову не могло прийти, что произошло из-за этих листьев в колхозном саду. С тяжелым сердцем Камал вошел в дом, немного поиграл с детьми, но не рассказывал им сказок, а включил телевизор. Глупо получилось. Сторож-то, в сущности, ни при чем, разве можно было так обходиться с невинным человеком. Разве сторож виноват, что не хватает кормов для шелкопряда. Конечно, старик вредный, противный. Да еще чуть не убил. Чуть-чуть — и все! Но и сам-то хорош! Разве можно было так поступить с пожилым человеком. Глупо. Ах, нехорошо! Камал снова вспомнил, как вязал сторожа. Не развеселил Камала даже забравшийся на него Султан. Султан хотел, чтобы отец рассказал сказку, но у Камала не было настроения. Дети почувствовали, что отцу не до них, и затихли.

Нигора уже собрала на стол, когда кто-то настойчиво постучал в калитку. Нигора побежала открывать, но Камал остановил ее и сам, натянув сапоги, вышел во двор.

Это был Нишан. Стоял неподвижный, грузный, как статуя. В руке у Нишана висела веревка.

— Ты веревку оставил в тутовнике,— на большее у Нишана, видимо, не хватило слов от распиравшего его возмущения.

Камал взял веревку. Сказать было нечего. Он почесал в затылке.

— Проходите, Нишан-ака.

— Ты думаешь, я к тебе в гости пришел? — прохрипел Нишан.— Никак не пойму, дурак ты или притворяешься? Нарочно накликаешь на себя беду? Ведь завтра тебя, на горе детей, в тюрьму упрячут! Если Фаттах пожалуется — тебе несдобровать.

Камал развел руками. Его спокойствие еще больше возмутило Нишана, он сдвинул свою огромную кепку на затылок.

— Может, ты на кого надеешься? А? Может, у тебя рука в области, а мы не знаем? Запомни, ты один, как вбитый в землю кол! Лучше бы ты ладил с людьми, уважительно относился к старшим... Почему ты все время прешь на рожон? Ой, смотри, ты за это поплатишься.

— Так получилось, Нишан-ака.

— Получилось! У меня почему-то не получается, а у тебя все время что-то получается. Не знаю, когда ты наберешься ума!

— Но разве можно стрелять в человека из-за листьев тутовника? Разве вязанка веток дороже человека? Это что же у нас будет?

Нишан немного смешался. Он ожидал, что Камал одумался, будет сожалеть о происшедшем, скажет, наконец, что готов извиниться перед Фаттахом, что все произошло сгоряча, а он вместо этого... О, аллах, ну что за человек! Что-нибудь да отмочит! На него уже и смотрят, как на чудака. Шутка ли — из агрономов в бригадиры, а ведь только своим языком накликал беду. Обжегся, но не научился. Конечно, листья не дороже человека, но ведь он нарушает... Если каждый по собственному разумению будет резать тутовник, то в критический момент может случиться, что листьев совсем не будет... Пойдем с протянутой рукой по соседним колхозам... Эти тутовники берегут на последние дни выкормки! Ведь сколько усилий тратит колхоз, каждый день отправляют людей на машинах в город, ходят по домам, собирают листья по охапке... Уже теперь на листья истрачено несколько тысяч рублей... А он придумал, взял топор и пошел ветки рубить, умный нашелся. Да еще сторожа привязал!

Все это Нишан собирался сказать Камалу в самой резкой форме, но почему-то не сказал.

— Ты, брат, не бери на себя так много,— пробурчал Нишан, садясь в машину.— Твои капризы всем надоели. Запомни, всему есть предел.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Ночью Нишан спал плохо. Снились кошмары, и он несколько раз просыпался. Он видел привязанного к дереву Камала. То сторож со зверским видом, то председательша безжалостно били Камала хлыстом. Камал закусил губу так, что изо рта текла кровь, и молча вздрагивал от ударов. Мучители били его безжалостно, изо всех сил, видно было, что они устали. Нишан хотел его спасти, но боялся, никак не мог решиться и выхватить у председательши хлыст, не смел даже сторожа схватить за руку. Камал смотрел на него с упреком. Нишан и сейчас помнил этот взгляд и терпеливое мужество Камала, с которым тот переносил мучения. Потом появился еще какой-то человек, его Нишан не знал и не запомнил, и стал толкать Камалу в рот тутовые листья, Камал выплевывал листья, вертел головой, а человек этот бил его по лицу. Появление злого человека совсем испугало Нишана, его душу охватил панический страх, ему хотелось убежать, но он боялся и бежать... Несколько раз Нишан просыпался, ворочался с боку на бок, а как только засыпал, видел опять этот проклятый сон. Проснулся он совершенно разбитым, в сердцах изругал про себя Камала за его проделку, а заодно и тех, кто придумал выкармливать шелкопрядов.

Утром Нишан выпил одну пиалку чаю и отправился в поле. Воздух был необычайно свежим, прохладным и влажным, невозможно было надышаться. На востоке вставало огромное горячее солнце. Нишан ехал медленно, высунув голову в окно, чтобы лицо обвевал свежий ветер. Он ехал и думал, что и как сказать, чтобы уговорить сторожа. Наверное, еще не успел пожаловаться апе, надо успеть его перехватить, а то если дело будет раздуто, все может кончиться печально. Апа и так настроена против Камала. С горизонта уходили и таяли вдали последние ночные облака, сверху они были темные, а снизу светились нежной, как шелк, алой подкладкой.

С дороги кто-то махнул Нишану рукой, он остановился. Это был бригадир Махмуд, невысокий худень-

кий человек с круглым старообразным лицом, с острым носом.

— Здравствуйте,— он протянул коротконалую руку.— Как отдыхали, ака? Как себя чувствуете?

— Здравствуйте,— Нишан вылез из машины и пожал протянутую руку.— Как дела?

— Кажется, пора, Нишан-ака! Сейчас ходил, смотрел. По высоким местам земля уже подсохла. Хоть сейчас трактора можно выводить. Можно начинать с моей бригады.

— На коконы нужны люди. О коконах забыл? Что-то надо решать.

— Да что же решать? Первый раз, что ли? Без школьников не обойдемся.— Бригадир пожал плечами и отвернулся.

— Неужели нельзя школьников оставить в покое! — сердясь на себя и понимая, что говорит просто так, чтобы выпустить пар, проворчал Нишан.— Чуть чего, сразу школьники.

— Без них не обойдемся. Не успеваем заготавливать листья. У меня много таких семей, где нуждаются в помощи. Старухи, например, не успевают очищать ветки от листьев. Как ни крутись, а нужно подбросить им по два-три школьника. Сами понимаете, листья, добытые с таким трудом, сохнут на ветках, гусеницы их отказываются есть.

— Школьники, школьники! — Нишан сердито ударил себя по мясистым ляжкам.— Так и будем выезжать на детях? Ведь им учиться надо! — Он свирепо уставился на маленького бригадира, как будто тот и был главным виновником, из-за которого надо идти в школу и отрывать детей от учебы.

Бригадир поморгал глазами и проглотил слюну.

— Да я... Что же я... В этой школе учатся и мои дети, ака!

Нишан понимал, что напрасно горячится, бригадир-то тут вовсе ни при чем. Правление регулярно принимало решение о привлечении школьников к полевым работам, и у всех дети и внуки учатся в этой школе. Не столько учатся, сколько числятся. В эту пору на занятиях бывают не больше двух-трех часов: то помогают кормить шелкопрядов, то идут заготавливать ветки; кончится сезон коконов — начинается хлопковая кампания.

— Я уже больше не могу ходить к директору школы,— сказал Нишан.— Стыдно. Просто стыдно. Приходишь и видишь, как ты надоел со своими просьбами. Пусть апа сама идет и просит, чтобы направили учеников, хотя бы часа на два.

— А я вот думаю, неплохо было бы, если шелкопряда выкармливали бы горожане. Вот это было бы да. По улицам и на площадях высадить тутовник, вместо декоративных деревьев и бесполезных кустарников. Представляете, сколько коконов можно получить?

— Пустые фантазии.

— Почему пустые? — Бригадир пожал плечами.— Издать указ — и порядок. Зато дехканин вздохнул бы свободнее.— Бригадир задумался на минуту, видимо, представил себе улицы и площади городов, засаженные тутовником.— Честно говоря, мне эти горожане не очень по душе. Их бы на наше место, чтобы поработали как следует...

Нишан с интересом взглянул на бригадира.

— При чем тут горожане, можно подумать, у них забот нет.

— А что? Отработали восемь часов и по домам, телевизор смотреть.— Бригадир горячился.— Могли бы высаживать фруктовые деревья, тутовник. Чтобы польза была. Ну, хотя бы в парках можно бы посадить тутовник! Все нам было бы легче. Разве вам не надоела эта вечная нехватка листьев?

Нишан уже слушал бригадира невнимательно, но его замечание о парках заинтересовало... А в самом деле? Толковая мысль. Хотя, наверное, если бы было возможно — давно бы до этого кто-нибудь додумался, издали бы соответствующий приказ — и порядок. Эта уверенность, что наверху давно до всего додумались, привычно успокоила Нишана.

— А то там никто бы не догадался,— сказал Нишан и пошел к машине.— Поеду сейчас, поговорю с апой. Надо идти в школу.

Но сначала Нишан решил заехать к Фаттаху. Он нашел его на берегу заросшего камышом арыка. Фаттах пас саврасого коня. Нишан остановил машину в тени высокого дерева, вышел и огляделся вокруг. На толстом суку висел кетмень, на сетке ржавой кровати лежали коса и волосяной аркан. Увидев Нишана, Фаттах вдавил каблуком в землю металлический кол, от

которого к саврасому тянулась вожжа, и поспешил навстречу главному агроному.

Нишан первый протянул руки старику.

— Здравствуйте, Фаттах-ака, как поживаете? Никто вас больше не привязывал? — пошутил Нишан.

— Смеетесь,— обиделся Фаттах,— а у меня левая рука вся ноет, от самого плеча. Здоровый черт, чуть не изувечил.

— Да неужели вы такой неженка, Фаттах-ака,— сказал Нишан с широкой улыбкой.— Он же в шутку вас привязал. Правда, шутка не особенно удачная.

— Ничего себе шутка,— старик взмахнул рукой, забыв, что она у него болит «от самого плеча».— Если бы не вы, я там до утра отдал бы концы. Сердце бы ни за что не выдержало.

— Да он же вернулся, что вы, Фаттах-ака! Это же шутка...

— Старый я, чтобы со мной такие шутки шутить...

— Ну, что было — то сплыло, ака. Пусть об этом никто не знает. В самом деле, почтенный Фаттах-ака — и привязан к дереву. Будут смеяться. Я вам сказал вчера, что он будет на коленях просить у вас прощения! Я вам обещаю!

Слова Нишана пришлись сторожу по душе, он даже представил себе, как Камал ползает на коленях в пыли и просит прощения.

— Оставьте, братец, пропади он пропадом со своими извинениями. Не приведи аллах, знаете, снова с ним встретиться!

— Здорово он вас напугал!

— Ладно, что было — то сплыло. А вы мне лучше помогите, раз уж такое дело.

— С удовольствием, Фаттах-ака. Что нужно?

— Трактор нужно, вот что. Сколько я буду просить? Ведь это не мне нужно. Не сегодня завтра срежем весь тутовник, так? А что получается, в прошлом году я свои деньги заплатил трактористу, и он вспахал этот сад. Что же получается? Получается, я же и виноват, что превратил бесполезный тугай в тутовый сад. Я уж о благодарности не говорю, но хотя бы трактор-то колхоз мог бы послать?

— Что верно — то верно. Если бы не ваши заботы, нам бы нынче не выкрутиться с шелкопрядом.

— Нет, Нишанджан, дружище, если честно? Разве неправда? Я давно указывал на эти места, сколько вы-

ступал, говорил! Теперь тут вон какая красота. Но землю под деревьями нужно разрыхлить, нужно внести удобрения, тогда в следующем году можно будет получить намного больше листьев. Или, может, правительство зря призывает к бережному отношению к тутовникам? Давайте трактор и все!

— Сейчас нам не до этого. Вы ведь знаете положение — будем пересевать хлопок...

— Странно! А тутовник выбросить? Он уже больше не понадобится, да? Что же мне, идти жаловаться к председателю? Сколько можно? — Старик хитро подмигнул и сказал, поглаживая левую руку.— Я думаю, что из-за нынешнего происшествия вы должны согласиться! А? Что это получается, люди как ненормальные бросаются друг на друга в поисках этих несчастных листьев! Один такой ненормальный чуть не лишил меня жизни, спаси аллах! Посмотрите, на кого я стал похож — просто калека и только!— Сторож вздохнул и, оставив шутливый тон, покачал головой.— Ходим по домам, выпрашиваем листья? Разве это дело?

— Вы конечно правы, ака. Просто мы сейчас не можем выделить трактор. Пока не пересеем хлопок, никто и слушать нас не станет, если придем трактор просить. Но обещаю вам, при первой возможности!

Малика появилась в конторе за минуту перед приездом Нишана, он застал ее, когда она сбросила заляпанные грязью сапоги и обувала черные лакированные туфли. Заметно было, что председательша устала и расстроена. Махнув рукой Нишану, чтобы он посидел и подождал, она позвонила секретарю райкома и доложила, что поля объехала и, если погода установилась всерьез, то можно начинать сев хоть завтра. Но главное, что ее волновало,— семена, она просила, чтобы секретарь помог ей с семенами. Положив трубку, Малика что-то пометила в календаре и тогда уже повернулась к агроному.

— Я опять с просьбой. Нужно идти просить помощи у школы. Без школьников мы не обойдемся, хоть так, хоть так. Ничего не получается.

Малика, нахмурив свои красиво выщипанные тонкие брови, удивленно взглянула на Нишана.

— Ну и в чем дело? Неужели без меня уже и школьников нельзя организовать? Сходите в школу, догово-

ритесь о времени. Обязательно с каждым пустяком ко мне.

В самом деле, Нишан понимал удивление и раздражение председательши. В кишлаке полевые работы считаются важнее всего, и не то что главный агроном, но даже бригадир мог приказать директору школы, потребовать учеников для полевых работ, и директор вряд ли стал бы спорить.

— Или вы забыли, как это делается? — раздраженно сказала Малика.— По-моему, проще простого.

Нишан с горечью подумал про себя, что председательша уже забыла, с каким трудом учатся дети, а своих детей, чтобы напоминали об этом, у нее нет. Ему, Нишану, стыдно в очередной раз идти в школу, он-то понимает, что в результате дети вырастут недоучками.

— Знаете, мне в школу идти — просто ножом по сердцу. Так и кажется, что и учителя, и директор, и школьники смотрят на меня и думают — вот, сволочь, опять пришел!

— И теперь вы хотите, чтобы они думали так, глядя на меня? Спасибо. Теперь моя очередь, да?

Нишан прикусил язык. Напрасно дал ей повод излить яд.

— Извините, я не это хотел сказать,— он даже приподнялся над стулом, и рука его стала проверять пуговицы на рубашке.— Я только хотел сказать, что в школе появился новый учитель. Он, знаете, такой, в общем невыдержанный. В прошлый раз при детях начал говорить всякие вещи, спорить. Мне так было неудобно. Я думаю, если бы вы переговорили с директором. В общем, это было бы лучше.

Нишан не подозревал, что, упомянув нового учителя, он совершенно неожиданно повлиял на ход председательских мыслей. Малика сама вдруг загорелась пойти в школу, чтобы объяснить директору обстановку, которую тот знал не хуже колхозников.

— Ну что же, тут ничего не поделаешь. Хоть мне и некогда, придется с вами сходить. Все сама, все сама...

Малике показалось, что она краснеет от этих слов, она даже удивилась охватившему ее нетерпению, проснулось давнее, уже почти забытое молодое ожидание чуда. Оказывается, в душе жива надежда, мелькнувшая в тот вечер, когда мать рассказала ей о сватовстве учителя, жива, несмотря на заботы о погибших посевах

хлопка, о шелкопряде, о тракторах и семенах, которые нужно было срочно добывать...

Директор школы встретил их с улыбкой и выслушал, согласно качая головой. Для него слова председательши ничем не отличались от приказа, ведь если она позвонит в роно, оттуда тотчас последует распоряжение. Но директор развел руками, у него не осталось старшеклассников, они уже ушли, проучившись всего три часа. В наличии только два шестых класса. Но... директор снова развел руками.

— Знаете, мы приняли нового учителя. Он еще не понимает нашей специфики и такой... Просто упрямый человек...— директор проглотил комок, подкативший к горлу, и опять беспомощно развел руками.— О таких вещах и слышать не хочет. Я ему говорил о положении дел в колхозе, а он не отдает свой класс и все.

— Вот как? — Малика сделала удивленное лицо.— Ну, покажите нам своего упрямого учителя, мы с ним сами поговорим...

Малика чувствовала себя неловко оттого, что директор с ней так робок и так переминается перед ней с ноги на ногу, ведь он учитель и должен высоко держать свое звание! Она сама недавно была его ученицей и как высоко, как недосягаемо высоко виделся ей строгий директор... А теперь, оказывается...

— Я и сам несколько раз ему говорил, не надо упираться. Ведь хлопок и коконы — дело государственное, с этим шутить нельзя. Но он не понимает нашей специфики. В Ташкенте так, у нас по-другому. Ему в новинку...

Директор прошел мимо пустых классов с открытыми дверями и остановился у единственной закрытой двери, откуда доносился голос, читавший стихи. Директор нерешительно взялся за ручку двери и осторожно приоткрыл ее.

...И тогда Гороглы-бек вздернул коня под уздцы, ударил плетью, и Гир, будто птица, полетел к Хунхар-шаху. А взглянув на Хунхар-шаха, Гороглы-бек сказал: «Чимбилом называют мои родные края, там жили мои предки. Выслушай меня, шах Хунхар. Богатырь, поднимающий коня,— это я. Я враг твой и прибыл к тебе один — разорить твою страну, разорить твою казну. Ты хитростью отнял у меня моего доверчивого сына Аваза! Ты глянь, Хунхар, на мою отвагу, узнаешь мою

силу, увидишь, какой я богатырь! Шах Хунхар, собирай свое войско!»

Директор пошире отворил двери, сунул голову в класс и, кашлянув, дал о себе знать.

— Кудратджан...— позвал директор извиняющимся голосом.— С вами хотят поговорить. На минутку, пожалуйста... Председатель!

Теперь директор вошел в класс.

— Я сейчас заканчиваю, подождите, пожалуйста!

Малика не поверила своим ушам. Надо же, как отбрил! Вот так новичок. Просто невероятно. Это то же самое, если бы какой-нибудь бригадир прогнал ее с поля. Да она бы ему язык вырвала!

Директор вышел из класса и, прикрыв дверь, беспомощно пожал плечами. В классе напевный, приятный голос продолжал:

— Гороглы, прискакавший спасти из плена своего сына Аваза, взятого хитрым Хунхар-шахом, вынужден был вступить в страшный бой. Рекой лилась кровь в этой битве, и Гороглы один победил неисчислимое войско злого Хунхар-шаха...

Как ни в чем не бывало! Малика была неприятно поражена. Что это он? Не понимает, что ли? Зная, что пришло руководство колхоза, рассказывает детям сказки какие-то и ни на кого не обращает внимания! Что это, неуважение? Нашел время для сказок! С одной стороны, шелкопряд, с другой — пересев! Все сбились с ног, а этот? Что ж, ему закон не писан, что ли? Ай да учитель, надо будет ему объяснить; тут не Ташкент, а кишлак, и будь любезен... Малика решительно открыла дверь. В отлично выглаженном светлом костюме, аккуратно причесанный учитель, мерно, в такт размахивая руками, шел между рядами парт и резко обернулся, услышав, что кто-то опять вошел в класс. Он был явно разъярен и готов броситься на любого, кто нарушит течение урока, но не ожидал столкнуться с Маликой. Он овладел собой и тихо, чтобы слышать его могла только Малика, сказал:

— Во время урока в класс входить нельзя. Я сейчас закончу, тогда пожалуйста.

Правда, гневный взгляд его не успел смягчиться, но говорил он сдержанно и даже с улыбкой. Малика смутилась, потому что никак не ожидала, что и с ней, как с директором, учитель будет так непреклонен. Будто прося помощи, она обвела глазами класс, но и дети,

которые не могли дождаться победы Гороглы над коварным Хунхар-шахом, смотрели на нее недовольно. Учитель сумел заставить их поверить, что Гороглы был настоящий, благородный герой, боровшийся за правду и справедливость в мире, и дети сейчас всеми силами души жаждали победы добра над злом.

Малика невольно попятилась назад.

— Кудратджан... э-э-э... после этого часа уроков не будет,— извиняющийся голос директора вернул Малику к действительности. Она даже забыла на минуту, зачем пришла сюда.— Организованно поведете детей на сбор листьев...

Кудрат вышел из класса в коридор и закрыл за собой дверь.

Малика посторонилась, чтобы дать ему дорогу, она не могла отвести взгляд от горевшего возмущением лица молодого учителя.

— Послушайте, ведь вы тоже педагог, если не ошибаюсь! Во-первых, мы с вами договаривались, ко мне во время урока в класс не входить! Договаривались? Во-вторых, я не позволю отрывать детей от учебы и работать их не поведу. Этим надо заниматься после, а не взамен учебы.

— Кудратджан, поймите,— директор обернулся, ища поддержки,— ведь мы живем в кишлаке.

— Это не имеет значения. Может, у вас есть положение о том, что сельские ребята не должны проходить полный школьный курс? — Кудрат разговаривал с директором так, будто рядом не было ни председателя, ни агронома.— Прерывать и сокращать произвольно программу школьного обучения — ведь это преступление. Я не хочу быть соучастником преступления!

Кудрат вернулся в класс, и дверь за ним закрылась. Там снова зазвучали слова легенды:

— Гороглы не смирился с насилием и унижением. Он заставил даже злых дивов служить людям. Он превращал пустыню в сады, возводил города, поэтому его и почитали в народе. Народ во всем поддерживал его, поэтому Гороглы был непобедим!

Малика медленно вышла из школы, за ней последовали Нишан и директор. По лицу Малики бродила легкая, едва заметная улыбка. Облака, с утра толпившиеся на востоке, растаяли, и небо во всю ширь было ясным

и чистым. Малика почувствовала, что она давно ждала солнца, что ей хотелось чистого неба, теплых лучей. Если бы не эти двое, она бы подставила солнцу лицо, раскрыла бы объятия, запела... Как хочется счастья, радости! Наверное, от щебетанья ласточек — какими стремительными траекториями прочерчивают они весеннее небо — сердце раскрывается навстречу празднику природы.

Малика огляделась вокруг, все такое знакомое, привычное — школьный двор, улица с рядами тополей, и улыбнулась, удивив этим настороженных спутников. Они ожидали взрыва возмущения, требования наказать учителя, даже снять его с работы, чего угодно... Но не такой счастливой, светлой улыбки. Нишан и директор переглянулись за спиной Малики и пожали плечами. Председательша с непонятной улыбкой смотрела, как носятся по небу ласточки.

— Учитель,— вдруг спросила, обернувшись к директору, Малика,— а ведь в небе не видно ни одного змея. А теперь, если не ошибаюсь, самое время их запускать?

— Змеев запускать? — переспросил Нишан.

— Да, вы правы, ападжан,— директор кисло улыбнулся и кивнул на Нишана.— Только времени нет сейчас. Дети учатся, им некогда. Надо помогать собирать листья... А там, глядишь, начнутся заботы о хлопке. Хотя, если руководство решит, можно будет организовать запуск змеев. Хорошее начинание, я так думаю.

Улыбка на лице Малики погасла. Она отвернулась от директора, села в машину и уехала, забыв про Нишана. Ей вдруг показалось, что все небо снова покрылось облаками. Зачем она заговорила о воздушных змеях, какое ей дело, будут дети запускать змеев или не будут. И покамест не обойтись без школьников. Листья для шелкопряда заготавливают дети. Коконы собирают дети. Пропалывают и собирают белое золото тоже дети. В первых рядах и наряду со взрослыми. Не надо большой наблюдательности, чтобы видеть, как детям нелегко. Им не до игр, не до змеев. Но с другой стороны — именно труд воспитывает человека! Разве сама она училась не в этой школе? Вместе со всеми работала в поле, а вот теперь возглавляет колхоз. За спиной институт. Городские студенты тоже, между прочим, не хватали звезд с неба, и знания сельских ребят

были ничуть не хуже, хоть и учились они по существу четыре-пять месяцев в году. Кто захочет — тот сумеет поступить в институт. Прав и Кудрат, нет закона, чтобы сельских детей учить по другой программе. Но требуют своего и условия села. Тут пока ничего не поделаешь. А новый учитель очень уж полагается на законы. Не иначе, как еще один правдоискатель в кишлаке появился. Видно, любит, как и Камал, говорить правильные вещи. Что ж, красиво говорить не запретишь. Но если человек чувствует ответственность, он должен взвешивать свои слова. Иначе можно превратиться в пустомелю. Как горячо, как вдохновенно рассказывал Кудрат о Гороглы. Это очень важно — зажечь в детях мечту о большом деле. Таком, как у Гороглы. В детстве она тоже зачитывалась сказками и легендами. Мечтала быть похожей на воинственных красавиц, что под стать сказочным богатырям. Но с возрастом детские мечты, естественно, сменились пониманием трезвой реальности. Наверное, так происходит со всеми. Наивно жить мечтой и не замечать действительного положения вещей. Ну что ж, она честно трудилась. добилась уважения. Хотя порой ей и кажется, что в жизни у нее что-то не так. Наверное, в душе образовался изъян, какое-то больное место, и вот рассказ Кудрата о Гороглы задел это больное место. Жизнь не легенда. В легенде, конечно, все куда проще. В жизни нужна твердая поступь и железная воля, человек должен всегда следовать трезвому реальному плану.

Войдя к себе в кабинет, Малика мельком глянула на ветви абрикоса, склонившиеся к самому стеклу ее окна. Ей захотелось открыть окно и нарвать зеленых сочных плодов, она даже шагнула к окну, но тут же одернула себя — вспомнился Камал с мешочком доуччи. Почему она тогда отказалась?

Малика была погружена в бумаги, когда пришел вспотевший, распаренный Нишан. Он прошел прямо к дивану, плюхнулся на него и, переводя дух, вытер платком лоб, короткую толстую шею.

— В городе ГАИ задержала наши машины с листьями.

— Что за новости?

— Не понимаю. Звонили, кто-то должен ехать выручать.

Малика продолжала вопросительно смотреть на Нишана. Он тяжело вздохнул и развел руками.

— Вроде, шоферы были выпивши.

Малика забарабанила пальцами по столу, схватила телефонную трубку, начала набирать, потом бросила трубку и неожиданно заговорила умоляющим тоном.

— Нишан-ака, может, вы съездите к ним. Я сегодня что-то не могу настроиться на ГАИ. Знаете, как трудно им что-нибудь доказать. Они всегда правы — ты всегда неправ. Что-то я сегодня устала, расклеилась совсем.

Нишан беспомощно и жалобно смотрел на председательшу. Нет, совсем не улыбалось ему ехать в ГАИ выручать машины и отказаться не мог, ведь только что он уговорил председательшу вместе сходить в школу. Кто же знал, что произойдет ЧП с ГАИ.

— Ну, если вы скажете... Я конечно...

Странные люди, никто не любит конфликтов. Все хотят быть чистенькими, а грязную работу взвалить на председательшу. Пусть сама выкручивается, ей больше всех надо. Сама их испортила, слишком много брала на себя, порой даже самую ничтожную мелочь. Будь на месте Нишана Камал, он без всяких докладов и уговоров давно смотался бы в город и утряс все это дело.

— Вы что же, боитесь милиции?

— Разве есть человек, который ее не боится,— с облегчением вздохнул Нишан и улыбнулся. Он уже понял, что и это дело председательша возьмет на себя.

Вот так! Утром сказал, что в школу ему идти совестно. Теперь не хочет связываться с ГАИ. Работнички! То боится, то совестно. Опять самой. Не впервой общаться с ГАИ. Так. Шоферов пусть не отпускают, но листья ждать не могут, если они повянут, их не станут есть не только шелкопряды, но даже коровы. День вон какой, жара, если их срезали утром, то теперь они уже основательно подвяли. Ни часа терять нельзя.

Малика встала из-за стола и направилась к выходу. Нишан, как привязанный, поплелся за ней, пыхтя и отдуваясь. Он не мог понять, отчего это председательша перестала его уговаривать и засобиралась сама. Ох, как трудно работать с женщиной. Тем более с девушкой. Неуравновешенная, капризная. Слово не так — хмурится. Надоело. Нишан снял кепку, вытер голову платком. Все на бегу, все второпях. Нишан едва поспевал за быстро шагавшей молодой председательшей. Надоело.

В отделении стояли четыре груженные тутовыми листьями машины, через открытое окно долетали слова анекдота, который рассказывал парень в трикотажной рубашке.

— Да. Пришел, значит, пастух к шаху, просит назад свою жену. Ладно, говорит шах, но с одним условием. Завяжу тебе глаза и выстрою перед тобой сорок женщин. Если ты с завязанными глазами найдешь свою жену — твое счастье, а не найдешь — голова с плеч! Пастух согласился...

Шофер, рассказывавший анекдот, так и остался с раскрытым ртом, увидев председательшу. Остальные как по команде вытянули шеи. Малика даже не взглянула на них, прошла мимо. Видно, им было нехудо тут в ГАИ и душа за четыре машины листьев, вянущих на жаре, у них не болела. Едва поспевавший за Маликой Нишан показал шоферам огромный кулачище: ну, я вам дам!

Неприветливо встретил Малику лысоватый майор. Он выключил шумевший вентилятор и, постучав в стенку, крикнул, чтобы принесли документы нарушителей. Документы принес молоденький лейтенант. Майор, шевеля губами, просмотрел протоколы, снял очки и взглянул на Малику с осуждением.

— У вас шоферы всегда пьяные ездят?

— Я их не поила,— Малика бросила взгляд во двор. Хотя бы поставили машины под навес.

Майор осуждающе покачивал головой, видно готовился к длинной нотации.

— Ваши водители не только нарушили правила уличного движения, они воровски пообрезали чужие тутовники. Люди пришли с жалобой на них. В заявлении пострадавших указаны номера ваших машин.

— Ничего с пострадавшими не случится, если они нынче не поедят тутовых ягод. Не первый год это делается и не последний.

— Вы хотели сказать, что ваши гусеницы дороже людей?

— Во-первых, шелкопряд не мой, а государственный. Во-вторых, за выполнение государственного плана по сдаче коконов ответственны и вы. Мы с вами делаем одно дело, не следовало бы друг другу мешать.

— Я вас не понимаю! — майор свел брови за очками и строго взглянул на молодую председательшу. Видимо,

он сам себе очень нравился, такой строгий, такой непреклонный, такой правильный...

— Нам позарез нужны листья, дорога каждая минута! А я тут с вами сижу и разговариваю на общие темы. Правильно, неправильно, чужие листья или не чужие. Государственные! Понимаете? Зачем вы держите машины с важным грузом? Разве это по-хозяйски? Вы же понимаете, что гусеницы не станут есть вялые листья и пропадет столько добра!

— Вы думаете, что говорите? Надо отдавать себе отчет! Еще немного, и вы меня обвините в том, что ваши шоферы пьянствуют!

Малика поднялась со стула, одернула прилипавшее к телу платье.

— Я уверена, что мы друг друга поймем. За нарушение правил вы обязаны наказать шоферов, и правильно, накажите по всей строгости закона. Я с вами согласна! Накажите! Но листья надо быстро везти в кишлак, это срочный скоропортящийся груз. Драгоценный груз!

Майор не ожидал такого поворота в разговоре с этой красивой женщиной. Это что-то новенькое. Она не только не просит, буквально распоряжается у него в отделении, да еще пытается обвинить чуть ли не в государственном преступлении! Он задерживает листья! Очень уж подняли ее в области. Конечно, известный колхоз, известный председатель, ее имя постоянно на слуху, но все же майора так и подмывало осадить зарвавшуюся красотку. Он прокашлялся, снова свел брови и сказал:

— Вы, кажется, не совсем поняли меня. Ваши водители пьяны!

Малика ответила надменным взглядом сверху вниз, и майор опять растерялся. Он бросил карандаш на стол, поднялся, закинул руки за спину и начал прогуливаться по красной ковровой дорожке. У двери он остановился, потому что наконец нашел, что сказать этой женщине.

— Вы понимаете, что я не могу взять на себя ответственность и посадить за руль пьяных водителей?

— Ах, все я понимаю, майор. Не надо лишних объяснений,— раздраженно сказала Малика и, как на муху, махнула на него рукой.— Знаете, ведь нехорошо получится, если вы свою узкую ведомственную точку зрения противопоставите линии партии?

— Апа...— майор смешался, у него расширились глаза и даже задрожал подбородок.— Я хотел, чтобы все по инструкции, по закону... Вы напрасно. Я всю жизнь грудью стою на защите линии партии... Вы меня неправильно поняли...

— Помилуйте, я вас ни в чем не обвиняю,— нетерпеливо остановила майора Малика. Видя, что майор рвется еще раз все объяснять и растолковывать, Малика пошла к двери, отмахиваясь от него рукой.— Только скажите своим людям, чтобы они нас не задерживали. Прошу вас. Листья завянут.— Малика открыла дверь и увидела Нишана и шоферов, ожидавших ее в приемной.— А виновных накажите по всей строгости закона. До свиданья!

Малика, стуча каблуками, спустилась с крыльца, прошла к машине и подождала, пока Нишан, пыхтя, устроился на заднем сиденье.

На крыльце показался молоденький лейтенант, за ним шли, понурившись, виновные водители. Лейтенант, размахивая красной папкой, подошел к первой машине, сел в кабину. Захлопали дверцы, и машины тронулись.

Малика облегченно вздохнула; слишком много впечатлений для одного нынешнего денька — нервы напряжены. Еще немного, и она не выдержит. Накапливается раздражение — на всех, на этих безответственных шоферов, на этого глупого майора, на толстого Нишана, осторожно посапывающего сзади. Нехорошо. Если так будет и дальше продолжаться, она превратится в какого-то цепного пса. Не следует все слишком близко принимать к сердцу. Нельзя так переживать. Кажется, не так давно она была всегда доброй, всегда веселой. Что с ней происходит?

Нишан нерешительно кашлянул. Малика обернулась к нему.

— Знаете, что говорит наш бригадир Махмуд?— Нишан улыбнулся, предвкушая насмешку Малики над незадачливым бригадиром.— Он говорит, правильнее, чтобы шелкопряда выкармливали горожане, а мы бы доставляли им листья!

Нишан насмешливо фыркнул, ожидая, какое впечатление произведут его слова на Малику. Если не понравится, он тут же прикусит язык, ведь под горячую руку запросто можно нажить себе неприятностей, нелегко быть громоотводом.

— А то горожанам не хватает своих забот,— сказала Малика,— Если они займутся шелкопрядом, кто же будет работать на заводах и фабриках?

— Вот и я говорю,— Нишан с готовностью присоединился к мнению председательши.— Вечно что-нибудь придумывает этот Махмуд, вместо того чтобы думать о своих делах. Он еще говорит: почему, мол, на улицах и парках в городах вместо декоративных бесполезных деревьев не высадить тутовник. Чудак, я ему сказал, эти деревья сажают в городе, чтобы была тень, а тутовник, как только он зазеленеет, весь обрубят и горожане просто задохнутся от жары.

Малика смотрела вперед на несущуюся навстречу дорогу, и Нишан опять забеспокоился, не сказать бы лишнего, ведь граница терпения председательши где-то очень близко, лучше уж сидеть тихо, пока никто не спрашивает. Ему ли заботиться о листьях. Для этого есть апа — сколько надо, столько добудет.

— А мне кажется, напрасно вы подсмеиваетесь над Махмудом. В этом что-то есть. Стоит подумать.— Малика обернулась назад. В ее глазах мелькнула явная заинтересованность, она ожила.— Почему дехканин не задыхается от жары, по шесть месяцев находясь в поле! В поле тени нет, не так ли?

— Нет, тени нет.

— Неплохо было бы посадить вперемешку с декоративными деревьями и тутовники.

— Конечно неплохо! — тут же поддержал идею Нишан.— Хотя бы через одно, через два.

Нишан уже хотел сам развить мысль о том, как славно было бы засадить тутовником асфальтированные города, но Малика перебила его.

— Но этого наверняка никогда не произойдет!

— Почему? — удивился Нишан.— Представляете, какая это полезная идея!

— Вы мне-то сказали это осторожненько, осторожненько, с дрожащим сердцем, а кому-нибудь другому вы и сказать об этом не решитесь. Значит, слова Махмуда никто не услышит. Он же, несчастный, поговорит об этом у нас в кишлаке, поговорит и забудет.

— Вот и вы уже знаете...

— И что из этого? — Малика разговорилась было, а теперь опять нахмурилась.— Я же не издаю указы? Не издаю! Ну, а раз так, зачем и мне голову ломать, верно?

— Вам, апа, подобные слова не к лицу...

— А вы думали, я начну толкаться в высшие инстанции, пробивать? Вы, вероятно, путаете меня с Камалом.— Малика чуть улыбнулась, однако холодность осталась на ее лице.— У меня, как видите, достаточно своих проблем. Так что оставим мечты и займемся-ка тем, что нам по силам. Шоферов пусть наказывают как угодно, не защищайте, вообще не вмешивайтесь. Распустились! Чтобы сейчас же сдали машины и пусть идут работать на ферму. Я им покажу как пить!

Нишан только крякнул, жестокость председательши его ошеломила.

— А если не захотят?

— Кто не захочет,— Малика повернулась к Нишану всем корпусом, и глаза ее сверкнули гневом,— держать не будем! Понятно? Скажите, что в следующий раз я им головы поотрываю. Распустились...

Нишан послушно закивал головой и уже до самого кишлака помалкивал. Все-таки Малика для него оставалась загадкой. Такая красивая девушка, а кажется, что сердце ее лишено тепла. И красота у нее от этого холодная какая-то, бездушная. Наверное, потому никто не влюбляется в нее. Ведь лицо любимой — утреннее солнце, оно освещает всю жизнь, и совсем другое дело, когда красота подобна льду...

На въезде в кишлак они увидели Кудрата, который шел по обочине, помахивая кожаным портфелем. Малике вдруг захотелось остановить машину, заговорить с ним. Но не он ли сегодня утром грубо, будто дал оплеуху, прогнал ее из класса? От этого сразу сжалось сердце. Идет с беззаботным видом, помахивает портфельчиком и наслаждается цветущей зеленью, ясным небом. Кто-то теряет покой, портит нервы на службе народному делу, а вот такие красавчики посматривают со стороны! Хорошо быть зрителем, непыльная должность! С тех пор как приехал в кишлак, ничего кроме школы не знает, как будто жизнь колхоза его не касается. Если бы засучил рукава и взялся за какое-нибудь стоящее дело... А он, мало того, что сам равнодушно наблюдает со стороны, не пускает своих учеников, срывает важнейшее мероприятие. Странно, что именно этот городской белоручка присылал к ней сватов.

Кудрат, разумеется, не догадывался о том, что творится в душе красивой председательши, он даже не обратил внимания на промчавшуюся мимо, обдавшую его

облаком пыли машину, он шагал и шагал себе по дороге. Кудрат все еще не мог привыкнуть к жизни в кишлаке, к простору, на который выбегали здесь все улицы. Он действительно наслаждался широким и бездонным небом, пышной зеленью садов, жадно вдыхал дурманящий запах трав, густо разросшихся вдоль арыка. Особенно слышен был тонкий нежный запах мяты. Иногда Кудрат останавливался, чтобы сорвать и разжевать горсть сочной кисло-сладкой доуччи.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Всходы хлопчатника в Маханкуле были дружными и ровными, однако войти в силу, по-настоящему подняться, им мешали продолжительные дожди. Поэтому Камал решил начать обработку хлопчатника раньше, пока земля не покрылась коркой. Он сам возглавил бригаду, сел за руль первого трактора.

За утро взрыхлили весь участок вокруг полевого стана, но в полдень на востоке потемнело небо, налетели черные смерчи. Сначала Камал хотел переждать ураган в тракторе. Налетевший ветер покрыл все серой поленой, стало темно, как вечером. Черные спирали смерчей упирались в небо и казались страшными сказочными чудовищами, разгневанными на людей, невольно на память пришла легенда сумасшедшего старика о золотой коробочке. Это как раз те самые грозные дивы, стерегущие коробочку, они ростом до неба. Глядя на этих разбушевавшихся, мстящих людям дивов, становилось страшно даже в кабине могучего трактора, какие же фантазии рождали игры стихии в голове далекого нашего предка — бессильного перед природой земледельца! Чтобы разглядеть что-нибудь впереди, Камал высунулся из кабины. В лицо жестко хлестнул ветер с песком, забил глаза, рот, уши. Камал сжался в кабине и двинулся в сторону полевого стана. Он вел трактор почти на ощупь. Трактор сильно тряхнуло, очевидно, переднее колесо провалилось в канаву. Камал притормозил и, дав задний ход, выбрался на ровное. Песок резал глаза, но слезы облегчали боль. Ветер бешено гудел, кидал песок в небо, плетями закручивал его над землей, хлестал, выкорчевывал и ломал заросли тамариска.

Теперь конец, подумал Камал, видя, как под напором урагана никнут кусты тамариска, еще немного —

и хлопчатник будет погребен под этим горячим песком. Весь труд пропадет. Камал вел трактор, угадывая дорогу к вагончику, и проклинал тех, кто подал идею распахать Маханкуль. Полевой стан Камал не столько увидел, сколько ощутил, чуть не наехав на крыльцо вагончика. Он заглушил мотор, спрыгнул на землю и, закрыв лицо тюбетейкой, наваливаясь спиной на ветер, добрался до двери, нашарил ручку и рванул на себя.

— Слава аллаху, ака-мулло,— к Камалу подошел Араш и принялся его отряхивать,— перепугали вы нас. Мы уже не знали, что и думать.

— Воды,— прохрипел Камал, сплевывая песок.

Араш зачерпнул воды из огромной трехсотлитровой бочки, стоявшей в углу, и подал бригадиру. Камал с жадностью выпил эту теплую, отдающую ржавчиной воду, поставил ковш на стол и огляделся. В полутемном вагончике царило унылое настроение. Парни сидели насупленные и погрустневшие. Нелегкий труд погиб на глазах.

— Что будем делать теперь, ака-мулло? — спросил Араш, самый молодой и нетерпеливый.

Камал не ответил, у него все еще теплилась надежда, что ураган остановится, уляжется, уйдет. Он подошел к окну, стараясь что-нибудь разглядеть в бешено крутящейся мутной пелене. Ветер завывал на разные голоса, подобно какому-то живому и злому существу. Песчаные вихри ударяли по тонким стенам вагончика, звенели стеклами. Камал опять вспомнил легенду о золотой коробочке; пережив такой ураган, конечно, начнешь верить, что в пустыне живут свирепые дивы. «Завтра папа поедет в пустыню и отнимет у дивов золотую коробочку». Сиявуш сказал это с такой гордостью, ведь он не сомневался в силе и стойкости отца, готового сразиться с волшебными чудовищами. Да, в мире всегда было много трудных дел и бед, испытывающих волю человека. С первого дня в Маханкуле он не знал покоя. Дважды пересевали хлопчатник, но и это, оказывается, не все, теперь эта новая беда, когда, казалось бы, самое трудное позади и уже появились ровные дружные всходы. Ветер шуршал песком по стеклам. В завыванье бури словно бы слышались человеческие голоса, вой шакальей стаи.

— Занесет весь хлопок,— сказал Араш.

— Пропала работа,— усмехнулся Акрам.

— Работа? А семена, а горючее? — начали перечислять убытки парни.

Камал слушал разговор, и ему хотелось добавить, что не только работа, горючее и семена, надо прибавить потерянные гектары тамарисковых зарослей, которые они перепахали своими тракторами, но промолчал, чтобы не подливать масла в огонь. Парни искренне переживали беду. Вон как огорчен Араш, а ведь он подтрунивал над Камалом, когда спрашивал, не добровольцем ли тот приехал в Маханкуль. Значит, и он, и его товарищи работают тут не только из-за непреклонности жестокосердной председательши.

— Уж очень сильный ветер. Такого надолго не хватит.

— Много ты понимаешь.

— А ты дождь сильный видел? Раз-два, все залил и перестал. Так и этот ураган.

— В прошлом году так же было, ветер, все несет, ничего не видно.

— Да ведь тогда была ранняя весна. Это же другое дело. Сравнил. Перепахали и тут же пересеяли. А нынче уже некуда пересевать.— Один выход, надо вывозить школьников на поля, чтобы раскопать занесенные всходы.

Камал недовольно хмыкнул и обернулся к Акраму. Не хватает только, чтобы дети работали в пустыне. Мало того, что им приходится работать в кишлаке, везти их еще и сюда.

— Нет,— сказал Камал, упрямо мотнув головой.— Сами сделаем.

— С ума сойти,— сказал Акрам.— Пока мы вшестером будем ковырять это поле — лето пройдет.

— Месяц, как минимум.

— Пусть, но школьников не тронем.

На крыльце явственно послышались чьи-то шаги, распахнулась дверь и на пороге показался занесенный песком и пылью юродивый. Он огляделся, протирая глаза, увидел Камала, шагнул к нему, протянул руку — на потрескавшейся, сухой ладони лежала коробочка хлопка с пожелтевшим растрепанным волокном.

— Нашел золотую коробочку, тебе принес. Обещал...— Глаза старика горели неистовой радостью.— Отыскал. Ха-ха-ха! Знаешь, дивы долго гнались за мной. Не отдал. Тебе — бери!

Парни смотрели на внезапно появившегося старика с брезгливым недоумением и даже со страхом.

Камал взял иссохшую легкую коробочку с ладони старика. Нет, не забыл старик тот давешний разговор, должно быть, в поступках этого несчастного есть какая-то своя логика. Он верит, что все хорошее и плохое на земле свершается по воле сверхъестественных сил и духов, их стремления и хитрости стремится он разгадать своим больным разумом.

От удара ветра опять задрожали стекла. Юродивый испуганно вздрогнул, огляделся по сторонам и прошептал Камалу:

— Спрячь, а то дивы увидят!

Камал кивнул, соглашаясь с юродивым, завернул коробочку в платок и сунул между книгами на этажерке. Юродивому это понравилось, он улыбнулся и еще раз подозрительно осмотрелся по сторонам, не видят ли дивы, куда Камал спрятал драгоценную коробочку.

— Воды хочу.

Камал зачерпнул полный ковш воды. Юродивый опасливо потянулся за ковшом, резко выхватил его из рук Камала, отвернулся в угол и большими глотками выпил всю воду.

Старик долго шел сюда, устал и был, конечно, голоден. Камал постелил курпачу, достал из целлофанового мешка лепешку, взял с пластмассовой тарелки на окне несколько кусочков сахару и положил все это на расстеленный платок. Он показал юродивому на курпачу, и тот, болезненно улыбаясь и оскаливаясь, прошел и сел на указанное место. Когда Камал раскладывал лепешку и сахар на платке, юродивый схватил его за рукав и, дико оглядевшись, попросил:

— Ты не скажешь дивам, что я у тебя?

— Конечно, не скажу,— успокоил его Камал.

Араш поднес старику еще один ковш воды, со страхом и состраданием глядел, как тот ест лепешку, хрумкает сахаром и запивает все это торопливыми нервными глотками.

Ураган не прекращался. Камал опять подошел к окну, видно было по ближним рядкам, что хлопчатник гладко зализан песком. Ветер заметно сдавал, но все еще нес тучи песка и пыли на безнадежно погибшие посевы. «Такой ветер может унести человека, что ему слабые всходы,— думал Камал.— Вон как ломало и

гнуло тамариск. Неужели опять все насмарку? Разгулялась стихия. То одно, то другое. Пересевали дважды. С тутовником из-за запоздалой весны намучались. И в третий раз придется пересевать. У людей руки опустятся — сизифов труд. И какой смысл, посеянный теперь хлопок ничего, кроме убытков, не принесет, да еще надо будет его выхаживать, как недоношенного ребенка. Дорого обойдется маханкульский хлопок, не оправдает даже затраченный труд». Но в душе Камала не было злорадства: а я говорил, что не нужно разрушать Маханкуль, вот вам и результаты; это были тяжелые думы земледельца, созерцающего погибший труд, задавленные стихией всходы.

Камал обернулся к юродивому, тот крепко спал, зажав в худой руке кусок лепешки. Парни посматривали на него со страхом. Камал взял подушку, осторожно подложил ее старику под голову, тот подобрал ноги, сжался в комок, но лепешку из скрюченных пальцев не выпустил. Одежда на нем была чистая, в последнее время его обстирывала Нигора. По сухому лицу старика пробегали чуть заметные судороги — тело и дух человека точила болезнь, шла невидимая, непонятная, таинственная борьба.

— А что принес этот сумасшедший? — спросил Араш.

— Ты же видел. Коробочку хлопка,— сказал Камал. Он взял со своей койки старый ватник и укрыл им спящего.

— Зачем тебе?

— Это не простая коробочка, братец, волшебная.— Камал улыбнулся.

— Смотри, ака-мулло, как бы по дружбе и тебе не передалось,— ехидно сказал Акрам и, подмигнув товарищам, покрутил пальцем у виска.— А то похоже, ты тоже веришь каким-то небылицам.

Камал хмуро глянул на Акрама, и парень осекся.

— А вы скептик, Акрам-ака,— ввязался Араш.— Верно, вам в детстве сказки не рассказывали.

— Не морочь мне голову,— лениво отмахнулся Акрам.— Вон Камал их и теперь слушает, а что из этого получается? Дивы из сказок бросили его сюда, в пустыню? — Акрам насмешливо покачал головой, усмехнулся, показав желтые, прокуренные зубы.— Знаем мы этих дивов!

— Ладно, хватит,— оборвал парня Камал и вышел из вагончика. За ним вышел Араш.

Ураган кончился, установился сильный ровный южный ветер.

Поле, час назад зеленевшее всходами хлопчатника, было серым, голым, безжизненным. Всюду песок. Лишь тамариски, на колючках которых не задерживается пыль, сумели уцелеть, хоть и поредели их ряды, они удержали свой скромный зеленый наряд и поблескивали иглами. Теперь, через два-три дня они зацветут. Жизнь заиграет всеми своими красками, может быть не очень яркими, но стойкими. И чем дольше вглядываться, тем красивее будет казаться этот небогатый пейзаж. Даже в смертоносный летний зной на Маханкуле не прекращается жизнь, цветут удивительные цветы, утром и вечером щебечут птицы. Тамарисковые заросли — это своеобразный пустынный лес. Надо его сохранить. Во что бы то ни стало. В конце концов, тут круглый год можно пасти скот. Ведь освоить — это не значит непременно перепахать, полностью разрушить складывавшиеся тысячелетиями биологические сообщества! Нужно умело взять то, что можно взять без вреда для этой хрупкой природы!

— Сегодня обязательно апа примчится,— прервал мысли Камала Араш.— Наверное, испереживалась из-за урагана. В кишлаке он тоже понаделал бед.

Камал кивнул головой, он брел краем поля и по щиколотки проваливался в наметенный песок. Его мысли переключились на Малику. Конечно, переживает. Тут небольшой участок, и то день и ночь в беспокойстве и заботах, а она отвечает за весь колхоз. Он не мог не посочувствовать председательше. Вдоль дренажной канавы идти было легче. Суслик, разгребавший свою норку, увидев людей, юркнул обратно. Рядом, у самых ног, оставляя извилистый след, пронесся варан, достигнув кустарников, обернулся, замер, раскрыв пасть с огненным языком.

Араш попробовал в двух-трех местах разгрести песок, достал бледные слабые стебли ростков.

— Ака-мулло, посмотрите!

Но Камал сам разгребал обеими руками песок, пальцами нащупывал ростки, но находил под толстым слоем песка только безнадежно голые стебельки. Камал, увязая в песке, метался по всему полю, пробовал копать в разных местах, все не мог согласиться с тем,

что хлопчатник погиб полностью. Но везде было одно и то же. Напрасно в глубине души Камал успокаивал себя, что как бы то ни было, а половина, ну хотя бы четверть всходов уцелеет. Не уцелели!

— Бросьте, ака-мулло, бесполезно,— сказал Араш, сердцем чувствуя состояние бригадира.— Видно, и в этом году дело у нас не пойдет.

Камал поднял с горстью песка оторванный ветром росток. Песок сбежал меж пальцев.

— Эх, сколько добра пропало!

— Да, прямо ветер унес. В прошлый год, помните, тоже ведь занесло, но не так сильно. Всходы сами сумели пробиться через песок.

— Хотелось бы знать, ака-мулло, кто же это придумал сеять хлопок в Маханкуле?

— Теперь это не имеет значения,— помолчав, ответил Камал, сердито махнул рукой и, проваливаясь в песок, побрел по полю.

— Какой вы интересный, ака-мулло,— возмутился Араш, поспевая за широко шагавшим Камалом,— зачем же мучать людей, тратить такие средства, раз тут не будет хорошего урожая. Здесь хлопок, наверное, вообще не может произрастать. Недаром же тут раньше пасли скот. А теперь надумали сажать хлопок. Что-то я в толк не возьму. Ну, не растет хлопок, растет трава, правильно? Да? Ведь нужно и скот кормить?

Камал не отвечал любопытному Арашу, но слова горячего умного парня задевали за больное в душе бригадира. Какой смысл теперь, по щиколотку утопая на занесенном песком бывшем поле, обсуждать, целесообразно ли было распахивать Маханкуль и высевать тут хлопок.

— Смотрите! Смотрите! Я вам говорил, что апа прилетит? Вот и она! — Араш кивнул на дорогу, где мчалась, поблескивая стеклами, голубая «Волга». Она повернула к полевому стану. Из пыльной машины вышла Малика. Вид у нее был энергичный, но по неуловимым приметам чувствовалась в ней неуверенность и растерянность, да и было отчего растеряться. Освоение Маханкуля — ее идея. Об этой инициативе говорила вся область, и даже по республике прогремела эта весть, но вот уже второй год, а урожаев не добились, посевы не только не покрывали затраты, но приносили прямой и ощутимый убыток хозяйству.

Малика поздоровалась со всеми молча, долго пожимая руки, так приходят в дом умершего. Постояли, помолчали, потом Малика с нарочитой бодростью произнесла слова, явно приготовленные заранее.

— Сколько бы природа ни противилась нам, мы ее все равно одолеем. Мы не будем ждать милости, мы научимся преграждать ветры. И Маханкуль мы все-таки покорим, правильно? Верно я говорю, товарищи?

Похоже, Малика хотела убедить прежде всего именно себя, а не этих усталых, запыленных с ног до головы людей. Глядя на бледные щеки председательши, ее впалые от бессонницы глаза, Камал пожалел ее. И для чего тебе, девушка, столько хлопот?

— Я уже распорядилась, завтра привезут семена. Не теряя ни минуты, начнем пересевать. Будет туго — пришлю помощь.

— Поздно. Теперешний посев не успеет вызреть,— тихо и спокойно возразил Камал. Он не хотел вступать в спор с председательшей, но как агроном и промолчать тоже не мог.

Малика резко повернулась к Камалу, сверкнули гневом ее запавшие глаза, казалось, она хотела испепелить его взглядом.

— Ну, если вы так говорите, чего ждать от остальных? — Малика отвернулась от Камала, ее взгляд скользил по занесенной песком пашне, где вместо живой зелени хлопчатника покачивались призрачные шары перекати-поля.— Надо верить в свое дело, а? Без этого ничего не получится. Я вас не узнаю, Камал. У вас опустились руки перед трудностями, так и скажите!

От фальшивых слов Камала просто передернуло: «надо верить», «в свое дело». Могла бы и промолчать о том, чья это глупая и безнадежная затея. Надо отдать должное, Малика умела мастерски подбирать гладкие и неоспоримые слова. Особенно вдохновляла ее трибуна, на трибуне она парила: легко нанизывала, как искусная вышивальщица жемчуг на нитку, звучные высокопарные слова. Ее речи нравились руководству и доходили до дехканина, брошенные ею лозунги принимали с рукоплесканиями, ее предложения заносили в резолюции. Однако часто после того как рассеивался словесный мираж, становилось ясно, что далеко не все ее предложения приемлемы. Но впечатле-

ние уже было произведено, да и не всегда найдутся такие, как Камал, охотники разбираться и докапываться до истины. Но здесь, в пустыне, речь Малики уже не имела такой призывной силы, возможно, оттого что не было привычной трибуны, а может, оттого, что здесь слова имеют свой истинный, первоначальный смысл, ведь тут так далеко видно, не укроешься за самыми звонкими фразами.

— Главное сейчас — добиться всходов, а вырастить — вырастим. Глядишь, за считанные дни подрастут.— Заметно было, что порыв угас и Малика как бы взбадривает себя, чтобы казаться особенно жизнерадостной, бодрой и уверенной.— Я думаю, товарищи, все будет хорошо. И посеем, и вырастим, и соберем, а?

Малика дала понять, что общий разговор окончен, и обернулась к Камалу с искусной очаровательной улыбкой:

— Вы обещали показать мне в Маханкуле необыкновенно красивые места. Может, пройдемся? — Малика смело взяла Камала под руку и потянула в сторону от машины.

Парни возле стана дружно захихикали. И это умела Малика, после строгого разноса, прикрикнув и приказав, вот так разрядить обстановку, заодно и переключить внимание.

— Что это вы, апа? — спросил Камал.

— А что? — кокетливо обернулась к нему Малика.— Я вам не нравлюсь? Не нравлюсь, да? Скажите откровенно?

— Вы сегодня немного странная.

— Ну а вы, как всегда, очень рассудительны.— В голосе ее прозвучали холодные нотки.— Но я вам не завидую. Ваша рассудительность часто вредит вашему благополучию. Вы это замечали?

По тону Малики Камал чувствовал: предстоит неприятный разговор. Видимо, что-то случилось за то время, пока его не было в кишлаке, не из-за одного урагана приехала председательша. Чего ждать? Инцидент со сторожем из-за связки тутовых веток? Но это когда было? Что-нибудь в семье? Там все спокойно. В доме, где есть дети, муж с женой не держат обид. Дети заставляют их мириться. Да и Нигора не имеет привычки кому бы то ни было жаловаться на него. О нем она и слова никому не скажет. Она занята

своими делами, хозяйством, детьми, ко многому в мире вообще равнодушна, возможно, потому-то и не требует к себе особого внимания. Нет, тут что-то другое, хотя, в сущности, чего ему опасаться, работает он в полную силу, как говорится, в первых рядах тружеников колхоза. Но пока Камал вспомнил о письме, Малика и сама подошла к этой теме.

— Ну, так чего же вы молчите, одноклассник,— язвительно кольнула Малика.— Расскажите и мне, как вам дорог Маханкуль, как его надо охранять. Как зеницу ока, не правда ли? Расскажите, как плохие люди хотят уничтожить этот дар природы.

Все понятно, облегченно вздохнул Камал, значит, письмо дошло до секретаря обкома и, может быть, вернулось с пометкой «разобраться», «доложить», «обосновать»...

— Расскажите, как вы жаловались на самоуправство колхозного правления, на меня...

— Я не жаловался на вас,— Камал спокойно покачал головой.

— Неужели?

— Вы очень раздражительны, апа, с вами трудно разговаривать.

— Может, мне уйти из председателей? — Малика серьезно взглянула в глаза растерявшегося Камала. Она, конечно, заранее заготовила этот неожиданный вопрос.

— Не знаю. Я вам не советчик.

— Не хотите сказать правду. Вам бы лишь критиковать. Это не так, это не то.

Камал сломил веточку тамариска, повертел в пальцах, любуясь пушистым одеянием. Все ей в тягость, нервы у нее натянуты. Доведет себя. Он отбросил сломанную веточку и посмотрел на Малику.

— Напрасно вы обижаетесь на меня,— спокойно сказал Камал, будто и не слышал ее жестких упреков,— я изложил свои соображения о судьбе Маханкуля. Я ведь имею право на это? Если он одобрит...

— А если не одобрит? — живо перебила его Малика.— Если не одобрит? Вы подумали и об этом? Вам не сносить головы.

— Будет очень жаль, если не поймет,— Камал беспечно хмыкнул,— но если и ему не понравится, моя уверенность от этого не уменьшится.

— Удивляюсь, глядя на вас. Что это вам даст? — Малика пожала плечами.— По-моему, ничего, а вот рискуете вы буквально всем. И, как мне кажется, напрасно.

— Без куска хлеба не останусь. Люди, которые умеют работать, везде нужны.

— Что вы этим хотите сказать?

— Ничего, кроме того, что сказал.

Камал подтолкнул ногой шар перекати-поля. Колючка ожила, казалось, она ждала этого толчка, легко и охотно покатилась, оставляя на гладком зализанном ветром песке едва приметный след.

— Не надо забывать об одном, Камал,— Малика внимательно взглянула Камалу в глаза, чтобы слова ее звучали убедительнее,— освоение Маханкуля — это наша общая инициатива.

Вот оно, вот в чем дело, догадался наконец Камал, дело идет к развязке и ловкая председательша подготавливает кандидатов на роль козла отпущения.

— Помнится, и в области, и в республике, да и у нас в колхозе идея Маханкуля была известна как лично ваша, апа. И аплодировали за нее именно вам.

— Ну, сейчас это уже не важно. Инициативу, как вы помните, поддержал и одобрил райком. Было решение правления. Теперь средства затрачены и если мы откажемся от своих слов, руководствуясь вашими доводами, знаете, что получится... Над нами будет смеяться целая республика!

— И чтобы над нами не смеялась «целая» республика, мы упрямо будем продолжать портить землю. Так вас надо понимать? А где же элементарная человеческая совесть?

— Какой вы все-таки колючий! — Малика усмехнулась.— В будущем здесь так или иначе предусматривается освоить тысячи гектаров.

— Освоить, а не погубить! — резко перебил ее Камал.

— Вы думаете, все это будет орошаться подпочвенной водой?

Малика явно уходила от разговора. Ее не интересовала истина, важней было другое, чтобы за ней осталось последнее слово, чтобы все было так, как она сказала.

Камал замолчал. Бесполезно что-либо доказывать, когда тебя не хотят слушать.

— В перспективном плане освоения Маханкуля,— снова начала Малика,— предусматривается протянуть сюда канал. Мы возведем самые современные поселки, в безжизненной пустыне зацветут сады! Неужели вы против этого...

— Опять красивые слова. Меня трудно переубедить, апа. Не трудитесь. Я предпочитаю заниматься делом.

— Ну что ж, пеняйте на себя.

Малика резко повернулась и торопливо пошла назад, но однако ноги увязали в песке и ее бесило, что она не может идти так быстро, как хотелось бы, быстро и гордо, как она привыкла ходить. Ее решительная походка на песке выглядела немножко смешно. У полевого стана она вышла на дорогу и зашагала легче. Малика быстро попрощалась с людьми, ожидавшими ее у машины, хлопнула дверцей, и голубая «Волга» уехала, подняв длинный шлейф легкой пыли.

Камал загляделся вслед уехавшей машине и не слышал, как к нему подошел юродивый. Старик дернул его за рукав:

— Дай монетку.

Камал порылся в карманах, нашел две двадцатикопеечные монеты и положил деньги на сухую, жесткую ладонь старика.

— Ты куда?

— Ухожу,— сказал старик, махнув рукой на восток.— Здесь тоже живут дивы. На деньги куплю сладкие лепешки. Ха-ха-ха!

Сумасшедший зажал деньги в руке и пошел к дороге. Легкий ветер раздувал его белый яктак, придавая фигуре старика какую-то сказочную призрачность. Он и шел странно, взмахивая руками, как будто вот-вот его подпрыгивающий шаг сменится легким полетом. Камалу даже показалось, что происходящее — кусочек какой-то новой, еще не рассказанной сказки, что старик ненадолго материализовался здесь, в пустыне, чтобы вручить ему, Камалу, пожелтевшую, но тем не менее сохраняющую свою волшебную силу коробочку хлопка. Вполне можно было поверить, что этот медленно удаляющийся человек не бродячий юродивый, а добрый волшебник, помогающий людям вершить добро. Ведь вот же оказывается он рядом именно в те моменты, когда у Камала в душе смута, борения, появляется, чтобы произнести какие-то незначительные, но полные

скрытого от здорового ума смысла слова, зажечь перед Камалом огонек надежды. Ведь что-нибудь да значит, что старик появился в Маханкуле в такой ураган ни раньше, ни позже?

Камал долго следил за маленькой белой фигурой, удаляющейся по дороге. На сердце становилось легко, осадок от неприятного разговора с председательшей исчез. Камал даже улыбнулся заходящему солнцу. Он вспомнил Сиявуша. Малыш просил отца добыть золотую коробочку хлопка. Отнять у дивов, если точнее. Сын верит в сказку прямо, без каких бы то ни было оговорок и толкований, и события сказки действительно происходят для него в этой пустыне. Странно, но в сказке золотая коробочка, отнятая у дивов, опять к дивам и возвращается. Или теряется? Что же это? Психология людей, не умеющих удержать счастье? Скорее, непременное условие, чтобы сказка могла продолжаться.

— Со вчерашнего дня вы что-то бродите такой задумчивый, ака-мулло,— заговорил с Камалом Араш, хлопотавший у самовара.— Видать, по детям соскучились. Если завтра будет машина с семенами, поезжайте-ка домой. Мы тут и сами управимся.

В самом деле, подумал Камал, съездить, что ли? Как там Нигора. Измотал ее шелкопряд. До его отъезда она хоть не заботилась о листьях, как-то она перебивалась без него? Напрасно согласился на Маханкуль. Можно было отказаться, пожаловаться, ведь по существу это была всего лишь прихоть Малики. Жаловаться? Камал считал, что жаловаться недостойно мужчины. Тем более жаловаться на женщину. Определенно, Малика не раз пожалела в душе о своем опрометчивом поступке, недаром она стала бывать у них дома, устроила детей в детсад. Конечно, она временами раскаивается в своей вспыльчивости. Нет у нее надежных друзей, с кем можно было бы посоветоваться, поделиться. Все к ней относятся как к начальнику — апа! С почтением, лестью, говорят осмотрительно. А ей, может, хочется словом перекинуться. Нет, надо будет попытаться поговорить с ней по-человечески, как одноклассник с одноклассницей, а не так, как обычно,— обмениваясь колкостями. Нет, не мог Камал долго злиться на Малику.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Выйдя из конторы со свертком в руке, Малика привычно посмотрела на небо — оно было, как и полагалось ему в данное время, бездонным и чистым, внушало земледельцу душевное спокойствие, затем она глянула на растущие возле конторы кусты хлопчатника — набухают бутоны, значит, все более или менее нормально, жизнь идет заведенным порядком. Но все-таки председатель не может полностью доверять спокойному течению дел, он должен всегда быть готов к неожиданностям, в любую минуту что-то где-то может произойти, что-то сорваться, и тогда все пойдет наперекосяк, надо будет спасать, исправлять, принимать решения, изыскивать возможности, требовать, убеждать и заставлять. На прекраснодушие — минуты, вроде вот этой, пока она идет со свертком к машине, голубеющей в тени тополей.

С утра до вечера она крутится в заботах о своем огромном, разветвленном хозяйстве, где главное все же хлопок, хлопок и хлопок. Именно от хлопка зависит жизнь и благополучие дехканина. А ведь со стороны может показаться, что председательша только и знает, что катается в своей «Волге», не сеет, не убирает, не гнет спину на прополке и поливе хлопчатника, и руки у нее чистые, и не кружится голова, не дрожат колени, как у сборщика на поле под палящим солнцем. Отдает приказы, крутит голову телефону в конторе с кондиционером. Впрочем, вряд ли кто всерьез так думает. В Маханкуле, куда последние три дня ездила Малика, пришлось вспомнить и механизаторскую работу: сама таскала ведра с семенами, сделала несколько ездок на сеялке, чтобы убедиться в качестве высева, вместе со всей бригадой поливала только что засеянное поле. Иногда нужно и так вот, самой засучить рукава, а не только погонять и стоять над душой у людей. Своевременным поливом можно и теперь добиться в Маханкуле приличного урожая. Ветры унесли всю влагу, семена, если не оросить вовремя, в раскаленной почве погибнут. Приехала из Маханкуля — опять вместе с агрономом ездила на приемный пункт, надо было доглядеть, чтобы взвесили все оставшиеся коконы, до последней грены. И в подсчетах она не ошиблась, план выполнили. Конечно, кое-где коконы остались, надо будет еще раз обойти все дома, проверить. Никогда не

было так трудно с шелкопрядом, как только не изворачивались, куда только не толкались, чтобы раздобыть корма. Клянчили даже в соседних районах. Совестливые и сочувствующие — помогли, отгрузили кто одну-две, кто три-четыре машины, многие отвернулись, отговорились. Знакомые все люди, между прочим, и после сезона коконов придется встретиться, да не раз, и в районе, и в области. Земля круглая, придется и им туго, тоже придут за помощью. Конечно, всем тяжко в эту пору, люди буквально лезут в драку из-за этих листьев, родственники, бывает, ссорятся друг с другом! На прошлой неделе она была в обкоме и в приемной секретаря столкнулась с начальником ГАИ. Хотела поздороваться, а он сделал вид, будто не замечает ее, отвернулся к окну. Малика, конечно, улыбнулась на эту детскую выходку взрослого человека, но потом ей стало обидно. Неужели тогда она действовала в своих личных интересах? Да и что плохого она сделала, подумаешь, немного повысила голос, пригрозила? Какие мелочи. Не пристало мужчине из-за этого обижаться. Мог бы и понять ее, у председателей горячая пора, да и чего не скажешь в сердцах.

Заодно вспомнила, что и Камал на нее обижен и, наверное, страшно зол. Да, по отношению к нему она поступила просто бесчеловечно, сгоряча хватила через край.

Но и тут можно ее понять, кого-то надо было отправлять в Маханкуль, ведь дело там стояло на мертвой точке. Условия суровы, а бригада работала спустя рукава, нужно было стронуть, закрутить, зажечь людей. В Камале она уверена: раз он там — дело будет сделано. Он человек крепкий, может организовать и продумать работу, а если нужно — сумеет заставить людей работать с полной отдачей. Три-четыре года, и в Маханкуле будет освоен и начнет давать продукцию солидный клин земли. В перспективе можно создать даже отдельное крупное подразделение. Камалу и карты в руки, он возглавит, будет отвечать за этот участок хозяйства, будет при деле и в то же время не на глазах... Странно устроен этот мир. Каждый смотрит со своей точки зрения, преследует свои цели, борется своими методами. Невозможно подвести всех людей под один стандарт, под одну мерку. Пусть самый разумный стандарт и самая общая мерка. Но понимать — одно, а поступать, учитывая это в живой жизни,—

другое! Да, все люди разные и стоит ли нападать на другого только потому, что он не похож на тебя? Вот ведь Малика знает критическое мнение Камала о себе, но не обижается? И вовсе не обидой продиктованы ее поступки, а хозяйственной необходимостью. Более того, Малика по большей части прощает Камалу его упрямство, прямолинейность, хоть и посмеивается над ним. Немало он и фантазирует, часто витает в нереальности. Сколько раз она разбивала его бредовые идеи, но он не отступается. Не в обиде была Малика и тогда, когда Камал не постеснялся и пошел в райком агитировать первого секретаря. Конечно, из этого ничего не получилось. Халил-ака человек трезвого ума. Малика знала, что у Камала в районе ничего не выйдет, и только посмеивалась над бесплодными усилиями Камала. Она думала, что после того, как в райкоме охладят его пыл, он остепенится. Ничуть не бывало. Теперь он поднялся в обком! И ведь посмел! Один из обкомовских друзей позвонил Халилу-ака, предупредил, что письмом занялся лично первый секретарь... Хорошо, если Камал ограничился темой Маханкуля, как бы он не припутал к этому чего-нибудь еще. Его поступки трудно вычислить, трудно предугадать его реакцию, никогда нельзя с ним чувствовать себя спокойной. Эх, неугомонный Камал! Ему, видите ли, не нравится, что засеяли участки у детского сада и школы. Ну мало ли что может человеку не нравиться, не обязательно же лезть со своим мнением, критиканствовать! Давно они не понимают друг друга. Вот во взглядах самого Камала, в его отношении к людям многое для Малики, например, совершенно неприемлемо, но она терпит, и, между прочим, не первый год. Камал же мыслит только со своих позиций. Ведь нельзя не считаться с движением времени, с определенными объективными трудностями, неизбежными закономерностями. Слепому понятно, что эти закономерности неизбежны. С каждым днем, например, растет население земли. С ростом численности населения, естественно, должны осваиваться новые земли, строиться новые города, нужно обеспечить народ, создавать условия для того, чтобы людям жилось хорошо! Ради этого придется пожертвовать какими-то саксаулами в Маханкуле. Да и зачем его сохранять? Ни толковой растительности, ни полезных животных, только вараны да тушканчики. Другое дело, если бы речь шла о цветущем оазисе,

тогда разрушать было бы действительно грешно. Разве плохо, если на месте диких тамарисков и саксаулов раскинутся хлопковые поля, зазеленеют сады? Неужели Камалу непонятны эти простые вещи? Или у него какие-то свои соображения? Может, он из зависти сует палки в колеса? Нужно было давно и окончательно поговорить с ним об этом, да все некогда, а теперь вот письмо в обком! Какие у него доводы? Разнообразный животный и растительный мир следует сохранять, но разве она, Малика, против этого? Сейчас об этом и пишут и говорят и в газетах, и по телевизору. Надо будет все-таки с ним поговорить. Камал, в сущности, не из тех людей, кто понапрасну бросается в огонь. Не сегодня, так завтра, через неделю явится секретарь обкома: что тут у вас делается? И перевернет все планы. Вдруг он займет позицию Камала, выскажется против освоения Маханкуля? Что тогда? Нет, это невозможно. План был утвержден. Хотя, конечно, как бы там ни было, неприятности по этому письму будут. Или Камалу оттопчут хвост, или поражение потерпят Малика и Халил-ака. В принципе ей нечего бояться. Все более или менее в порядке. Хозяйство в общем на подъеме. План по коконам выполнили в числе первых, хлопчатник окреп, подтянулся, на него приятно смотреть и, по всему, есть виды на добрый урожай. Через пару дней можно приступать к обработке междурядий. Нет причин волноваться, все в норме. На душе неспокойно? Но на спокойствие при такой должности рассчитывать было бы наивно.

Малика постояла у машины. Шофера не было. Она открыла дверцу, бросила сверток на сиденье и, подождав немного, нетерпеливо и зло нажала на клаксон. Ее внимание отвлекла труба в арыке, до краев переполненном водой. Вода не вмещалась в трубу, выплескивалась из арыка и растекалась по горячему асфальту. Машины, летя по дороге, обдавали брызгами прохожих с ног до головы. Рядом в чайхане царило сонное спокойствие. Малика еще несколько раз надавила клаксон, и из дверей чайханы как ветер вылетел ее шофер, молодой джигит с тоненькими щегольскими усиками, а в дверях за ним появился Кудрат. Малика сделала вид, что не заметила Кудрата, и велела шоферу позвать чайханщика. Шофер покорно приложил руки к груди и в мгновение ока развернулся, чтобы тут же привести чайханщика.

Чайханщик поспевал за ним, торопился изо всех сил, и его грузное жирное тело ходило ходуном под просторной белой навыпуск рубахой, забавно было видеть этого огромного человека с переваливающейся утиной походкой — к лицу его приклеился невыразимый испуг, он перекидывал с плеча на плечо свой развязанный кушак и всем видом изображал послушание и покорность. Еще не зная, в чем дело, видя разгневанную председательшу, он замер, как провинившийся школьник и опустил голову, переминаясь с ноги на ногу.

— Здравствуйте, ападжан! Что случилось, ападжан?

Чайханщик поднял свои заплывшие жиром глазки и опять виновато их опустил.

— Что это? — Малика грозно указала на растекающуюся по горячему асфальту воду.

Чайханщик взглянул и снова опустил глаза. На его лоснящемся лице выразилось крайнее страдание и бесконечная печаль, он пожевал губами и ничего не сказал.

— Я вас спрашиваю? — Малика повысила голос.

— Извините, ападжан, я не знал, ападжан...

Тонкий плаксивый голос чайханщика был умело рассчитан на то, чтобы вызывать жалость. Старый плут просто насмехался над Маликой. Он никогда не ответит на вопрос прямо. Всему на свете он противопоставляет только одни хитрые увертки, а вернется в чайхану и будет посмеиваться над ней со своими бездельниками-клиентами, рассказывать, как очередной раз увернулся и провел председательшу.

— Мужчине в вашем возрасте не пристало быть таким несолидным!

Малика брезгливо отвернулась от чайханщика, встретилась с внимательным взглядом Кудрата и растерялась. Первым желанием было плюнуть на все, броситься в машину и уехать, она даже сделала шаг к машине, где в полной боевой готовности застыл шофер, но передумала. Кудрат не решался без приглашения подойти и оставался на крыльце чайханы. Малика негромким, но не терпящим возражения голосом приказала:

— Немедленно вычистите трубу, и чтоб я больше этого не видела. Понятно вам? Сегодня же проверю.

— Виноват, ападжан. Виноват, простите,— тихонько пробормотал чайханщик, пятясь назад. Так он пришепетывал и пятился, плечи его были приподняты, как будто он только что получил по шее, а потом быстро развернулся и с неожиданной ловкостью, как тушканчик, юркнул в двери чайханы.

— Здорово вы его,— засмеялся подошедший Кудрат.

Малике было тоже немножко смешно видеть, как старый плут разыграл сцену испуга и раскаяния. Только что сердито сверкающие глаза Малики потеплели, и по лицу разлился свет, который в иные минуты делал ее красоту живой и почти неотразимой. Округлым, плавным движением она пригладила выбившиеся завитки волос возле ушей, одернула ворот атласного платья, чуть прикрыв кокетливый вырез на груди. Кудрат очень близко подошел к ней, она невольно отступила назад и взялась за ручку машины, готовая к бегству. Она никогда бы не подумала, что может так растеряться, увидев вблизи человека, который, как ей известно, неравнодушен к ней. Оказывается, она не представляет, о чем так вот с глазу на глаз говорить с ним? Как странно, ведь этот рослый красивый молодой человек к ней сватался. Он хочет на ней жениться. Было от чего закружиться голове.

— Здравствуйте,— Кудрат, видимо, тоже чувствовал себя не очень-то уверенно, он не решился даже подать руку — рука повисла в воздухе, потом поправила галстук, проверила пуговицы на пиджаке.— Я хотел с вами встретиться и поговорить...

Малика успокоилась. Краска сошла с ее щек, взгляд стал уверенным, она отпустила ручку машины и выпрямилась. Если местом встречи он избрал контору, стало быть, разговор деловой.

— Зайдемте в кабинет? — предложила Малика.— Поговорим не на бегу.

— Нет... я... Вы, кажется, куда-то едете? — Растерянность молодого человека, его сбивчивая речь тронули Малику. Приятно, когда джигит теряется возле тебя. До этого ей не часто случалось испытать такое. Никто не подстерегал ее, чтобы вот так сбивчиво заговорить о том, что у него на душе, и ведь не мальчик, опытный и даже, к сожалению, однажды разведенный мужчина. Неудачно они встретились, на людях, у конторы.

— Я бы поехал с вами, если не возражаете,— вдруг нашелся Кудрат.— По дороге и поговорим.

— Такое срочное дело? — внимательно посмотрела на него Малика.

— Как вам сказать,— Кудрат задумался.— Пожалуй, лучше я подожду вас здесь.

Нет, Кудрата не задела холодность этой красивой властной женщины. У председателя такого колхоза, конечно, должно быть полно всяких важных и срочных дел. Если не считать сватовства и некрасивой сцены в школе, между ними в сущности ничего и не было общего. Сватам в ее доме дали очень уклончивый ответ. Нет, не зря директор школы предупреждал — Кудрат еще пожалеет о своей резкости по отношению к председательше, не следовало разговаривать с ней в таком вызывающем тоне и закрывать дверь перед самым ее носом. Да, получилось не очень хорошо, но другого выхода у Кудрата не было, он не мог допустить, чтобы его урок прерывали посторонние люди. Он отстаивал свой принцип, несмотря на то, что всего за несколько дней до этого злополучного урока сватался к этой женщине.

— Что ж, поехали,— Малика гостеприимным жестом открыла заднюю дверцу машины и сама села впереди.

Кудрат с непонятной для себя готовностью сел в машину. Странная женщина, каждую минуту меняется. Только что была суровой, а теперь — садись в машину. Бог ее знает, какая в ней привычка властвовать, принимать решения за себя и за других. В школе ему говорили: «Женитесь на этой женщине — наплачетесь, ваша жизнь будет похожа на каторгу. Она умеет только приказывать. Наверняка и дома будет обращаться с вами как с подчиненным». Но Кудрат был не из тех людей, кого легко переубедить. Малика сразу понравилась ему, еще тогда, когда поливала цветы в своем кабинете. Только потом он узнал, что она не была замужем. Зародившееся в душе желание превратилось в решение, и он попросил ее руки.

Машина остановилась у дома Камала. Малика взяла с сиденья сверток и пояснила Кудрату, выходя из машины:

— Нужно поздравить ударницу. Жена нашего бригадира, он сейчас работает в пустыне. Первой выпол-

нила план сдачи коконов. Хочу поздравить лично, вчера не смогла, поздно вернулась с заготпункта.

— Напрасно вы меня не предупредили, я бы пришел не с пустыми руками, преподнес бы цветы.

Кудрат еще не освоился в кишлаке, где не принято дарить цветы. Ведь цветы здесь кругом и порой их даже не замечают.

— Вот бы удивилась Нигора гостю с букетом цветов,— улыбнулась Малика.

У калитки Малика задержалась, взглянула на молодого человека через плечо и улыбнулась еще раз, ей очень понравилась мысль о цветах, ведь и ей никто не преподносил цветы. Ямочка на правой щеке, казалось, осветила лицо молодой женщины нежным светом. У Кудрата дрогнуло сердце.

— Странно все-таки, как вы могли променять Ташкент на наш скромный кишлак...

— Будущее не угадаешь, Малика-хон,— пожал плечами Кудрат.— Может быть, мне судьба жить в вашем кишлаке.

— Вы не похожи на суеверного, который верит во всякие небылицы вроде судьбы, рока и прочей чепухи. Человек сам хозяин своей жизни. Разве вам это не известно? Хотя вы ведь большой любитель всяких сказок... Особенно, если мне не изменяет память, о Гороглы?

В намеке Малики не было подвоха, скорей это было предложение предать происшедший в школе инцидент забвению. Кудрат покраснел, но пока обдумывал ответ, Малика толкнула калитку и вошла во двор.

Посреди айвана за хантахтой три очень похожих друг на друга мальчика дружно уплетали из большой миски каймак с хлебом. Глаза Нигоры с тихим счастьем следили за детьми.

— Мама, он съел мою лепешку! — завопил Султан, нос и щеки которого были перемазаны сметаной.

— Не я! — Суван оттолкнул младшего локтем.

— Не ври! — Султан хотел было удариться в рев, но передумал.— Ты съел, отдай!

— Доставай! — согласился Суван и широко разинул рот.

— Мама, он съел! — Султан захныкал.— Жадина!

— Ты посмотри на столе, там есть еще лепешка,— улыбнулась мать.

— Он мою съел!

— А разве другая лепешка хуже?

Сиявуш не вмешивался в спор братьев, он, не поднимая головы от миски, старательно уписывал за обе щеки и только пыхтел.

— Вы лучше берите пример с брата, ест себе и не балуется. Молодец, Сиявуш. Целый день бегают, воюют, даже за столом не могут посидеть спокойно, будто без их шалостей земля перестанет вертеться!

— Эй, едоки, а нам каймака оставите? — весело сказала Малика, подходившая никем не замеченной по дорожке к айвану.

Засмотревшаяся на сыновей Нигора вскочила с места, она быстро оправила платье, сунула босые ноги в калоши и поспешила навстречу гостям. В последнее время Малика чаще бывала у нее в доме, и бывшая дружба женщин понемногу стала восстанавливаться, поэтому они поздоровались, обнявшись. Нигора мельком, но внимательно взглянула на Кудрата и, потупившись, тихо с ним поздоровалась.

Дети, перемазанные сметаной, с интересом уставились на неожиданных гостей.

— Проходите в дом, апа, проходите...

— Что делать в комнате, когда так хорошо на вольном воздухе,— сказал Кудрат и направился к детям. Он подал руку Султану и сказал.— Я думаю, нам надо познакомиться. Ну, давай руку.

Султан посмотрел на протянутую руку незнакомого человека, потом быстро взглянул на свою, измазанную в сметане. Нет, такую руку подавать было нельзя, он растерянно уставился на незнакомца. Кудрат сразу разрешил все сомнения малыша, он взял лежавшее на столе полотенце и вытер Султану руку, а заодно и лицо.

— Ну вот, можно и знакомиться. Теперь мы чистенькие.— Кудрат дернул Султана за нос. Ребенок не знал, как реагировать: то ли засмеяться, то ли обидеться,— и отодвинулся. Однако Кудрат похлопал его по узенькой спинке и, прижав к груди, чмокнул в упругую румяную щечку.— Меня зовут дядя Кудрат. А тебя?

— Султан,— прошептал мальчик. Дядя Кудрат ему явно понравился.

— Вот как, ты Султан? А почему нагишом? Ты знаешь, что такое султан? Султан — это царь, понимаешь, падишах! У него все есть!

— И даже конь?

— И даже конь.

— И сабля?

— И конь, и сабля, и очень-очень много штанов. А ты утверждаешь, что ты султан, но ходишь без штанов.

Кудрат пощекотал голопузого малыша, тот, громко засмеявшись, вырвался у него из рук, подбежал к матери и шепотом потребовал:

— Где мои штаны?

— В комнате, в шкафу. Иди, сам возьми и одень.

— Эти я не хочу. Я с карманами хочу,— Султан настойчиво теребил материнский подол.

— Ты что, не видишь, у нас гости? Суван, сынок, ну-ка, одень брата!

Сувану, конечно, было обидно — он должен заниматься братом, вместо того, чтобы познакомиться с новым дядей, и он ткнул Султана локтем в бок.

— Нужен он мне, пусть сам идет и одевается. Все время хнычет, такой противный,— забубнил было он, но, увидев строгий взгляд матери, все-таки пошел в комнату за штанами Султана, при гостях нельзя было ослушаться.

Нигора мигом переменила на хантахте скатерть, принесла сладости, поставила чашу каймака, налила в пиалы чай. Кудрат, чтобы не мешать женскому разговору, занялся детьми.

— Как тебя зовут? Сиявуш? О, это здорово! Ты знаешь, кто такой был Сиявуш? Знаменитый богатырь, он ни в воде не тонул, ни в огне не горел. Вот, ты удивляешься, что человек в огне не горел, да? Вот так, не горел и все. Знаешь, что для этого нужно? Одно волшебное условие...

— Какое? — Сиявуш затаил дыхание.

— Человек должен быть совершенно честным, понял? — Кудрат сделал при этом таинственный вид и прищурил глаза, он сообщал мальчику важную тайну, которая была заключена в сказочном имени.— Сиявуш был сыном падишаха. С детских лет он никогда не говорил неправды, помогал хорошим людям, ну и, вообще, был добрым и веселым человеком. Конечно, злодеям и завистникам это было ой как не по вкусу, и решили они его погубить. Думали, думали и наврали на него отцу, возвели страшную клевету. Опечалился падишах, но Сиявуш ему говорит: прикажи, отец, раз-

жечь костер до неба, а я на своем коне прыгну через этот костер. Если есть на мне хоть пылинка той вины — упаду в огонь, сгорю и тебе не будет стыдно перед людьми, что у тебя такой плохой сын. А если невиновен, то останусь цел и невредим, тебе на радость, матери на утешение. Повелел падишах, и стали его подданные собирать дрова на костер — три дня и три ночи собирали, собрали целую гору и подожгли. Разгорелся костер, разбежался конь, прянул вместе со всадником через бушующее пламя... И огонь не тронул Сиявуша, потому что он был честный и добрый человек!

Нигора краем уха прислушивалась к учителю и видела, с каким вниманием, раскрыв глаза, слушал Сиявуш сказку. Камал тоже занимается с детьми, иногда и сказку расскажет, и читает много, но не умеет так, как учитель. Вон какую сказку рассказал! Наверное, придумал специально, чтобы убедить Сиявуша, что у него замечательное имя. А может, прочитал? Как в мире много всего такого, чего она не знает и даже не слышала. Вертишься с рассвета до заката по хозяйству, тут не до сказок. Дети же и не дадут почитать: мама то, мама это... Было бы свободное время, она бы читала, читала, читала... Когда-то она тоже ходила в кино, читала книги... Да еще какие книги... «Минувшие дни» она перечитывала три раза и каждый раз плакала над ними. Однажды мать даже шлепнула ее этой книгой по голове. Что это за глупая такая книга, если ты над ней каждый раз принимаешься реветь? Ах, какая была книга! До сих пор живы в памяти герои «Минувших дней»... А читанные в детстве «Тахир и Зухра», «Лейли и Меджнун»... Как она плакала о несчастной Зухре, которая, преодолев все трудности и пережив все страдания, не выдержала последнего испытания... Нигора до сих пор помнит эти стихи с заключенной в них великой мудростью о том, как надо любить и верить до конца. Зухра собрала и сложила в одну корзину останки изрубленного на куски Тахира и носила корзину на голове: если сорок дней она проносит корзину на голове — Тахир оживет. Тридцать девять дней бродила Зухра по горам и пустыням, тридцать девять дней не спускала корзину с головы, а на сороковой день, уставшая и измученная, вышла она к берегу реки, где какая-то старуха чистила песком чугунный котел. «Бабушка, что вы делаете? — сказала

Зухра.— Разве от того, что вы будете тереть чугунный котел, он станет белее?» Ведьма в ответ прохрипела: «Если ты носишь изрубленного Тахира на голове и надеешься, что он оживет, почему же не побелеет мой котел?» Она права, подумала Зухра и поставила корзину на землю. И тогда из корзины раздался тяжелый вздох: «Ах, Зухра-хон, вы терпели тридцать девять дней, а на сороковой у вас не хватило терпения и веры!» Поняла Зухра, что обманула ее злая ведьма, и безутешно заплакала. Плакала в этом месте и Нигора, она и сейчас не может остаться равнодушной, перечитывая эти волнующие строки. Правда, теперь некогда читать, времени на сказки не хватает, дел полно; нужно и сготовить, и за скотиной присмотреть, и в поле; хорошо, что председательша хоть и насильно, а заставила отправить детей в детсад, от них от троих голова кругом...

Из дому медленно и важно вышел Султан в джинсах, руки он держал в карманах и этим обстоятельством был особенно доволен и горд.

— Теперь другое дело,— сказал Кудрат.— Теперь похоже, что ты действительно Султан. Брюки что надо. Не иначе фирменные?

— Нет, мои,— не согласился Султан.— Папа привез.

— Я думаю, папа тебя очень любит, а?

— Конечно, любит,— Султан согласно кивнул головой и прошелся по двору, не вынимая рук из карманов, чтобы все видели, какие это отличные брюки, какие на них карманы спереди и сзади, какие блестящие клепки. Но это было еще не все, чем решил удивить гостей Султан.

— А что у меня есть? — Султан вытащил из кармана два грецких ореха.

— Хвастун,— сказал Суван.— Подумаешь, два ореха!

Но на дядю Кудрата орехи произвели огромное впечатление, он удивился и сразу спросил:

— Слушай, давай, тебе один и мне один и будем друзьями, а?

— Берите,— щедро улыбнулся Султан и положил на большую ладонь дяди Кудрата орех поменьше.

— А мне? — неожиданно попросила Малика и тоже протянула руку.— Разве мне не дашь?

Но теперь у Султана остался только один орех, и это в корне меняло дело. Султан явно не хотел расставаться с орехом и в затруднении растерянно хлопал глазами.

— Не отдаст,— засмеялся Суван.— Такая жадина-говядина!

— Сам жадина,— задумчиво ответил брату Султан и быстро показал язык, затем повернулся к Малике и хитро прищурился:

— А разве у вас нет своих орехов?

Малика сделала грустное лицо и покачала головой:

— Нету, Султанчик.

Султану стало жалко красивую тетю, но отдавать орех он не торопился. Все-таки это был последний орех.

— А что у вас есть?

— Я могу на машине покатать!

Султан прикинул выгоды обмена, последний раз взглянул на орех, с сожалением вздохнул и протянул его красивой доброй тете. Беря орех, Малика со смехом схватила в охапку и самого мальчика и посадила к себе на колени. Султан сконфузился, но крепко обнял ее за шею.

— Ишь ты! Это еще что такое! Оставь апу,— засмеялась Нигора, любящими глазами следившая за своим младшеньким.

— Тут уж он сам решит, ведь он Султан,— улыбнулся Кудрат.— Никто не имеет права ему приказывать. Верно?

Султан утвердительно качнул головой, глаза его весело блестели. Ласково прижимая к себе мальчика, Малика украдкой взглянула на Кудрата. Удивительно быстро освоились дети с учителем; два-три слова, рассказал сказку, и вот уже они смотрят ему в рот. Ведь дети такой народ, их трудно обмануть, они сразу угадывают, какое у человека сердце. Плохого человека они бы так не приняли. Видно, и Кудрат любит детей — вот они к нему и тянутся. Как бы он любил своих? Ведь разошелся с бездетной женщиной. Может, это к лучшему... Могут и у них с Кудратом родиться такие же быстроглазые сыновья... Малика отмахнулась от смутивших ее мечтаний, спустила с колен Султана и, встав, поманила к себе Нигору.

— Я думаю, у учителя в запасе есть еще не одна

сказка, пусть дети побудут с ним. Нам надо кое о чем поговорить.

Женщины прошли в комнату, и Малика сказала, подавая Нигоре сверток:

— Я ведь пришла поздравить с трудовой победой. Вы первой выполнили план...

Эти простые слова застали Нигору врасплох, она от удивления закусила палец и раскрыла глаза, ей было приятно, что ее старания вознаграждены, что ее труд отмечен признанием.

— Всех перевыполнивших план мы решили наградить ценными подарками. Надеюсь, это вам понравится.— Малика улыбнулась и развернула переливающееся яркими цветами платье из хан-атласа.— Поздравляю вас! Носите на здоровье!

— Какое красивое! — Нигора нерешительно протянула руку, пощупала скользящий шелк, глаза ее радостно и гордо вспыхнули. Она живо прикинула платье на себя.

— Да примерьте,— подтолкнула ее Малика.— Сшито на глазок, но, мне кажется, как раз впору.

— Потом,— Нигора смущенно покачала головой, положила платье на постель.

— Нет, нет! Так не пойдет. Примеряйте сейчас же, а то я обижусь! Я сама выбирала для вас подарок, заказывала платье. Хочу, чтобы вы выглядели нарядной и красивой. Вы меня обижаете. И вообще, знаете, я к вам от всей души, а вы меня, я вижу, дичитесь. Почему? Разве это плохо, если мы с вами станем, как раньше, добрыми подругами? Может быть, вы против? Тогда я могу и вовсе не беспокоить вас, вы только скажите...

Малика невольно высказала наболевшее на душе. С некоторых пор она особенно стала замечать свое одиночество. Школьные подруги давно повыходили замуж, разъехались, из тех, с кем она была близка, никого не осталось. У всех свои заботы, семьи, постепенно перестали даже навещать друг друга, а чем реже видишься, тем меньше общих интересов, тем сильнее отчуждение. Малика и не заметила, как, с головой уйдя в работу, думая только о делах, осталась без друзей. С Камалом и его женой они были довольно близки, она помогала им на свадьбе... А вот со свадьбы все переменилось, вскоре она и вовсе перестала ходить в их дом. И не из-за каких-нибудь скрытых обид или

вражды, просто все силы забирала работа. Нелегкое дело — руководить большим хозяйством. Странно получается, все силы уходят на заботу о людях, об их благополучии, а тем временем именно от этих людей и отдаляешься. Человеку нужны друзья. Ее долг, как она его понимает, цель всех ее стремлений, в конечном счете,— успехи колхоза, а значит, благополучие людей. Занятая этой важнейшей заботой обо всех людях колхоза, она теряет связи с отдельными людьми. Да и колхозники уже давно не разговаривают с ней по-соседски просто. Для них она прежде всего начальник. Апа. С ней все, от мала до велика, говорят только о делах. Порой кажется, что в кишлаке даже избегают ее. Почему? Что же она, злая ведьма? Понапрасну обижает людей? Ведь она душой тянется к людям. Нет, тут уж ничего не поделаешь, отношения между людьми определяет работа, вот и ее с бывшими сверстниками, подругами, соседями теперь связывает и разводит прежде всего работа...

— Зачем вы так говорите, ападжан? — Нигора еще раз взглянула на платье. Может ли устоять перед красивой вещью сердце женщины!

— Апа, если вы будете хоть иногда заходить в наш дом, мы будем просто счастливы!

Малика искренне обрадовалась сердечным словам Нигоры.

— Ну вот! Спасибо! Мы ведь с детства знаем друг друга! Что бы ни случилось, знайте, я ваш друг!

Нигора была взволнована неожиданным разговором и не заметила, как села на подаренное платье.

— Ой, что вы делаете! — Малика потянула Нигору за руку.— Помнете! Сейчас же раздевайтесь!

— Зачем?

Малика засмеялась от души. Нигора какой была, такой и осталась: простая, бесхитростная, с чистой душой и светлым сердцем. Для нее на свете ничего нет важнее семьи и детей. Муж, дети, хозяйство. Хозяйство, муж, дети. Несложный, но какой непростой круг интересов. Все близко и понятно, не то что у председателя — одни неразрешимости, прежде чем что-нибудь предпринять, надо семь раз примерить: что скажут люди, как отнесется руководство. А у Нигоры — один начальник, самый главный, самый близкий человек — ее муж, Камал, и одно счастье с ним — дети.

— Переодевайтесь, примерим!

— Ах да...— Нигора взялась было за подол своего платья, но застеснялась раздеваться при Малике, спряталась за дверцу шифоньера.

В новом платье Нигора как-то притихла и с тревогой глянула на себя в зеркало.

— Очень хорошо! — Малика обошла Нигору вокруг, поправила кокетку, рукав, взяла за плечи, повернула перед зеркалом кругом.

— Хорошо? — недоверчиво переспросила Нигора. От ярких цветов хан-атласа лицо ее порозовело, в глазах пробивалась робкая надежда.

— То, что надо! — Малика не могла сдержать собственное удовольствие, обняла и поцеловала Нигору.— Ходите всегда такой нарядной! Вообще не снимайте это платье, оно вам так идет! И нечего его жалеть!

В душе Нигоры шевельнулось противоречивое чувство, ведь она не бедная родственница. Может, Малика думает, что ей нечего одеть, если застает ее каждый раз в затрапезном платье, калошах на босу ногу? Если бы надо было приодеться — в сундуках много чего припрятано и лежит до поры, немало там дорогих нарядов, есть и хан-атласы... Да, она бережет их на праздничные светлые дни, за это и муж упрекает. Конечно, надо радоваться жизни, наряжаться... Но когда? Весь день она разрывается между очагом и коровником, детьми и полем. Работа от темна до темна. В гости? Забыла, когда и ходили: несколько свадеб, рождений, вот и все гости. Нет уж, видно, прошло ее время, о нарядах она и думать забыла. Редко когда взглянет на себя в зеркало. А вот сейчас присмотрелась к себе — и ведь ничего, не хуже других. Конечно, иные модницы и на хлопке работают в хан-атласе... Могла бы и Нигора так-то, не бедные: корова, теленок, четыре овцы, значит мясо свое, отличный дом, хороший сад, недаром муж агроном, да и зарабатывают они прилично. Есть на что жить, на что одеться... В другом дело...

А Малика уже распустила ей волосы, гладко причесала.

— Ну, совсем красавица! Нет, Камал приедет и вас не узнает!

— Ой, если так, то лучше не надо,— отмахнулась со смехом Нигора.

— Вы очень любите своего мужа?

Нигора от такого неожиданного вопроса смутилась. По правде сказать, она и не задумывалась об этом. Не любовь, судьба свела их с Камалом. На жизнь она не жалуется, живут неплохо, может и не мед, но и не горько. Чего не бывает между мужем и женой, особенно в начале пути, а уж с тех пор, как пошли дети, она порой не успевает и заметить настроение мужа. Ее дело стараться угождать ему, так уж заведено от века. Встает она раньше всех, греет воду для умывания, пока он умывается, готовит завтрак. Вечером, покормив детей, ждет его возвращения и не станет ужинать одна. Когда Камал идет из дому, Нигора не допрашивает, куда да зачем. У каждого свои заботы, и женщина не должна понапрасну вмешиваться в мужские дела. Так учила ее мать. Верно говорят, если женщина пристает к мужу с вопросами — она будет несчастной. Не забываются материнские наставления. Жалко, конечно, что из-за забот да хлопот, из-за постоянной работы не может она одеваться, как Малика, например, но стоит ли жалеть об этой мелочи ей — матери трех замечательных сыновей? Главное, все здоровы и нет долгов! Муж? Муж как муж. Любовь? А что это такое, если не семья и дети? Нет, они с Камалом не Тахир и Зухра...

— Что задумались? — улыбнулась Малика, поднимая и закалывая ей волосы на затылке.

— Да кто ее знает, апа, эту любовь? — Нигора, видимо, еще искала правдивый ответ на поставленный вопрос.— Живем же.

Малика позавидовала прямодушию и бесхитростности этой маленькой усталой женщины. Ее счастье в ее бесхитростности.

— А кто этот человек, апа,— тихо спросила Нигора.— Комиссия?

Пальцы Малики дрогнули и снова побежали по красивым волосам Нигоры. Она почувствовала, как кровь прихлынула к лицу.

— Похож на комиссию?

— Не знаю.— Нигора пожала плечами.— Детям сказки рассказывает, вроде не комиссия. Но вид такой...

— Какой?

— Солидный, в галстуке. И вообще, раз приехал с вами, значит, не маленький человек.

...Вскочил Суван-хан на своего скакуна и вылетел из ворот навстречу полчищам врагов. Увидел его шах Карахан и спросил своих приближенных. Кто этот богатырь? Они отвечают: Суван-хан, падишах, и нет ему равных! Послал на него шах Карахан своего любимого богатыря Талмаса. Повалил Суван-хан Талмаса, наступил на грудь ногой, обрезал нос и уши, посадил на коня задом наперед и отправил обратно. Увидел шах Карахан своего богатыря без носа и ушей, совсем испугался, отправил против Суван-хана девять лучших стрелков из лука...

— Какой у него красивый голос,— прошептала Нигора.

— Новый учитель.— Малика в нерешительности помолчала и добавила шепотом.— Хочет на мне жениться.

— Ой!? — Нигора даже рот открыла от удивления.— Жениться?

— Присылал сватов.

— Ну, и что вы ему ответили? — Малика молча подсела к Нигоре на постель, обняла ее за плечи, притянула к себе.

— Ох, пока ничего...

— Странная вы. Извините, конечно, но чего ждать?

— Не знаю. Человек у нас новый.

— Мне он с первого взгляда понравился. Хороший человек,— сказала Нигора убежденно. Сейчас, после дружеского разговора, она искренне желала председательше простого женского счастья.— Кого вы ждете, если вам даже такой мужчина не подходит? Так и состаритесь, среди председательских забот не заметите!

Искренняя простодушная Нигора сама того не ведая, задела больное место в душе Малики, ведь уже не те годы, прошло время выбирать. Теперь ее выбирают, да все что-то не выберут. Вот если бы знать — судьба это или не судьба... Но не родился еще человек, чтобы знать ответ на такой вопрос.

— Заметили, как любит детей? Это же хорошо! Родите ему трех сыновей — и порядок. Конечно, с детьми не полетаешь, покоя не будет, хлопот прибавится, зато, поверьте, ападжан, и усталости знать не будете! Нечего раздумывать, выходите, да и все!

Малика сидела, уставившись в одну точку, слова Нигоры не доходили до нее, мысли путались, и что-то мешало сосредоточиться...

...И в другой раз наехал Суван на врагов, поднял свой меч и начал крушить вражьи полчища. Но лучники шаха Карахана затаились в засаде и разом пустили в него отравленные стрелы. Зашатался Суван-богатырь и повалился на своего доброго коня. Изрубили бы Сувана враги, но умный конь вынес наездника из боя, и сколько ни гнались враги, не могли его догнать...

Очень уж любит он сказки,— подумала Малика.— Странный какой-то, ведь жизнь — не легенда.

— А ведь правильный, знаете, обычай выдавать замуж пораньше,— сказала Малика.— Молодость ничего не страшится, а с возрастом человек в этом вопросе становится трусливым. Все обдумывает на десять рядов, не хочет рисковать. Только и знает, что отмеривает, отмеривает, а отрезать боится...

— Да что тут раздумывать, апа. Нечего раздумывать, поверьте!

— Правильно, но в моем возрасте поздно рисковать, я должна все обдумать и решить. Не будет времени исправить ошибку.

— Но если нет ошибки и вы напрасно сомневаетесь? — улыбнулась Нигора.

— Проснешься ночью — голова как в огне, все думаю, думаю, думаю... Ничего и не надумаю,— устало усмехнулась Малика. Взгляд у нее стал печальный, казалось, в глазах вот-вот блеснут слезы.— Зачем мне все это, если личной жизни нет? Может, бросить все, ведь один раз живем, правда? Да нет, всего не расскажешь...

— Говорите, говорите, на сердце легче станет,— Нигора взяла Малику за руку.— Вы думаете, мне легко? Иногда тоже хочется убежать на край света. На детей кричу, с мужем ругаюсь... Он уж в такие минуты молчит, знает мой характер. А так-то он тоже не ангел...

— Неужели бьет?

— Да не сказать, что бьет,— Нигора отрицательно покачала головой, не стыдясь по-женски приоткрыть семейные тайны.— По пустякам он пальцем не тронет. Зато как посмотрит иной раз, душа в пятки уходит. Поневоле умолкнешь.

Простота и чистосердечная доброта Нигоры тронула Малику, и она погладила ее худенькое узкое, но жилистое плечо. Ей было приятно, вот так по-женски

поговорить о таинственном, неизведанном, но притягательном, о том, что ее неудержимо влекло и чего ей так недоставало.

...вот каким отважным и добрым был могучий Суван! И все мальчики должны стараться быть такими же добрыми и благородными, как этот богатырь...

Пора было подавать чай, и Нигора прогнала детей на улицу, чтобы они наконец оставили Кудрата в покое. Она пригласила гостей к дастархану, заварила и разлила свежий чай.

— Отец приучил этих негодников, тоже иногда рассказывает им сказки. Кто бы ни пришел, они так и глядят в рот, а не расскажут ли им сказку про всяких богатырей да волшебников...

— Ваш муж очень правильно поступает,— сказал Кудрат.— Мы должны рассказывать детям сказки, читать дастаны. Нужно воспитывать в их сердцах лучшие чувства.— Он обернулся к Малике.— У меня есть давняя мечта, Малика-хон. Может быть, я найду у вас поддержку. Важное дело. Надо открыть школу сказителей! Нет, не улыбайтесь. Вы, конечно, знаете, что жили когда-то такие прекрасные поэты-бахши Эргаш Джуманбульбуль, Фазыл Юлдаш, поэт Ислам, поэт Пулкан. А ведь не так давно еще в окрестностях Самарканда на тои и свадьбы приглашали сказителей. Иные из них до утра читали дастаны, и гости их слушали затаив дыхание. Без них не проходило ни одно празднество, ни одна свадьба. А теперь даже имена их забываются.

— Смена эпох, у каждой свои потребности, своя обрядовость,— думая о чем-то своем, возразила Малика.— Одно уходит, другое приходит.

— Вы уверены, что теперь не нужны дастаны? Я думаю, нужны. В школах, в домах пионеров есть литературные кружки, а ведь надо с детства знакомить с устным народным творчеством. Я случайно оказался в Киргизии, там нередко в школы приглашают сказителей, они читают «Манас» [1]. Здесь и литература и история. Отчего бы не ввести такую практику и у нас. Было бы желание. Дастаны — это сокровищница языка! А сколько их! О Гороглы — я очень их люблю — более сорока, а циклы «Алкомыш», «Кунтугмыш», «Тахир и Зухра»...

---

[1] «Манас» — киргизский народный эпос.

— Я люблю сказку «Тахир и Зухра»,— вырвалось у Нигоры.— С детства!

— Это не только увлекательно, но и полезно, в воспитательных целях даже необходимо, ведь там пласты народной мудрости! — глаза Кудрата заблестели.

Такая горячая увлеченность Кудрата несколько удивила Малику; в самом деле, солидный человек,— и вдруг на поверку оказывается каким-то чудаком, мечтающим открыть школу сказителей. Неужели для этого он и поджидал ее у конторы? Чтобы разливаться об устном народном творчестве и его влиянии на воспитание подрастающего поколения?..

— Теперь понятно, почему вы поехали в глубинку! Хотите открыть в нашем кишлаке такую школу? — усмехнулась Малика.

Кудрат понял намек Малики и решил шуткой смягчить свою горячность, переменить разговор, ведь эта молодая женщина вовсе не ждала от него доклада на такую специальную тему...

— Я пришел в ваш кишлак, как странник, в поисках счастья,— Кудрат поднял глаза на Малику.

Но перед ним уже была не девушка, ожидающая волнующего признания, тонкого и нежного намека, перед ним была насмешливая властная председательша, апа.

— Счастье не валяется на пыльной дороге, его не вымаливают, как странник подаяние.

Малика резко встала, поднялся и Кудрат, он чувствовал, что, обманув ожидания, совершил оплошность, но до конца не понимал, в чем же дело. За дастарханом осталась только Нигора. Она растерянно поглядывала то на Малику, то на Кудрата, не понимая, какая муха их укусила.

И в этот момент произошла еще одна неожиданность: тихо открылась калитка, и во двор, вытирая грязным платком лицо, вошел старик сумасшедший. Увидев председательшу, он сразу остановился, не доходя до айвана, потоптался в нерешительности, но все-таки протянул руку и сказал:

— Хлеба дай...

Старик тянулся к Нигоре, но смотрел со страхом на председательшу. Не успела Нигора подняться с места, Малика схватила с хантахты большой кусок лепешки и брезгливо швырнула старику.

— Сколько раз я говорила, чтобы увезли дурака в сумасшедший дом! Пока сама не сделаю, никто не сделает! Пошел прочь! Бродит по домам, всех пугает! Ну, чего встал?! Иди отсюда!

Блаженный в последнее время панически боялся председательши и прятался, завидев ее. Но на этот раз не убежал. Он подобрался к валявшейся на земле лепешке, поднял ее, вытер рукавом и, обдувая пыль, пояснил:

— Это не богу, это мне...

Потом он передумал, быстро оглянулся, прокрался к айвану и положил хлеб на перила.

— Твоего не хочу,— он боязливо втянул голову и помахал рукой.— Она даст. Хлеба дай, а? — блаженный посмотрел на Нигору и вдруг улыбнулся, что-то вспомнив.— Знаешь, я нашел золотую коробочку. Твоему отнес,— он погрозил кому-то кулаком.— Теперь его не одолеют никакие черные силы.

Нигора была немного суеверной, и любовь старика к Камалу ее пугала, но вместе с тем и трогала, вот ведь, сходил в Маханкуль, навестил, принес какую-то золотую коробочку; а жалость побеждала и страх и естественную брезгливость. Нигора подкармливала, а иногда и обстирывала старика. Она сбежала с айвана с лепешкой и горстью конфет, сунула старику и хотела побыстрее выпроводить его за калитку с глаз раздраженной Малики, старик, видно, понял ее, послушно повернулся и пошел к калитке, но оттуда, чувствуя себя уже вне досягаемости председательского гнева, обернулся и хрипло закричал, блестя глазами:

— У тебя не сердце, а камень! Плачь! Слезами растопишь, только слезами! Много плачь!

Старик дико захохотал, подпрыгнул, хлопнув себя по ляжкам, как петух крыльями, и с хохотом выбежал на улицу.

Малика стояла растерянная и убитая. Надо же, чтобы такая тягостная сцена произошла на глазах у Кудрата.

Учитель не мог понять, что его больше всего поразило в эти минуты: злой визгливый голос Малики, то, что она бросила старику, как собаке, хлеб, или волшебное превращение одного человека в другого? А может, просто реальность рассеяла зыбкий туман очарования... Оказывается, это совсем другая женщина, вовсе не такая, какую он вообразил... Правильно говорят:

чтобы узнать человека, нужно время... Не появись этот несчастный — Кудрат долго бы не догадался, что красивое лицо Малики, ее нежный пухлый рот, тонко изломанные брови, ее зовущие горячие глаза — все это только маска, подаренная природой жестокосердой злой женщине. Маленькая оплошность, жест, слово раскрыли всего человека: от красоты не осталось и следа. Малика была безобразна, когда кричала на жалкого больного старика.

Малика безошибочным женским чутьем угадала, что произошло что-то непоправимое. Если до прихода сумасшедшего в ее отношениях с Кудратом шло какое-то нарастание, пусть и противоречивое, но развитие, то теперь все рухнуло.

Стыдясь друг друга, они наскоро простились с Нигорой и вышли на улицу. Машина стояла в тени, шофер читал газету и сразу завел мотор, но Малика передумала ехать, отправила его в гараж и предложила учителю пройтись пешком. Она не могла до конца разобраться в происшедшем и, как человек волевой и решительный, не хотела терпеть неизвестности, предпочитая одним махом, как на работе, разрешить создавшуюся ситуацию: воспользоваться случаем и поговорить с Кудратом один на один. Мало ли какие бывают срывы, жизнь всегда подсовывает случайности в самый ответственный момент. Лучше всего поговорить в открытую, с глазу на глаз.

Как и все совестливые люди, Кудрат уже жалел, что стал свидетелем тягостной сцены, где с Малики, о которой он привык думать с душевным волнением, о которой уже привык мечтать, воображая ее своей женой, упала маска... Ему уже казалось, что он сам виноват, останься он ждать в конторе,— и Малика была бы прежней, ничего бы не произошло, не разрушило бы его планы и мечты. Сегодня он хотел поговорить наконец о самом главном, признаться в своих чувствах, просить ее руки. Он должен был благодарить случай, предостерегший его, открывший ему эту чуждую душу вовсе, оказывается, незнакомой женщины, а он, будучи человеком доброго сердца, именно этот случай и считал причиной краха.

Малика уже взяла себя в руки и искоса наблюдала за своим спутником, его смущенное молчание начинало раздражать ее.

— Нам следовало бы поговорить,— Малика реши-

тельно остановилась и повернулась к учителю.— Вы сватались ко мне...

Кудрат остановился, будто наткнулся на невидимую стену. Малика в упор смотрела на учителя и ждала ответа. Молчание затянулось, но теперь Малике все было ясно и без слов, так что когда она услышала учителя, лицо у нее было уже непроницаемым.

— Это была ошибка. Извините,— прошептал Кудрат.

— Я тоже так думаю,— Малика собрала всю волю, чтобы сохранить на лице презрительную усмешку.

Разве могла она заплакать на улице.

Апа не могла себе этого позволить.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Камал пустил на поле воду, когда, оставляя за собой пыльный шлейф, к вагончику подлетели зеленые «Жигули». Нишан распахнул дверцу и поманил Камала. Взгляд агронома не предвещал ничего хорошего.

— Садись, поехали. Срочно!

— В чем дело, ака? Что случилось?

— По дороге расскажу, садись.

Нишан не торопился с ответом и только удрученно качал головой, пока Камал усаживался, пыхтел недовольно и, трогаясь, проговорил:

— Сколько я тебя предупреждал, живи тихо, не лезь на рожон. Теперь сам расхлебывай кашу.

— Да что случилось, ака! Ничего не понимаю!

— Приехал Басит Кадырович. Велено срочно привезти тебя. От Халила-ака и председательши уже перья летят. Думаю, что тебе тоже не конфету дадут.

— Ну, напугали вы меня,— облегченно вздохнул Камал.— Я думал, что-нибудь с детьми. Нельзя так с человеком, паралич разобьет...

— Тебе все шуточки! В колхоз приехал первый секретарь обкома, а? Ты понимаешь? Значит, так, прежде всего заруби себе на носу: не высовывайся. Второе — ни слова лишнего, понял? Спросят, говори: виноват, ошибся, больше, мол, не повторится... Боже упаси спорить, доказывать... Не вздумай соваться со своим мнением, все испортишь! Запомни — сразу говори: виноват, прошу прощения, молодой, исправлюсь, больше не повторится... Повинную голову, сам знаешь, меч не сечет. Ну, я тоже не очень быстро ехал. Думаю, пока

суть да дело, гнев остынет, там громоотводы есть покрепче нас с тобой,— Нишан лукаво прищурился.

Камал слушал и искренне жалел этого трудолюбивого, но сломленного жизнью человека.

Машина шла по старой дороге среди зарослей кустарника. Тамариск еще цвел, радуя глаз своей летней недолговечной красотой, а травы уже поникли, пожелтели, выгорели.

Подъехав к конторе, Нишан оставил машину в тени и проводил Камала до кабинета председательши, а сам остался в приемной. Камал, крепко топая, сбил пыль со своих брезентовых сапог. Сегодня он, как назло, не побрился. В приемную из кабинета доносился незнакомый хрипловатый бас.

— ...А я надеялся, что вы способны на большое, крупное дело. И что мы видим? Какие вы вскрыли резервы? Засеянный хлопком двор детского сада? Школьный участок... Стыдно, товарищи. Казалось бы, мелочь, а как в ней отразилась привычка пускать пыль в глаза! — Кто-то невнятно вставил несколько слов. Бас продолжал: — Не ожидал, признаться, что вы дойдете до такого. Если вы хотели показать свое рвение, то глубоко ошиблись.

Кто-то вздохнул. Чиркнули спичкой. Камалу тоже захотелось закурить, он пошарил по карманам, сигареты забыл в вагончике.

— ...Вместо того чтобы пробуждать у детей, молодежи любовь к природе, вы... В результате дети при виде хлопка будут плеваться, станут ненавидеть его. Как они будут работать в поле? Без души. Но человек не может работать на земле без души... — Говоривший, видимо, ходил по кабинету и, когда шел к двери, слышно было хорошо, отчетливо. — Главное качество человека — совесть, и мы не должны ее терять, дочка. Без совести, без души невозможно не только растить хлопок, но просто жить... Ты, дочка, думала, засеем хлопком кишлак, начальство увидит и зауважает — вот до чего дошли, изыскивая резервы...

Камал открыл дверь кабинета и кашлянул.

— Войдите.

В кабинете было все руководство колхоза, Халилака и двое из райкома, еще двое незнакомых были, видимо, из обкома. У окна дымил сигаретой седой, с мешками под глазами, среднего роста человек с депутатским значком на лацкане. Малика сжалась в комо-

чек на диване, она даже не обратила внимания на Камала. Халил-ака встретил его невеселым взглядом и кивнул головой.

— Ну, вот и он. Проходите-ка сюда. Тут есть еще одно место,— Кадыров внимательно, цепким взглядом оглядел запыленного бригадира. — Прочитали ваше письмо и решили — надо ехать, разбираться на месте.

Видя, что Камал сильно волнуется, Кадыров улыбнулся ободряющей улыбкой.

— Ну, братец, рассказывайте не спеша, все по порядку. Кстати, почему вы не упомянули о том, что вас неправильно сняли с должности, сослали за критику в пустыню. Видимо, ваши идеи кое-кому не по вкусу, вот и отправили с глаз долой, а? Вы считаете это маловажным, непринципиальным и не хотели смешивать важные вопросы и житейские мелочи в одну кучу, так я вас понял?

Кадыров явно хотел разговорить, расшевелить Камала.

— Не хотел. — Камал заметил быстрый тревожный взгляд Малики, видимо, она ожидала другого ответа.

— Понятно.

— Все равно, кому-то надо было ехать. Я не возражал.

— Мы обдумывали с председателем этот вопрос,— вставил свое слово Халил-ака. — Остановились на его кандидатуре, нужно было наиболее грамотно провести работы в Маханкуле.

— До этого вы были агрономом, но против перевода в бригадиры тоже не возражали. Так? Кому-то надо было переходить в бригадиры? — Кадыров улыбнулся. — Против хлопка на участке детского сада вы не возражали тоже?

— Возражал, но это, как мне кажется, мелочи и не имеет прямого отношения к тому, что я писал в письме.

— А я думаю, это еще важнее Маханкуля,— Кадыров затянулся, стряхнул пепел и оглядел сидящих. — Удивляюсь, как можно было додуматься до такого. Малика, допустим, ошиблась по молодости, но что думали вы, Халилджан? Что ты молчишь, дочка?

— Басит Кадырович, я подумала над вашими словами и хочу сказать. Что бы я ни делала, я всегда думала о плане, о благе людей. — Глаза Малики блеснули обидой, видимо, она все-таки считала, что выслу-

шивает незаслуженные упреки. — Разве мы хотели... Мы думали добавить хотя бы еще горсточку хлопка к нашему урожаю.

— А ты подумала, что, лишая детей красоты, ты поступаешь не только не умно, но и жестоко? — Кадыров подсел к Малике на диван. — Я боюсь, что тебя испортила ранняя слава. Трудно с ней жить. — Он встал, стряхнул пепел в пепельницу.

Камал видел, что от слов секретаря лучистые глаза Малики потускнели, должно быть, она сдерживала в душе злое чувство, губы у нее сжались и лицо побледнело, пальцы нервно теребили кружевной платочек. Не выдержит и заплачет, подумал Камал, она не привыкла выслушивать критические замечания. Ее только хвалили, и вдруг...

— На активе вы же сами говорили: главное — хлопок, хлопок и хлопок! — Малика собралась с духом, и голос ее дрожал, выдавая сдерживаемое волнение.— И у нас все думы были только о хлопке.

— Что ж, тут ты, может быть, и права. Уж слишком мы бываем односторонними. Нет, самые наипервейшие и наиважнейшие наши заботы не дают нам право замыкаться только на хлопке... Сейчас у некоторых выработалась привычка все сваливать на хлопок. Нет, человек живет не ради хлопка! — Кадыров крепко взялся сильными руками за спинку стула.— В этой связи мы и вернемся к Маханкулю. Уничтожаем тоже «ради хлопка». А ведь стоит подумать, взвесить все «за» и «против».— Кадыров опять посмотрел на Камала.— Вы в этом отношении абсолютно правы. Ради престижа, дутой славы мы готовы искалечить нашу землю, нанеся тем самым урон не только себе, но и грядущим поколениям.

— Там не о чем говорить, ничего кроме саксаула и тамариска. Пустыня,— Малика пожала плечами.— Разве не наша задача превратить пустыню в цветущий сад?

— Думаю, это неглубокое, поверхностное отношение к природе,— отмахнулся Кадыров.— Общие красивые слова, от которых мы уже натерпелись, а дела очень уж маленькие, величиной с пришкольный участок, засеянный хлопком.

— Извините, можно, я поясню,— вмешался Камал.— Что касается детского сада, пришкольного участка... В этом, конечно, мы все виноваты.— Камал мельком

взглянул на Малику, но она смотрела мимо него, как будто его здесь не было.— И я, может быть, больше других.

— Почему? — удивленно спросил Кадыров.

— За землю в первую голову отвечает агроном,— Камал перевел дыхание, после этих слов ему было уже легче.— Агроном виноват, если хлопок сеют где попало. Ведь каждый должен отвечать за свой участок работ. Если все взвалить на председателя...

Малика удивленно подняла брови, она не верила своим ушам. Человек, который только недавно обвинял ее в жестокости к детям, ее же и защищает. Зачем он это делает? Почему не воспользуется случаем свести счеты, почему не скажет, что с самого начала противился и из-за этого шел на конфликт? Хочет показать свое великодушие? Напрасно, Малика не нуждается в такой снисходительности.

— Что ж, если понадобится, спросим и с вас. А теперь расскажите нам всем о значении Маханкуля, почему вы ратуете за его неприкосновенность. На свете, как я понимаю, много таких пустынь и полупустынь, нет надобности все их сохранять, придет время, когда мы заставим их служить человеку. Но если мы решим сохранять Маханкуль, мы должны четко и детально знать, в чем его ценность. Вы готовы?

Камал с благодарностью посмотрел на секретаря обкома.

— В Маханкуле ценны и флора и фауна, и там и там есть эндемичные виды, которые больше нигде не встречаются или находятся в мире на грани исчезновения. Только здесь произрастает такая редкая трава, как патлок, из нее производят лекарство от гипертонии. Но не только патлок, можно назвать еще десяток растений, исключительно важных для медицины. Перспективны семена песчаного дерна. Состав этих семян близок к пшенице, в нем есть ценнейшие вещества, необходимые человеку, сейчас наука занимается технологией обработки. Я уже не говорю о том, что саксаул и тамарисковые заросли создают круглогодичную базу для животноводства. Все знают, что с конца зимы и до пробуждения пастбищ мы мечемся в поисках кормов, а тут резервы прямо под руками. Я просто не могу перечислить все, что таит в себе полупустыня...

— Ну, как, Малика-хон, можно верить словам этого увлеченного человека?

— Не во всем.— Малика очнулась от задумчивости.— Мы же знаем, какие ветры дуют зимой, животные не выдерживают и дня.

— Если подойти к этому по-хозяйски, построить зимовки, можно будет держать там скот круглый год. В крайнем случае можно взять наиболее удобные периоды года — раннюю весну, позднюю осень. Экономия на кормах для нашего хозяйства, я подсчитывал, могла бы выразиться в десятках тысяч рублей.

— Подождем считать прибыль,— Кадыров зашагал по кабинету.— Пока не проведем пробные выпасы, уверенности быть не может. Но никто, как я понял, не оспаривает самостоятельную ценность полупустынной флоры и фауны... Я думаю, подойти надо комплексно, для начала направим специалистов. В наше время вряд ли разумно принимать умозрительные решения в таких сложных вопросах. Есть специалисты, ученые, доверимся им.

— Если и осваивать новые земли, Басит Кадырович, то рядом массивы Кызылкумов. Они голы и жаждут воды. А разрушать созданную природой красоту... У меня, скажу честно, рука не поднимается!

— Мне нравится ваша горячность, братец,— искренне улыбнулся Камалу Кадыров.— Но и защищая окружающую среду, надо помнить об экономике. Да, природу необходимо, жизненно необходимо беречь как зеницу ока. Но ведь надо считаться и с неумолимой экономикой. Рост численности людей, естественно, вызывает потребность в продуктах сельского хозяйства, ведет в конечном счете к освоению ранее не освоенных земель. Надо заранее считаться с тем, что будет затронут и Маханкуль. Но делать это надо по трезвому научному расчету, а не ради славы, не по команде, не на скорую руку! Чтобы другим было неповадно, этот вопрос мы вынесем на бюро обкома. Пригласим туда и некоторых сегодняшних героев дня. Думаю — будет польза, поостерегутся повторять ваши ошибки.

— Басит Кадырович, разве наше стремление собрать больше хлопка — такая уж большая вина? Ну, перестарались немного... Неужели на бюро? Я ведь помню ваши слова — на руках будем носить передовиков! А теперь?

— На руках? — Кадыров строго посмотрел на Малику.— А мне кажется, что вы уже забрались на голо-

вы людей и нужно вас аккуратно ссадить оттуда, чтобы вы невзначай не упали. А что касается вашего стремления добиться высоких урожаев, то это не может быть предметом особой гордости. У нас у всех общие благородные цели, это так понятно, ведь других у нас и быть не может.

— Допустим, я ошиблась. Но разве моя небольшая вина перечеркивает все мои достижения. Я даю хлопок, освоила в пустыне сотни гектаров...

— Я освоила, я даю хлопок... Некоторые руководители как-то забывают, что вся тяжесть хлопка — на плечах дехканина! А наша с вами часть работы, если не считать душевных волнений, больше похожа на курорт! Не так ли? Вот какой прекрасный кабинет, кондиционер, за дверью ждет машина с шофером...

Кадыров устало махнул рукой. Он видел, что Малика его не понимает, она покамест чувствует только обиду. Другое дело — Камал, он внимательно слушал, но в то же время, казалось, думал о чем-то своем. О чем, интересно? Странно, что он выгораживал Малику. Она его сняла с работы, отправила в пустыню, а он не воспользовался случаем свести с ней счеты.

— Освоили пустыню! Слова. Ваш агроном с фактами в руках доказывает, что это не заслуга, а ошибка, непростительная вина,— Кадыров явно стремился смягчить свои резкие слова, в уголках его губ засветилась улыбка.— Посмотрите! Готов как лев броситься на защиту своих полупустынь с их флорой и фауной...

— Броситься он может,— Малика метнула в сторону Камала быстрый взгляд.

— А вы, как мне кажется, покамест защищаете только себя, и это ваша другая вина, уже как руководителя. Но не будем делить ваши провинности на большие и маленькие. Плохо, что мы привыкли думать: все для хлопка! Люди должны служить хлопку, жить ради хлопка... Отсюда и показуха с засеянными хлопком пришкольными участками! Что вы видите на фоне хлопка? Думаю, прежде всего себя, свой личный успех, свою славу. Небось мечтаете о золотой звездочке... Думаете это патриотизм? Нет, нет и нет! А с показухой мы будем бороться. Это не менее важно, чем защита среды, это защита души человеческой, защита человеческой чести и совести...

Проводив высоких гостей, Малика одна вернулась в свой кабинет. Ей казалось, что по ее жизни только

что пронесся страшный ураган, все переломал, перевернул, раскидал ее планы и мысли.

Чувствовала себя разбитой и опустошенной. Она не могла плакать на людях. В самом деле, что за председатель в слезах? Она должна вести людей, то есть указывать и приказывать, убеждать и заставлять... Она это умеет. А плакать — разучилась. Теперь бы запереться в кабинете и выплакаться вволю...

Малика села на диван и старалась заплакать... но не могла.

Она вспомнила все обидные слова, так ранившие ее самолюбие, казалось, они еще висели в воздухе кабинета, но все же не могла заставить себя заплакать.

Дверь кабинета открылась без стука, и на пороге вырос Камал.

Малика вскочила.

— Зачем вы пришли? Выйдите, я занята.

Камал, не обращая внимания на ее слова, прикрыл за собой дверь.

— Я пришел сказать вам, Малика-хон... Я писал в обком совсем не для того, чтобы подставить вас под удар. Я и не думал жаловаться на вас. Меня тревожит судьба Маханкуля.

— Что вы все носитесь со своим Маханкулем. Не верю я вам. Ябедничаете под видом заботы о природе. Вот и вся ваша борьба! — Малика умом понимала, что говорит несправедливые слова, но не могла сдержаться, из души рвалось все накопившееся за этот сумасшедший день.— А что вы сделали сами, чтобы спасти Маханкуль? Только ябедничали, то в райком, то в обком...

Малика издевательски усмехнулась.

— А что я мог сделать? Вы меня не слушали, а здесь выполняются только ваши приказы!

— Вы известный мастер обвинять, прямо прокурор! Что ж вы не сказали этого Кадырову?

— Пожалел вас и, теперь вижу, напрасно. Вам, оказывается, ничего не стоит черное назвать белым, оскорбить и обидеть человека. А я, даже сознавая свою правоту, не могу быть жестоким. Видимо, это моя слабость, как вы думаете, апа? — спокойно спросил Камал.

— Ах, птенчик! Ах, сирота! — Малика всплеснула руками.

— Не надо сейчас... Не надо дразнить друг друга...

Я хотел вам так много сказать. Странное создание человек. Глядя на вас, я вдруг подумал — ведь в ней есть избыток того, чего не хватает мне. Ну, понимаете... Есть такие люди, они думают, мечтают, хотят чего-то добиться, но наступает момент, и у них не хватает решимости, твердости, даже жестокости... Не хочется обидеть, задеть другого человека. Во мне нет вашей решительности. Я думаю, природа поступила бы разумно, если бы из нас двоих сделала одного человека...

Малика с удивлением, пристально вгляделась в Камала, ее лицо изменилось, глаза, на которых только что закипали злые слезы отчаяния, стали теплыми и грустными.

— Нет, Камал,— Малика покачала головой. — Вы не то хотели сказать. Скажите, чтобы не лежало на сердце. Не можете сказать — напишите...

— Поздно, Малика-хон. Поздно. Мне не хватило решимости сказать это раньше. Это моя вина.

Малика закрыла лицо руками. Лоб был горячий. Она хотела высказать все, все, что у нее было в эту минуту на душе, так же просто, как это сделал Камал, но не смогла, как не смогла заплакать.

— Мы оба неправы, Камалджан. Увы, ничего нельзя поправить. Так мы и прошагали полжизни рядом. — Малика улыбнулась сквозь слезы. — Вы вынашивали свои умные мысли и молчали. А я вообще ни о чем не думала. Жила день за днем, крутилась в этой бесконечной текучке, рвалась к славе, завоевывала положение... И все напрасно!

— Не говорите так. Не многие достигли таких высот, как вы!

— Умный человек мне не позавидует. А скажите правду, вы хотели бы занять мое место?

— Напрасно вы меня подозреваете.

— Я почему-то подумала, что мы могли быть друзьями до конца жизни,— Малика улыбнулась, и у нее дрогнул голос. — А все-таки сейчас вы были неискренни, признайтесь?

Малика подняла голову, глаза ее были полны слез. Камал растерялся, он не видел, как Малика плачет, и чаще уходил из этого кабинета обиженным, чувствуя себя правым и обвиняя Малику во всем, а вот теперь впервые она его обвиняет и обвиняет справедливо. Она права. Они не смогли и, видимо, не могут стать

друзьями, если вообще возможна дружба между женщиной и мужчиной. Это, наверное, странная дружба. В глубине таится что-нибудь другое, несостоявшееся...

Малика плакала и не скрывала слез.

— Я, наверное, только сейчас осознала, что всю жизнь ищу такого друга, как вы. К сожалению, это невозможно.

Малике на память пришли последние слова Кудрата, к горлу подкатили рыдания, захотелось закричать в голос, но она сдержалась, вытерла платком слезы и улыбнулась.

— В мире, Камалджан, никому ничего не дается сполна. Обязательно чего-нибудь не хватает.

— Да, да. Вы правы.

— У меня свой путь, своя участь, я должна с этим примириться. И с одиночеством тоже.

— Зачем вы так говорите, Малика-хон! Зачем вы себя обрекаете? Вот увидите, все будет хорошо!

— Не надо утешать меня. Я должна сама справляться со своим горем. Вы утешите меня сегодня, а кто утешит завтра? Вы человек, который все понимает... А теперь, теперь, пожалуйста, оставьте меня...

— Я хочу сказать... Если что-нибудь, Малика-хон, положитесь на меня, помните об этом.

— Вы хороший... Но прошу вас, оставьте меня...

Малика закрыла лицо руками, ее круглые плечи вздрагивали от сдерживаемых рыданий.

Камал тихо вышел из кабинета и постоял в приемной. Он ждал, что вот-вот вырвутся наружу сдавленные рыдания Малики. Пусть плачет, женщине от этого становится легче. Спускаясь по лестнице, он опять прислушался — тихо. Камал перешел через дорогу в чайхану и спросил себе чаю. Не успел вернуться чайханщик с горячим чайником,— как на крыльце конторы появилась Малика. Она решительно зашагала по улице, но не домой, а в сторону детского сада. Камал оставил чай и последовал за ней, его удивила такая быстрая перемена в настроении председательши. Он проводил Малику до ворот детского сада и видел, как она вошла в калитку.

Во дворе детсада в тени древней чинары сидел сторож и пил чай. Увидев председательшу, он с неожи-

данной для его возраста живостью вскочил, вытер губы платком и двинулся навстречу.

— Добро пожаловать, добро пожаловать! Здравствуйте, апа...

Малика кивнула сторожу и направилась прямо к хлопчатнику. На кустах уже появилась завязь, видимо, на новом месте растение чувствовало себя хорошо.

— Заведующая уехала в район за игрушками,— докладывал сторож, хоть председательша и не задавала ему вопросов. — Детей только уложили, самое время попить чайку. — Наверное, сторож говорил бы без устали, но Малика, не слушая его, подошла к первому кустику хлопчатника и опустилась возле него на колени. Сторож от такой неожиданности сразу умолк.

Малика смотрела на хрупкие зеленые кустики и вспоминала, как их сеяли, обрабатывали, ведь каждый раз она сама подъезжала посмотреть... И теперь она пришла вырвать их собственными руками, уничтожить... А может быть, это еще более тяжкий грех, чем она уже совершила, заставив вместо цветов растить здесь хлопок? Разрушать, уничтожать живое... Лучше встать на собрании и покаяться перед людьми. Не поймут? Поймут! Увидят, что апа умеет признавать свои ошибки, значит, сумеет и исправить их. Это только прибавит ей авторитета в глазах умных людей. Опять она думает об авторитете, о престиже! Стала рабыней этой пресловутой славы. Слава! Игрушка взрослых людей. Ведь немало женщин занимают посты куда выше председательского, носят на груди звезды героев и живут полнокровной счастливой жизнью... Наивно полагала, что быть наверху — главное. Только, увы, никто не принесет счастье на блюдечке. Однако эти годы не пропали даром! Она многого успела добиться, люди сейчас живут лучше... Кишлак хорошеет день ото дня... при ней столько построили, заасфальтировали... Да, она порой старалась ради славы, но и для пользы дела тоже! Выигрывали в конечном счете люди, дело. Нет, кое-что в жизни она все-таки уже успела сделать...

Малика в сердцах рванула куст хлопчатника, будто именно он виноват в ее неудачах, но в пальцах остались только молодые зеленые листья, куст уже успел пустить глубокие корни и не хотел поддаваться.

— Дочка, зачем вы рвете? Посмотрите, как красиво они зеленеют! Вам не жалко?

— Жалко! Все равно ни кустика не оставлю...

Старик перебросил через плечо платок, подошел к Малике и помог ей подняться с колен. Малика послушно встала.

— Что с вами, доченька? Что случилось? Зачем предаваться такому отчаянию? В этом мире все преходяще, и человек должен быть терпеливым.

— Мое терпение кончилось! Все к черту! Я, кажется, ненавижу и хлопок, и людей! — Малика упала старику на плечо и зарыдала.

Старик погладил шершавой ладонью разметавшиеся волосы, вытер платком ее слезы.

— Не говорите таких страшных слов,— старик посадил Малику на скамейку. — Вас кто-то обидел, но не следует обвинять всех...

— Говорят, что я бессердечная...

— Ну, бессердечный человек так не переживает,— погладил ее по голове старик. — Бессердечные люди заставляют плакать других, но сами не плачут. Они и не умеют плакать...

Малика подняла голову и близко увидела мудрые глаза старика. Этот добрый старик говорит почти так же, как тот блаженный. Она почувствовала подступившую легкость, будто с сердца спал давивший его камень. Слезы лились, лились, она не вытирала их и даже не замечала.

Перевод Андрея СКАЛОНА

СОДЕРЖАНИЕ

У 34 Узбекские повести — Сост. С. М. Мадалиев.— М.: Известия, 1984, 432 с. с илл.

В сборник входят шесть узбекских повестей, принадлежащих как перу признанных мастеров узбекской национальной литературы, так и молодых одаренных прозаиков.

У $\frac{4702570000-093}{074(02)-84}$ 74—84 подписное

ББК 84 Узб. 7
С (Узб.) 2

УЗБЕКСКИЕ ПОВЕСТИ

Приложение к журналу «Дружба народов»

Оформление «Библиотеки» **Ю. Алексеевой**

Редакторы **Е. Мовчан, И. Юшкова**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **А. Гинзбург**

Корректор **Т. Авдеева**

●

ИБ № 805

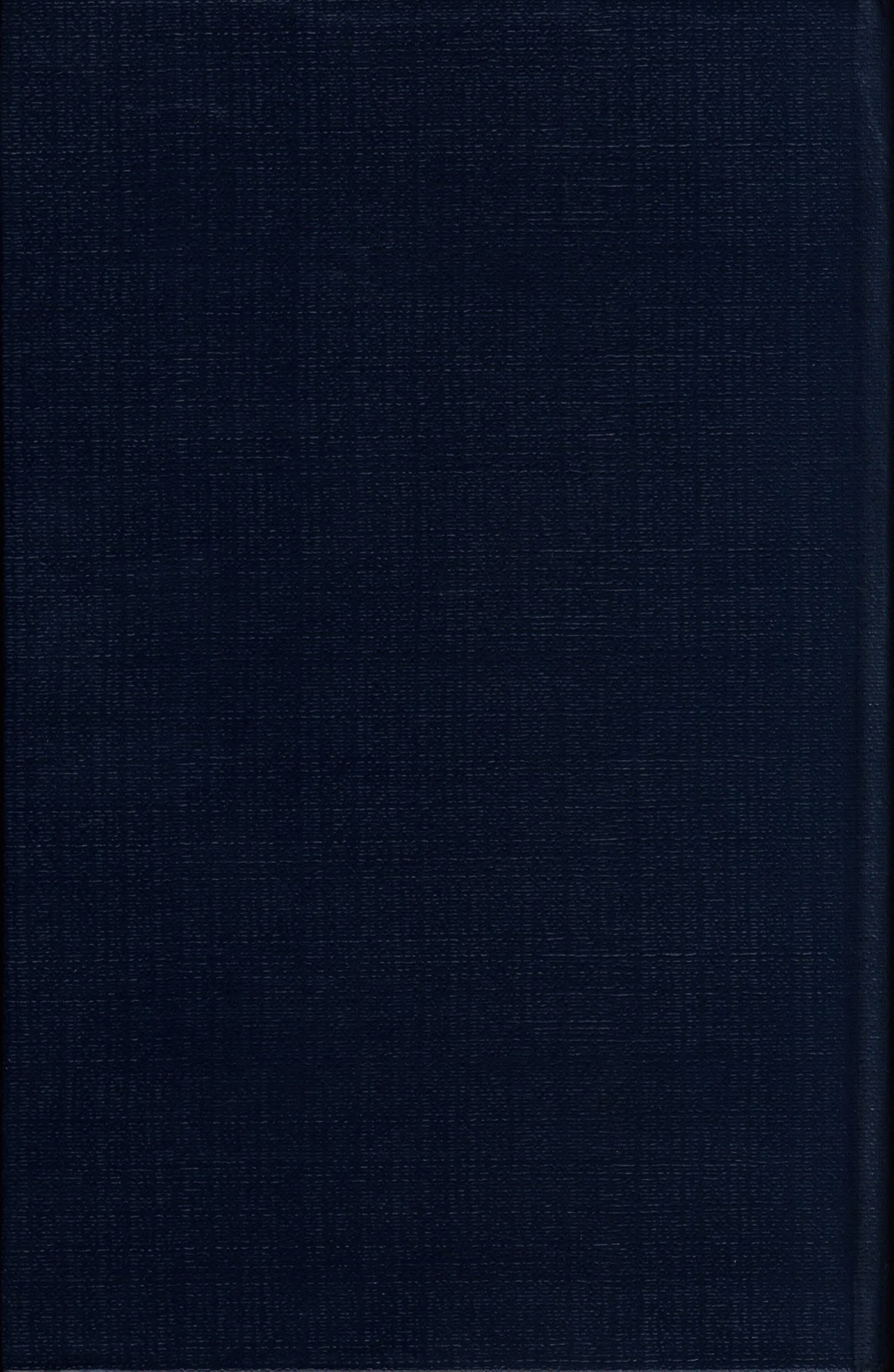
Сдано в набор 06.04.1984 г. Подписано в печать 12.09.1984 г. А 11108
Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага кн.-журн. № 2.
Гарнитура «Балтика». Печать высокая.
Печ. л. 13,5. Усл. печ. л. 22,68. Усл. кр.-отт. 22,68. Уч.-изд. л. 23,16.
Тираж 268000. Заказ 1386.

Цена 1 руб. 70 коп.

●

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
103791 ГСП. Москва, Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография
«Известий Советов народных депутатов СССР» имени
И. И. Скворцова-Степанова.
103791 ГСП. Москва, Пушкинская пл., 5.




УЗБЕКСКИЕ ПОВЕСТИ